

НОВОБЫИ
МИР

НОВОБЫИ МИР

1969

8



1969

ИЗВЕСТИЯ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLV

№ 8

Август 1969 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
П. АНТОКОЛЬСКИЙ — Художнику, стихотворения	3
ГЕОРГИЙ ВЛАДИМОВ — Три минуты молчания. роман. Продолжение	7
АМО САГИЯН — Из лирики, стихи. Перевели с армянского Н. Гребнев, А. Марченко	90
А. ПРОЦКЕВИЧ — Хроника рабочих курсов	92
М. ИСАКОВСКИЙ — На Ельнинской земле. Окончание	124
НАФИ ДЖУСОЙТЫ — Осень, стихи. Перевел с осетинского Яков Козловский	156
В. БЕЛОВ — Бухтины вологодские	158

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ЛЕОНИД ИВАНОВ — Мартовские восходы	185
------------------------------------	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

Ю. ЧЕРНИЧЕНКО — Колос Юга	203
---------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. КРАМОВ — В поисках сущности	236
--------------------------------	-----

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	258
И. Борисова. Дикие побегы.— Гр. Бернадт. «Совершенство подлинности». — И. Верцман. Выдающееся произведение кубинской литературы.	
<i>Политика и наука</i>	269
Ф. Цанн. Марксизм — философия современности.— Н. Рабкина. Свет «Полярной звезды». — В. Френкель. Книга о старших Кюри.	
КОРОТКО О КНИГАХ — Люся Канторович. Очерки, воспоминания, письма, фотоснимки.— Андрей Аникин. Адам Смит.— Новонайденный автограф Пушкина. — Вопросы профессиональной педагогики. — Проблемы поэтики. — Г. Тазиев. Когда земля дрожит.— Дело Чернышевского. — Е. Н. Добровольский. Почерк Капицы. Анна Ливанова. Физики о физиках	279
«Новый мир» в 1970 году.	285
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

П. АНТОКОЛЬСКИЙ

★

ХУДОЖНИКУ

Ни в какую щель не прячься,
Оглянись, художник, вокруг!
Прозорливость, зоркость, зрячесть
Служат мастеру раньше рук.

Не обводит циркуль круга,
Искажает линза объем.
Первый встречный ближе друга
В беспокойном деле твоём.

Отыщи свой путь по звездам,
Понехоженной, посвежей,
Ибо мир еще не создан,
Новых требует чертежей.

Завари почище зелье,
Чтоб остыло в засол и впрок.
Обходя моря и земли,
Только виждь и внемли, пророк!

АРХИМЕД И СКАЗКА

— Не касайся моих чертежей,
Сгинь, кормилица Рима, волчица! —
Но захватчица у рубежей,
Ее тень где-то рядом влачится,
И чем ближе она, тем блажней.

— Не хочу на колени я пасть
И рабам твоим не уподоблюсь.
Ты напрасно очерила пасть,
Только власть у тебя, а не доблесть.
Напоследок хоть солнца не засты!

Так закончил свой век Архимед,
И лежал он, посмертно оскален,
Наг и тощ, без особых примет,
Как обломок в обломках развалин,
Как недушевленный предмет.

Но в пути самовластном своем
По-другому слагается сказка,
Не кончается небытием.
Ей военный указ не указа.
Вот о чем, вот о чем мы поем!

Что ни утро, восходит свежей
Розоперстая девушка Эос.
И мудрец обращается к ней:
— *Noli tangere circulos meos!* —
Не касайся моих чертежей.

Мертвечину со света гоня,
В мирозданье, распахнутом настезь,
Ты сама только отсвет огня,
Ничего не темнишь и не застишь,
Но зато воскрешаешь меня.

Доброта в твоих ясных очах,
Как бывало, сулит мне удачу,
Возвращает домашний очаг,
И зубчатых колес передачу,
И лебедку, и винт, и рычаг.

БАЛАГАННЫЙ ЗАЗЫВАЛА

Кончен день. И в балагане жутком
Я воспользовался промежутком
Между «сколько света!» и «ни зги!».
Вижу мир, изображенный резко,
Полный визга, дребезга и треска:
Он не прочен, как сырая фреска,
От которой сыплются куски.

Все, что было, — смазано и стерто.
Так какого — спросите вы — черта
Склеивать расколотый горшок?
Правильно, не стоит. Неприлично
Перед нашей публикой столичной
Славить каждый свой поступок личный,
Хаять каждый личный свой грешок.

Вот она — предельная вершина!
Вот моя прядильная машина —
Ход ее не сложен, не хитер.
Я, слагатель басен и куплетов,
Инфракрасен, ультрафиолетов,
Ваш слуга покорнейший и следоввв...
Вательно, бродяга и актер.

Ткач, Гончар и Каменщик вселенной,
Фауст со спартанскою Еленой,
Дон Кихот со скотницей своей,
Дон Жуан с любовью первой встречной,
Вечный муж с подругой безупречной,
Новосел приморский и приречный,
Праотец несчетных сыновей.

Век недолог. Время беспощадно.
Зритель сыплет бранью непечатной.
Жизнь беспечна и не дорога.
Трачу я последние излишки,
Презираю праздные мыслишки,
А о смерти знаю понаслышке.
Так и существую. Ваш слуга.

ДВА СОНЕТА

I

История во мне, вся целиком,
Вся в путанице ложных аналогий,
Встает, как пращур из лесной берлоги,
Как мученица римских катакомб.

В чьей памяти, на языке каком,
Какой глагол в страдательном залого
Звучит припевом в нашем диалоге
И к горлу подступает, словно ком?

Ползут года. Летит за веком век.
Но снятся мне в пыли библиотек
Костры из книг, концлагеря, облавы.

Я, сверстник века, многое стерплю —
Ночей не сплю, пишу, пером скриплю,
Корплю, скоблю, коплю сухие главы.

II

Прощай же, тень, которой на свету
Не видно, да и места не осталось.
Прости, прощай, столетняя усталость,
Скользящая бесследно в пустоту.

Я в книгах и на свитках не прочту,
В чьих зеркалах ты раньше отражалась,
Чья искренность, чья доброта, чья жалость
Когда-то сочиняли сказку ту.

Не может быть начала и конца
В отрывке текста, в беглой вспышке света,
В осколке редкостного самоцвета,
Упавшего из звездного венца.

Есть только эхо, только эстафета
Отосланного к вечности гонца.



ГЕОРГИЙ ВЛАДИМОВ

★

ТРИ МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ*

Роман

6

И тут стало видно, что и другие все выметали — англичане, норвежцы, французы, фарерцы, наши таллинцы и калининградцы. Все теперь стояли на порядках, ни один огонь не двигался. Россыпь стоячих огней. И отовсюду музыка, со всех судов.

Я сбегал переоделся в курточку и вышел — «погулять по проспекту», пока там в кубрике не улягутся.

Алик пришел ко мне на полубак, сел рядом на бухту канатов. Там еще были штуки три, принайтовленные по-штормовому, однако сел на мою. Тоже погулять вышел. Гуляем и молчим. Вот это самое лучшее.

— Красиво! — он мне говорит.

— Угу.

Оно действительно было красиво — когда прожектора погасли и стало светлее от звезд и топовых огней. Но скучно же говорить про это. Он засмеялся:

— Много лишнего говорится, верно?

— Ой, много.

— Я не об этом, — он кивнул на море и на огни, — я про выметку. Это, правда, красиво. Я сверху смотрел, из кухтыльника. Грандиозно, старик! Все прямо как викинги... Свинство, если завтра пустыря потянем.

Для него ведь и правда это первая была выметка. Я-то их рассмотрел. Но первая всегда волнует.

— Особенно тоже не рассчитывай на завтра, — сказал я ему. — Сейчас не заловится — потом возьмем, к марту. Когда она в фиорды пойдет с икрой. Там только успевай выбирать.

— Зря мы, наверное, ходим зимой? Лучше бы в марте.

— Да. Если только она калянуса не нажрется. Тогда ее придется шкерить. Потрошить.

— А это трудно?

— Все нелегко. Вообще такого вопроса на пароходе не задавай. Ты ее дома-то хоть шкерил?

— Так, штучки по две, к водочке.

— Тонну не пробовал? На холоде, в перчатках без пальчиков. Если сам себе палец не отшкеришь, считай — повезло.

— А что это — калянус?

— Рачок такой. От него внутренности не просаливаются.

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 7 с. г.

— А летом она его не жрет?

— Летом она не косякует. Разбегается из фиордов поодиночке.

— Да, это все равно, что выловить Атлантику.— Он вздохнул отчего-то.— Спасибо.

— Это за что?

— Ну, как... Теперь вот я кое-что знаю. Покурим?

Он мне протянул пачку, зажег спичку в ладонях. И, когда я прикуривал, вдруг он сказал:

— Между прочим, старик, вода от винта вскипает.

— Вон как?

— Да. Это называется «кавитация». Вредная штука, разрушает винт. Когда число оборотов превосходит критическое, на засасывающей стороне появляются пузырьки воздуха. Пар, конечно, не идет, но все признаки кипения.

— Знаешь!

Он пожал плечами и опять вздохнул.

— Все мы учились понемногу... Возился с подвесными моторами.

— Зачем же ты пошел?

— В корму? А я не пошел. В галльон забежал. Но я все-таки доставил вам удовольствие?

Я поглядел на него — он красивый был, рослый мальчик; девки его, наверное, любили. Отчего же он с Димкой держался за младшего? Но, правда, было в нем что-то — как это вам объяснить? — всем его хотелось оберечь, приглядеть за ним. Как бы он там подалее был от ледянки, от натянутого троса, не удалился бы невзначай «в сторону моря». За Димкой же никто и не думал смотреть.

— Тяжело тебе плавать? — я спросил.

— Что ты! — Он улыбнулся.— Я себя никогда так не чувствовал. Чем тяжелей, тем лучше.

— Вот это здорово!

— Я правду говорю. Рано или поздно, а нужно же себя когда-нибудь сделать. Потому что, если задуматься, судьба у меня страшная.

— Чем же так?

— Не тем, что ты думаешь. Никто у меня в тюрьге не сидел. Все, слава богу, живы. А все так благополучно — десять лет по одной и той же дорожке в школу, два квартала туда, два обратно... Потом — одной и той же дорожкой в институт. Потом в другой... Вот так подохнешь от информации и никогда не увидишь — архипелаг Паумоту... остров Пасхи... или как танцуют тантянки. Только в кино. А сам никогда не будешь сидеть с венком на шее. Который тебе сплели дочери вождя.

— Знаешь, я тоже умру и не увижу.

— А! Не в этом дело! — Он выплюнул окурок через борт.— Ты живешь. Хоть один день из недели врежется в память. Потому что человек помнит, когда ему было трудно. Как он голодал. Валялся в окопе. Как делили цигарку на троих и ему оставили бычка. А когда он жил в теплой квартире, с ванной и унитазом, это прекрасно, черт дери, а вспомнить нечего...

Хороший мотивчик к нам долетел с какого-то датчанина. Алик его подхватил и стал насвистывать.

— Не надо,— сказал я ему.— Рыбу распугаешь.

— Да, прости. Это одно из ваших уважаемых суеверий. В старое время боцман бы мне линька дал? — Он засмеялся. Потом забыл, опять засвистал и бросил.— Привязалось. Давай еще покурим. Рот нужно чем-то занять.

Я спросил:

— Ты потом, после экспедиции, в институт вернешься?

— Конечно. Куда же еще? Мы себе взяли академический отпуск — так это называется... Хороший способ крупно побездельничать. Но все-таки мы кое-что урвали! Хоть поплавали на сейнере.

— Какой сейнер! На СРТ ходишь.

— Ну да, на логгере. Тоже звучит.

— То-то и дело, что на логгере. Там бы ты и моря не увидел. Все равно что в Ялте, на прогулочном катере¹.

Он глядел, улыбаясь, на море и на огни. А я вдруг стал припоминать — где я уже слышал про этот «сейнер»? И не этого ли малого я видел тогда в окне, на Володарской. Не он ли там у Лили сидел на подоконнике, справлял сабантуй, а я стоял посреди двора, задравши голову. Нет, снизу не разглядеть было, и глаза у меня слезились от холода.

— Иди-ка ты спать, — я ему сказал.

Он поглядел удивленно. Может, я и грубо сказал, но мне так тошно с ним стало. Оттого, что она с ним тогда была. Ну, могла быть, я себе представил. Черт знает до чего так можно додуматься! Ну, а почему бы и нет, я себя спросил. Почему бы ей не любить его? Ведь он красивый, рослый мальчик, язык хорошо подвешен. А что судьба у него «страшная» — так ей-то он как раз впору со своей судьбой.

— Завтра к шести подымут, не выспишься.

— Посижу еще. Жалко такую красоту упускать.

Господи, я думал — все слова уже в нем кончились.

— Ну, как знаешь.

Я встал и пошел от него.

7

Я бы сходил к «деду», да у него окно не светило. Наверное, думаю, ушел в машину — сейчас там как раз вахта моториста, а моторист у нас — Юрочка, фрукт изрядный, «дед» ему одному не доверял. Тем более машина сейчас подрабатывала на винт, растягивала порядок.

Я заглянул в шахту — Юрочка, голый до пояса, сидел на верстаке и чего-то там вытачивал на шлифовальном станочке, а «дед» расхаживал по пайолам с масленкой — работал за этого самого Юрочку.

Я скинулся по трапу. Юрочка меня увидел и сделал ручкой:

— Привет курточке!

— Привет культуристам.

— Посвистим, Сеня?

— Посвистим.

— А за что — за бабу или за политику?

— Вчера за политику. Сегодня, значит, за бабу.

— Итак, Сеня, затронем половой вопрос. Поставим его со всей прямоотой. Жить не дает и трудиться творчески.

Это у нас с ним вроде приветствия. На том разговор и кончается. Потому что этот Юрочка глуп, как треска мороженная, и свистеть мне с ним не о чем — ни за бабу, ни за политику. А вытачивал он себе пожичек. Новая, значит, придурь. В прошлую экспедицию он, говорят, штук

¹ Сеня Шалай тут не совсем справедлив к сейнерам, но доля истины в его словах есть. Воспетый в нашей прозе и в стихах сейнер выглядит чуть ли не основной единицей наших промысловых флотов. Между тем это не так, основой является пока СРТ (в дальнейшем, по-видимому, станет БМРТ — большой морозильный рыболовный траулер), по типу — логгер, судно с кормовой надстройкой и обширной рабочей палубой в середине, что одинаково удобно и при тралении, и при лове дрейфтерными порядками. Сейнера же, имея сравнительно слабые корпуса и малые емкости для рыбы, ведут очень недолгий промысел, зачастую в виду берегов. То обстоятельство, что иные колхозные сейнера уходят за сотни миль от берега, является исключением, лишь подтверждающим правило: ведь и Бомбар переплыл Атлантический океан в надувной лодке.

двадцать зажигалок выточил — корешам в подарок. Сам-то он не курит, здоровье бережет. Отрастил черт-те какие бицепсы, а бездельник, каких поискать.

А «дед» ходил по пайолам, подливал масла в машину. Не знаю, куда он там подливал, мне и за триста лет в ней не разобраться, столько там всяких крантиков и винтиков. Я просто люблю смотреть, как он это делает. Вот Юрочка, он к ней почти не прикасается, а ходит чумазый, беретик у него в масле — хоть выжми. А «дед» — в пиджаке, в сорочке с галстуком, и ни капли масла на нем нет. Он ходил вокруг машины, а она сопела и плевалась, как скаженная, но только не в «деда». Вот в чем все дело: таким, как «дед», мне не быть, а таким, как «мотыль» Юрочка, — охота ли серое вещество тратить?

«Дед» меня заметил, но не подал виду. Ему приятно было, что я смотрю на его машину. Как будто я в ней решил разобраться.

— Алексеи! Поди сюда. — Он уже кончил смазывать и обтирал руки концами. — Послушай-ка.

Ничего я особенного не услышал. Стучала она, как три пулемета. Клапана подпрыгивали на пружинках и плевались в меня. «Дед» наклонился ко мне, к самому уху:

— Вот так должен стучать нормальный двигатель.

— А!..

Юрочка глядел на нас, точил свой ножик и усмехался.

«Дед» пошел по пайолам, вдоль всей машины. Он что-то мне про нее рассказывал, но слышно было плохо. Я и не старался услышать. А потом я знаете что сделал? Повернулся и полез наверх по трапу. Я не думал его обидеть. Просто мне жарко стало, душно и шумно. Я и забыл, что больше он к своим винтикам не вернется, с которыми всю жизнь прожил. Теперь и вспомнить стыдно про свою глупость. Но я так и сделал — повернулся и полез по трапу.

В салоне кандей Вася, в колпаке и в халате, играл с «юношей»¹ в шахматы. Третий штурман, только что с вахты, ел компот вилкой и под-сказывал им обоим. Да все невпопад. И еще сидел бондарь, читал газеты, которые мы из порта везли. Он все подшивки прочитывает от доски до доски. Все, что хотите, знает — и про Вьетнам и про Лаос. А ходит грязный, как собака, и спит, не раздеваясь. Соседи в кубрике на него жалуются. И злой тоже, как собака, — на всех на свете. А на меня в особенности. Я только зашел — он на меня посмотрел, как будто я у него жену отбил. Или наоборот — сплавил ему свою бывшую. И опять уткнулся в газеты.

Кандей Вася спросил, глядя на доску:

— Компоту покушаешь?

— Не хочу.

— А чего хочешь?

— Ничего не хочу.

Третьему надоело подсказывать, на меня переключился:

— Что ходишь, как лунатик? Курточку напялил и ходит. До преступления так можешь довести.

— Может, я тебе ее продать хочу подороже.

— Свистишь! — Он сразу оживился, оскалился, шрам у него побелел. — Тогда уж до порта не носи, лучше пусть у меня полежит.

А что, думаю, взять, да и отдать ему курточку. Просто так, не за деньги. То-то счастье привалит третьему!

— До порта я еще подумаю. Может, я тебе ее так подарю.

— Катись! Мне так не нужно. Я по-серьезному...

¹ Юнга, помощник повара.

— По-серьезному она мне в полторы тыщи обошлась. Правда. Хочешь, расскажу?

— Катись, катись.

Я вышел опять на палубу. Там хоть музыка играла. «Маркони» через трансляцию запустил какую-то эстраду — датскую или норвежскую. Какой-то Макс объяснялся с какой-то Сибиллой. Грустно это, я вам скажу, — слушать, как музыка льется ночью над морем, даже когда она веселая. А может, в особенности когда она веселая. Она сама по себе, а море само по себе, его все равно слышно, даже вот когда крохотная волнишка чуть подхлупывает у обшивки. И зачем я, дурак, эту курточку напялил — вышел, называется, «погулять по проспекту»! Всем она только глаза мозолит.

Вот что я вспомнил. Есть у «маркони» на пленке одна песенка. Даже и не песенка, а так себе, флейта чего-то тянет, барабан тихонько погромыхивает -- как будто невпопад. Называется «Ожидание». Даже в горле пощипывает, когда слушаешь.

«Маркони» у нас живет на самой верхотуре, выше и капитана и «деда», рядом с ходовой рубкой. Повернуться там негде, сплошь аппаратура, и качает его сильнее, чем нас под палубой, и вечно народ толчется. Но я б согласился так жить — ночью ты все равно один, видишь чьи-нибудь огни в иллюминаторе, а что там штурман мурлычет на вахте или треплется с рулевым, это можно не слушать, музыкой заглушить.

У «маркони» было темно, а сам он спал на одеяле, вниз лицом. В магнитофоне пленка уже кончалась. Но он, верно, и во сне знал, где она у него кончается, — полез спросонья менять бобину. И наткнулся на меня.

— Это кто?.. Идем куда-нибудь?

— Нет. В дрейфе валяемся. Просто выравниваем порядок.

Он почесал в затылке.

— Ну, правильно, выметали. Все забыл начисто. Присаживайся.

Я сел к нему на койку. «Маркони» перевернул бобину и опять залег. Приемник в углу шипел тихонько, подсвечивал зеленым глазком.

— Вызова ждешь?

— Подтверждение дадут. Насчет погоды.

— А много обещали?

— Два балла. От двух до трех.

— Зачем же подтверждение — не штормовая же погода?

— А ни за чем. Кеп придет, спросит. Он пунктуальный --- все ему в журнал запиши: сколько обещали, сколько подтвердили. Ты с радиограммой?

— Нет. Песенку одну хотел поставить.

— Исландскую?

— Не знаю, чья она.

— Ну, я знаю, какая тебе нравится. Тут она будет.

Мы с ним закурили. Лицо у него то красным становилось от затяжки, а то зеленым от рации.

Вдруг он спросил:

— Слушай, мы с тобой плавали или нет?

— Не помню.

— И я не помню.

— Сеня меня зовут, Шалай.

— Я знаю. Я твой аттестат передавал. Меня — Андреем. Линьков.

Я до этого как-то мельком его видел. Такой он — большеголовый, лобастенький, быстро улыбается, быстро хмурится, а морщины все равно не уходят со лба. Уже — где лоб, где гемечко, волосы белые. редки,

залысины далеко продвинулись — к сорока поближе, чем к тридцати пяти. Нет, мои все «маркони» как будто помоложе были.

Спросил меня:

— С Ватагиным капитаном ты не плавал?

— Одну экспедицию, в Баренцево.

— Н-да,— он вздохнул.— Это нам ничего не дает. С Ватагиным кто же не плавал! Зверь был, а? Зверь, не кеп!

— Зверь в лучшем смысле.

— В самом лучшем! А в какую экспедицию? Это не когда он швартовый на берег завозил и сам чуть не утонул?

— Нет, такого при мне не было.

— Ну, потеха! В Тюву пришли из рейса и — машина застопорилась. Сорока метров до пирса не дошлепали. Так спешили, что все горячее сожгли. Ну что — на конце подтягивайся к пирсу. А шлюпку спускать — с ней же час промыгаришься. А потом же часа три выгрузки — сети, во-жак, то да се, да столько же до порта шлепать. А темнеет уже, к ночи дома не будем. Тут Ватагин раздевается, кителек вешает на подстрельник, мичманку кладет на кнехт, бросательный в зубы и — бултых, поплыл. Ну, пока он бросательный тащил, все ничего, только что холодно в феврале купаться. А когда самый-то швартовый пошел, тут он его и потащил на дно. Ему орут: «Брось к лешему, душу спасай!» Нет, тянет. Ну, ты ж знаешь Ватагина! Пока не догадались — за этот же конец его обратно на пароход вытащили. Из зубов он его не выпускал. Потом все-таки шлюпкой завезли...

— Нет,— говорю,— при мне другое было.

— Ну-к, потрави.

Такого же сорта и я ему выдал историю. Как у нас на выборке тра-ла палубный один свалился за борт. И никто не заметил, он сразу под воду ушел, а когда скинул сапоги и вынырнул, то уже кричать не мог, дыхание зашло. И как его тот же бравый Ватагин заметил случайно с мостика. Никому ни слова, тревоги не поднял — зачем ему потом в журнале писать: «Человек за бортом»? — а сам быстренько разделся до пояса, обвязался железным тросом и прыгнул. С полчаса они там барахтались втихомолку — Ватагин его один хотел вытащить, команда чтоб и не знала. Но пришлось-таки голос подать. Мы их уже полумертвых вытащили. Все-таки он шалавый был, этот Ватагин: если у нас в башке у каждого в среднем по пятьдесят шариков, то у него примерно двух не хватало.

— Не-ет! — сказал «маркони». — Он легендарный человек, Ватагин! Шепнули ему: в соседнем отряде картина имеется, австрийская, «Двенадцать девушек и один мужчина», ну, сильна комедь! Он и про рыбу забыл — какая там рыба! Трое суток мы, как пираты, по всему промыслу шастаем, людей пугаем, и он в «матюгальничек» у каждого встречного спрашивает: «А ну отзовись, не у вас ли «Двенадцать девок»?» Не успокоился, пока не нашли. Да, потом мы ее суток трое крутили без остановки. И все равно он ловил больше всех. Удачливый был, как черт. Или нюх какой-то имел на рыбу. Что ты! Разве теперь такие кепы водятся?

Мы таким манером еще минут пять потравили: какие бывают кепы, и что раньше было за времечко, и люди когда-то ходили по морю — мариманы, золотая когорта, каждому хоть памятник ставь при жизни, и куда ж это все ушло, прямо сквозь пальцы просочилось, — и сошлись мы на том, что и кеп у нас так себе, звезд, наверное, не хватает, и команда какая-то подобралась недружная, и вообще-то вся экспедиция у нас не заладится...

Рация в углу запищала, «маркони» перекинулся на другой край койки, надел наушники, стал записывать. Потом погасил зеленый глазок.

— От одного до двух. Легко вам будет выбирать.

— Теперь тебе спать можно?

— Сиди, потравим еще. Какой спать! Мне еще радиogramмы передавать, вон ваша братия понаписала, целые повести.— Зажег плафончик над столом. Там ворох лежал тетрадных листочков, исписанных чернильным грифелем.— Хочешь, зачти. Только между нами.

— Не надо.

— Да развлекись! Ну, я те сам зачту.

Ох, эти наши радиogramмы! Васька Буров долго-долго кланялся всем кумовьям, жене наказывал беречь Неддочку и Земфирочку, «пусть будут здоровенькие, а папка им с моря-океана гостинчиков привезет и сказочку расскажет про морские чудеса». Шурка Чмырев, тот со своей Валентиной объяснялся сурово: «Ты помни, что я тебе тогда сказал, а если моя ревность и вообще характер тебя не устраивает, то лучше порвать это дело, пока не поздно. А еще я Гарику задолжал десятку, отдай ему с аттестата и пиши мне чаще. Твой супруг Александр». Митрохин своему братану отбивал на другой пароход: «Здравствуй, брат Петя! Знаю, что ты на промысле. У нас тоже начались трудовые будни. Первая выметка!!! Экипаж у нас хороший. Сообщи, как у вас. Петя, приложи все усилия, а я со своей стороны тоже приложу, чтобы нам встретиться в море...»

— Не знаешь, что и сокращать,— сказал «маркони».— Все вроде существенно. Говори им, не говори, что у меня больше чем двадцать слов в эфир не принимают. Вот третий штурман — сразу видно морского человека: «Дорогая Александра! Я вас недостоин. Черпаков».

— Брось, к богу в рай.

Отложил он эти послания, лег, закинул голые руки за голову. На локтях у него и на груди, где разошлась ковбойка, виднелись наколотые письма, русалки с якорями, мечи, обвитые змеями.

— Как же все-таки, Сеня? Плавали мы с тобой?

— Какая разница? Тем же и я дышу, чем и ты.

— Но неужели же мы не выясним? Э, слушай! А ведь ты Ленку должен был знать. Ленку-«юношу»!..

— Слышал про нее. А плавать с нею — нет. Да при мне уже никаких Ленок на траулерах и в помине не было.

Еще года за три до первого моего рейса рыбацкие жены начали скопом заявления писать в управление флота, чтобы всех женщин, которые плавали юнгами на СРТ, списали бы начисто: из-за этих женщин у них семейная жизнь разлагивается. И всех их заменили мужиками.

— В помине-то, положим, остались,— «маркони» мне подмигнул.— Ленка, она знаменитая была женщина. Про нее легенды складывали. Как она в кубрик к матросам бегала. А в порт приходили, она свои взносы собирала.

— Тоже потеха,— говорю.— Ты сам это видел?

— Ну, Сень, всего ж не увидишь. Но рассказывали. Больше, наверное, трепу было, чем дела... Однако я тоже кое-чему свидетель. Какая у ней с Ватагным-то была история — целый роман! При всем пароходе, открыто. Бичи прямо к ней подкатывались, если что. «Ленка, похлопочи там, на мостике, чтоб не метали сегодня. Погода сильная, и отдохнуть охота». Ну, она к бичам с душой относилась. «Ватагин, выходящей объявляй, устали бичи». И — не мечут, картины смотрят. Ну баба! Не знаю, потом она куда делась. Прямо как в воду канула.

Я сказал:

— Она и канула.

— Ты шутишь!

— Нет. Я хоть и не плавал с нею, но точно знаю.

— Как же так вышло? Ну-к, потрави.

Я ему рассказал, как мне рассказывали. В одну экспедицию, поздним вечером, эта самая Ленка вышла ведро выплеснуть с кормы и упала. Через полчаса ее только кандей хватился. Ну, пока ход стопорили, пока возвращались по курсу, нашарили ее прожектором, она уже закончела. Ее только телогрейка держала. Говорили мне — вытащили еще живую, но она и десяти минут не прожила, как ее ни грели и спиртом ни отпаивали. Пошли к базе, там рефрижераторы, надо же до порта ее довести, у нас не хоронят в море, как в старину. А волнение было — свыше семи баллов, и база к себе не подпускала. Две недели этот шторм не кончался, и не могли подчалить, носились по морю, и мертвая Ленка лежала под брезентом в шлюпке. Все они чуть с ума не посходили.

— Слушай-ка,— спросил «маркони». — А с чего это она, не рассказывали?

— С чего за борт сваливаются.

— Нет, Сень, тут не просто. Она же опытная была «юноша», столько рейсов отходила. Вдруг пошла бы ночью с ведром, да в шторм? Она бы как-нибудь кандею это дело передоверила. А может, она в него и правда влюбилась, в этого Ватагина? Это мужик от любви не помрет, а девки, знаешь, с них станется.

— Не знаю. А может, потому что легенды складывали?

— Думаешь? Кто ж от этого умирает, Сень? Скорей тут все сошлось.

И уж он про эту Ленку совсем по-другому заговорил. Голос такой сочувствующий стал, понимающий.

— Если хочешь знать,— говорит,— как она только на траулер пришла, кандею в помощницы, так уже вся ее судьба была расписана. Ты на судне одна в юбке, а кругом двадцать три мужика с полноценным морским здоровьем, а рейсы же были — по полугоду, ты вспомни. И она же в общем кубрике с механиками и с кандеем жила, ее койка только простынькой задернута, вот и весь девичий стыд. А темных углов сколько, где тебя и облапают, и прижмут, а после все косточки перемоют слюнями. Она и не выдержала. Сначала, наверно, и по рукам давала, и по рылу, а потом сама в загул ударилась, пока ее Ватагин не завлек... Да, Ленка! Сильно ты меня расстроил. Отличная же была девка!

— Не знаю.

— Отличная! Но ты прав -- слишком про нее трепали. Корешей же у Ватагина внавал, и каждый, конечно, счастья ему желает. А может, она и была его счастье — кто это может судить? Так просто от жены не загуляешь, чтобы во всем отряде про это знали. Да что в отряде, столько людей на флоте участие принимали, отговаривали его, в семью хотели вернуть... А я тебе скажу — когда уже чужой нос лезет... в твои какие-нибудь трепетные отношения, это добром не кончится, не-ет! У меня то же самое было. Ты где служил, на Севере?

— Здесь.

— Я-то на Дальнем, торпедные катера. Ну что — совсем девчонка, ни хитрости у ней, ничего. Насквозь светится, как божий одуванчик. Однажды в субботу нас не уволили, уволили в воскресенье утром — всю ночь она меня на причале ждала, от росы вымокла. Сторожа ее гоняли, она в каком-то пакгаузе пряталась. Это ценить надо, Сенья! Я уже о ней по-серьезному: демобилизуюсь и увезу, а почему нет! И черт же меня

подловил — с корешами посоветоваться. Взяли бутылку, посоветовались. «Ты, Андрюха, нормальный или нет? Что те твоя сахалиночка — тебя в России с подметками оторвут!» Но это все ладно, а тут существенное было выдвинуто: «Это же и подозрительно, чтоб такая верность! У них же так не бывает, Андрюха, это же факт женской природы, литературу надо читать. Ты-то к ней по субботам, а всю неделю она чего делает — знаешь?» — «Ждет, говорю, учится, чего ей еще делать». — «Не знаешь! А ближе к сроку, гляди, она еще к начальству прискачет, с телегой. А потомок от кого — это никто разбираться не будет». И думаешь, я это все не пережил? Пережил, умный сделался, как три черта. Когда демобилизовывался, и попрощаться не зашел. Телеграммку только отбил — срочно, мол, вызвали, больна тетя. А теперь локти кусай.

— А вернуться к ней? — я спросил.

— Вернись! Когда их трое уже. Старший вот в школу пойдет. Я даже так мечтал: вот он подрастет, все ему расскажу. Может, он меня поймет, отпустит к ней. Мужики мы с ним, неужели не поймет?

— Поймет, да она ждать не будет.

— Ты знаешь — ждет! До сих пор я от нее письма имею, в море. Насчет детишек-то я ей не сообщал... А может, и на берег пишет, да жене в руки.

— Напиши, пускай на почтамт переведет.

«Маркони» засмеялся — почти весело:

— Э, Сеня! Когда еще на почтамт ходить!

Мы не заметили — машина кончила подрабатывать, и кто стоял на руле, ушел спать, в рубке стало тихо. Тут началось это самое «Ожидание», а на меня некоторые вещи нехорошо действуют, как первая стопка на запойного. Я так и знал, что все расскажу этому «маркони»: и про Лилю, и как я ездил к Нинке, и про то, как меня ограбили бичи и Клавка, — хотя я впервые с ним говорил и видел, конечно, что он трепло. Но это я потом буду жалеть и ругать себя последними словами, а при случае такую же сделаю глупость.

«Маркони» слушал, ни о чем не спрашивал, только вздыхал и поддакивал.

Потом сказал:

— Да, Сеня... Под этот разговор выпить бы следовало. Но я тебе скажу, как за столиком: мы хорошие люди, Сеня! Если с нами по-хорошему, мы черт-те что сотворить можем. А если бы кто нас научил, с кем найдешь, а с кем потеряешь... Мы б же его озолотили, Сеня!

Ну, и все в том же роде. Потом он спросил:

— Ты после экспедиции куда двинешься?

— Не знаю. В другую экспедицию.

— Я — все, завязываю! Меня кореш в грузовую авиацию соблазняет, в летный состав. Такие же там передатчики. Зарплата, конечно, лимитировать будет. Но думаю — а черт с ней, с зарплатой, потрохов бабке сплавим, а жена пусть поработает какое-то время. Зато ж там рейсы — часы, а не месяцы. Остальное время по земле ходишь. Валяйка со мной на пару?

— Что я там буду делать?

— Пристроишься. А то — радистом натаскаю.

— Можно и радистом...

— Нет. — Он вздохнул. — Если «можно», то лучше не надо. Счастлив не будешь. Тебя вон «дед» на механика тянет, я уж слышал, а ты не идешь. И правильно — душа не лежит. Счастье у человека на чем держится? На трех китах — работа, кореша, женщина. Это мне еще лейтенант на катере втолковывал. Остальное все приложится. Согласен?

— Мне, значит, только трех китов не хватает.

«Маркони» призадумался, почесал лоб.

— Худо дело, Сеня. Отчего мы с тобой моряки? Ленточки нас поманили?

— Меня, пожалуй, ленточки.

— С детства небось мечтал?

— С младых ногтей.

— Но ведь поумнеть-то надо? Нет уж, вот доплаваю рейс, пойду на шофера сдавать.

— Ты ж в авиацию хотел.

Он засмеялся.

— Иди-ка спать, братишка. Завтра вас до света подымут.

В кубрик пришел как раз вовремя. Когда уже все угомонились. Дверь была прикрыта, а от камелька жаром несло, как от домны. До чего же мы, северяне, тепло любим. Умираем без него!

Я лежал, не спал — то ли от жары, то ли «маркони» меня расстроил, как и я его.

А меня ведь и правда ленточки поманили. Хоть я и соврал ему насчет младых ногтей. Мальчишкой я ни в каких моряков не играл и даже не думал о море. И где там подумать — течет у нас вшивый Орлик, а по нему до Оки и на дощанике не доберешься, то и дело тащишься через мели. И когда они появились у нас на Сакко-Ванцетти, эти трое с ленточками, в отпуск приехали, я на них, как на чучела, смотрел. Хотя они brave были ребята — подтянутые, наглаженные, клеш не чересчур широкий. Всегда они ходили втроем, занимали весь тротуар — как три эсминца фронтом — и по сторонам не глазели, а прямо перед собою суровым взглядом, и понемногу вся наша сакко-ванцеттинская шпана их зауважала. А потом и забеспокоилась — когда они себе отхватили по хорошей кадровой девке и стали вшестером ходить, по паре в кильватере. Но я не беспокоился — они же не у меня отбили, да и некогда было об этом думать. У меня в то лето отец, паровозный машинист, погиб в крушении, и я должен был мать кормить и сестренку. Пришлось мне уйти из школы, после седьмого класса, и поступить в ФЗО, там все-таки стипендия, а вечерами я еще в депо подрабатывал — слесарем-башмачником. Ну, попросту тормозные колодки заменял изношенные. Но тоже, если на то пошло, у меня и черная шинель была, и фуражка с козырем, два пальца от брови, и не меньше я прав имел — смотреть перед собою суровым взглядом и никому не уступать дороги.

А вот однажды — они меня удивили. Это на нашей же Сакко-Ванцетти было, в летнее воскресенье. Я вышел погулять с сестренкой и увидел толпу возле трамвая. Ну, вы знаете, как это бывает, когда что-нибудь такое случается — кого-то сшибло там или затянуло под вагон. Как же это всем интересно, и как приятно, что не с тобою случилось, и какие тут начинаются благородные вопли: «Безобразие, судить надо!.. Хоть бы кто-нибудь «скорую» вызвал...» А я с чего начал, когда подошел? На кондукторшу разорался — куда смотрит, тетеря, отправление дает, когда еще люди не сели. Так я ее с песком продавил — она и ответить не могла, сидела на подножке вся белая. Я и вожатому выдал — дорого послушать, на всю жизнь запомнит, как дергать, в зеркальце не поглядыв. Но между прочим, под вагон я не заглянул. Мне как раз перед этим рассказывали в подробности, как моего бату по частям собирали под откосом. Я это не в оправдание говорю, какие тут оправдания, но не можешь — отойди сразу, а языком трепать — это лишь себе облегчение, не вашему ближнему. А тот между тем лежал себе — безгласный и невидный, прямо как выключенный телевизор. И никто даже толком не знал, что там от него осталось.

Тут они подошли, эти трое. Вернее, они шестером прогуливались, но девок оставили на тротуаре — а я там не догадался сестренку оставить — и пошли на толпу «все вдруг», разрезали ее, как три эсминца режут волну на повороте. И сразу они смекнули, в чем дело, и двое скинули шинельки, с ними полезли под вагон, а третий держал толпу локтями, чтоб не застила свет. Там они вашего ближнего положили на шинель, другой прикрыли сверху и выволокли между колес. Ничего с ним такого не случилось, помяло слегка и колесной ребордой отрезало подошву от ботинка вместе с кожей. Правда, кровящи натекло в пыль, но от этого так скоро не умирают, он просто в шоке был, потому и молчал. И пока мы за него стонали и охали, они ему перетянули ногу — девка одна сердобольная пожертвовала косынку, — похлопали по щекам, подули в рот. А третий уже схватил таксишника и сидел у него на радиаторе. Ну, правда, шофер и не артачился, он своего знакомого узнал, с которым вчера выпивали, перекрестился и повез его с диким ветром в поликлинику. Тогда они почистились, надели шинельки и ушли к своим кралям. И вся музыка... Но отчего мы все сделали, как вареные раки, когда взглядели, как они уходят спокойненько по Сакко-Ванцетти, — они за все время не сказали ни слова!

Когда-нибудь пойдем же мы, что самые-то добрые дела на свете делаются молча. И что если мы руками еще можем какое-то добро причинить ближнему, случайно хотя бы, то уж языком — никогда. Но я уже тут проповеди читаю, а мне самому все проповеди и трезвоны давно мозги проели, я уж от них зверею, когда слышу. Почему эти трое и остались для меня самыми лучшими людьми, каких я только знал. Почему же я и на флот напросился, когда мне пришла повестка. Мечтал даже с ними встретиться, думал даже — вот таких людей делает море. Романтический я был юноша!

Ну, потом я поплавал и таких трепачей повстречал, каких свет не видывал. А самые худшие — которые подобрае. Они вам, видите ли, желают счастья — так что язык у них не устанет. А если они к тому же всей капеллой сплуются — лучше сразу бежать куда глаза глядят, кто остался — считай себя покойником. По мне, так этот самый Ватагин, например, такой же покойник, как и Ленка, хотя он-то выжил, не кауул. Я с ним плавал в его последнем рейсе — ничего в нем уже не осталось легендарного, одна тревога: что теперь говорят про него, после этой истории. А что могли говорить? Что мне вот этот «маркони» рассказал про Ленку? Хотя бы новую сплетню родил, а то ведь, как попугай, повторял, что рыбацкие жены писали в своих заявлениях — бегают к матросам в кубрик, всем желающим пожалуйста, потом деньги дерут с аванса. И при всем она для него — «отличная девка».

Я думал — ведь она с нами ходила в море, разве это дешево стоит? Ведь какая-нибудь Клавка Перевошикова не пошла бы, она по-другому устроится. Она тебя встретит, такая Клавка, на причале, повилает бедрами, и ты пойдешь за нею, как бык с кольцом в ноздре. И — не прогадаешь, если не будешь особенно жаться, пошвыряешься заработанными, как душа того просит. Она тебе на все береговые, на пятнадцать там или семнадцать дней, лучшую жизнь обеспечит — тепло и уют, и питье с наилучшей закуской, и телевизор, и верную любовь. В городе водки не будет — она достанет, сбегает к «Полярной стреле». И рыбу она достанет, какой в нашем рыбном городе и не купишь. Все тебе выстирает и выгладит, разобьет для тебя, выложится до доньшка. И только успешь во вкус войти — разбудит однажды утром и скажет: «Проснулся, миленький? На вот поешь и опохмелись, не забыл — сегодня тебе в море...» За Нордкапом очуаешься — ни гроша в кармане, да они и не нужны в море, зато ведь вспомнить дорого! И светлый образ ее маячит над

водами. Месяца три маячит, я по опыту говорю, а в это время она себя другому выкладывает до доньшка. Вернешься—можешь ее снова встретить, а можешь другую, она ничем не хуже. Сколько хотите таких в порту ошивается, капитал сколачивают, а потом уезжают в теплые края, так и не сходявши в море.

А Ленка — ходила. Не знаю, зачем она себе такую карьеру выбрала — но на берегу ей любые подвиги сошли бы, а в море сплетни разносятся без задержки, как круги по воде от камня. Тут ведь мы все — «братишки», какая нам корысть языком чесать, если не к корешу сочувствие. И самые трезвые разума лишаются, а Ватагин-то и без того не слишком был трезвый. Ведь он как будто все про эту Ленку знал, когда с ней сошелся,—и что на самом деле было, и что сверх того натрепали,— что же переменилось? А то, что круги пошли. Что все его хором «выручали», беседы с ним вели — и с ним и с Ленкой. А в это время жену его, с которой он уже разводиться собрался, науськивали писать цидули в управление... Он и сдался, Ватагин, сам же и вычеркнул Ленку из роли. И уж ей-то, конечно, не преминули о том доложить.

А после, когда это все случилось, те же добренькие себя и показали. Просто удивительно, как быстро они назад отработали! Вчера спасали, а сегодня — руки ему не подавали, требовали собрание провести, обсудить моральный облик «без скидки на производственные успехи», предложить ему с флота уйти. И кто же спас его тогда — Граков! Буквально он его за уши вытащил и все речи оборвал на полуслове. А как он это сделал — снял его с плавсостава и к себе приблизил, чуть не правой рукой назначил в отделе добычи. Так что все ватагинские радетели к нему же попали в подчинение. Ну, а тут, сами понимаете, особенно не повякаешь.

8

С утра, конечно, новости. Старпом наш — отличился ночью, курс через берег проложил. Это уж рулевой принес на хвосте, все новости из рубки — от рулевого. Ночью показалось старпому, что порядок течением сворачивает, и он его решил растянуть. Определился по звездам, да не по тем, и — рулевою: «Держи столько-то». Ну, дикарь и держит, ему что. Хорошо еще, кеп вылез в рубку, сунул глаза в компас, а то бы полчаса — и мы в запретную зону вошли бы, с сетями за бортом. А там уже на них норвежский крейсер зарился. Плакали бы наши сети, он бы их тут же конфисковал. То-то крику из-за этого было в рубке!

Я думал — какой же он теперь придет, старпом, нас будить? Ничего, голосу его не убыло.

— Па-дъем!

Димка с Аликом расшевелились, начали одеваться. Ну, эти пускай, им кажется, если они первыми начали, то первыми и кончат. Черта с два, они на военке не плавали. Наши все старички еще полеживали.

Старпом сел на лавку. Подбадривал нас:

— Веселей, мальчики, веселей. Сегодня рыбы в сетях навалом.

— Не свисти.— Это Шурка ему Чмырев из-за занавески.— Десять селедин там, кошке на завтрак, и тех сглазишь.

Старпом, слышно, повернулся к нему, скрипит дождевиком. Ему, конечно, обидно, когда ему грубят. Шарашит его, но ответить он не смеет. Шурка все-таки старый матрос, а он старпомом первую экспедицию плавает — какой у него, архангельского, авторитет? И про ночные его подвиги нам известно.

— Чего «не свисти»? Поглядел бы, как чайки над порядком кружатся. Они дело знают.

— Они-то знают, — Шурка ему лениво. — Ты не знаешь.

Тут Митрохин решил высказаться:

— А мне, ребята, сон приснился. Глупыш прямо в кубрик залетел. Сел у меня в головах, клюнул плафончик и говорит человеческим голосом: «Бичи!..»

— Прямо так — «бичи»? — Это Васька там Буров со спины на живот перевернулся.

— Ага, говорит, «бичи». С первой выметки бочек двадцать возьмете. А дальше у вас все наискось пойдет. Опять же — плафончик клюнул. И улетел.

Салаги захмыкали. А мы помолчали. Сон — дело серьезное. Тем более когда чокнутому снится. Потом Шурка спустил ноги с койки — он в верхней спит.

— Отойди, старпом, а то ушибу.

Тот сразу в двери и завопил уже у соседей:

— Мальчики, па-дъем!

Тут и я полез одеваться. Я-то знаю — Шурка зря не полезет. Он тоже на военке служил. Салаги еще только рубахи успели натянуть и в штаны влезали, а Шурка уже по трапу сапогами загрохотал. Долго им еще плавать, пока они нас догонят. Но уж обогнать — нет.

Васька Буров еще долеживал. Он еще больше нашего плавал. Салаги-то все равно последними выйдут, какой же с Васьки после этого спрос? Потому и ленивый, черт. Но такой ленивый, что и другим лень ему за это выговаривать.

Я вам не буду расписывать, какое было море. Хорошее было море. Не штиль, а балла так полтора, в штиль нам тоже не сахар, ветер лица не свежит. А над порядками чайки ходили тучами — доброе знамение.

В салоне за чаем только и говорили — что вот, мол, первая выметка, и не зряшная; пустыря вроде не дернем; авось, мол, и дальше так пойдет; тыфу через левое, чтоб не сглазить.

Но вот стало слышно — шпиль заработал, загудело под полом, и мы потянулись потихоньку на палубу. Уже дрефтер с помощником вирали¹ из моря стояночный трос, и все становились по местам.

Я свое делал — отвинтил люковину, отвалил ее, ролик уложил в пазы, но в трюм не лез еще.

Дрефтер не торопился, и мы не торопились, смотрели на синее, на зеленое, ресницы даже слипались. Стояночный трос уже кончался, за ним выходил из моря вожак, будто из шелка крученный, вода на нем сверкала радужно. Чайки садились на него, ехали к шпилю, но шпиль дергался, и вожак звенел, как мандолина, ни одна птаха усидеть не могла. Дрефтер тянул его не спеша, то есть не он тянул, он только шлагги прижимал к барабану, чтоб не скользили, но так казалось, что это он тянет, дрефтер, весь порядок километра в четыре длиною, с кухтылями, поводцами, сетями, с рыбой. Ну, рыбу-то мы еще не видели. И наверное, дрефтер не о ней думал — нельзя же только об этом на свете и думать, — а думал, поди-козь, про чаек, которых мы зовем глупышами, черномордиками и солдатами: счастливей они нас или несчастнее. А может быть, и вовсе ни о чем, просто глядел на воду замороженный, млея от непонятной радости.

Я подошел к нему.

— Погода, Сеня!

— Погода, дреф.

¹ Глаголы эти — «вирать» и «майнять» — происходят от известных команд: «вирай!» — к себе, «майнай!» — от себя.

- Так бы все и стоял на палубе, не уходил бы.
- Нипочем, дрейф.
- А работать надо, Сеня.
- Спору нет, дрейф.
- Потому что -- что?
- Потому что стране нужна рыба.
- Грамотный, Сеня. Ну, коли так, отцепляй стоянку.

Я, слова не говоря, взял «крокодил» в ящике, развинтил чеку и — с первым шлагом — полез в трюм. Прощай, палуба!

Пахло тут черт-те чем — старой рыбной вонью, карболкой и «лыжной мазью» от вожака, пахло чернью, которой метили на нем марки. И гнилыми досками — от бочек, они за тоненькой переборочкой, в носовом трюме. мне их отсюда видно сквозь щели.

Но я покуда осматривался и принохивался, а вожак уже, как удав, напоз на меня сверху, навалился пудовыми кольцами, надо бы койлать его, да повеселее, пока он меня не задушил.

— Вир-рай!

Это мне дрейфтер сверху откуда-то, с синего неба. Я его самого не видел, дрейфтера.

А вожак-вожакый трюм — метр с чем-нибудь на восемь, особенно не побегаешь. А надс — бегом. Я этого дела ни разу еще не нюхал, только с палубы видел мельком, как другие делают, как там наш Павел Иванов вкалывает, который после этого лежал в койке часами и глядел в подволоку. Знал я только, что вожак в трюме койлается по солнцу и снаружи внутрь. Почему не против солнца? Не изнутри наружу? А бог его ведает — свив, наверное, такой, да и не моя забота. Я взял первый шлаг и пошел.

Значит, так: семь шагов вперед, вдоль переборки, поворачиваешь направо, по солнцу, и снова ведешь-ведешь-ведешь по самому плинтусу, утыкаешься в переборку и опять направо по солнцу, опять семь шагов вперед, опять по солнцу, по солнышку ясному, дело ясное, новый шлаг ложится внутрь, поворачиваешь, опять переборка, и снова ведешь-ведешь-ведешь... Видали, как лошади бегают на молотилке?

— Вир-рай!

А вожак этот чертов идет не откуда-нибудь, а из моря. А море — оно мокрое. Оно мне течет потихоньку за ворот, и варежки брезентовые вмиг промокли, и в глазах, конечно, защемило. Я было привстал дух перевести, глаза вытереть, и вдруг темно — ко мне кто-то в трюм заглядывает. Старпом. Всю горловину широким своим носом застил. Кеп его небось прислал -- меня проверить: все-таки я первый день с вожакком.

— Веселей, веселей в трюме! Вожака на палубе навалом...

Дал бы я ему самому побегать, то-то бы взвеселился. Я только сплюнул и дальше побежал. По солнцу, по солнышку ясному. Да не побежал, пошкандыбал на полусогнутых. По пайолам бегать еще куда ни шло, но я уже первый пласт уложил, теперь по вожаку бегать надо, это вам не паркет, тут в два счета ногу подвернешь. А что дальше будет — когда я почти весь его выберу и сам на нем к подволоку поднимусь? Там уж на четвереньках придется. Лучше не думать. Надо второй пласт укладывать.

Это значит — делаешь две петли внахлест, одну вправо, другую влево, на обоих торцах трюма, чтоб верхние шлагги не перепутались с нижними, и — по новой. Семь шагов вдоль переборки, поворачиваешь по солнцу, второй шлаг внутри первого, третий внутри второго, все, во-семь уложил, больше не втиснешь, опять две петли внахлест...

— Вир-рай!

Дрифтер уже не по-служебному орет, а с огнем в голосе. А голосина у него — на всех иностранцах, наверное, слышно. Подумают, у нас трансляцию на выборке применили.

А вожака, наверно, и правда много скопилось на палубе — трудно стало тянуть, распутал бы кто.

— Эй там, на палубе! Распутайте кто-нибудь!

Ну да, услышат, у них там сетевыборка поет, сапожищи бацают. Нет, подошел все же кто-то, стал скидывать ногами, да мне от этого не легче, все шлагги на меня валяются, на голову, на плечи...

— Веселей, Сеня!

Ага, это дрифтер мне помог. И голос у него чуть поласковее. Все-таки он человек, дриф. Понимает, какво мне с непривычки. Эх, я плюнул и побежал. Не на полусогнутых, а прямо как безумный. Пусть их, ноги, подворачиваются. Пусть из меня сердце выпрыгнет. Я умру, но я ж его распутаю! Я ж его уложу, гадину, сволочь соленую, мокрую... Вот уж осталось два шлага, ну три, все, можно и отдышаться. Только не дай бог ему снова там скопиться. Опять я его потянул. А он и на сантиметр не поддается. Снова там скопилось, что ли? Кто же это мне будет все время его распутывать? Я прямо повис на нем. А он не поддается, и все тут. Я в него вцепился одной рукой, а другой взялся за пиллерс.

И тут меня так самого рвануло, что я всей грудью на переборку налетел.

— Хрена ты там тянешь? Сетку трясут!

Вон что! Ни черта, значит, не скопилось там. Просто я вожак со спиля тянул. И это меня на волне рвануло, шлагги по барабану скользнули, он же ведь полированный уже, в него смотреться можно. Но дрифтер-то — мог же предупредить: «Стой, не вирай пока». Да кому до вожакowego дело!

Я встал к переборке отдышаться, поглядел в люк. И вдруг увидел — звезда качается, голубая, прямо над моей головой. Я просто очумел. Потом лишь дошло, что это не она качается, она себе висит на месте, а нас переваливает с борта на борт. И никто ее не видел, только я один — из темного трюма. Где же это я читал, что можно в самый ясный полдень увидеть звезду из колодца? Даже не верилось. А теперь я сам в этом колодце оказался.

Я стоял, смотрел на нее. А все же был настороже, чтоб меня опять не рвануло. Шпиль, я слышал, работает. его на всю выборку не выключают, но дрифтер, поди, там скинул один шлаг с барабана, чтобы проскользывало. А когда он снова его накинет, это я почувствую, он ведь у меня этот шлаг возьмет, из моря ему не вытянуть.

А там уже первую сетку трясли — бац, бац, бац! — сыпалась рыба. По звуку не слышно, чтобы уж слишком много взяли, но все же. Я не утерпел, полез по скобам поглядеть, и вдруг меня чем-то по шее — скользкое, мокрое, бьется. Здоровенная рыбина скользнула по мне, по рокану, плюхнулась на вожак. Билась она страшно, очень сильная была селедина, самец, все норовила под шлагги забиться, они ж еще воду хранят. А когда я ее выудил оттуда, себе в варежки, она даже лискнула жабрами, такая бешеная была — от злости, что ее обманули. И какая же красивая — ведь только что из моря! Она в первую минуту совсем не серая, не оловянная, не ржавая, как в магазине. Она, сволочь, вся синяя, зеленая, малиновая, перламутровая, и все это переливается. каждый миг — уже новый цвет.

За этой еще одна шлепнулась, только безголовая. Оторвали на тряске. И еще одна — с разорванными жабрами, сочилась кровью. Так они и сыпались с палубы — тоже самцы, косяк попался самцовый, -- но

все покалеченные. А эта, что я держал, совсем была целенькая, ни жаберки не надорваны, ни плавничок, ни чешуинки не потеряла.

Я ее взял покрепче, поднялся по скобам, высвободил руку над люком и зашвырнул подальше, за планшир. Глупыш один за нею кинулся, но у моей-то рыбины счастливая была судьба — не далась глупышу, не повезло ему, ушла в море.

На палубе, я слышал, заржали. Дрифтер ко мне заглянул.

— Сень, это ты нашу рыбу выбрасываешь? Как же это? Мы ловим, а ты кидаешь.

— Пускай живет.

— А думаешь, она жизнью попользуется? Она сейчас снова в сетку пойдет.

— Не пойдет. Она теперь ученая.

— Так, думаешь? А ежели она, ученая, теперь неученую научит мимо сетки ходить? Ведь это мы, Сеня, без коньяка останемся. Жалостный ты, Сеня. Гуманист!

Долго они там ржали. А тех, безголовых, безжаберных, я тоже выловил и выкинул на палубу. Хуже нет, если рыба куда-нибудь забьется, потом от вони умрешь. А на палубе — бац да бац! — и нет-нет да какая-нибудь ко мне залетала. Если покалеченная, я им обратно выкидывал, а целенькая — ту в море. Пускай смеются. Опять же развлечение для палубных.

А про вожак я опять забыл. Не заметил, как дрифтер выбрал у меня шлаг и накинул на барабан. Пополз, родной, а мы-то заждались. Семь шагов вперед, по солнцу, две петли внахлест, еще пласт уложен, а посмотришь в люк — там она все качается, звездочка. Совсем у меня рук не стало, а варежки — хоть выжми, и все тело колет иголками. Это хорошо еще — рыба куда ни шло, а заловилась, сети приходилось трясти и стопорить вожак, а если б они пустые шли и вожак бы все полз да полз, тут бы я как раз богу душу отдал.

Дрифтер опять ко мне заглянул:

— Как, Сень, привыкаешь?

— Да, привыкаю, — говорю. — А придумать чего-нибудь нельзя, чтоб он сам койлался?

— Чего, Сень, придумать?

— А я знаю? Барабан какой-нибудь, с мотором.

— Да как же он в трюме-то поместится? И подешевле, чтоб ты его укладывал.

— Значит, совсем ничего нельзя?

Дрифтер сказал:

— Ты не изобретай, понял? Ты — вирай.

— Ладно.

Но неужели все-таки нельзя? Конечно, придумают. И до чего же мне тогда будет обидно. Как же это я его руками койлал? Я вам скажу, не зазорно гальюн драить, на это еще машины нет. А вот сети трясти — зазорно, когда есть уже на некоторых судах сететряски. Плохонькие, всего одного матроса заменяют, но есть. Вот, скажем, в трамвае кондуктор билетики рвет, а потом — бац! — и вместо него ящичек поставили. Обидно же ему потом, что он вместо ящика стоял.

Но я-то, наверно, уже по привычке к вожачку, если мог про чего-то думать. Раньше только и мыслей было — как бы с копыт не свалиться, а теперь все как бы само делалось, а голова была на другом свете. Ничего, думаю, переживем. Вот уже и срост подошел, толстый такой, надо его специально укладывать, чтобы он мне порядок не нарушил, — бог ты мой, а ведь это я уже первую бухту койлал. Там их еще штук шесть

осталось. Или семь? Надо бы у дрефтера спросить. Только минуты нету, чтоб вылезти.

На палубе опять, я слышу, загорлопанили.

— А это,— слышу я,— Сене-вожаковому тащи, он жалостный.

— Сень, а Сень, держи на!

И плюх на меня! — серое с белым, с черным, пушистое, бьется оно, кричит, сразу в угол забилося, только глазенки блестят, как пугови. Глупыш, кто же это еще. Весь сизый, с беленькой грудкой, концы крыльев черные. Одним крылом он прижался к переборке, а другое выставил вперед, как щит, и трепыхал им по вожаку. Я хотел его взять — он еще пуще затрепыхался, закричал и клюнул меня в варежку. Тогда я снял варежки и просто ладони к нему протянул. И он пошел ко мне. Ну, ко мне-то в руки всякая тварь пойдет. Я его вытащил к свету — одно крыло у него висело, перышки маховые сломаны у корня,— и как до-тронешься, он сразу — кричать и клеваться.

Бичи ко мне заглядывали в люк и горлопанили:

— Сень, ты его рыбой откорми, после кандею отдадим жарить.

А глупыш притих, только сердчишко у него стучало. Пожадничал, бродяга, в сети полез за рыбой, вот и запутался.

Они там погорлопанили и ушли, увел их дрефтер сети трясти. А я начал глупыша устраивать. В углу, за выгородкой, дрефтер свое хозяйство держал — бухты запасные, пеньку, прядины,— сюда я его и посадил, Фомку. Сразу я его Фомкой окрестил, надо же как-нибудь назвать тварюгу, если она с людьми будет жить. Фомка уже сообразил, что я ему не враг, улегся на прядины, как в гнездо, и присмирел. Я ему кинул селедину, он поклевал чуть, но заглатывать не стал, а подтянул к себе и накрыл крылом.

Тут снова пополз вожак, а сети пошли победнее, и вытрясали их быстро. Бичам полегче стало на палубе, а мне тяжелей.

Дрефтер опять заорал:

— Вир-р-рай! Заснул там, вожаковый? Шевели ушами!

Я и забыл про Фомку. Забегал, как бешеный. А шлагги все ползли, ползли — наверное, совсем пустые шли сети. Теперь, конечно, вся злость на вожакового, почему так медленно койлает.

Я чуть было прислонился к переборке — лоб вытереть, чтоб глаза не заливало,— как он, сволочь, пополз кольцами, прямо на мои уложенные шлагги. Чтоб его теперь уложить, надо же все это обратно на палубу выкинуть, иначе запутаешься. Я их откидывал ногами, локтями, головой, а они все ползли, ползли, и я весь опутался этими кольцами.

Дрефтер прибацал ко мне, наклонился над люком.

— Ты будешь вирать или нет?

— А я чего делаю?

— Не знаю, Сень. Не знаю, чего ты там делаешь. А только не вираешь. Погляди, сколько вожака на палубе. Хреново, Сень. Закипнемся мы с таким вожаковым.

— Ты лучше умеешь? Ну и валяй, пример покажи.

Дрефтер даже вспотел от моих речей.

— Вылазь!

— Зачем? — Хотя мне, по правде, очень даже хотелось вылезти.

— Вылазь! И свайку захвати.

Я взял у него в хозяйстве свайку и полез. Он стоял, ноги расставив, и глядел, как я лезу. Я высунул голову в люк и зажмурился. Такое светило солнце. Такое море — хоть вешайся от синевы. Я сел прямо на палубу и ноги свесил в люк. А вожака и правда до фени скопилось на палубе. Но мне уже плевать было, сколько его скопилось. Очень мне хотелось смотреть на море.

— Дай сюда,— сказал дрифтер.

— Чего?

— Свайку дай.

— А, свайку. На, отцепись.

Я смотрел на глупышей, как они носятся с криками над сетями. И все же краем глаза видел, как все палубные молча стоят, ждут, что будет.

Он эту свайку с маху всадил в палубу. Наверное, на два пальца вошла, силенки ему не занимать.

— Вот, пускай она тут и торчит.

— Пускай,— говорю.— Мне что?

— А то, что не будешь вирать — я тебе этой свайкой по башке за свечу.

И пошел к своему шпилю. Снизу он мне выше мачты казался. Грабли чуть не до колен. Ну просто медведь в рокане.

Прямо как во сне я эту свайку выдернул и зафингалил ему в спину. Я его не хотел убивать. Мне все равно было. В фальшборт она вонзилась. Да сидя разве размахнешься?

Дрифтер молча к ней подошел и выдернул. Смерил, на сколько пальцев она вошла.

— На полтора, Сеня.

— Мало. Я думал, на два.

— Мало, говоришь? — Пошел ко мне.— А если б воткнулась? А, Сеня?

— Ничего. Лежал бы и не дрыгался.

Он прямо лиловый был. Сел около меня на корточках.

— Что ж мы с нею сделаем, Сеня? В море, что ли, кинуть?

— Зачем? В хозяйстве пригодится.

— Ах ты, гуманист чертов. Ты что думал, я в самом деле засветить хотел? Я ж только так сказал.

— Ну и я только так бросил.

Поцокал языком. Свайку положил возле люковины. Сидел на корточках, глядел на нее.

— Отчего ж мы такие нервные, Сеня? Кто ж нас такими сделал? Ай-яй-яй!.. Но ты вирай все-таки, Сеня. Помаленьку, а вирай.— Тут в нем опять гслос прорезался:

— А что стоим, как балды на паперти? А ну, помогите ему!

Сергея с Шуркой кинулись к нам. Я опять полез в трюм. Потихоньку они мне спускали шлаг за шлагом, пока я все не уложил.

Дрифтер спросил с неба:

— Дома, Сеня, за это дело выпьем?

Я не ответил. Он постоял, поцокал языком и ушел к шпилю. Все лицо у меня горело и руки тряслись.

Сетки пошли — то быстро, то не спеша, косяк попался неплотный, так что я и набегаться успевал, и отдышаться. Если что и скапливалось там, на палубе, дрифтер сам подходил помогать. Приговаривал ласково:

— А вот и опять вожачку накопилось. Повираем его, Сеня?

Или там:

— Заснул, поди, вожачковый наш, как бы это разбудить, не осерчает?

Я уж помалкивал. Пласты ложились мне под ноги, и я на них поднимался к подволоку. Сначала шапкой коснулся, потом голову пришлось подвернуть. Последняя бухта всего труднее шла — их все-таки восемь оказалось, а не семь. Потом концевой трос пошел — стальной, на нем до черта было калышек, и надо их было разгонять и следить еще, чтобы жилка в ладонь не вонзилась. Когда последний шлаг хлестнул в

воздухе, я уже и не верил, что конец. Подержал его даже в руке. Нет, ничего уж к нему больше не привязано. Конец.

— Все, Сень, вылазь на воздушок.

Дрифтер стоял надо мной, улыбался. Я полез и чуть не свалился обратно в трюм. Дрифтер меня под мышки выволок.

Я пошел в полубак, прислонился там животом к фальшборту, глядел в воду. Теперь-то я понял, почему тот Павел Иваныч глядел часами в подволок, когда скойлает все бухты.

Вода чуть плескалась, и в ней кружились чешуинки — сверху и на глубине. Синее и серебристое — это красиво, черт дери. А больше мне ни о чем не думалось.

— Устал? — спросил дрифтер.

Я только вздохнул. Ответить — язык не шевелился.

Чешуинки закружились быстрее, поплыли назад, вода заструилась... Это мы на новый поиск пошли.

— Стоянку обнести надо, — сказал мне дрифтер. — Знаешь?

Я кивнул. «Стоянка» — это стояночный трос. Надо его вытравить из-под лебедки метров сорок и обнести вокруг мачты со всеми ее снастями. Потому что сети мечут с левого борта, а выбирают их на правом. Работа — отдых, если не качает и полубак не забит бочками; только в носу, где штаг крепится, приходится по плану балансировать с крюком на плече — тут и свалиться недолго. В дрейфе еще покричать можно, а на ходу — сразу под форштевень затянет.

Потом я люковину закрывал, завинчивал... Но рано или поздно, а придется к палубным идти, не хочется же «сачка» заработать, да и нечестно.

Вот и дрифтер напомнил:

— Отдышись и давай бичам помогать. Есть еще работа на палубе.

9

Я-то знал, что свайку они мне не забыли. Бондарь по крайней мере. Остальные помалкивали, а он только повода ждал высказаться.

— Кому помогать? — я спросил. Хоть у меня еще руки не отошли за что-нибудь взяться.

— А не надо, Сень, — сказал он мне ласково. Весь раскраснелся от работы. Но больше от злости. — Отдохни, ты сегодня и так намахался. Свайка — она тяжелая.

— Это смотря в кого кидать.

Он ухмыльнулся в усы, запечатал тремя ударами бочку, откатил.

— В меня бы — так ты б уже там, на дне, лежал.

— Не лежал бы. В тебя-то я бы не промахнулся.

Ну вот, обменялись любезностями, больше из бичей никто ничего не добавил. Исчерпали, значит, тему.

Устали они не меньше моего. А вот вымарались побольше. Я-то хоть чистый там бегаю, в трюме, они же — в чешуе по макушку, в слизи, в крови, на сапогах налипло с полпуда.

— Везет тебе, Сень, — Васька Буров мне позавидовал, — благодари судьбу. А холода настанут — тебе еще всех теплей будет.

Я не стал спорить. Хорошо бы, все хоть день в чужой шкурсе побыли, никто б никому не завидовал.

Я поглядел — палуба вся в работе. Вертится карусель. Сети уже на левом борту, уложены и придавлены жердиной; последнюю рыбу сгребают, подают сачками на рыбодел; там ее боцман с рыбмастером, в резиновых перчатках с нарукавниками, мешают с солью, сыпают себе под живот, в бочки.

Салаги взялись палубу водой скатить. Один скатывал, другой ему потравливал шланг. Ну, это и один может. Тут же Алика за плечо завернули. Васька Буров завернул — он, как ястреб, видит, кому поменьше работы досталось.

Дрифтер с помощником возьмется у сетевыборки, что-то она сегодня заедала. А заедает она, потому что на берегу придумана, там не качает, сетку из-под храпцов не рвет. Они ее разобрали, посмотрели, да и снова начали собирать. Вроде бы все в порядке. Ну, а завтра снова ее заест — разберут да посмотрят.

А все остальные — конечно, с бочками. Великое дело — бочки! Их надо выбрать из трюма, вышибить донья, обручи осадить и залить забортной водой из шланга, чтоб разбухли к утру. И еще так расставить их, чтоб не мешали ходить и не кренили судно и чтоб не падали бы, не катались по всей палубе. Только они все равно и мешают, и кренят, и катаются, потому что палуба маленькая, а бочек до черта, и неизвестно, сколько их назавтра понадобится. Это рыба скажет. Сегодня вот одиннадцать понадобилось. Выставляют на всякий случай штук семьдесят, больше все равно не поместится. Если больше заловится — значит, будем маневрировать: штук десять из трюма пустых достанем, на их место — штук десять с рыбой, и так до посинения. А в это время, пока мы с ними возимся, судно идет, его качает, и бочки вырывает из рук, но кеп и минуты не ждет, он завтрашнюю рыбу ищет.

Так что салаге Алику плохо пришлось — отрядил его Васька подкатывать ему полные, с рыбой. Сам-то он на лебедке пристроился, там силы никакой, только храпцы надевай на кромки да помахивай варежкой. Самое муторное — подкатывать. Стоят они между фальшбортом и надстройкой, там узко, бочка не прокатится, надо ее, родную, скантовать в обнимку, после уж повалить и катить к трюму. Кое-как салага ее скантовал и повалил, а дальше она у него сама поехала. Но прежде она его сбила с ног. Едва-едва я успел ее перехватить.

— Ты,— спрашиваю,— из цирка? Или так, жить расхотелось?

Он сидел и только глаза тарачил — отчего ж это она вырвалась. Даже испугаться не успел. Не понял, чем бы это кончилось, если б она к нему вернулась с креном. Вскочил и снова за бочку.

— Подожди,— говорю,— посмотри хоть, как это делается.

— Чего ты с ним нянькаешься? — Шурка Чмырев мне заорал. — Мне кто показывал?

— Потому ты дураком и остался. Гляди,— говорю Алику,— я ее одними пальчиками покачу. Видишь — сама идет. Все понял?

Покивал он, потом сам попробовал — опять она у него вырвалась.

— Алик! — ему Димка крикнул. — Не позорь баскетболистов!

— А черта ли толку,— говорю,— что он баскетболист? Тут думать надо. Вот, смотри. — Я опять ему показал. — Ты на пароходе работаешь, тут все труднее в сто раз. Но можно же эту качку использовать. Ты же не смотришь, катишь ее против крена, это себе дороже. А я подожду, пока от меня накренится, и вот она сама пошла, только поддерживай с боков. А теперь крен на меня, сейчас назад покатится, а я ее — поперек. И никуда она, сволочь, не денется. Понял теперь? Вот и весь университет.

Понял как будто. Сам попробовал, и получилось. Расцвел от радости.

— Спасибо,— говорит.

— Не за что. Спасибо мне твоего не нужно. Мне б как-нибудь тебя живого домой отпустить.

Вместе мы быстро все одиннадцать скатали, и он до того разошелся — еще чего-то хотел делать на палубе.

— Неужели все? — спрашивает.

Я удивился — одно дело ему показали, а в другом он опять лопух. Видит же, что трюм не закрыт лючинами, брезент валяется рядом, клинья.

— Так и поплывем, — спрашиваю, — с разинутым трюмом?

Даже уши у него запылали.

Положили все лючины, накрыли брезентом. Тут он сам стал заклинивать.

— Ты, — спрашиваю, — ручник держал когда-нибудь?

— Что это такое — ручник?

— То, что в руке у тебя.

— А! Молоток?

— Дай сюда. И ступай в кубрик.

Жора-штурман крикнул мне из рубки:

— Гони ты его по шеям, сам сделай.

Алик на меня поглядел, и мне нехорошо сделалось. У него чуть не слезы были в глазах. И правда, зачем я его мучил?

— Иди умывайся, без тебя управлюсь.

Он встал, руки в карманах, но не уходил. Смотрел, как я заклиниваю. А рядом другой лежал ручник и клинья — он их не догадался взять.

— Ну, что стоишь над душой, как столб!

— Послушай, — он мне говорит, — я думал, ты хоть чем-то отличаешься от всех остальных. Так мне казалось. А ты — такой же. Это жалко, шеф. Побереги хоть нервы.

Я встал тоже.

— Это хорошо, что я кричу. Вот когда ты мне совсем будешь до лампочки, я тебе слова не скажу. Это лучше будет?

— Ты знаешь — пожалуй, лучше.

Он закусил губу и пошел. Честное слово, мне жалко его было до смерти. И ненавидел я его — со вчерашнего вечера. И понять не мог — зачем человек не своим делом занимается?

А все уже в кубрик ушли. Один я остался — из-за салаги. А на палубе не дай бог задержаться.

— Эй, как тебя? Шалай? — Жора-штурман мне кричит. — Кто шланг оставил?

— Кто же оставил? Кто бочки заливал.

— У, салага, мешком трехнутый! Убери-ка его.

Пошел убирать шланг. За это время он мне еще работу нашел.

— Глянь-ка, вон бочка слева стоит, шестая.

— Ну?

— Привяжи-ка ее, от греха подальше, покатится.

Это уж Васька Буров мне удружил, сачок.

— И рыбодел не привязали.

Уж все на обед пронеслись галопом, а я все возился. Вот те и Алик! «Неужели все?» Я взмолился наконец:

— Жора, всей работы на палубе не переделаешь. А мне на руль идти.

Он махнул рукой.

— Иди обедай. Боцмана позови ко мне.

Пока я рокан скидывал, умывался, уже в салоне битком набилось. Это у нас быстро делается — не хочется же по переборочке жаться, за столом только восьмеро помещаются. Да еще обязательно кто-нибудь из штурманов или механиков рассиживает — нет им другого времени пообедать.

В данный момент третий штурман расслаживал. Доедал не спеша компот, а косточки сплевывал на ложечку — в мореходке, поди, научился. Им там, поди, специально лекции читают — как себя в обществе вести. Так он, значит, посиживал, а мы по переборочке жались. И он же нам еще и говорит:

— Вам,—говорит,—обед сегодня не полагается, мало рыбы взяли. Одиннадцать бочек — это разве улов?

— А кто ее искал? — спросил Шурка.— Ты ж на вахте был.

— Эхолот ищет, не я.

Все, конечно, шуточки. Только шутить не надо, когда всем обидно из-за тонны мыкаться.

— Это вот точно,—сказал ему дрефтер,—к эхолоту еще мозги требуются.

Тот застыл с ложечкой, медленно стал бледнеть.

— Не понял. Прошу повторить.

Дрифтер взял, да и повторил, ему что. Да еще прибавил в том смысле, что кое-кто у нас на пароходе чужой хлеб ест.

— Твой, что ли?

— И мой в том числе.

— Прошу — персонально. При свидетелях. Кого имеешь в виду.

Дрифтер смолчал через силу. Его уже и за локти дергали, и на ноги наступали. Бондарь зато высказался:

— Ты б, Сергенч, не шумел бы, видишь — люди с выборки пришли, устали, как собаки, могут чего и лишнего сказать — про кого, и сами не знают. А ты на себя примешь. Это не надо.

Тоже миротворец. В нем такая змея сидит, на всех яду хватит. И как чуть скандалом запахло, он тут, с добродушной такой ухмылочкой. Третий пошел к двери, сказал:

— Я лишнего от себя не прибавлю. А то, что тут было сказано, считаю нужным довести до сведения капитана.

— Валяй, доводи,—дрифтер опять не стерпел,—это ты умеешь.

И только за третьим дверь захлопнулась, Васька Буров поддакнул:

— Да чо с него взять-то, с Шакал Сергенча? С чужим дипломом плавает.

И пошло на эту тему:

— Как так — с чужим?

— А украл он его, наверно.

— Только «фио» проставил.

— Да шельма же, по глазам видно. Бандюга со шрамом.

Димка все эти речи слушал, посмеивался, переглядывался с Аликом, потом сказал:

— Очаровательная вы компания, бичи! Смотрю я на вас — не люблюсь. Непонятно мне, что вас объединяет. А доведись вам сообща против кого-нибудь... сомневаюсь, хватит ли вас.

Я увидел — все на него смотрят злыми глазами. И молчат.

— Будет вам,—кандей Вася вмешался,—передеретесь еще в салоне.

Он притащил целый таз с жареной треской и вывалил на стол, на газетку. Нам в этот день четыре трещины попались, и он их всю выборку за бортом держал, на прядине, только сейчас живыми кинул на сковороду. Потому что, как говорил наш старпом из Волоколамска, «ее, заразу, нужно есть, когда она в состоянии клинической смерти». И тут, конечно, все споры кончились. А дальше я не знаю, мне на руль было идти.

Сменял я помощника дрефтера, Гешу. А у Геши часы золотые на руке, он их и во время выборки не снимает, и всегда ему кажется — он лишнее на вахте стоит.

— Может, ты б еще через часик пришел? — спрашивает. — А то слишком рано.

— Знаю, что рано, — говорю, — да там кандей трески нажарил, мне жалко стало, что тебе не достанется.

— Семьдесят градусов, руль сдан.

— Порядок. Руль принят.

А встал я минута в минуту, еще Жору-штурмана не сменяли. Как раз вместе со мною третий заступал, а он-то не опаздывает, Жору боится. Жору и капитан боится. Ну, не боится, а прислушивается, потому что на самом деле ему бы старпомом плавать, а не плосконосому.

Пришел третий — нахмуренный, красный лицом, только шрам белел.

— Точны, как бог, Константин Сергеич. — Жора его всегда на вы зовет, хотя тот и младше его годами и чином. — Курс семьдесят, селедка ушла на бал. Увидите акулу — передайте привет. Адь!

Третий походил по рубке, зашел в штурманскую — там что-то эхолот пискнул, — спросил оттуда:

— Сколько держишь?

— Семьдесят.

— Держи семьдесят пять.

— Пожалуйста.

— Не «пожалуйста», а «есть держать семьдесят пять». Учишь вас, учишь, а все деревня. Никакой флотской четкости от вас не дожدهшься.

Вышел опять в ходовую, опустил окно. Внизу как раз прошел дрефтер — руки за поясом, штаны сзади блестят, голенища желтым вывернуты наружу, за голенищем — нож. Рыбацкий шик.

Третий сплюнул на палубу, повернулся ко мне.

— Как ты относишься, что он на тебя замахивался?

— Кто замахивался?

— Ну, чего виляешь? Свайкой он на тебя замахнулся или нет?

— Я тоже на него замахнулся. Даже вроде бы кинул.

— Ты тоже не на высоте. Но он первый начал. Это все видели.

— Ладно, забыто уже.

— Ха! Думаешь, он тебе забыл?

— Почему я знаю. Я ему забыл.

— Ну и дурак. Такие вещи нельзя оставлять без последствий.

— У него работа нервная.

— А у тебя — спокойная?

Мне неохота было лезть в ихнюю склоку. Она у них теперь не кончится. Как у меня с бондарем. Тоже друг друга невзлюбили — значит, нужно на разные пароходы расходиться, а не выяснять.

— Слушай, Сергеич, я жаловаться к кепу не пойду. Предпочитаю своим способом.

— Это, знаешь ли, порочный способ. Так ты только руки ему развязываешь. Устанавливаешь, понял, ненормальный стиль отношений на флоте. Слыхал, как он в салоне распоясался?

Я промолчал. Он так всю вахту проспорит.

— Сколько держишь?

— Восемьдесят.

— А я тебе сколько сказал?

— Семьдесят пять.

— Как же так? Точней на курсе!

— Есть!

Следил, как я одерживаю, выравниваю курс. Не все ему равно — идем на поиск, море прочесываем. Потом надоело следить, охота была высказаться.

— У тебя какое образование?

— Семь классов.

— Видал! А у будки — всего четыре. А он на тебя орет, замахивается.

Я промолчал.

— Какого же хрена ты в матросах кантуешься? Тебе в мореходку надо идти.

Я кивнул. В мореходку так в мореходку.

— Я серьезно говорю. Охота тебе в кубрике с восемью рылами сидеть? Выслушивать от каждого... Что дрефтер, что боцман... А у тебя же голова светлая!

Я засмеялся. С чего это он взял — насчет моей головы?

— Чего смеешься? Плакать надо. Так и подохнешь в кубрике. Я те точно предсказываю.

— «Дед» мне то же самое предсказывает. Только — под забором. И — в механики зовет.

--- Ты «деда» не слушай. «Дед» у тебя, знаешь... Хотя, в общем-то, он прав. Но лучше — в штурмана иди. У тебя дело будет в руках, понял? Знания какие-то. А когда дело в руках — и делать ничего не надо, понял?

— Нет.

— Чего тут не понимать! Вахточку отстоял — и гуляй шестнадцать часов в сутки, плюй на всех с клотика. Купишь себе макен, мичманку наденешь. Есть же у тебя стремление к полноценной жизни, курточку вон какую отхватил. А представь — ты штурман. В макене ходишь. с белым шарфиком, берешь такси, едешь в ресторан, развлекаешься, как человек. Тебе уважение. И не рассусоливай в жизни, не мямли. Надо быть резким человеком, понял?

— Ага.

— Сколько держишь?

— Семьдесят два.

— Точней на курсе! А все эти... Их надо на место ставить. Холодно, резко, понял?

— Понял. Надо быть резким человеком.

— Во! Столько и держи.

Опять запищал эхолот. Третий сбегал туда и вернулся, сплюнул вниз, на палубу. Плевался он длинно, это у него хорошо получалось.

— Ты женатый?

— Нет пока.

— Что ты! Цены тебе нету. Свободный, незатравленный. А я одной стерве двадцать пять процентов от сердца отрываю, от другой отбиваюсь, а там пацан, понял? Такой пацан — закачаешься! «Папка у меня стулман», понял? Характером — весь в меня, даже не платить жалко. Будет резким человеком. Если она его не испортит. Вот я чего боюсь.

Хлопнула дверь — кеп вошел, в шапке, в телогрейке, в тонких сапожках, как у кавказских плясунов. На палубе в таких не ходишь, но капитаны, бывает, неделями на палубу не выходят. В шапке у него решительный был вид, моряцкий, не скажешь, что лысина, как поднос. Первым делом он на эхолот поглядел, потом на компас. Нахмурился.

— Сколько он у тебя держит? Лодочными зигзагами он у тебя ходит¹.

— А ну точней! — сказал третий. — Ты что, бухой?

Спорить тут бесполезно. Они лучше моего знают, что картушка на месте не стоит ни секунды. Держишь в общем и целом. Но поворчать полагается.

— Не ходи зигзагами, — кеп мне говорит.

— Я не хожу.

— Ты-то не ходишь, пароход ходит.

— Есть не ходить.

Слава богу, эхолот заверещал опять. Оба туда кинулись.

— Можно бы и метнуть, — сказал третий. — Худо-бедно...

— А глубина? Сейчас-то погода слабая, она, видишь, по дну идет.

А к ночи — хрен знает, на сколько она поднимется.

Снова вернулись в ходовую.

— Норвежец вон уже на порядке стоит, — третий заметил. — Спросить бы у него, на сколько забрасывали?

— Я те спрошу! Еще чего придумай.

Норвежец был весь оранжевый. На палубе, у лееров, стояли двое в черных роканах, смотрели, как мы проходим. Почему бы и не спросить у них? Надо только выйти на мостик, показать пальцем вниз, нарисовать вопросительный знак. Жалко им, что ли, ответить?

— Давай-ка сами проверим, — сказал кеп.

— Да неудобно, Николаич.

— Неудобно штаны надевать через голову.

Третий по телеграфу сбавил ход до малого и ушел к эхолоту. Справа по ходу качались на зыбях норвежские кухтыли, красная цепочка длинной с полмили. У них порядки покорооче наших, да ведь и суда поменьше.

— Правее держи, — сказал кеп. — Пройдешь между кухтылями?

— Постараюсь.

— Не «постараюсь», а надо не задеть.

Всегда так делают на промысле, если надо пройти через чужой порядок. Но я так думаю, норвежцы-то поняли, что мы их проверяем. Для чего же мы курс меняли? Те двое, что стояли на палубе, так весело переглянулись. Даже кеп смутился.

Эхолот пискнул и смолк. Это мы прошли над их сетями.

— Восемьдесят, — сказал третий.

— Ну вот видишь. И спрашивать не надо.

Норвежцы глядели на нас и скалились.

— Давай-ка полный, — сказал кеп.

Третий перевел ручку телеграфа. Но справа кто-то уже нас обгонял, быстренько, как стоячих. По синему борту бежали белые буквы. Третий их читал, шевелил губами.

— «Герл Пегги. Скотланд».

— Шотландец, — сказал кеп. — А ты — «Скотланд». То-то и видно, что диплом у тебя не свой.

Лицо у третьего пошло пятнами.

— А ходко идет, — кеп позавидовал. — И всего-то навсего автомобильный движок у него.

— Обводы зато хорошие.

— Обводы — мечта!

Шотландец нас обошел — стройный, гордый, как лебедь. Мы смотрели на его корму с подвешенной шлюпкой — такой же синей, лаковой, как

¹ Капитан, очевидно, имеет в виду «противолодочные» зигзаги, которыми ходит миноносец, забрасывающий глубинными бомбами подводную лодку.

его борт. Из камбуза вышел повар в белом колпаке и фартуке, с ведром. Он на нас посмотрел, чего-то крикнул кому-то в дверь и выплеснул с кормы помой. Это было прямо у нас по курсу.

— Нахалы,— сказал кеп.— Нахалы, больше никто. А ты еще спрашивать у них хотел.

— Я не у них. Я у норвежцев.

— Все хороши. Аристократы вонючие.

Из радиорубки вышел в ходовую «маркони». Чего-то он улыбался хитро, смотрел вслед шотландцу, потом сказал как будто между прочим:

— Николаич, радиограммку примите.

Кеп на него уставился грозно:

— От этого, что ли? От «Пегги»?

— Ага.

— А зачем принял?

— Случайно.

Кеп ее взял двумя пальцами, как лезвие.

— Детством занимаются. «Иван, селедки нет, собирай комсомольское собрание». Хоть бы новенькое чего придумали.

Скомкал ее, кинул за борт через окно.

— Больше мне таких не подавай. Делать тебе нечего.

— А я чего? — «Маркони» мне подмигнул.— Они на совет капитанов настроились, знают волну.

— Врешь ты все. Сам на них настроился.

— Проверьте.

Кеп поглядел на часы. И правда, пять было, как раз совет капитанов. Он ушел в радиорубку и там, слышно было, забубнил:

— Восемьсот пятнадцатый говорит. Здравствуйте, товарищи. Сегодня первая выборка у нас. Взяли маловато, одиннадцать бочек. Глубина шестьдесят. Сегодня думаю метнуть на восемьдесят. Есть такое предположение...

Вышел мрачный, походил по рубке, снова пошел смотреть эхолот.

— Пишет все, пишет... Мелочь пузатую. Или планктон. Ладно, пойду к себе. А ты позови, когда чего-нибудь дельное напишет. И следи, как полагается, а то ты ему лекции читаешь...

Откуда он наш разговор слышал? Наверно, по трубе из своей каюты. Она хоть и заткнута свистком, но услышать можно, если уши иметь. И желание.

— Ему не я читаю,— сказал третий.— Ему «дед» читает, в механики зовет.

Кеп себя постучал пальцем по лбу — мне видно было краем глаза.

— Чем бы дите ни тешилось... Тоже дите, хоть и старое.

Пошел было, потом опять вернулся, поскреб щеку.

— Между прочим, собрание бы надо провести. Есть кой-какие вопросы.

— Значит, не зря я вам радиограммку подал? — спросил «маркони».

Кеп рассердился:

— Делом займись, Линьков. Аппаратуру свою изучай, повышай квалификацию. Тоже детством занимаешься...

Я потом спросил:

— Почему это он «деда» не любит?

— Точней на курсе,— сказал третий.— Вправо ушел. Не ходи вправо.

Больше мы не говорили.

Потом я сменился и пошел глупыша проведать. Он уже всю селедку успел слопать и поднагадил, конечно. Я ему все почистил, потом надер-

гал из шпигатов еще несколько селедин. Там они всегда застревают, никакой струей их оттуда не вымыть.

Фомка поглядел на это богатство, одну заглотал сразу, другие накрыл крылом. Он уже меня совсем не боялся, не зарывался головой в перья, когда я руку подносил. Но с крылом у него плохи были дела, я чуть задел случайно, и он закричал, забился. И потом уж смотрел на меня сердито, только и ждал, когда я уйду. Вся дружба наша полетела прахом.

11

Собрание мы в этот же день провели. Не комсомольское, правда, а судовое.

Собираемся мы в салоне. Ну, летом в погожий день можно и на палубе, а так — в салоне, это у нас самое большое помещение. Почти все оно занято столом, с двумя лавками, на одном краю стоит кинопроектор, а против него простыня натянута вместо экрана. В камбузной двери — окошко, оттуда кандей подает «юноше» миски и кружки, и в это же окошко они смотрят фильмы.

Набились плотно, все пришли, кроме вахтенных. Кеп нам сделал доклад: рейс у нас — сто пять суток, за это время мы пять раз должны подойти к базе, сдать пять грузов, а шестой на себе повезем в порт. Всего план у нас — триста тонн, за выполнение — премия двадцать процентов, за каждую тонну сверх плана — еще по два процента, пока их сорок не наберется, а там — шабаш, хоть всю Атлантику вылови, платят только за рыбу — рубль тонна.

— Ну, высказывайтесь, моряки, сколько берем перевыполнения?

Помолчали. Крепко помолчали. Потом Шурка высказался — он у кинопроектора сидел и крутил ролик. С другой стороны ролик крутил Серега.

— Это как заловится, — сказал Шурка.

— Само собой. Но обязательство-то взять нужно.

Опять помолчали. Васька Буров попросил слова и брякнул, как в воду кинулся:

— Триста одну тонну!

Кеп усмехнулся.

— Всего-то одну? Ну, Буров, ты даешь стране рыбы!

— Да по мне хоть четыреста, разве жалко. Только не заловится.

Жора-штурман, которого мы секретарем выбрали, разрешил сомнения:

— Об чем спор? В прошлый раз на триста двадцать взяли обязательство, а выловили триста пять. И — что? Такие же сидим, не похудели.

Так и проголосовали — за триста пять. Кеп не стал спорить, записали это в протокол.

— Только прошу заметить, — сказал кеп. — Если мы, как сегодня, будем брать, это мы в пролове будем как пить.

Дрифтер только того и ждал.

— А это уж не от нас зависит. Мы со своей стороны — все приложим. Но кто ее ищет? Штурмана ищут. А они должны искать по всей современной науке, а не так, как вчера.

Третий заерзал на лавке.

— Сколько нашел, столько и застолбил. Значит, не было больше.

Дрифтер на него не глядел.

— Вопросик у меня в связи с этим.

— Давай свой вопросик, — сказал кеп.

Лицо у дрифтера засияло, залоснилось.

— Вот у нас некоторые штурмана без дипломов ходят. Могу я им доверять, когда они на мостике? И жизнь свою доверять, и рыбу.

— Кого имеешь в виду?

— А пусть он сам выступит, собрание послушает.

Все поглядели на третьего. Он встал, весь красный.

— Кто тебе сказал, пошехонец, что у меня диплома нет? Могу показать.

— Мне чужого не надо, я на твой хочу поглядеть.

— Черпаков,— сказал кеп,— что у тебя с дипломом?

— Да,— сказал дрефтер,— объясни собранию.

— Есть у меня диплом. Только справки нет об экзаменах.

— Где ж ты ее потерял? — спросил дрефтер.

— Не потерял, а в порту оставил.

Дрефтер взревел:

— Попрошу в протокольчик! Справки при себе не оказалось.

— Не гоношись, у меня только два экзамена не сдано.

— Попрошу в протокольчик! Два экзамена не сдано. Как же тебе его выписали, если не сдано?

— Ну, выписали. Обязался попозже сдать. В рейс надо было идти, вот и выписали.

— Сколько ж поставил? Банку? Или две?

— Не твое дело, пошехонец.

— Черпаков,— сказал кеп.— Чтоб ты мне оба экзамена сдал срочно.

Какие у тебя не сданы?

— Сочинение по литературе. И морская практика. В порт придем — тут же сдам.

Дрефтер опять вылез:

— Нет, не в порт. До порта я еще с тобой плавать должен, жизнь свою доверять. А экзамены ты можешь на базе сдать, там тоже преподаватели имеются.

— Нужно ж еще подготовиться.

— Вот и готовься. Вахточку отстоял — и готовься. А нечего ухо давить и фильмы смотреть. Откажись от кое-каких соблазнов, а сдай, всей команде на радость.

Кеп сказал:

— Придется, Черпаков. Какой первый сдашь?

— Какой потрудней. Сочинение.

— Попрошу в протокольчик! На первой базе он сочинение сдает, а на второй — практику.

Занесли и это. Третий сел как побитый, сказал дрефтеру:

— Добился, пошехонец.

— А я не для себя стараюсь. Для всей команды.

— Добро,— сказал кеп.— Какой там следующий? Быт на судне? Вот, с бытом... Прямо скажем, хреново у нас с этим бытом. Сегодня в салон вхожу — Чмырев какую-то историю рассказывает Бурову и матерком перекладывает, как извозчик дореволюционный. Салон у нас или сапожная мастерская?

— А чо? — спросил Шурка.— С выражением!

— Так вот — без этих выражений. А то мы без женщин плаваем, так сами себя уже не контролируем.

Опять помолчали крепко.

— Николаич.— сказал дрефтер.— Вы ж сами иногда... на мостике.

— И меня за руку хватайте.

— Есть предложение,— Васька Буров руку поднял.— Записать в протокол: для оздоровления быта — не ругаться в нерабочее время.

Кеп махнул рукой.

— В протокол этого записывать не будем. В протокол запишем — совсем отказаться. Но языки все же попридержим.

Проголосовали за это.

— Теперь насчет стенгазетки,— сказал Жора.— Хоть пару разиков, а надо б выпустить.

Сергея сказал угрюмо, не переставая ролик крутить:

— Это салагам поручить. Они у нас хорошо грамотные.

— А что? — сказал кеп.— Это разумно. Только не салаги они, а молодые матросы. Как они, согласны?

— Сляпаем,— сказал Димка.— Алик у нас лозунги хорошо пишет.

— Вот, шапочку покрасивей. Только название надо хорошее придумать, звучное.

— Есть,— сказал Шурка.— «За улов!».

Кеп поморщился.

— А пооригинальней чего-нибудь нельзя? «За улов!», «За рыбу!». А что-нибудь этакое?..

— «За улов!»,— Шурка настаивал.— За ради чего мы тогда в море ходим?

Проголосовали — «За улов!». На том и разошлись мирно.

12

Среди ночи я проснулся — от какого-то стука.

Ребята в койках постанывали — должно быть, плохое снилось.— и я понял, что качает нас. Меня самого переваливало с боку на бок, и никак я позы не мог найти, и все тело ныло от жоака. А на палубе что-то каталось, стучало. Я не выдержал, полез из койки.

Луна пропала, и вокруг не видно было огней. Наш топовый и на штаге едва светились. И море как будто всхрапывало в темноте. А перекатывалась пустая бочка, олух какой-то не закрепил. Я ее поймал, привязал поводцом.

В окне рубки кто-то маячил — темный, чуть подсвеченный из нактоуза. Я так и не понял, кто на вахте и который час. Он врубил прожектор, окликнул:

— Кто на палубе?

— Тебе не все равно?

— Что ходишь, как привидение?

— Бочку закрепляю.

— Во, правильно. А то по нервам стучит.

По голосу — как будто Жора. Его вахта с полуночи до четырех. Вот это и было мне интересно — сколько еще спать осталось.

Раскачивало все сильнее, но никто не проснулся. Я себе под бортик положил свернутую телогрейку, и тоже стал задремывать и все кого-то просил, чтоб мне никаких кошмаров не снилось.

Утром нас не будили долго — оказывается, старпом там с кепом совещались, выбирать ли сегодня. Потом старпом пришел все-таки.

— Штормит, мальчики, а выбирать надо.

Еще из капа видно было, как штормит,— брызги даже сюда залетали, хотя дверь смотрит в корму. Стучало по брезенту, которым трюма накрыты, и долетало до стекол рубки, залепляло их пеной.

Одевались в роканы молча и не спеша, и никто нас не подгонял — все равно выйдем, никуда не денемся. Только Алик спросил, когда выходили:

— Неужели и в такую погоду выбирают?

Никто ему не ответил.

Горизонт затянуло струями, как кисеей, и мы стояли по местам, как солдатики, в зеленом, и роканы вмиг заблестели. Не разглядеть под зюйдвестками, кто где стоит. Все одинаковые, и у всех на лице одно — жить не хочется.

У меня работа в этот раз была легкая, потому что рыбы в сетях было много и вытрясали ее подолгу, вожак шел медленно. Я и Ваську Бурова вспомнил: «Тебе там всех теплее будет, в трюме». Разве что с вожака лилось за шиворот. Но уже на второй сетке дрейфтер ко мне заглянул:

— Вылазь, Сеня, помоги на тряске.

Это справедливо — когда работаешь на палубе, нет хуже, если кто-то сидит и перекуривает. Хоть он свое дело сделал, все равно — звереешь от одного его вида. А тем более тут еще на подвахту вышли — «маркони», старпом и механики. Не много от них помощи — сгребают рыбу гребком, подают сачками на рыбодел, а на тряску никто из них не становится. А самое трудное — тряска.

Я встал у сетевыборки — сеть шла из моря широкой полосой, вся в рыбе, вся серебристая, вся шевелилась. Серега и дрейфтеров помощник с двух сторон цепляли ее под храпцы барабанов — за подбору, которой она окантована, а посередине тащило ее рифленным ролом, и сеть переваливалась через рол, рыбьими головами к небу, прямо к нам в руки.

Берешь сеть за подбору или за край, где свободно от рыбы, обеими горстями и — вверх, выше головы, все тело напрягается, ноет от ее тяжести, а ветер несет в лицо чешую и слизь и в глазах щиплет; потом — вниз, рывком — и рыба плюхается тебе под ноги, рвешь ей жабры, головы, брызжет на тебя ее кровь. Всю ее сразу не вытрясти, но это уже не твоя работа, твоих только два рывка, а третьего не успеваешь сделать, сеть идет дальше, пропускаешь с полметра и снова берешь обеими горстями, и вверх ее, выше, выше, и — рывком вниз. Сначала только плечи переставешь чувствовать, и спина горит, как сожженная, и ты даже воде рад, что льется за шиворот. Потом начинают руки отниматься. А рыбы уже по колено, не успевают ее отгрести, и как успеешь — мотает ее с волной от фальшборта до трюмного комингса, и нас мотает с нею, ударяет об сетевыборку, друг об друга, и ногу не отставишь, стоишь, как в трясине. А если еще икра — скользишь по ней, как по мылу, а держаться не за что, только за сеть.

Мы уже до бровей — в чешуе, роканы — не зеленые, а серовато-розовые, сапожищи посеребрились и окровавились. И самое удивительное — мы еще покуривать успеваем в рукавчик, по одной, по две затяжки, потом «беломорину» кидаешь в варежку и так передаешь другому, иначе ее залепит, — и потравить успеваем кто о чем. Вон я слышу — Васька Буров сказку рассказывает: «Жил на свете принц прекрасный и любил он одну красивую бичиху...» Бочман какой-то анекдот загибает, который я вам тут не перескажу, дрейфтеров помощничек Геша долго в соль вникает и ржет, когда уже все оторжались, и все уже над ним ржут.

Потом меня оттолкнули — дальше, на подтряску. Это кажется просто раем, такая работа после тряски. — сеть идет уже легкая, пять-шесть седелок невытрясенных на метр, и кое-где еще головы оторванные застряли, это чепуха вытрясти, можно и рукой выбрать, времени хватает. Потом она идет на подстрельник, переливается и ложится складками на левом борту. Там ее трое укладывают — один посередине, себе под ноги, двое по краям, за подборы. Но это уже просто отдых, а не работа: и тем, кто поводцы отвязывает и крепит их на вантине, тоже отдых — можно и посидеть на сетях, пока следующую подтягивают. Туда посылают, когда дойдешь на тряске. Всех, кроме вожакowego. Ему — опять в трюм.

До обеда мы только двадцать сеток выбрали. А их девяносто шесть. Или девяносто восемь. Никогда нечетного числа не бывает. Не знаю почему. Говорят, «рыба чет любит, а от нечета убегает». Суеверие какое-то. Много у нас суеверий. И сотню она не любит, нужно сто две тогда, сто четыре.

А уже все забито бочками. Сколько же мы возьмем сегодня — триста, четыреста? Мы уже и счет потеряли, только знай трясли до одурения, мотались по колено в рыбе, пока нам кандей не покричал с камбуза:

— Команде обедать!

Еще минут пять мы трясли, сгребали рыбу, откатывали бочки, пока это до нас дошло. Тогда враз остановились. И поплелись в кап — снимать роканы.

— Полундра, ребята, — дрифтер нас завернул, — рокана не снимать. Обедать в смену будем, в корме. А то и до ночи не разгребемся.

Да, уж если до подвахты дошло — не разгребемся. Четверо пошли обедать, а мы еще остались — солить, запечатывать бочки, в трюм их грузить. Ни рук уже не чувствовали, ни ног, и злы были на весь белый свет — до того, что уже и молчали. Раз мне только бондарь сказал, когда я ему бочкой на сапог наехал:

— Когда ты уже умрешь?

Спросил равнодушно, как будто и без злости. Только я ведь знаю — когда так спрашивают, тут самое страшное и случается. Я ему только ответил:

— На второй день после твоих похорон.

И отошел подальше.

Потом эти четверо вернулись и нас сменили. Мы не утерлись даже, не вымыли ни рук, ни сапог, полезли по бочкам в корму. Сели на кнехты — Ванька Обод, салаги и я. Здесь не каплет, не брызжет, только сиди крепче, чтоб не свалиться. Кандей нам вынес борща в мисках, и мы их поставили себе на колени.

В волнах носилась косатка, переваливалась серым брюхом под самой кормой, шумно выдыхала из черного своего дыхала. Кандей ей кинул буханку черного — улестить, чтоб к нашей селедке не подбиралась. А то, не дай бог, в сетях еще запутается — она ведь не успокоится, пока не освободится, все сети может изодрать.

Потом кандей нам в те же миски насыпал каши с солониной, принес по кружке компота. И все, нужно снова на палубу.

Салаги хотели было перекурить, Алик сказал:

— Передохнем хоть.

— У мамы отдохнешь, — Ванька ему ответил.

— Какая же работа без перекура? Это ж святое дело.

— Есть такая работа, — я ему сказал. — Это наша, рыбацкая работа. И в ней ничего святого нет. Запомни это, салага. Чем скорей ты это усвоишь, тем легче жить.

Динка сказал:

— Пошли, Алик, пошли. Есть все-таки святое. Это слова нашего дорогого шефа.

Этот как будто понял. Можно, конечно, и выгадать время. Но только потом в сто раз труднее будет, из темпа выбьешься. Лучше уж сразу себя загнать до полусмерти, а потом повалиться в койку и выспаться, чем разбивать себя перекурами.

Рыбу уже всю сгребли и палубу расчистили, ждали только нас.

— Давай по местам, — сказал дрифтер. — Начнем по новой вирать.

А когда он сам успел пообедать, никто не заметил.

После обеда Жора-штурман сменился, на вахту вышел третий. И тут у них с дрифтером начался раздрай.

Началось с акул. Пришли к нам, родименькие, штук пять или шесть. Почуяли, что тут рыбы навалом. А они ее не просто из сетей выжирают, а вместе с делью¹ — никак ее потом не залатаешь. Сельдяная акула длиной чуть побольше метра, но прожорливые же они, никакого сладу с ними нет.

Одна все-таки запуталась в сетях, бичи ее ко мне в трюм кинули:
— Поиграй с нею, Сеня, развлекись!

Она, сволочь, тут же перестала трепыхаться, распласталась на вожаке, только глаза зеленые светились в темноте. Красивая, ничего не скажешь. Как торпеда. Я с ней и вправду «поиграл» — погладил варежкой, подергал за плавники, за хвост. Лежала, как мертвая. Я подумал: может, и вправду померла уже, — и сдуру ей варежку сунул в рот, толстую, брезентовую. Чуть заметна она двинула челюстями и полварежки отрезала, как бритвой. Я ее выкинул на палубу:

— Наигрался.

Серега ее взял за хвост, треснул головой об планшир и выкинул в море. С полминуты она полежала брюхом кверху, потом перевернулась и пошла к сетям. И снова попалась. Тогда к ней бондарь подошел с ножом и ошкерил ее, вывернул внутренности. И только чуть подольше она полежала брюхом кверху — теперь уж раскрытым, кровавым, — а потом снова перевернулась и поплыла — выжирать селедку. Я уж не мог на это смотреть, полез в трюм. Но и тут было слышно, как эти твари плещутся, точно суп кипит, и лязгают челюстями.

Третий вышел на мостик и стал в них сажать из ракетницы. Одной прямо в пасть шарахнул — вспыхнуло между зубами. А та хоть бы глазом моргнула — захлопнула пасть, погрузилась и снова вынырнула. Живая и здоровая.

Так вот он, значит, стрелял акул без всякого толку, а дрифтер смотрел на это дело и накалялся. Потом спросил:

— Стрелять будем или подработаем?

А подработать и правда не мешало — растянуть порядок, потому что волна и ветер его складывают, это еще похуже, чем акулы, будешь потом век расцеплять сети, распутывать.

Но третий отчего-то заупрямился.

— Кто вахтенный штурман? Я или ты?

— Я говорю — подработать надо назад.

— А я считаю — не в свою компетенцию суешься.

Дрифтер вышел на середину, против рубки.

— Тебя по-хорошему просят — подработай!

Но орал он уже не по-хорошему, пасть разинул, как у той же самой акулы; я думал — тот ему как раз туда ракетой пальнет.

— А я тебе по-хорошему отвечаю — мелко плаваешь, понял?

— Ты будешь работать или нет? — Дрифтер совсем уже бешено орал. — Сейчас всю команду распускаю к такой матери!

— Ты на кого орешь, пошехонец! Видали таких!

Третий уже стоял в рубке и орал из окна. Бледный, как известь, а шрам еще белее.

— Нет, — сказал дрифтер, — таких я еще не видал кретинов.

— Ты с кем это при команде так разговариваешь? Ты со штурманом, твою мать, разговариваешь!

— А я штурмана не вижу. Я лодыря вижу и кретина. Один шрам тебе сделали, другой сделаем для равновесия.

— Ну. ты у меня запоешь!

¹ Дель — сетное полотно.

- А я и пою!
- Ты при капитане запоешь!
- И при капитане запою!

Мы стояли, работу бросив, смотрели, как они лаются на ветру. Брызги их обдавали, мотало штормом, но дело еще только разгоралось. А нам, палубным, передышка. Мы тем временем закурили, из каждого рукава дымок поплыл.

- Пошехонец!
- Лодырь!
- Мешком тебя из-за угла пыльным...
- Диплом украл...

И так бы они еще долго обменивались, а мы б себе перекуривали, но тут кеп вышел в рубку. И оба враз замолчали, тишь и гладь на пароходе. Дрифтер пошел к своему шпилю, а третий, конечно, подрабатывать начал. И мы разошлись по местам.

Дрифтер сказал хрипло:

- Придется до чаю работать, ребята. Рыбы на борту, что грязи.

И чай пили тоже по сменам, на кнехте, и выбирали потом до ужина, а она все шла и шла, сетка за сеткой, сплошная серебряная шуба. Темень наступила, и врубили прожектора, и мы, уж за полночь, трясли, подгребали, откатывали бочки, доставали порожние, и все не кончалась она, треклятая...

А кончилась — как-то вдруг, никто и не ждал. Вожак кончился, последняя сетка, бочка последняя ушла в трюм.

Сколько ночи прошло, пока задраили трюма, не знаю. Я заклинивал брезент и попал себе ручником по пальцам, а боли не услышал, как будто и боль во мне вся кончилась.

Потом еще, помню, когда шел в кап, меня прихватило волной, и я встал на одну ногу, взялся рукой за дверную задрайку и выливал воду из сапога. Ведро, наверно, вылил. Потом из другого. А первый у меня подхватило волной, и я за ним бежал босиком. Догнал и швырнул оба сапога в кап. Уже не думал, что в кого-нибудь попаду.

В кубрике спали уже, только роканы скинули на пол, а Димка еще мучился с Аликом, стаскивал с него, спящего, буквы и сапоги. Я стал помогать Димке, но уж не помню, стащили мы эти буквы или нет. Не помню, как долез я до койки и что успел подумать перед тем, как заснуть...

...А через час подняли нас снова — на выметку.

Так она шла четыре дня, подлая рыба. По триста пятьдесят, по четыреста бочек за дрейф. И каждый день штормило, и мотало нас в койках, и снилось плохое. А потом сразу кончилось — не пустыря дернули, но и не заловилась она, как в эти четыре дня. Эхолот ее нащупывал, большие под килем проходили сигары, но в сети как-то не шла.

Часам к двум я уложил последнюю бухту и вылез. Палуба была вся мокрая, серая и вдруг зажелтела от солнца. Облакаплыли перистые, к ветру, к перемене погоды, и волна шла себе мелким бесом, сине-зеленая, с белыми барашками. Это уже можно пережить.

И вожак тоже можно пережить. Не привык я к нему, нельзя к нему привыкнуть, а просто разобрался что к чему — когда нужно «шевелить ушами», а когда и побережься, что он тебя рванет со шпиля, когда попридержаться, услышать вовремя, что сетку подводят, а когда можно и на палубу вылезти, покурить у всех на виду, и никто слова не скажет.

- Ну как, Сень? — спросил дрифтер. — Освоил вожачка?

— Помаленьку.

— Вот как скайлаешь его от прсысла до порта, тогда и домой пойдем.

И правда, я посчитал — как раз за рейс и выберу эти две тысячи миль.

Я сплюнул и пошел к бочкам.

13

В этот же день к нам почта пришла и картины. Один СРТ доставил, «Медуза», из нашего же отряда. Позже нас он на неделю вышел на промысел.

Бондарь приготовил пустую бочку, Серега достал багор с полатей. Как-то уж само собой вышло, что он и за киномеханика, и вот, если надо, с багром — то почту тащить, то чей-то кухтель потерянный подобрать. А кеп уже стоял с «матюгальничком» на крыле рубки.

«Медуза» встала от нас метрах в пятнадцати, и кепы начали переговоры:

— Как самочувствие? — Это с «Медузы».

— Спасибо, и вам такого же. — Это наш.

— Что имеете?

— Имеем две про шпионов и эту... как ее...

Дрифтер сложил ладони рупором:

— «Берегись трамвая»!

Там пошло совещание. Потом с «Медузы» ответили:

— Товар берем.

— А вы что имеете?

— Заграничную, про карнавал. С песнями.

Кеп поглядел на нас. Я ее как будто видел в порту.

— Ничего, — говорю, — веселенькая.

Кеп опять приложился к мегафону:

— Махнемся!

Они запечатали бочку и кинули за борт, а сами отошли. Мы подошли, подцепили багром, бросили свою. А пока вот так маневрировали, каждый во что горазд перекрикивался с парохода на пароход:

— Васька! А Васька! Жеку Татаринова не встречал, часом?

— Как там Верочка? Жива-здоровая?

— На сто семнадцатом Жека, они в Северное ушли.

— По сколько на сетку берете?

— В порядке Верочка. Физика себе оторвала, с «Липси».

Серега из бочки вытаскивал коробки с фильмами, газеты за прошлую неделю. И тощенькую пачку писем — еще не расписались там, на берегу.

Бондарь около меня говорил Сереге:

— Хороший пароход, я на нем ходил. Вон тот самолетик я же и делал.

— Кеп ничего там?

— Такой же.

— А дрифтер?

— То ж самое.

— А боцман?

— Разницы нету.

Я взглянул — и правда: пароход, как и наш, мы в нем отражались, как в зеркале. Такой же стоял на крыле кеп — в шапке и телогрейке, такой же дрифтер горластый, боцман — с бородкой по-северному, бичи — в зеленом, как лягушки. Такой же я сам там стоял, держался за стойку кухтыльника, высматривал знакомых. Вот, значит, как мы выглядим со стороны...

Кто-то меня толкнул под локоть. Бондарь. Глаза — как будто драться со мной хотел. А на самом деле — письма мне протягивал.

— Держи, нерусский.

А я ни от кого писем не ждал. Мать еще не знала, на каком я ушел. Но тут и от нее было, переслали из общаги. Всего три письма.

— Почему же это я нерусский?

— Фамилия у тебя нерусская.

— Какая же?

— Чучмек ты какой-то. И одеваешься не по-русски.

Вот, значит, из-за чего не поладили. Курточка виновата.

— Надо,— говорит,— сапоги русские носить, пинжак. А так тебя только шалавы будут любить, Лилечки всякие.

Ага, он уже и посмотрел от кого. Второе было от Лили. И еще от какого-то кореша, фамилии я не вспомнил.

«Медуза» дала три гудка, мы ей ответили — и разошлись. Она — дальше, к Оркнейским, ей еще больше суток было ходу. А мы — на поиск.

Я ушел на полубак, сел на свою бухту. Первым хотелось мне от Лили прочесть, но я его отложил. А распечатал — от матери.

«Сенечка золотой мой, что же ты не приехал под новый год, как обещал? Мы со Светой так тебя ждали, наготовили всего, а ты не приехал. С тех пор как я министру писала, чтоб тебе службу скостили, сколько прошло, а ты все равно на море остался, и к нам заезжал всего-навсего два раза, и то все проездом, проездом. Ну, приезжай хоть в эту весну да побудь подольше.

Света большая стала, невеста уже, и парни ее провожают из школы. Тебя каждый день вспоминает, забыл, говорит, нас Сенечка. И пишешь ты нам редко и все невпопад: сначала я за декабрь от тебя получила, а после уж за ноябрь. Огорчаешь ты своего очкарика. В рождество я на отцову могилу сходила, поплакала и стезжку протоптала. Золотой мой, купили еще дров на 20 рублей и, наверно, будут стеллажи под книги, ты ж читать любишь, так напиши, как их оставить — просто тесовые, не морить и не крыть лаком, может, это будет поабстрактней?

Встретила я днями Люсю. Она все незамужем и такая ж красивая, тебя помнит, приветы передает. И Тамара тебя помнит, хотя она с животом ходит, не знаю от кого, тоже незамужем. Она напротив нас раньше жила, вы в школу вместе ходили.

В Дворце культуры артисты выступали из Москвы, ой какие талантливые, очень красиво все преподнесли, я так восхищалась. Сидела я на 40 ряду и все было слышно и видно.

Золотой мой, беспокоит меня, что ты деньгам счету не знаешь, а ведь получаешь хорошо. Я как посмотрела на тебя в последний приезд, неужели больше себе ничего не купил, только костюм и пальто. Ты бы мне все присылал, я лишнего на себя не потрачу, и деньги твои целей будут. Золотой мой, напиши, как живешь, как нервы и настроение. Очень хочу, чтоб ты был спокоен, не нервничал и был здоров, только этого хочу.

Твоя мама Алевтина Шалай.

Сама я здорова вроде, ничего, иногда душит горло, но потом проходит.

А. Ш.»

Хорошо такие письма в море читать. Тут я себе сто клятв даю, что на все лето заверну в Оре.л. И самому не верится, что, когда вернемся, совсем другие будут планы.

Как же все получилось? Сошел я с крейсера — на год раньше других отпустили как единственного кормильца — и дал себе зарок, что больше я в море и пассажиром не выйду. А вышел — через неделю, на траулере. Надо же было, чтоб я на вокзале объявление прочел — тюлькиной конторы. Большой набор тогда шел, и деньги предвиделись немалые. Вот я и решил одну экспедицию сплавить. А потом у меня эти деньги увели. И я «деда» встретил. И решил еще разик сходить. Только один разик...

А Люсю эту я помнил. Не такая уж она красивая, но я с ней первой целовался и, кажется, любовь была; хотя, когда я из школы ушел, мы все реже и реже встречались. И все же она провожать пришла, когда меня призвали, ждать обещала — четыре года. А вот, оказывается, и до сих пор ждет. А может быть, и не ждет, просто судьба у ней не сложилась. И Тамару я помнил, только мы не вместе в школу ходили, а по разным сторонам улицы, как незнакомые. А потом она ко мне в депо пришла и сказала: «Теперь ты для Люськи ничто, понял? А для меня — все». Может быть, и здесь любовь была, она тоже на вокзал примчалась провожать, хотя я не звал ее, и смотрела издали, как я Люсю целую, — такими злыми глазами, в упор.

Все это — детство, к нему уже не вернуться. Я стал читать от Лили:

«Милый Сеня! Пишу на этот раз коротко. Не обижайся, что я не пришла. Я, должно быть, нарушила одну очень важную традицию, не помахала платочком с пирса, и по этому поводу усиленно угрызаюсь совестью. Но ты меня простишь, я знаю. Тем более что есть надежда увидеться очень скоро. И притом — в море. Вижу твои удивленные глаза. Правда, правда. Потому что есть такой решительный мужчина, товарищ Граков, начальник отдела добычи, который очень ратует за сближение науки с производством. Говорит, что мы ни черта не стоим, пока не увидим воочию, как она лозится — та самая селедочка, которая так хороша с луком и подсолнечным маслом. Это, правда, уже не он говорит, это я порю отсебятину, вкладываю свои слова в уста высокого начальства. А он решил взять с собою нескольких молодых специалистов. Представляешь, не на «Персее», а на самой настоящей плавбазе. Там мы проживем недели две и, конечно, сблизимся с производством на все сто и пять процентов. Не знаю еще, на какой именно плавбазе, но там же все это рядом, так что ты сможешь меня разыскать. Если, конечно, захочешь. Послезавтра отходим, а у меня еще ничего не готово. Надо написать уйму всяких писем и как минимум сделать прическу. Посему закругляюсь. Крепко жму твою мужественную руку, добывающую для страны неисчислимые рыбные богатства. До встречи в море!

Лиля».

Число она не проставила, но я так прикинул: «Медуза» шлепала семь суток, а письмо она бросила накануне — письма в море сразу же передают, с первым отходящим, — а база-то шла быстрее, уже она там. Только какая база? Их на промысле бывает и по две, вопрос еще, к какой мы подойдем? «Там же все это рядом... Если захочешь».

Ладно, я его отложил отдельно, сунул под рокан, в телогрейку. Стал читать третье:

«Добрый день, веселый час, пишу письмо и жду от вас!
Сеня, а мы про тебя вспомнили!

Не знаю, где ты сейчас, Сеня, где тебя море качает. Может, Северное качает, может, Норвежское, может, Баренцево. Но на Жорж-Бан-

ке тебя нету, Сеня. А мы как раз там. То есть не там, а тут. Хека серебристого берем и камбалу. Поэтому пишу тебе на общагу, чтоб переслали, где ты кантуешься.

Сеня, слух такой долетел до наших берегов, что на Черном море, в Сочи, влажность большая, а это вредно, как врачи установили, и за вредность решили платить рыбакам вроде нашей полярки. Говорят, что совсем разницы нету в оплате, так лучше же в Сочи ловить, чем на Жорж-Банке. Влажность мы как-нибудь перебором, Сеня! Хоть она и вредная.

Сеня, вот я к тебе и обращаюсь. Ты же у нас первопроходец. Ты же все разведает, как и что. И мне напишешь. Обязательно? Сеня, я на тебя в мертвую полагаюсь...

Сеня, а помнишь, как мы с тобой в «Арктике» гуляли и немножко посудки побили, когда у нас арктические девчат наших захотели отбить. Хорошо мы им врезали, Сеня. А потом ты меня под носом у милиции провел и в общагу притащил на себе. Есть что вспомнить, Сеня! И в память об этом я тебе посылаю фотографию меня и товарищей по экипажу. Остаюсь кореш твой задушевный

Толик».

Что-то никак я не мог этого Толика вспомнить. Вообще-то у меня их четыре было, и с каждым что-нибудь такое примерно случилось. На фотографии, на обороте, написано было: «Сеня!

Если встретиться нам не придется,
если так уж сурова судьба,
пусть на память тебе остается
неподвижная личность моя».

А пониже: «Сеня, узнаешь меня? Я на этом фото третий».

А какой третий — справа или слева? Там их шестеро было, «неподвижных личностей», и все в роканах, под зюйдвестками. Кто-то их против солнца снимал да отпечатал — хуже нельзя: как сквозь мутную воду они на меня смотрели.

Нет. Сколько я ни копался в памяти, но так я этого Толика и не вспомнил.

14

Лилино письмо я в курточку переложил, в потайной карман. Потом стоял на руле и все думал про него. Вечером, когда все в ящики попадают, я его еще раз прочту, на сон грядущий. И может быть, вычитаю еще что-нибудь между строк, чего сразу и не заметил.

Третий мне что-то всю вахту втолковывал — впрочем, то же самое: у тебя, Шалай, голова светлая, иди в мореходку, зачем тебе в кубрике с семьей рылами жить, купишь себе макен, надо быть резким человеком. Спрашивал, сколько предметов должно быть в шлюпке. Это он к экзамену готовился, по морской практике. Оказалось, девяносто шесть предметов. Едва я дождался, пока сменили.

В салоне я как чокнутый сидел. Потом услышал — смеются. Я не сразу и понял, что надо мною, пока бондарь не сказал:

— Вожак-то наш — помешался на Лилечке.

Я поднял голову — он чуть ухмылялся в усы. С ингересом следил — что же я теперь сделаю? И я почувствовал — сейчас это придется с ним решить. Встать, перегнуться через стол... Пусть он еще хоть слово о ней скажет.

Шурка сказал:

— Поди, хороша Лилечка?

— Хороша ли, не знаю. Да только она у них одна на тронх. У него да у салаг. Та же самая Щетинина всем троим пишет.

Я поглядел на Алика и на Димку, они на меня. Но ни слова мы не сказали. Я встал и ушел из салона.

Я не читал его в этот вечер на сон грядущий.

На другой день мы управились к полудню, и я пошел обносить «стоянку».

— Не надо,— сказал дрифтер.— Метать сегодня не будем.

— Это почему?

— А груз набрали. Сейчас к базе пойдем, кеп «добро» запрашивает.

Ну, верно, я все забыл. Вчера же еще последние бочки запикивали под самый бимс.

— А к какой базе, не знаешь?

— Одна сейчас в Норвежском на промысле, «Федор».

— «Достоевский»?

— Ну!

Часам к пяти дали «добро», и мы зашлепали. Последняя рыба, тонны две, так и осталась на палубе. Потом один СРТ из нашего отряда сжалился, покидал нам в воду бочек двадцать. А мы ему за это два шланга подали — солярки отлили и пресной воды, все на базе пополним. И еще они нам передали письма.

Уже вечерело, когда мы все дела закончили. Те, кто оставался на промысле, провожали нас гудками, и мы отвечали им. Хоть мы и не в порт уходили, но все же прощание. Может быть, нас от плавбазы в Северное завернут, к Шетландским и Оркнейским, а может быть, и на Джорджес-Банку. Это как где заловится.

У нас еще оставалось пресной воды, и старпом объявил баню и постирушки. Все-таки надо к плавбазе чистыми прийти, а у нас все пропотело, рыбой пропиталось.

Нижнее я постирал, когда мылся, но это одно мучение, а не стирка,— кабинка, как душегубка, елозишь там по доске вместе с шайкой и не знаешь, за что раньше хвататься, чтоб тебя самого, голого, о ржавую переборку не било или шайку бы не выплеснуло с постиранным. Так что я с верхним не стал мытариться — со штанами и робой-малестинкой, а решил постирать старым морским способом. Штертом обвязал рукав и штанину и кинул с борта. Когда судно хорошо идет, все выстирывается начисто, за ночь ни пятнышка не остается. А мы полным шли, узлов до двенадцати, к базе всегда спешат почти так же, как в порт.

В это время они и подошли ко мне, Алик и Димка. Взялись за леер, смотрели, как я кидаю робу в волну.

— Чудно,— сказал Алик.— И выстирывается?

— Завтра увидишь.

— Тогда уж лучше с кормы бросать?

— Лучше. Но можно и на винт намотать.

Я чувствовал — они о чем-то другом хотят спросить. Алик постоял и отошел, а Димка все наблюдал, как моя роба волочится в струе и штерт похлестывает по обшивке.

— Шеф, ты с ней давно знаком?

— С кем?

— Шеф, зачем делать вид, что не понимаешь?

— Не будем делать вид. Тебе зачем знать?

— Слушай.— Он взял меня за локоть, я отодвинулся.— Ты не дичись, пожалуйста. Дело в том, что я ее чуть не с детства знаю. Мы в школе вместе учились.

Ну что ж, в общем-то, правильно я догадался. Интересно только, из-за кого она тогда не пришла — Алик у нее или Димка?

Он спросил:

— У тебя с ней что-нибудь было? Мне просто хочется знать, далеко ли у вас зашло.

Я пожал плечами. Вот уж о чем не хотелось бы.

— Не было, — сказал Димка. — И скажи спасибо. И ничего не будет.

Я ничего не сказал, отвернулся.

Димка вздохнул.

— Шеф, речь же идет не об переспать. С таким парнем ей это даже будет интересно. Ты не подумай, что здесь мужицкая солидарность, я к ней такие же чувства питаю, как и к тебе. Но я знаю — роман у вас все равно не склется, только для нее это пройдет бесследно, а для тебя — нет. Я на тебя посмотрел в салоне и понял, что нет.

— Чья она? Твоя или его?

— Ничья, шеф. Отношения чисто товарищеские. Такая застарелая платоника, что уже неинтересно по-другому. Шеф... Ты извини, старик, что я тебя так зову. Ну, привязалось.

— Да хоть горшком.

— Так вот, шеф. Мне жаль тебя огорчать. Ты славный парень. И мне не хочется твоего разочарования.

— Она, ты хочешь сказать, стерва?

Он засмеялся.

— О, нет! Это было бы даже прелестно!

— Ну, может, она какая-нибудь...

— Шеф, она никакая!

Мне смешно стало.

— Ну, это уж я не верю. Какая-нибудь да есть. Просто ты ее не знаешь.

— Почему я думаю, что я ее все-таки знаю, шеф. Потому что сам такой же. Я и о себе говорю, и об Алике, и о чудных наших приятелях, которые остались в Питере, считаются нам компанией. Все милые, порядочные люди. Не гадят в своем кругу. Не делают карьеры один за счет другого. А это уже доблесть, шеф.

— Так все-таки — насчет Лили?

— Шеф, вот за что я тебя уважаю. Ты последователен. Дитя природы. Ты все-таки хочешь знать, хорошая она или плохая. Понимаешь, в русском языке есть слово «да» и есть слово «нет». А вот слово «данет» катастрофически отсутствует. Один мой приятель, Вадик Сосницкий, считает, что его просто необходимо ввести, с каждым десятилетием человечество будет все больше и больше в нем нуждаться. Мы с ним затевали такую игру: «Вадик, любишь ты свою Алку?» — «Данет». — «Хочешь на ней жениться?» — «Данет». — «Хочешь, чтоб она ушла и не появлялась?» — «Данет». Иной раз спросишь его, уже для смеха: «Но кирнуть с нами хочешь?» И что думаешь — Вадик себе и тут верен: «Данет!»

— Делать вам больше не хрена!

— Теперь, шеф, я скажу тебе о Лиле. Насколько я понял, это ты ее приглашал в «Арктику». Так вот, она весь вечер говорила об этом. Что она должна, должна, должна пойти. Что ее мучит совесть, совесть, совесть. Нам с Аликом это уже просто надоело, мы ее уже в шею гнали. А она — каялась и продолжала с нами трепаться. Не знаю, как ты, а по мне — так лучше, если тебя отшивают сразу и посылают подальше, чем вот такие вшивые угрызения. Нравиться ты ей? Данет. Она такая же

данетистка, как и Вадик Сосницкий. Ну вот, шеф. Если ты хоть что-нибудь понял — я счастлив. Озадачил я тебя сильно?

— Ничего, переживем.

— Тогда я могу спокойно заснуть. Сном праведника. Чао!

Он ушел. А я залез повыше, на ростры, сел там под шлюпкой. Там было ветрено, и трансляция редела джазами над самым ухом, и сажа летела из трубы, но хоть тут можно было одному побыть и кое о чем подумать. Одно я понял — не нужно мне читать ее письма, ничего я там не найду между строк. А нужно встретиться с ней и посмотреть на нее — пристально, как я никогда, наверно, к ней не приглядывался.

Черные облака несло ветром в корму, и уходили назад корабельные огни — топовые, ходовые, гакабортные и лампочки на вантах. Какой-то праздник был у англичан, и все мачты оконтурились огнями.

Глава третья

СИНЕЕ МОРЕ, БЕЛЫЙ ПАРОХОД...

1

Утром первое, что я увидел — базу.

Я вышел поглядеть, как там моя роба, и сразу в глаза бросилось — огромный серо-зеленый борт, белые надстройки, желтые мачты и стрелы. Она от нас стояла к весту в четверти мили примерно, а за нею плавали в дымке Фареры — белые скалы, как пирамиды, с лиловыми извилинами, с оранжевыми вершинами. Подножья их не было видно, и так казалось — база стоит, а они плывут в воздухе.

Перед нами еще штук восемь было траулеров, и все, конечно, друг друга стерегли, чтоб никто не сунулся без очереди. И тихо было вокруг, временами лишь вахтенный штурман с плавбазы покрикивал в мегафон:

— Восемьсот двенадцатый, подходите к моему третьему причалу!

Или там:

— Отходите, отдать шпринговый, отдать продольный!

Я вытянул свою робу, штаны, стал развешивать на подстрельнике. В рубке опустилось стекло — там кеп стоял и старпом.

— Что там в кубрике? — кеп спросил. — Спят?

— Просыпаются.

— Пошевели. Сейчас нам причал дадут, надо бочки выставить.

Бочки — это чтоб крен убрать с того борта, которым швартуются. А отчего крен бывает, это вещь таинственная; на таких калошиках, как наш пароход, он всегда отчего-нибудь да есть. Но я посчитал всю очередь — так и есть, мы девятые, раньше чем через пару часов причала нам не видать.

В рубке, слышно было, посвистели в переговорную трубу. Кеп подошел, послушал.

— Чо? — спросил старпом.

— «Дед» напоминает. Чтоб левым не швартовались. Носится со своей заплатой.

— Это уж как дадут!

— Ладно, — сказал кеп. — Попросимся правым.

Бичи вылезали понемножку — на базу поглядеть. Там у каждого почти кореш или зазноба. Много там женщин плавает — буфетчицы, медички, рыбообработчицы, прачки. У меня там Нинка плавала. Да и утро было хорошее — как не вылезешь. Тихое, штилевое, волна лоснилась, как масляная, небо чистое, чуть видные перышки неслись по ветру. Нена-

долго, конечно, такая погода — колдунчик на бакштаге показывал норд-вест, ближе к полудню, пожалуй, зыбь разведет.

По случаю базы кандей Вася пирог сделал с кремом — в базовые дни какая-то чувствуется торжественность, хотя, если честно говорить, торжественного мало, а работы много — и самой хребтовой, суток на двое без передышек, без сна. Поэтому чай пили молча и даже за пирог кандея не похвалили, хотя он все время у нас над душой стоял, напрашивался на комплимент.

Потом услышали:

— Восемьсот пятнадцатый, ваш второй причал! Подходите!

Кеп попросил в мегафон:

— Нам бы правым, если возможно!

— А что вы такие кособокие?

— Такие уж!

Там подумали.

— Тогда к седьмому, убогие!

— Спасибо вам!

Непонятно было, за что он благодарит — за причал или за «убогих».

Машина заработала веселее, и боцман сунул голову в дверь, выкликнул швартовных — по четыре на полубак и в корму. И тут уже было не до пирога, уже в иллюминаторе показался борт плавбазы, высоченный, вполнеба. Он придвинулся и закрыл все небо, и мы пошли, не допив.

В корме я оказался с Ванькой Ободом и с салагами. Очистили кнехты — там стояла кадушка с капустой и мешки с углем. Борт плавбазы проплывал над нами — с ржавыми потеками, патрубками, в них что-то сипело, текли помой и старый тузлук. Наконец вахтенный к нам подплыл — в синей телогрейке, в шапке с торчащими ушами, со швартовым в руке.

— На «Федоре»! — спросил Ванька. — Медицина на месте?

Вахтенный не расслышал, приставил варезку к уху.

— Глухари тут, — Ванька махнул рукой.

Но уже было не до разговоров, пошли команды — и с плавбазы, и с нашего мостика, — и вахтенный нам подал конец.

Потом его снова пришлось отдать, плохо подошли, никак нос не подваливал.

— Пошли чай допивать, — сказал Ванька.

Салаги удивились:

— Сейчас же опять зайдем.

— Щас же! Учи вас, учи. Когда зайдем, уж пить некогда будет.

Они все же остались у кнехтов, а мы с Ванькой пошли в салон.

— На самом деле списываешься? — я спросил.

Он какой-то осовелый был, будто неспросавшийся.

— Что задумал, то сделаю, понял? Только симптомчик надо придумать. Симптом должен быть. Погляди — ухо у меня хорошо дергается?

Приподнял шапку. Ухо у него не дергалось, но двигалось. Ваньку это не устроило.

— Плохо мы психику знаем. Ладно, чего-нибудь потравлю. С ходу оно лучше получается. У меня тогда глаз как-то идет.

— Я думал, ты все шутишь — насчет топорика.

— Хороши шутки! Я уже вот так дошел. — Ладонью провел по горлу. — Рыбу только сдам. Святой морской закон.

Мы успели выпить по кружке чаю и по куску пирога съесть, пока нас опять позвали. На этот раз как будто чисто подошли.

— На «Федоре»! — Ванька опять начал. — Врачиха у вас когда принимает?

— Зубная?

— Нервная!

Вахтенный себя похлопал варежкой по лбу.

— Тут чего-нибудь?

— Есть малость. Сплю плохо. Совсем даже не сплю. Грудь давит. Коленки дрожат. И воду все пью, никак не могу напиться. Вот уже не хочется, а пью.

— Это у меня тоже бывает,— сказал вахтенный.— Только с водярой. Ну, хошь — запишу тебя на прием.

— Будь ласков. Обод моя фамилия.

— Обод. Ладно. Только там не врачиха, а мужик. Он строгий.

— Володька, что ли?

— Ну!

— Какой же он строгий, когда он святой? Запросто бюллетенчик выпишет.

Вахтенный нам подал конец. Салаги все совались нам помочь, да только мешали.

— Сгиньте! — Ванька им сказал.— Бойся тут за вас. Защемит кому-нибудь хвост, а нам переживание. И так у нас полно переживаний.

Конец провисал, мы его потихоньку подтягивали.

— Почему святой? — я спросил.— Фамилия?

— Что ты! Фамилия у него, знаешь, какая... Не знаю какая. А это кличка. Про него ж песенку сочинили.— Пропел дурным голосом, без мотива:

А было так — тогда на нашем судне
Служил Володька, лекарь судовой,
Он баб любил и в праздники и в будни
И заработал прозвище — Святой.

Вахтенный посмеялся:

— А и правда чокнутый. Есть малость.

— Как раз сколько нужно.

Мы пошли с кормы.

С базы уже завели стрелу, под ней качалась сетка. Это еще не грузовой строп, а для людей, хоть он такой же, из стального троса, только поновее — в него руками цепляешься, так чтоб не пораниться жилкой. В сетку как раз вцеплялись пятеро базовских.

Старпом спросил меня:

— Как там конец — работает?

Он в рубке с кепом стоял, ужасно ему хотелось озабоченность проявить.

— А ты пощупай.

— Как отвечаешь? — Весь побурел от обиды.

— Лапонька, ты же из рубки видишь — кранец зажат, как в тисках.

Зачем же лишнее спрашивать?

Промолчал. Кеп тоже помалкивал, усмехался чуть заметно. Он-то старпому не забыл, как тот курс проложил через берег.

— Прими людей, Шалай,— сказал кеп.

Сетка с базовскими летела прямо в открытый трюм. Я перехватил ее, отвел к фальшборту. В таких же они роканах, базовские, в таких же зюйдвестках. Но только они ни секунды не медлили, тут же кинулись к бочкам. Им почасовые платят, они свое время ценят.

— Сколько с докладкой? — бондарь у них спросил.

Старший подумал, пожевал губами.

— Пятьдесят, а там поглядим.

Вот вам еще арифметика. С докладкой — это значит бочки распечатывают и из других докладывают рыбу доверху. За три дня она тузлук

пустила и успела осесть, иной раз на четверть, а ведь у нас ее принимают не по весу, а бочками. Так вот, они хотят знать, на сколько докладная бочка тяжелее обычной. Давно уже установлено, что без докладки на тонну их идет одиннадцать, с докладкой же — восемь. Но мы ведь еще и сжулить могли при засолке, накладывали не доверху, так что проверить нас не мешает, и они всегда требуют, чтобы им бочки представили из разных углов трюма.

А сетка между гсм все качалась вниз, и к ней понемногу очередь собиралась. Каждому, конечно, найдется на базе дело. Радисту — фильмы поменять или аппаратурку сдать в ремонт, рыбастеру — следить, чтоб не обидели нас, когда рыбу считают, дрейфтеру — сети новые получить, механикам — какие-нибудь запчасти, кандею — продукты, боцману — сдать чего-нибудь в утиль. Одним дикарям палубным на базе делать нечего, их в последний черед отпускают, когда выходит какая-нибудь задержка с разгрузкой. А она редко случается, вон сколько траулеров очереди ждут, и еще новые подходят. Никогда не знаешь, попадешь ты на эту базу или нет.

Пятеро вцеплялись в сетку, продевали ноги в ячею. Старпом из рубки кричал третьему:

— Ты там не задерживайся. Сдашь и сразу майнайсь, мне тоже охота.

— Смотря как сдам. Если на пятерочку, тут же вернусь. А двоечку — еще переживать буду.

— Договорились же!

— Ладно, не скули, я за тебя на промысле две вахточки отстою.

— Что там на промысле!

— Не скули.

Сетка понеслась, взлетела над базовским бортом, там ее ухман¹ перехватил. Третий еще выглянул.

— Смотри не шляпь, я тебе доверил.

— Доверил!..

Со второй сеткой еще пятеро вознеслись. Потом ее снова спустили, и в нее только четверо вцепились. И тут Васька Буров к ней кинулся.

— Куда? — Серега ему заорал. — Тебе там чего делать, сачок!

— Бичи, я ж артельный, мне в лавочку — яблоки получить, мандаринчики, «беломорчик».

— Кандей получит!

Серега его догнал, но сетка пошла уже, он только за сапог Васькин схватился.

— Артельный же я, за что ж я десятку лишнюю получаю?

— За то, чтоб на палубе веселей работал.

Сапог так и остался у Сереги в руках. Васька летел вверх и дрыгал ногой, портянка у него размоталась. Потом он из-за планшира выглянул, стал канючить:

— Бичи, ну отдайте же сапог! Я ногу застужу.

— Майнайсь книзу — получишь.

— Вы ж меня потом не пустите. Как же вы главного бича на базу без сапога отпустили, позор же для всего парохода.

— Ладно, — сказал Серега, — подай штертик.

Васька там куда-то сбегал, потом сравил штертик. Серега концом обвязал сапог.

— Мотай, сачок.

¹ У х м а н (от слова «ухать») — руководит действиями крановщика, когда тому не виден груз.

— Вот спасибо, бичи. Зато уж я вам самых лучших яблочков отберу, мандаринчиков...

С базы крикнули:

— Строп идет!

На шкентеле, за один угол зацепленный, спускался строп — стальной, квадратный. Мы его расстелили и пошли катать к нему бочки. Друг за дружкой, каждый другому накатывает на пятку, остановиться нельзя. Бочку валишь, катишь по палубе, вкатываешь на строп и рывком ее — на стакан. И она должна стать точно, как шар в лузу, ни на дюйм левее или правее, потому что их должно стать девять; считайте нам теперь рыбу не бочками, а стропами; будет восемь — ухман заметит, заставит перегружать, лишняя работа. А нам и не лишняя тяжела.

Ну, вот их уже и девять, по три в ряд, стоят, пузатенькие, стоят, родные, кровные. Двое забегают, заносят углы, цепляют петли на гак — и теперь рассыпайсь, кто куда успеет, потому что ухман не ждет, ему тоже свое время дорого, у него там работа на два борта, с той стороны такой же траулер разгружается. Он махнул варежкой — и нет его, а строп с нашими пузатенькими полетел к небу, мотается между мачтами. Беда, если хоть одна петля как следует не накинута, тогда он весь рассыпается, бочки летят и лопаются, как арбузы...

Но ничего, прошел первый, сгинул за бортом, и пока его там разгружают, мы вылетаем, кидаемся к трюмам — готовить новые девять. А успеваем — так и в запас, пока не крикнут сверху:

— Строп идет!

Потом вышел маленький отдых — сетку спустили для базовских. Надоело им докладывать.

— Что ж только двадцать? — спросил Серега. — Проверьте еще!

— Ладно, ребятки. — Старший уже руками и ногами в сетке. — У вас все по-честному.

— А ты раньше не знал, да? — Шурка ему орал. — Думал, мы на халтурку?

Молча они вознеслись, а мы за это время хоть спины разогнули и даже курнули по одной. И снова:

— Строп идет!

Через час у нас в спинах хорошо заломило, то и дело кто-нибудь остановится, трет себе поясницу — прямо как радикулитные. Первым Алик начал сдавать. Бочку накатывал долго, ставил кое-как, потом еще кантовал ее, а все его ждали наклонившись — на палубе лежащую бочку нельзя выпускать из рук, она покатится.

Скоро он и вовсе сдох, не мог поставить на стакан, хоть и рвал изо всей силы. Ну, правда, на стропе это потрудней, тут еще сапогами в трюсах путаешься, в стальных калышках. Мне пришлось сначала свою поставить, а потом уж я подошел и за него поставил.

— Слабак! — на него орали. — Инвалид!

— Тебя еще здоровей. Лень ему мослы таскать.

Вообще-то не слабей он был хоть Ваньки Обода. Просто сноровка в нем кончилась от усталости. И маленькой хитрости он не заметил — что нужно ее серединой по тросу катить, как по ролику, а потом наклонить в одну сторону, взять разгон, тогда она сама взлетает, как ванька-встанька. Я ему это показывал, а бондарь кричал:

— Что, так и будет за тебя жожаковый ставить? Ты только подкатываешь, а ставит он?

— Угомонись, — я ему сказал, — уж меня-то тебе чего жалеть.

Алик весь красный сделался. Следующую бочку он так рванул, что она чуть не завертелась. И опять зря, тут силы совсем не надо тратить. Димка подошел, отнял у него бочку.

— Отдохни, Алик. Пропусти свой черед.

— Да я не устал.

— А я говорю — отдохни. И посмотри внимательно.

Шурка, конечно, тут же стал орать:

— А мне тоже отдохнуть можно?

— Можно.

— Тогда ты и за меня поработай, а я посижу.

— И помолчи также, — сказал Димка. — А то я кой-кому могу и отвесить.

Шурке это до того понравилось, что он даже не ответил. Сел на свою бочку и закурил.

Димка несколько раз показал Алику, сам весь строп нагрузил, а тот лишь кивал.

Шурка опять не стерпел:

— Что ж только один? Теперь за меня нагрузи.

— Я обещал кой-кому отвесить, — сказал Димка.

А в общем-то, все заметили, что он не одному Алику дал передохнуть, но и нам тоже. И маленький урок он нам дал...

Не заметили мы, как и погода переменилась, палуба уже не желтой была от солнца, а серой, и по волне пошли гребешки. А мы еще только один стакан выгрузили, верхний. А их в обоих трюмах по четыре.

Не замечали мы, что вокруг делается — кто еще там подходит к базе, кто отчаливает. Раз только, я помню, вышла какая-то задержка, и я разогнул, поглядел на море. Там, среди зеленых гребней, шел куда-то баркасик с подвесным мотором — красненький борт и белая рубочка, а в корме сидели двое, молодые, с рыжими бородами, и глядели на нас. Куда они шли? А бог весть куда, в открытое море. И не знал я, на сколько у них горючего хватит для этого моторчика и был ли у них еще парус с собой, но их-то это не пугало, и я подумал — да уж, наверно, дойдут, куда хотят. Главное — не бояться, идти, куда хочется. Может, и мне вот так — пойти, куда хочется? Смотреться сейчас на базу и на ней вернуться в порт, а оттуда в этот же вечер на поезде в Россию, хотя бы в Орел к себе сначала, а там опять — куда вздумается. Что меня держит — неужели вот эта бочка?

Тут же мне про нее напомнили, толкнули в спину.

— Кати, чего встал!

И я покатил, поставил на строп и забыл про этот баркасик.

Небо темнело понемногу, и ветер свежел. В этих местах погода меняется быстро, в полчаса штиль кончается и разводит мертвую зыбь.

Со следующим стропом какая-то задержка вышла. Ухман нас отпустил:

— Отдохните, ребята. Я покричу.

Шурка с Серегой в самый кубрик сошли, сели за свою игру. Остальные на трапе устроились, кто повыше, кто пониже. А я — на самой верхней ступеньке, следить, когда ухман появится.

— Не разгрузимся сегодня, — сказал Ванька Обод. — А я к врачу не попаду до вечера.

— Так вали сейчас, — сказал Алик.

— Вали! А кто мне тогда груз засчитает? Вдруг он мне с сегодняшнего дня бюллетенчик выпишет.

— Разгрузились бы, — сказал Димка, — если б с «голубятника» на подвахту вышли.

— А кому это надо? — Ванька спросил со злостью. — Им трое суток погулять охота на базе. А сразу разгрузишься — тебя и погонят на промысел.

— Но можно же и по-другому,— сказал Алик.— Всем дружно поработать день, а потом всем гулять двое суток. Это было бы справедливо. Ванька даже закашлялся от смеха.

— Вот ты человека ограбишь, а тебя засудят, а ты тоже скажешь — несправедливо?

Алик удивился:

— Что за логика?

— Не понимаешь, салага? Вот ты на СРТ подался? Почему на плавбазу не пошел, там тоже матросы нужны? Или — в берегаши? Потому что дикари вчетверо больше получают. Значит, за рублем погнался? Так чего ж тут несправедливого?

Алик примолк, только усмехался про себя.

Ванька спросил:

— Понял теперь, салага, как она ловится, селедочка?

— Приблизительно.

— Если б все знали, как она ловится, она б у них колом в горле стала!

— Лучше пусть не знают,— сказал Алик.

Ванька согласился.

— Это верно. А то ее и покупать не станут.

С базы позвали:

— Эй, на «Скакуне»!

Я выглянул. Там стоял Жора-штурман.

— Шалай, позови там салагу.

— У нас их двое.

— Любого.

Димка полез.

— Ну, как там Шакал Сергеич? Горит синим пламенем?

— Голубеньким пока. Тут он мне цидулечку выкинул в иллюминатор. На свободную тему решил писать. Вот... «Радуюсь я, это мой труд вливается в труд моей республики».

— Прелестная темочка! Пускай насчет вдохновения подзальет, насчет творчества.

— Это он подзальет. Он вот спрашивает — «вдохновение» через «а» пишется или через «о»?

— Вдох! Второе тоже «о».

— Ясно-ясно.

Жора ушел. Через минуту опять крикнули с базы:

— Строп идет!

Ванька постоял в капе, поежился.

— Шторм, ребятки, будет.

— Ну и пускай,— сказал Алик,— отдохнем хоть.

— Ага, это тебе не промысел... Там — пускай, лежи себе в койке. А тут тебя каждый час будут к причалу гнать. Чуть просвет — подходи выгружайся. Ни сна тебе, ни работы.

Еще мы нагрузили стропов десять и опять вернулись в кап. Там уже наши бочки не успевали укладывать, много их на борту скопилось. В обычные дни это не страшно, а теперь и базу качало.

Ванька сидел мрачный, все чего-то считал на пальцах.

— И завтра не разгрузимся. И послезавтра.

— Тебе-то куда спешить? — я спросил.— Все равно в порт уйдешь.

— Вот и не все равно. Эта база только три дня простоит. А там следующей жди.

Откуда он это выведал? Но уж, наверно, выведал, если заранее задумал. А мне все баркастик мой не давал покоя. И то, что я Лилю так и не увижу.

— Неужели три дня? — я спросил. — Да, не успеть нам.

Ванька ко мне придвинулся.

— Может, на пару спишемся? Чего ты тут не видал?

Я поглядел — все сидят на трапе, привалясь к переборке. Митрохин — в самом низу — спит на комингсе. Из кубрика щелчки по носу доносятся: «сто сорок восемь... сто сорок девять». И правда, чего я тут не видел?

— А это каждому можно списаться? — спросил Алик.

— Ты сиди, — сказал Ванька. — Каждому, да не всем. А то подумают — команда разбегаются, чепе. Ты на следующей спишешься, никто тебя не держит.

— Я и не думаю.

— Не думаешь, так не спрашивай. Так как? — Ванька меня спросил.

Я не успел ответить. С базы опять крикнули:

— Строп идет!

Я катал бочки, нагружал стропа, а голова была другим занята. Вообще-то я ни разу не списывался, хотя это можно, никто не держит. Только полагается кепа за неделю предупредить, чтобы из порта прислали замену. Но и на базе ее можно найти, найдутся любители поразвлечься — побродить недельку-другую дикарем на СРТ. К тому же деньги я кое-какие заработал, вот за этот груз. И все же хотелось бы мне сначала ее увидеть. Тогда б я наверняка решился.

Но мы опять входили в раж, в какой-то запал, ничего не видели вокруг. Только бочки перед глазами и прутья стропов и как они нагруженные уходят в небо.

Тут-то я снова с бондарем сцепился.

С базы какой-то чудак попросил:

— Ребята, не подкинете селедочки? Штучки три.

Ну что, жалко, что ли? На траулере рыбки попросить — все равно что снега зимой. Так вот, этот кошмар вытащил их из шпигата и стал ему кидать. Я думал — тот их обратно швырнет ему в рожу. Потому что эта селедка валялась в шпигате черт-те с какой выборки, может быть, с прошлой недели. А тот еще благодарить стал:

— Спасибо, ребятки. Ах, хороша селедочка!

Я тут совсем сбесился.

— Выкинь сейчас же! Выкинь эту падаль!

— Да зачем же добро выкидывать?

Я схватил ручник и кинулся к бочке, выбил донышко, захватил в варежки верхних три и по одной ему закинул, как гранаты. Бондарь смотрел на меня и ухмылялся.

— Чего это с ним? — тот спросил.

— Спортом занимается.

Тот покачал головой, ушел.

— Крохобор ты! — я сказал. — Человеку рыбы пожалел.

Он расцеплял хrapцы и смотрел на меня — маленькими своими глазками. Брови у него какие-то серые, как будто золой посыпанные. Смотрел в упор и мотал железной цепью с хrapцами.

— Лезь в трюм, — сказал.

— Это почему?

— Так. Снизу будешь подавать.

Я подумал — всегда можно сделать, чтоб хrapцы случайно расцепились. Как раз у меня над головой.

— Я и так каждый день в трюме работаю. А у базы хочу — на палубе.

— Не полезешь?

— Нет.

— А я тебе приказываю.

— А я не слушаю. Ты мне не начальство.

Он чуть прикрыл глаза и спросил:

— Тебе отвесить?

— Оставь при себе.

Он пошел ко мне. Я стиснул ручник — прямо до боли. Он остановился и сказал мне устало:

— Ладно, запечатавай. И становись на место.

Никто даже не успел к нам кинуться.

Мы выгрузили второй стакан, начали третий, и тут ухман нам сказал:

— Ребятки, обедать. Перерыв.

В салоне я против бондаря сидел. Он на меня не глядел и жрал, как лошадь, за ушами у него что-то двигалось. Мне сначала противно было глядеть, а потом как-то жалко его стало. Он старше всех нас, даже Васьки Булова старше. И мне рассказывали — никто его на берегу трезвым не видит. Сыну его почти восемь, и он только «папа-мама» выговаривает. Может, он из-за этого так пьет? Что же дальше будет? Вот так сопьется, ослабеет, в рейсы его перестанут брать.

Таким-то образом я думал, когда пришел Митрохин и задал нам работу для ума.

— Ребята, отпустите на базу. С того борта братан мой ошвартовался. Хоть часик с ним повидаться, я его полгода не видел.

Мы прикидывали молча. Это не на час, конечно, только так говорится. А у нас еще Васька Булов сбежал. Когда одного не хватает на палубе, и то заметно.

Он стоял, ждал нашего приговора. И правда, этого ему никто не мог позволить, только мы.

Первым бондарь сказал:

— Я своего братана год не видал. Он на военке служит.

— Нельзя, значит? — Митрохин вздохнул. — Он же тут, рядом. Я, может, еще год его не увижу. Мы все в разное время в порт приходим.

— А я своего, — сказал бондарь, — еще, может, три года не увижу.

Митрохин все ждал. Пока ведь только один высказался. Жалко было на него смотреть, на Митрохина. У него чуть слезы не выступили.

Я сказал:

— Ступай, о чем говорить. Как-нибудь заменим.

Шурка тоже разрешил:

— Валяй. Привет передавай братану.

Потом Серега и салаги. И Ванька Обод — с большой натугой.

— Спасибо, ребята.

Митрохин весь засиял, помчался сетку просить. Потом все вышли, и мы одни остались с бондарем. Он на меня не смотрел. А я закурил и спокойно его разглядывал.

Однажды я за него на руле отстоял. Он себе палец поранил ржавым обручем, и загноилось, вся кисть начала опухать. И он на штурвал отказывался идти, а все на него орать начали, что у нас не детский сад. Дрифтеров помощничек Геша даже потребовал, чтоб он повязку размотал и всем показал, что у него с рукой. Вот это меня взбесило. А может, просто любопытно стало — как же он отнесется, если я за него вызовусь. И что думаете — он еще больше меня возненавидел. Если только можно больше.

Я спросил у него — спокойно, с улыбкой:

— Феликс! За что ты меня ненавидишь, сволочь?

Он ответил сразу:

— А добрый ты, умный. Вот за что. Я б таких добрячков безответственных на мачте подвешивал. По вторничкам.

— За шею?

— За ноги. Пусть повисят, посохнут. А то у них все в башке перевернуто. Не видят, на чем земля стоит.

— Интересно, на чем же она стоит?

— На том, что все суки.

— И этот, который рыбки попросил? Что ты про него знаешь?

— То же самое. Он и хотел, чтоб ты свою бочку распечатал. Ему свою на базе лень распечатывать. Он бы эту падаль все равно бы выкинул, а пошел бы на другой траулер кланчить.

— Понятно. А салаги ты все же не так ненавидишь, как меня.

— Салаги — мне что? Отплавали да уехали. А ты свой. Все время перед глазами будешь.

— Не буду. Рейс только доксним. Ну, приятного аппетита.

— Уматывай.

Стропа все не было, мы сели на бочки перекурить. Ванька Обод подсел ко мне и зашептал:

— Я чего придумал. Я сразу две справки попрошу. Скажу — у тебя примерно то же самое. Выпишет, если попросить хорошо.

— Кто?

— Да Володька же Святой. Ты на голову когда-нибудь жаловался?

— Нет.

— А не мешает иногда пожаловаться. Ушиб какой-нибудь был?

— Что-то не помню.

— Дурак, а кто это проверит. Говори — был, с тех пор не сплю нормально, трудоспособность понизилась. Не хочу быть для товарищей обузой.

Честно говоря, не хотелось мне в эти хитрости пускаться. Списываться, так по одной причине — «не ваше собачье дело». Зачем мне это вранье, если я уже не вернусь? Он-то вернется, я знаю, поколобродит и вернется, больше-то он делать ни черта не умеет, только рыбу ловить. А я уж спишусь, так навсегда. Поначалу хоть в депо свое устроюсь. Мне надо по-серьезному решаться, а не так, с панталыку.

— Ну, как? Рвем на пару?

— Нет.

— Ты ж договаривался!

— Когда?

Он на меня поглядел с презрением.

— Э, на дураках в рай ездят. Я тебе как умному советовал.

— Да списывайся ты один, для других не старайся.

— И спишусь. Думаешь, у меня духу не хватит?

— Да ничего не думаю.

— Вот и видно. Думал бы, так...

Он не договорил, пошел от меня. Совесть его, что ли, мучила, что он нас покидает?

С базы крикнул ухман:

— Эй, бичи, провизию примите!

Кандей Вася вывалил за борт на штертике мешок и коровью ногу. Он уже был хорошо веселый, наш кандей. Рядом с ним дрефтер появился и «маркони». У всех того же цвета рожи.

Дрефтер взревел:

— Полундра, сети кидаю!

Штук восемь зеленых покидал, из сизаля, и две белых, капроновых.

— Эти ко мне в каюту несите.

Ясное дело, в порядок он их не поставит. Он их как-нибудь попржи-

мет до порта, выгадает на штопке, на перештопке, а эти дружкам подарит для переметов. Да и не к чему их в порядок ставить — капроновые долго не рвутся, но зато рыбу режут до крови, и другая рыба боится лезть в ячею.

Кандей Вася свой груз смайнал и предупредил:

— Сухофруктов хоть полмешка оставьте, больше не дадут.

— А нам и не надо больше.— Шурка уже туда руки по локти запустил.— Ты за нас выпил, мы хоть за тебя закусим.

«Маркони», с фильмами, сам пожелал спуститься. Еле за сетку держался, одна нога у него все вываливалась из ячеи.

Я помог ему дотащить коробки до салона. Вдруг он остановился, хлопнул себя по лбу:

— Сень! Совсем выпало. Тебя ж там одна девка спрашивала. Поймай... Лиля ее зовут? Ну да, Лиля. Их там трое при Гракове молодых специалистов. Хочешь — свидание устрою?

Я укладывал коробки в рундук, читал названия и молчал.

— Слушай! — сказал «маркони». — Я ж передатчик аварийный в ремонт сдал. Мне ж его одному не стащить, ты поможешь.

— А кто на палубе останется?

— Такой ты незаменимый, Сеня?

— Это не знаю, а шорох поднимется. У нас уже двое сбежали.

— Что ж делать? Надо чего-нибудь придумать.

Я его подсадил в сетку.

— Может, чего передать?

— Привет. Больше ничего.

— Так мало, Сеня? Нет, я все-таки придумаю.

Он ехал вверх и держался одной рукой, а другой мне помахиwał. Ухман его выматерил и втащил за пояс.

Качало уже чувствительно, и строп мотался от мачты до мачты. Мы ждали, что прекратят разгрузку, велют отойти. Но успели все-таки выгрузить один трюм. Половина работы. Шурка подмел там веничком и вылез.

— Стоп, ребятаки,— сказал ухман.— Отдохните пока. Сейчас решают — может, вам отойти.

Ну, пока они там решат, мы в кубрик кинулись. Попадали в ящики, кто даже в сапогах, свесив их через бортник.

Я задремал было, но услышал — меня зовут с палубы.

2

Палуба опять желтела под солнцем, но зыбь от норда шла сильная и все время меняла цвет — то темно-зеленый, то сизый, то глинистый, с рыжиной,— и на гребнях закипали барашки.

— Сень! — «маркони» кричал сверху.— Принимай гостей!

Он качался на сетке еще с двумя какими-то, не бичами, одеты они были слишком пестро, и сетка шла прямо в трюм. Кто-то из них двоих завизжал, как резаный,—тут я и понял, что за гости пожаловали. Я принял сетку, отвел, и они соскочили.

Лиля была в кожанке и в синих брюках, набекрень — ушанка с белым мехом. А в чем ее подружка, я сразу не разглядел — в таком ярком, что в глазах рябило.

— Вот ты какой!

Лиля смотрела на мои доспехи и улыбалась. Протянула мне руку. Я для чего-то снял шапку, потом пожал ее руку — твердую и сухую. Моя-то была посырее. Она это перенесла, даже не заметила.

— Познакомься. Это Галя.

«Маркони» тоже подтвердил, что Галя. Была она в красной шапочке с помпоном, беленькая, крашенная, с кудряшками. Все озиралась, поглядывала на борт плавбазы и ужасалась — неужели это она оттуда съехала на сетке.

— Ну, как ты тут живешь? — спросила Лиля.

Я что-то замялся, но Галя меня выручила:

— Ой, как тут интересно! А нам все-все покажут?

— Прошу! — «Маркони» ей подал руку кренделем. Он обращение знает, на торпедных катерах служил.

Из рубки старпом выглянул в сильной задумчивости. Вообще-то самовольство — дамы на корабле, можно и осерчать по такому поводу. Но можно и схлопотать в ответ при этих дамах. Он предпочел в тень уйти.

— Боже, как тут симпатично! — Голос у Лили был чуть хриплый, осевший на ветру. И мне как-то неприятно было, что она с этим голосом под свою Галю поддельвается. — А это что, лебедка?

— Да, — говорю, — она самая.

— А это трюмы?

— А это трюма.

— Учти, мать, — говорит она Гале, — тут все произносится с ударением на «а». Боцманá, штурманá. А где же у вас кубрик?

Вот не хватало только, чтоб я ее в кубрик повел, где бичи храпят в ящиках, свесив сапоги через борттик.

— Да что там, в кубрике? Эка невидаль.

Я уж спиной чувствовал: кто-то из капа выглядывает на такое диво. Так и есть, Шурка выполз, оповещает тех, кто внизу:

— Бичи, каких лошадей привели! Майнаись на палубу!

— Ого! — сказала Лиля. — Какие тут красавцы плавают! Вот кого нужно в кино снимать.

— Правда, у вас лошади есть? — спросила Галя.

Мы с «маркони» чуть не упали.

— Мать, не срами меня. Лошади — это мы. Чувствуешь, какая галантность?

Галя вся вспыхнула, стала, как ее шапочка.

— Бичи, — объяснил «маркони», — это у нас гости. Из этого... из судкома. Попрошу, товарищи моряки.

— А чего ж только двое? — спросил Шурка. — Надо бы весь судком. Кто-то еще пропел кошачьим тенорочком:

У ней — такая ма-аленькая гру-удь,
А губы — губы алые, как маки.
Уходит капитан в далекий путь,
Целуя девушку из Нагасаки.

«Маркони» объяснил гостям:

— Это у нас традиционное приветствие, когда на борту появляются дамы.

— Мы так и поняли, — сказала Лиля.

Мы их быстренько повели в салон, по дороге — через люк — показали машинную шахту. Там полуголый Юрочка сидел на верстаке и чего-то напевал — хорошо, что слов было не слышно. «Маркони», однако, не задерживался:

— А сейчас мы вам покажем «голубятник». Всякое судно, с вашего разрешения, начинается с «голубятника».

Поднялись в ходовую. Старпом от нас отскочил как ошпаренный, удрал в штурманскую. Молодой еще он был, архангелогородец наш. «Маркони» его все-таки вытащил за руку:

— Прошу познакомиться. Старший помощник нашего капитана. Мастер лова и навигации, мой лучший друг и боевой товарищ.

Старпом упирался, как будто его на казнь вели, мычал чего-то насчет вахты. Гости с ним поздоровались за ручку. Он сразу взмок, как мышь. «Маркони» его отпустил с богом.

Бичи стояли в капе, смотрели на нас, пересмеивались. Гале вдруг захотелось перед ними пококетничать.

— А это штурвал? А можно покрутить?

Штурвал положен был влево и застопорен петлей.

— Нельзя, нельзя,— старпом закричал из штурманской.

— Почему нельзя, товарищ старший помощник? — спросил «маркони». Старпом не ответил, шелестел какими-то бумагами, как будто он что-то там вычисляет. Ни черта он, конечно, не вычислял.— Можно, девочки, можно.

Откинул петлю, Галя стала к штурвалу, а он ее сзади облапил.

— О, какие ручки!..

— Это не ручки, а шпаги.

— Шпаги? Ой, как интересно! Те, которые у мушкетеров?

— Совершенно те же самые. А крутят их вот так, Галочка.

Крутил он ее в основном — у бичей на виду. В общем, дела у них с «маркони» были в самом разгаре.

— Получил мое письмо? — спросила Лиля.

— Да.

Мы отошли в угол рубки. В дверное окно видно было открытое море, зыбь с белыми гребнями шла на нас, как полки на штурм, и птицы носились косыми кругами.

— Сердишься, что я тогда не пришла?

— Нет. Почему?

— Что-то разговор у нас — «да», «нет»...

А какой он еще мог быть? Я — в рокане, на нем чешуя налипла и ржавчина с бочек. Старпом бы меня вполне мог выставить из ходовой, и пришлось бы послушаться.

— Я понимаю,— она улыбнулась,— ты тут не на своей территории.

— Вроде этого.

— А вот это картушка,— «маркони» там объяснял. Чтобы поглядеть на эту картушку, Гале надо было перегнуться через штурвал, а ему — прижаться к ее щеке.— Есть такое слово, оно очень необходимо рулевому. В нем есть буква «б» и буква «л». Понимаете — «бэ», «лэ». Это значит, когда Б-ольше градусов, чем нужно, одерживать надо Л-ево. Вот во мне сейчас больше градусов, чем нужно. Значит, куда надо?

— А какое же это слово?

— Не могу полностью.

Она даже лобик наморщила — так ей интересно стало. Лиля сказала ей:

— Мать, я тебе потом объясню. Ты все равно не догадаешься.

Галя его шлепнула по рукам.

— Вот так ты, значит, и живешь? — Лиля меня спросила.— На берегу я как-то все иначе себе представляла... В общем, я кое-что про тебя поняла. Кроме одного: как же получилось — ты с флота хотел уйти, а пошел в море?

— Это долго объяснять. Как-нибудь потом.

— Ну, зачем... Механизм твоих решений мне приблизительно ясен. Я даже, когда ты мне все это говорил, почему-то подумала, что будет как

раз наоборот.— Говорила она со мной как-то свысока, мне что-то уныло сделалось.— Станный ты все-таки парень. Неглупый. «С мечтой», как говорят. Почему все это тебя устраивает?

— Деньги добываю.

— Неправда, я знаю, как ты к ним относишься. Мы с тобой, кажется, три раза были в «Арктике»? Ты их тратил — не как обычно мужчина перед женщиной, когда хочет показать широкую натуру. А как будто они тебе карман жгут и ты от них хочешь скорее освободиться.

— Может, мне просто интересно. Хочу что-то узнать о людях.

— Ты еще не все про эту жизнь знаешь?

— Про себя — и то не знаю.

— Скажи мне, ведь ты мог бы в торговый перейти? Если ты так любишь плавать. Там же все-таки лучше. Рейсы — короткие, заходы в иностранные порты. Увидел бы, может быть, весь мир.

— Шмоток бы повез...

— И это неплохо. Но главное — мир повидать.

— Да я ходил с ними один рейс, до Рейкьявика. С боцманом поругался. Больше они меня не взяли.

— Из-за чего же вы поругались?

— Не помню. Характерами не сошлись. Взглядами на жизнь.

— Но ты же мог на другое судно попроситься. Где боцман получше характером.

— Он-то получше, да штурман какой-нибудь похуже. Или еще кто-нибудь.

Она улыбнулась, посмотрела искоса.

— Нужно сдерживать свои чувства.

Галя объявила:

— Ну, хватит. Мне уже надоело, мы все крутим и крутим. Покажите нам еще что-нибудь.

— Мы крутим только пять минут. А вот он,— «маркони» на меня показал,— по два часа его крутит на вахте, как штык. И не надоедает.

— Ему тоже надоедает,— сказала Лиля,— только он не сознается. Он у нас такой мужественный, никогда не жалуется.

— Кто, Сеня? Мой лучший друг!

— А там что? — спросила Галя. Показала на дверь в радиорубку.

— Мое хозяйство, дом родной.

Галя потребовала:

— Хочу посмотреть на твой дом.

«Маркони» быстренько свою койку застелил. Простыни у него были серые, наволочка тоже не крахмал. Галя отвернулась, потрогала пальчиком магнитофон, передатчик.

— Можем завести музыку. Желаете?

— Твист? Ой, здорово!

Он кинулся заправлять бобину и тут же ленту порвал. Пальцы его что-то не слушались.

— Не надо,— сказала Лиля.— Мы же тут мимоходом.

«Маркони» все заправлял ленту и рвал.

— А это что? — Галя уже на часы показывала, над передатчиком.

— Это? Обыкновенные судовые часы.

— А вот это что за полосочки?

— Какие полосочки?

— Вот эти, красненькие.

— Не полосочки, а сектора. По три минуты. В это время «SOS» прослушивается. Все радисты слушают море.

— И музыку?

— Ни боже мой! Никакой музыки. Исключительно сигналы бедствия.

— Ну, ты у меня совсем оскандалилась,— сказала Лиля.— Надо знать святыи морские законы. Вот сейчас как раз без шестнадцати, где-то, наверное, пищат. Кто-то терпит бедствие.

— Да-а? — сказала Галя.— А почему же мы не слышим?

— У базы стоим,— объяснил «маркони».— Ихний радист слушает. А у нас и антенна сейчас снята.

Прилипли они к этим часам крепко. «Маркони» мне подмигнул, чтоб я с ним вышел из рубки. Затворил дверь.

— Ключик не требуется?

— Какой ключик?

— От каюты, какой. Я сейчас с Галкой на базу поднимусь, у ней там отдельная. Старпом не сунется, я скажу.

— Иди ты!..

Я засмеялся, открыл дверь. Обе стояли в рубке как неприкаянные. Слышать они, конечно, не могли, качало, и кранец бился о борт, но Лиля на меня посмотрела и усмехнулась.

— О чем это вы там? — спросила Галя.

— О том, что нам пора уже, загостились.

«Маркони» их выпустил и — за спиной у них — помахал ладошкой около уха.

— Главное, мать,— сказала Лиля,— не загоститься, уйти вовремя.

С базы что-то кричали нам. Старпом выскочил из штурманской, опустил стекло.

— Восемьсот пятнадцатый! Готовьтесь отдать концы!

Мы сошли с «голубятника». Бичи уже за это время успели уйти. Палуба снова была серая, по ней ходили брызги от кормовой волны. База, наверно, поворачивалась на якорях, чтоб лагом не стоять к зыби, и мы поворачивались вместе с нею.

— Шалай! — старпом крикнул.— Зови там швартовных, трансляцию не слышат, черти.

Я пошел звать. Они там и правда заспались, долго не отвечали. Потом кто-то вякнул из темноты:

— Выходим, не ори.

Когда я вернулся, сетку еще не подали, и лица у обеих были тревожные — спустят ли ее вообще, не пришлось бы на траулере задержаться. Я их успокоил — пока их не подыдем, концов не отдадим.

— Раз Сеня говорит,— сказала Лиля,— значит, так и будет.

Я смолчал. Сетка уже пошла. «Маркони» поймал ее и отвел от трюма.

— Ой, я боюсь,— сказала Галя. Она улыбалась, но как-то бледно.

— Мать,— сказала Лиля,— спускаться же страшнее. Ты смотри вверх.

Но рука у нее у самой подрагивала, когда она мне пожала локоть — слава богу, молча.

«Маркони» тоже с ними вцепился.

— Ты-то куда? — я стал его отрывать. Совсем он сомлел и еще геройствовал перед девками, держался одной рукой.

— Аппаратура, Сеня. Чес-слово, у меня там аппаратура, не веришь?

— Восемьсот пятнадцатый! — в «матюгальничек» сказали с приложением.— Что у вас там с сеткой?

Я его отпустил, «маркони». Черт с ним, никто еще из моряков не сваливался. Девки бы не свалились. Сетка раскачивалась сильно, я боялся — грохнется об базу. Но обошлось, ухман ее попридержал на середи-

не, а потом разом вздернул над бортом. Лиля еще выглянула, чуть бледная, махнула мне ладошкой и сразу исчезла. Ухман их там отогнал.

Волна ударила нам в корму, и пароход пронесло вперед, кранец заскрежетал между бортами.

— Восемьсот пятнадцатый! — крикнули с базы. — Срочно отдавайте концы!

Старпом высунулся из рубки.

— У нас еще люди на базе!

— Отходите, вам сказано!..

Он куда-то метнулся от окна, я подумал — трансляцию врубить. Но вдруг взбурлил винг, и нас медленно потащило назад, а бортом навалило на базу. Мостик ударился об ее верхний кранец — покрышку от грузовика — и зазвенел.

— Куда? — с базы орали. — Куда отработываете? Глаза у вас на затылке?

Старпом опять появился в окне.

— Отдать кормовой! — чуть не взвизгнул.

И еще его крик не затих, как нас качнуло с кормы. Корма задраплась, потом пошла вниз — сначала медленно и все быстрее, быстрее, и опустилась с ударом.

Я не устоял на ногах. А когда поднимался, услышал с базы:

— Отходите немедленно! Мало вам этого?

И увидел старпома — он ко мне бежал белый, с трясущимися губами. Я не понял, когда он успел из рубки выскочить. И зачем выскочил.

— Хватай топор! — он мне кричал. — Руби кормовой!

Я метнулся к дрейфтерному ящику, потом — с топором — в корму. Конец натянулся и не звенел уже, а пел. Но рубить его не пришлось, он вдруг ослаб, и я успел несколько шлагов сбросить. А когда он опять стал натягиваться, корма уже отвалила и было неопасно. Я подождал, когда он снова послабеет, скинул последние шлага, и конец выхлестнуло из клюза.

— Чисто корма!

Никто меня, конечно, не слышал. Но конец волочился по воде, его видно было с мостика.

Борт плавбазы отодвигался, на ржавых цепях высоко подпрыгивали кранцы — толстенные черные сарделины. И тут я увидел нос того траулера, который стоял за нами и тоже теперь отходил. Фальшборт на нем смялся, оборванный штаг болтался в воздухе, а носовая обшивка погнулась внутрь. Я сразу и не заметил всего, занят был концом, теперь только и понял, как все вышло, когда этот олух отработал назад. Корма у нас поднялась на волне, а его нос опустился, а потом они пошли навстречу... Чистый «поцелуй». Но что же там с нашей-то задницей? Я перегнулся через планшир — огромная вмятина, с трещиной, возле баллера¹ руля. Но сам-то руль не заклинило, он работал, я слышал, как гремят штурцепи.

База уже едва виднелась за сетью дождя. Когда он пошел, я тоже не заметил. Но так быстро все скрылось в сизой пелене. Только донеслось, как сквозь вату:

— Восемьсот пятнадцатый, идите в Фугле-фиорд!..

Я пошел на палубу. Волна катилась по ней и шипела, а трюма были открыты настезь, и только один кто-то, в роканс, мокрый, блестящий, возился с лючинами. Я ему стал помогать.

— Ты где шляется? — повернул ко мне мокрое лицо. С рыжих усов капало. Бондарь.

¹ Баллер — ось руля.

- Не шлялся. Кормовой отдавал.
- Хорошо ты его отдавал!
- Отдал, когда приказали. И не ори, сволочь.
- Удрали, никому дела нет, что потонем.
- Не тонем еще, успокойся.

Мы уложили все лючины, стали накрывать брезентом.

— С Лилечкой там ласкался? Жаль, я вас вдвоем не застал. Убил бы на месте.

— Ну, меня — ладно, ее-то за что?

— А не ходи на траулер... Все от них и происходит.

Брезент мы натянули, теперь заклинивали. Он стучал ручником и матерился по-страшному. И когда он о ней прошелся, тут я озверел. Я встал над ним с ручником и сказал ему, что еще слово — и я ему разможжу сейчас башку и выкину его за борт, и никто того знать не будет. Я и забыл, что мы из рубки-то были как на ладони. Мы были одни на палубе, одни на всем море, и дождь нас хлестал, и делали мы одно дело, а злее, чем мы, врагов не было.

Он на все это посмеялся в усы, но притих. Все-таки я единственный ему помогал.

— Ладно, не трать энергии, нам еще второй задраивать.

Второй задраили молча и пошли в кап. Там скинули роканы в гальюне.

— Вот и все дела, жожаковый, — он мне сказал. — Больше не предвидится. В порт отзовут.

— Думаешь?

— Ты пробоину-то видал?

— Снаружи.

— Пойди изнутри посмотри.

Мы сошли вниз и разошлись по кубрикам. В нашем — какое-то сонное царство было; не знаю, слышали они удар или нет. Или на все уже было начхать — до того устали. По столу веером лежали карты и чей-то рокан, на полу — сапоги с портянками. Я пошел пробоину поглядеть.

3

На камбузе «юноша» возился у плиты, закладывал в нее лючины и газету.

— Полюбоваться пришел? Есть на что.

Люк в каптерку был отдраен. Я подошел заглянуть. Воды было на метр, в ней плавала щепка для растопки, ящики с макаронами, банки с конфитюром — горестное зрелище, я вам скажу. Но главное-то — сама пробоина. Я все-таки не думал, что она такая огромная, жуткая, буквально сверху донизу. Сквозь нее было видно море — сизая штормовая волна. Чуть корма опускалась, оно вливалось, как в шлюз, хрипело и пенилось.

— Продукты-то можно бы вывирать, — сказал я «юноше».

— А на кой? Которые подмокли, их уже выкидывать надо. А банкам что делается?

— И то верно.

— Каши насыпать?

— Насыпь немного.

— То-то мне не хотелось в эту экспедицию идти. Как чувствовал!

— Ты здесь был? — я спросил.

— А где же. С бондарем сидели. Как раз я в каптерку собирался лезть, и как меня кто надоумил — дай, думаю, сперва плиту распялю,

а после уже за продуктами слазаю. А то б сейчас там и плавал бы, ты подумай!

Он даже развеселился, что так вот вышло. Стал соответствующие случаи вспоминать. Как он, матросом, бочки с рыбой укладывал в трюме, и как одну бочку раскачало на цепи и стукнуло ребром об пиллерс, а он как раз за этот пиллерс рукой держался. «Представляешь — на два бы сантиметра выше, и пальцев бы как не было. Так бы и остались в варежке!» А то еще другой случай был, на рефрижераторном, — там у них кладовщик в холодильнике заснул. Жарко было, они сардину промышленяли под экватором, так он скинул сапоги и залез в холодильник освещаться. А его не заметили, задраили двери и пустили холод. Через пару часов хватились, а он уже мерзлый был — хоть ножовкой режь.

Я эту историю, правда, в другом варианте слышал. Будто бы не кладовщик, а кот полез — воровать сардины. Но ведь с кладовщиком-то тоже могло случиться! Так они, эти истории, и складываются.

— И как твое мнение, — я спросил, — отзовут?

— Ты еще сомневаешься?

Да, если бы такое на крейсере случилось, я бы еще сомневался. Но то ведь крейсер. Он с такой дырой не только что плавать обязан, а бой вести. Там бы ее даже в программу учений включили. А рыбакам и так мороки хватает. Значит, отплавали рейс. Денежки кой-какие получим, и баста. И привет морю.

Я вышел. Фареры выплыли из дождевой завесы, и скалы нависли над полубаком, закрыли полнеба. Даже казалось — вот сейчас воткнемся.

Но скала расступилась, блеснула спокойная вода, узенькая полоска, но такая голубая, так резко она отличалась от открытого моря. При самом входе в фиорд торчали камни, сплошь обсиженные чайками, кайрами. Эти камни, сколько я помню, лежат у Фугле-фиорда, откололись они от скалы лет, наверное, триста назад. Волна набегала на них с грохотом, с урчанием, они шатались заметно, и птицы взмывали, носились кругами и тут же садились снова — когда волна проходила и камень оголялся донизу.

Мы прошли под камнями и сбавили ход. Фарватер здесь извилистый, узкий, скалы — как стены в колодце, кажется, достанешь рукой или же мачтой чиркнешь. По скалам струились ручейки от дождя, а на уступах видимо-невидимо птиц, крик стоял невообразимый. Морские птицы — те уж привыкли к нам, садятся спокойно на рей, на палубы, иной раз целая стая перелетная отдыхает и ни черта не боится. А береговушек все тревожит: дым из трубы, или гудок, или просто винт шлепает в узкости слишком гулко, или человек выйдет выплеснуть ведро — для них уже целое событие.

Мы прошли поворот, другой, и моря совсем не стало слышно, спокойная голубая вода расходилась от носа ровными усами и хлопала под скалами. Только два раза попались нам встречные. Повыбегали на палубы рыбаки, смотрели нам вслед. Каждое слово — как в трубе. Жалко, я по-датски не знаю, мне бы их мнение хотелось узнать насчет нашей задницы. Фарерцы ведь мореходы первый сорт, здесь даже по лощи капитану разрешается брать лоцманом любого — с четырнадцати лет, хоть мальчишку, хоть девчонку¹.

Бухта открылась — вся сразу, чистая, молочно-голубая. Только если вверх посмотришь и увидишь, как облака несутся над сопками, по-

¹ На Фарерских островах живут датчане, отделившиеся от метрополии. У них свой флаг, свой герб, своя столица — Торсхавн. В основном рыбаки и овцеводы, они торгуют с другими странами рыбой, овечьей шерстью и мясом.

чувствуешь, что там творится, в Атлантике. Ровными рядами — дома в пять этажей, зеленые, красные, желтенькие, все яркие на белом снегу. А поверху сопки, серые от вереска, снег оттуда ветром сдувает, и как мушинная сыпь — овечьи стада на склонах. Суденышки у причалов стояли не шелохнувшись, мачта к мачте, как осока у реки, — яхточки, ботики, сейнера, реюшки, тут почти у каждой семьи своя посудинка, все рыбаки, все плавают.

Мы шли к середине бухты, к нашей стоянке — по конвенции мы к причалу не швартуемся, в крайнем случае раненого можно доставить шлюпкой. Отсюда видно, как ходят люди, собаки бегают, автомобильчики снуют между домами и по склонам сопки, там поверху проложена шоссейка.

Якоря отдавать — все, конечно, вылезли. Что значит стоячая вода, всем спать расхотелось.

Сгрудились на полубаке, Шурка прибежал с руля с биноклем, и все по очереди стали пялиться на берег. Вон рыбачка вышла — белье на веревке развесить, вон две кумы встретились и лясы точат, фарерскими сплетнями обмениваются, а нам все в диковинку.

— Эх, ножки! Швартануться бы. Потом бы всю жизнь такое вспоминал.

— Давай пльви, кто тебя держит?

— Старпом! А старпом! К причалу не подойдем?

Старпом тоже из рубки в бинокль пялился.

— Какой ты умный, — говорит.

— А кто стукнет? Кепа же нету.

— Найдется кому.

В бинокль все радужно — песик бегают по снегу, фарерский песик, виляет хвостиком, ластится к своей фарерской хозяйке, а та фарерскими ботиками притоптывает — ботики модные, а холодно в них. Фарерский пацан своего братишку катает на фарерских саночках, шнурки на ушанке болтаются... Почему так тянет на это смотреть? Неужели диво — люди, как и мы, тоже вверх головами ходят. Глупо же мы устроились на земле — вот море, одно на всех, сопки — такие же, как и у нас, бухта — для всех моряков убежище. А не подойдешь к ним, конец не подашь, не потравишь с этими фарерцами. Правду сказать, они к нам тоже по-свински относятся. В позапрошлом рейсе мы к ним раненого доставили, со сломанной рукой. Они его в отдельную палату положили, телевизор поставили, и он его целыми днями крутил. А потом они счет прислали — пятнадцать долларов за лечение, шестьдесят — за телевизор. Он-то не знал, что там счетчик вмонтирован. Ну и чуть этого малого со свету не жили — за такое расхищение валюты. А сами у нас бесплатно лечатся. И сколько ни просим мы, чтоб они в ответ хоть для моряков бы сделали исключение — все как об стенку горох.

— А что, бичи? — сказал Шурка. — В заграницу приехали.

— Ты еще не приехал, — Ванька Обод ему угрумо.

— А где же я?

— А все там же. В Расее.

— Ну нет!

— Вот те и «нет». Что ты на это дело в бинокль смотришь, это и в кино можно, в порту. Даже виднее.

Всегда найдется такой Ванька Обод — настроение испортить. А солнышко вышло, стало чуть потеплес, потянуло еле слышно весной. В такие дни на берегу хочется в море. А в море — хочется на берег.

— Скидывай рокана, бичи! — сказал Шурка. — Айда все по-береговому оденемся.

— Не рано ли? — спросил Серега.

— А чего рано? Теперь уже до порта — ни метать не будем, ни выбирать. Айда!

Мы поглядели на старпома. Он все пялился на берег.

— Старпом,— спросил Шурка,— точно ведь в порт?

Старпом оторвался от своего бинокля.

— На все будет команда.

— Это что значит? Можст, еще и останемся? Это хочешь сказать?

Но у старпома прямого слова не выжмешь. Да он и на самом-то деле мало что знал. Даже вот оставят ли его старпомом — и то не знал.

— Покамест,— говорит,— ремонтироваться будем.

— Это само собой,— сказал Шурка.— С такой дырищей тоже мало радости до порта шлепать.

Больше всех ему верилось, Шурке, что в порт уйдем. И не стоялось ему, как жеребенку в стойле. А если подумать — чего мы там не видели, в порту, кроме снега январского и метелей, кроме «Арктики»? Да и этих-то радостей — на неделю, не столько же мы заработали, чтоб куда-нибудь в отпуск поехать. Но великое же слово — домой!

Все-таки пошли в кубрик, переоделись. И сразу мы все разные стали. Вышли на палубу, как на брод, на набережную.

— Я теперь ни к чему не прикоснусь,— говорит Шурка. Он в пиджачке вышел, с галстучком.— Дрифтер скажет: «Чмырев, иди подбору шкерить!» А я ему — хрена, сам ее шкерь, а я теперь не матрос, я пассажир на этом чудном пароходе.

— Сигару — не хочешь? — спросил Серега.

— Отчего же нет, кореш?

Серега вытащил «беломор», мы задымили, облокотились на планшир, сплевывали на воду. Ни дать ни взять — на прогулочном катере где-нибудь в Ялте.

— Слышь, старпом,— сказал Шурка.— А ты не переживай.

— А чего мне переживать.

Старпом отставил свой бинокль, стоял, как портрет в раме. Невеселый это был портрет.

— Врешь,— сказал Шурка.— Переживаешь! А зря. Ну, понизят тебя до второго, ну там до третьего, годик поплаваешь, и опять — в старпомы. Ты же у нас хороший мальчик, дисциплинированный, начальство уважаешь.

— Чего это меня понизят? Третьего вахта была, а не моя.

— Ну, чума,— сказал Серега.— Он же тебе ее передал.

Старпом лоб наморщил. Задумался, видно, как он из этой истории будет вылезать.

— Спросят, чья вахта была с двенадцати.

— Не-ет,— Шурка засмеялся,— так не спросят, не рассчитывай. А «кто на вахте был с двенадцати?» — вот как. Ты уж на худшее надейся, глядишь — оно и получше обернется.

— Нет, «чья» спросят.

— Нет, «кто»!

— Вахту же передавать не полагается.

— Но ты ж ее принял.

— Ну и что? В виде исключения...

— А шляпил — тоже в виде исключения? — Но тут же Шурка и смиловился: — Ну... может, тебя и помилуют, старпом, всяко бывает. Но если тебя в матросы разжалуют, тоже не огорчайся. Зато какую науку пройдешь! Сам побичуешь — бичей притеснять не будешь. Ты, первое дело, им спать давай. Не подымай в шесть, подымай в восемь. Никуда рыба из сетей не убежит, а человек — он дороже. Теперь, значит, выходных чтоб было два в неделю. Кто это придумал — в море без

выходных? Ты этот порядок отмени, старпом. А рыбы наловим, будь спок. Ты к бичам хорошо, и они к тебе хорошо. Усвоил мои советы?

— Ладно.

— Да нет, ты запомни их.

— Запомнил.

— Чо он там запомнил! — сказал Ванька. — Оставят его на мостике — так же и будет на тебя орать.

Грустно нам отчего-то сделалось. И языки чесать надоело.

— Чего будем делать, бичи? — спросил Шурка.

— А то и делай, — сказал Серега. — Стой, по сторонам смотри.

— Старпом! — Шурка опять к нему пристал. — У тебя, может, какие распоряжения будут? В последний раз мне твой голос охота послушать.

— Будут — позову.

— Нет уж, я спать пойду.

— Спи, мне-то что.

Но Шурке и спать было скучно. Такое было весеннее настроение, хоть в самом деле — прыгай с борта, плыви к берегу.

— Бичи, — вспомнил Шурка. — А мы же фильмами-то махнулись на базе? Айда покрутим.

Пошли с полубака, покричали в кап:

— Эй, салаги! Кончай дрыхать, есть работа на палубе. Фильмы крутить.

Не вылезли. Так устали, что даже на стоячей воде не проснулись.

А фильмы — так себе отхватил «маркони». Один — про какую-то балерину, как ей старая учительница не советует от народа отрываться, погубишь, говори, свой талант. Мы даже вторую бобину не стали заправлять. Другой поставили — про сектантов, как они девку одну охмуряют, а комсомольская организация бездействует. Потом, значит, новый секретарь приезжает, и от этих сектантов только перья летят. Но там одно место можно было посмотреть — как этот новый секретарь влюбляется в эту охмуренную девку, и она, конечно, взаимно, только ужасно боится своих сектантов, и он ей внушает насчет радостей любви в таком симпатичном березовом перелесочке, и березки эти кружатся, и облака над ними вальс танцуют. Мы эту бобину два раза прокрутили. «Юноша», который из камбузного окна смотрел, попросил даже, чтоб в третий раз поставили, да нам есть захотелось. И пробоина нас больше занимала.

То один, то другой ходили на нее смотреть — не заросла ли? Возвращались довольные, ели потом с аппетитом.

— Эх, кабы еще баллер погнуло — это уж наверняка бы отозвали. Его на промысле не выправишь, в доке надо менять.

— А хорошо б еще — винт задело.

— Ну и что — винт? Это водолазы сменяют. Что на базе, запасных винтов нету? Самое верное — баллер.

Салаги тоже пришли поесть, послушали нас. Димка рассмеялся:

— Энгузиасты вы, ребята! А как же насчет «море зовет»?

— А вот оно и зовет, — ответил Шурка. — В порт идти.

Тут нас старпом позвал по трансляции:

— Выходи, палубные, к нам швартоваться будут.

В бухту еще один СРТ вошел, подчаливал к нам. В носу стоял бородач в рокане, поматывал швартовым.

— Ребятки, — кричит, — нельзя ли за вас подержаться?

— Подержись, — говорим, — только не за нашу поцелованную.

— Ну, молодцы ребята! Где такую нагуляли?

— А там же, где ты борду.

— Счастливо вам теперь до порта.

— Спасибо,— отвечаем,— на добром слове. Привет капитану!

На этом СРТ все оказались бородачи: кеп — бородач, «дед» — бородач, все дикари — то же самое. Оказывается, они зарок дали не бриться, пока два плана не возьмут. А два плана им накинудли, потому что решили они проплавать полгода. Три месяца уже отходили в Северном, теперь на Джорджес-Банку шли. Тоже своего рода Летучие Голландцы.

А на палубе у них — все наши были, кто на базу ушел. Примолкшие все, какие-то пришибленные, улыбались виновато, хотя их вины не было, что так получилось. Но это я понимаю, всегда отчего-то чувствуешь себя виноватым, когда ты покинул судно, а на нем какое-нибудь чепе.

Кеп перескочил нахмуренный и даже пробоину не пошел смотреть, скрылся у себя в каюте. Третий, от выпитого розовенький, полез старпома утешать:

— Чего не бывает? На моей вахте один раз порядок утопили, а все обошлось.

— А это, считаешь, не на твоей вахте было?

— Ты что, больной? — Сразу перестал улыбаться.— Шляпил кто — я или ты? Тебе доверили, а ты прошляпил...

А старпом-то — надеялся. На что надеялся!

«Дед» тоже не стал смотреть пробоину. Ну, а дрефтер, и «Рыбкин»¹, и Васка Буров помчались, конечно, бегом. Вернувшись, только головами мотали и языками цокали.

Бородачи тоже поинтересовались:

— Ну, как, хороша?

— Знаешь,— дрефтер говорит,— просто не ожидал, что так хороша!

— До порта с нею не дойдете?

— До порта-то, хоть всю корму отруби, дойдем.

Потом кто-то принес на хвосте:

— Бичи, «дед» в каюте акт составляет. Я в окошко подглядел.

Я пошел к «деду». Чего-то он и правда писал за столиком, длинную такую релицию. По привычке взялся было за очки, когда я вошел. Но, в общем-то, он уже и не таился, даже окно не задернул.

— Пошарь там в рундучке,— сказал мне.— Я сейчас кончу.

Я вытащил коньяк и две кружки. «Дед» для меня всегда приносил с базы, если мне не удавалось выбраться. Я распечагал и стал закидывать насчет пробоины — вот, мол, и повод есть, за что выпить. «Дед» отмахнулся, даже с какой-то досадой.

— Что вы там паникуете с этой пробоиной? Дать по шее разявье, который допустил, и всего делов. А вы — в порт! С такой дыркой в порт идти — стыдно.

— Ты ж не видел ее.

— Видал. Снаружи. Чепуха собачья.

— Изнутри поглядеть — море видно!

— Заварим, не будет видно море.

Я подождал, когда он кончит свою релицию, а пока разлил по кружкам. Мне даже грустно стало — так мы настроились на возвращение.

— Что ж,— говорю.— Тогда — за счастливый промысел?

— А вот это не выйдет.— «Дед» взял свою кружку.— В порт все равно придется идти.

— Ты ж говоришь — чепуха.

— Та, что в корме. Но у нас еще в борту заплата.

Я что-то не помнил, чтоб мы еще и бортом приложились. Но, может, я и не почувствовал, когда такой толчок был с кормы?

¹ Рыбмастер, специалист по засолке, замораживанию, разделке рыбы и т. п.

— Постой,— сказал я «деду».— Но мы же правым стояли к базе, а заплатка — на левом.

— Какая разница? От такого удара весь корпус должен был деформироваться. Когда обшивка крепкая — ей ничего, она пружинит, и только. Но если слабина... А у нас там, поди, на бортах все листы перешивать надо.

— Шов пока не разошелся.

— Ну-ну,— сказал «дед», усмехаясь,— брякнуть-то легко — «не разошелся», а ты его хоть пощупал? Смотрел на него?

И в самом деле брякнул я, чего не знал.

— А если и не разошелся,— сказал «дед»,— значит, попозже. Волна хорошая ударит...

— А по новой ее заварить?

— В доке. Там все исследовать хорошенько. Ну, поплыли?

Вечером, когда я шел от «деда», я все же посмотрел на нее. Свесился через планшир и ничего не увидел — ровные покрашенные швы. И нигде не сосало, не подхлюпывало.

Шурка Чмырев подошел, тоже свесился.

— Ты чего там высматриваешь?

Я ему рассказал, о чем говорил с «дедом».

— Из-за этой в порт? — спросил Шурка.— Да ей черта сделалось!

Я тоже подумал, что черта.

В кубрике Васька Буров сидел верхом на ящике, помахивал гвоздодером и проблему решал — открывать или не открывать? Притащил он с базы три ящика — с яблоками, с мандаринами и шоколадом,— и проблема была такая: если остаемся, тогда, конечно, открыть; ну, а если в порт идем? С нас ведь за них вычитать будут. А мы, может, еще и на аттестат не заработали.

Мы с Шуркой тоже ясности не внесли.

— Не знаю, что и сказать, бичи.— Шурка сразу в койку полез.— Трехнулся «дед». Не пробойну, говорит, а заплату в док пойдем перешивать.

Ванька Обод приподнялся в койке, выглянул из-за своего голенища.

— Так это он про нее акт составляет?

Я сказал, что да, про нее. Ванька от смеха затряс голенищем.

— Теперь,— говорит,— мне все ясно, бичи. Почему я матросом плаваю, а не «дедом». Разве ж простому дикарю до этого додуматься?

Васька Буров почесал свою лысину.

— Дак как, бичи? Открывать? Я — как все скажут.

— Не мучайся,— Димка ему посоветовал,— открой. Посмотрим на твои яблоки.

— Твое слово — последнее, салага. Ты вторым классом плаваешь, ты ишо на них не заработал.

— Неужели?

— Вот те «неужели». Весь ящик — возьмешь?

— Весь нет. Нам с Аликом по два кило запиши.

— По пятнадцать — не хочешь? Или весь берите, или я его под койку задвину, пушай до порта лежит.

— Была не была,— сказал Шурка.— Я три кило возьму.

— Кто еще?

— Ты своим пацанкам -- по три.

— Я не возьму,— сказал Митрохин.

— В гробу я их видел, твои яблоки,— сказал Ванька Обод.

Васька Буров постучал по ящику гвоздодером -- может, еще кто отзовется,— и стал его задвигать под койку.

— Запиши на меня весь, — сказал я ему. Надоела мне ихняя бухгалтерия. — Я всех угощаю.

Тут только фанера затрещала. Тридцать кило в один миг растащили.

Мы лежали в койках, хрустели этими яблоками, когда «маркони» объявил по трансляции:

— Матрос Шалай, явиться за радиограммой.

Я взял десяток, пошел к нему. Была уже ночь, и мы одни стояли посреди бухты. Бородачи ушли на свою Джорджес-Банку. Огни в городке светились, как в тумане, а поверху, на сопках, мелькали красные огоньки и белые конуса от фар — автомобильчики бегали по шоссе.

«Маркони» лежал одетый в койке, руки за головой. Сел, помотал чубиком, как с большого перспоя. Вся щека у него была расцарапана.

— Выпить хочешь? — спросил. — Чуток осталось.

Я понял, что никакой радиограммы не было; просто хотел меня одного позвать. Он вытащил поллитру «московской», там половина еще осталась, мы отпили по глотку из горлышка и закусили яблоками.

— Как находишь? — он показал на щеку. — Все, как полагается?

— Отдельная — не помогла?

— Точно. Но — подошли вплотную. Мне, Сеня, с первого раза не нужно. Со второго — оно надежней.

— А думаешь — еще подойдем к базе?

— И не раз и не два, Сеня. Кеп ни за что в порт не уйдет. Он воду будет пить соленую, из моря, чтоб только на весь рейс остаться. Мало еще, он на лишний месяц останется — пока про этот «поцелуй» все позабудут.

Мне хотелось про заплату сказать, но я как-то уже и сам в нее не верил. Только сказал:

— В таких случаях команда должна решать. Ситуация — аварийная.

Он усмехнулся криво:

— А что такое команда, Сеня? Это же я и ты.

— Тоже верно. Значит, все-таки за счастливый промысел?

Мы отпили еще из горлышка.

— Кстати, — я сказал, — чтоб не забыть. Ванька Обод у нас списывается, бабу свою хочет застать. Ты отбей-ка его бабе радиограммку, что он возвращается, — вдруг и правда застанет.

— Отобью.

Он помотал головой, вздохнул, опять потрогал щеку. Ему еще хотелось про свою Галю потравить, так это я понял.

— Слушай, — я спросил, — на кой она тебе нужна?

— Сам удивляюсь. А в общем, ни на кой.

— Влипнешь еще.

— Э, куда мне еще влипать! Меня от любого влипа трое потрохов сберегут, и баба такая, что только в гроб меня из когтей выпустит. Но я ж ей тут, на море, звон сделаю! И пускай до нее дойдет, я даже рад буду. Хочется мне, Сеня, хоть последнюю молодость от своей бабы отвоевать. — Он поерошил волосы. Очень уж они были редки. — Вот, до темечка доползет лысина — тут я вполне успокоюсь.

Я ждал, когда он про Лилю хоть мельком вспомнит. Наверняка же он с нею говорил обо мне. Он как будто угадал:

— А твоя-то — все спрашивала, как ты да что ты. Язык у меня отсох — тебя хвалить.

— Зачем бы это ей?

— Зачем! Замуж ей — пора вроде?

— За меня, что ли?

Он засмеялся.

— Молодой ты еще, Сеня. Молодой, не обученный. Если девка любит, то хуже моряка для нее мужа нету, а если не любит, то нету лучше. Круглый год ты по морям, по волнам, только весточки от тебя и гроши. Чувствуешь, какая малина.

— Ну, она про это не думает.

— Смотри-ка, до чего особенная! Какая девка про это не думает? Не думает, но — прикидывает. Сама себе в том не признается. Ты женился б на ней?

— Не знаю.

— Это опасно, Сеня, когда не знаешь.

— Ну, не для меня она. И я не для нее.

— Почему бы это, Сеня? Она — образованная, да? Институт кончила? Какой же институт, рыбный? И что — она больше твоего про рыбу знает? Книжек больше прочитала?

— Наверно, знает, какие читать.

— Этого никто не знает. Пока не прочтет. Ах, Сеня! Нам с тобой совсем другое нужно.

— Что же нам нужно?

— Ну, как минимум — чтоб по нас тосковали, когда мы в море качаем. А главное — жить бы не мешали, когда мы приходим. Не висели бы гирями какими-то! Сколько мы пороку тратим, а потом — сами же в мышеловке сидим. И учти, Сеня, она тебе тоже жизни не даст. Знаешь, чем она тебя держать будет? Тем, что она тебя благодетельствовала. Век ты ей будешь обязан. Такая это девка, я кожей чувствую.

Ну, дальше-то можно было и остановить его. Что я хотел про нее знать, я сам выясню.

— Спрашивала она у тебя, что, наверное, «трудный у него характер»? У меня то есть.

— Спрашивала, Сеня.

— Говорила, что ко мне подход нужен особенный?

— Говорила, Сеня.

— И что не всякая, мол, согласилась бы со мной иметь дело?

— И про это, Сеня.

Вот тут мне сразу грустно сделалось. Оттого, наверное, что она не соврала, когда говорила: «Я — как все».

— Ну, кончили об этом, — я сказал. — Ты спать будешь?

— Хотел бы, да кеп должны запрашивать с базы. Чего-то они про нас решают.

Мы ждали часов до двух, допили всю бутылку и не дождались вызова.

4

Утром причалил к нам катер с плавбазы.

Мы его притянули, наладили трап, и вот кто по нему сошел — собственной персоной Граков.

С «Арктики» он уж обветриться успел, как-то поздоровел. Спрыгнул на палубу, как молодой, улыбнулся нам по-отечески, зубы показал золотые

— Что, утопленники, носы повесили? Ну, понимаю, понимаю, когда план срывается, это обидно.

Такое, значит, было начало. Кеп вышел его встречать, он с ним еда-едва поприветствовался и снова к нам, палубным:

— С таким-то капитаном унывать? Ну, Николаич, веди, показывай свои раны.

С Граковым сошли еще — групповой механик, тощеватый, сутулый, в синем плаще с капюшоном, и пара работяг — сварщики, в руках у них ящички были с электродами и шипцами.

Повалили все в корму. Граков первый в каптерку полез. Там уже доски боцман проложил, чтобы начальство ноги не промочило. Граков там походил, доски под ним гнулись, снял перчатку и пальцем потрогал край пробоины.

— Н-да. Обидели вас чувствительно.

Групповой механик тоже спустился, тоже поглядел, но — молча. Видик у него скучный был, наморщенный, как перед первой стопкой.

Граков спросил:

— А что по этому поводу думает стармех?

Кто-то уже позвал «деда», он стоял над люком. Кашлянул в кулак и сказал:

— Думает, что чепуха.

Граков от его голоса вздрогнул, выгнул шею, чтобы увидеть «деда», и чуть потемнел.

— Ну, не совсем чепуха. Но если команда горит желанием...

— Команда-то горит. Пока не зальется.

— Ну вот, что за настроение, Сергей Андреич, я тебя не узнаю.

Граков стал вылезать. «Дед» стоял ближе всех и мог бы подать ему руку, но не подал. «Дедов» начищенный штиблет был как раз против его лица, Граков на него поглядел и поморщился. Но «дед» не убрал ногу, пока тот не вылез.

— Не узнаю, — опять сказал Граков. — Сам говоришь: «чепуха», а настроение... Этак ты нам бичей деморализуешь.

— Сходим ко мне в каюту, объясню. И акт покажу.

— У тебя уже и акт составлен? Ну-ну. Группового тоже приглашаешь?

— Конечно, — сказал «дед». И подал групповому руку. — Он-то, надеюсь, и поймет.

Граков опять потемнел, но смолчал.

Пробыли они у «деда» минут пятнадцать. Вышли, заглянули через планшир. Мы гурьбой стояли поодаль.

— Что-то сомнительно, — Граков поглядел на группового. — Как твое мнение?

Тот опять заглянул, как будто ему мало было одного раза.

— Не мешает прислушаться к Бабилову.

— А мы что делаем, Иван Кузьмич? — Граков спросил досадливо. — Мы разве не прислушались? Но надо же решать по существу.

Групповой пожал плечами. Решать ему очень не хотелось. Граков подождал и отвернулся от него.

— Что ж, Сергей Андреич. Твои соображения, конечно, весомые. Тем более ты акт составил. Стал, так сказать, на официальную точку зрения. Тем самым ты с себя ответственность как бы снимаешь...

«Дед» как будто не слушал его, смотрел на фарерские сопки.

— Ну, естественно, ты о безопасности обязан думать. На то ты и стармех. Никто тебя не осудит, если ты находишь, что судно аварийное и надо его вести в док. В таких случаях лучше, как говорится, перестраховаться. Никто не осудит, ты прав. Но стране рыба нужна, вот в чем дело. Мы все это помним.

«Дед» поглядел на него как-то устало.

— Стране тоже и рыбаки нужны.

Граков засмеялся, оценил шутку.

— Метафизик ты, Сергей Андреич. Отделяешь людей от дела. Ну что ж. Вот они-то пусть и решают. А, рыбаки? Как — уйдем в порт или

останемся на промысле, выполним трудовой долг? Тут первое слово — команде. Не возражаешь?

«Дед» чего-то хотел ответить, потом повернулся и пошел прочь. Мы расступились, дали ему пройти.

— Ну, утопленники! — Граков к нам подошел. — Ваше слово, никто за вас его не скажет. Опасность некоторая, конечно, есть. Бабилов — механик знающий. Но и мы с вами тоже кое-что знаем. Как люди плавают. В каких, понимаете, условиях. Когда необходимость велит. Про это ведь в акте не напишешь...

Мы стояли толпой, переминались. Потом Шурка спросил:

— Ну дак чего? В порт, значит, не идем?

Граков ему улыбнулся.

— Хочешь, чтоб я тебе приказал? А я, наоборот, тебя хочу послушать, твое мнение.

— А чего меня-то слушать? На ж... поглядеть, как нам ее поцеловали.

— Это ты называешь «поцеловали»? Я думаю, это по-другому называется. Это на вашу ж... только «обратили внимание». Так точнее будет, правда? Да сам же Бабилов, слышали, «чепуха», говорит, заварить — раз плюнуть.

Я сказал:

— Он не про это говорит.

Шурка от меня отмахнулся чуть не со злостью:

— Да будет вам хреновину плести с твоим «дедом»! Помешались на этой заплате.

Граков переглянулся с групповым.

— Я ж говорю, совсем он их деморализовал. Запутал.

Тот лишь плечами пожал, не ответил. Тут Ванька Обод вперед выступил:

— Лично я вот списаться хочу... Это как, можно или нет?

Граков поглядел на него строго. Ванька весь ужался.

— Как фамилия?

— А чо «фамилия»? Вопрос нельзя задать?

— Ну, а все-таки, фамилия у тебя есть? Или ты ее стесняешься? Вот у меня — Граков, все знают. А ты у нас — беспризорный, что ли? Иван, не помнящий родства?

Ванька помялся, выдавил из себя:

— Чего это не помнящий? Иван Обод... Ну?

— Родил наконец! Значит, списаться хочешь, Иван Обод? Товарищей бросить?

— К доктору я на прием записан. Еще раньше.

— Болен, значит? Плохо себя чувствуешь? Это другое дело, прости. Это вопрос не принципиальный. Конечно, держать не будем. Причина — уважительная.

Бондарь спросил:

— А другим нельзя? Ребров моя фамилия.

— Можно, Ребров. Представь себе, можно. Каждый, кто хочет списаться, может это сделать. В установленном порядке. Подать заявление капитану, получить у второго штурмана аттестат и так далее. Держать никого не собираемся. Боязливые да робкие нам не нужны. Коллектив у нас здоровый, а от балласта освободится — еще будет здоровее. Так, орлы?

Он улыбался, все свое золото выставил, а руку положил на плечо — тому, кто поближе. А ближе всех к нему Митрохин стоял, чокнутый наш, моргал ресницами. И тут он весь встрепенулся, покраснел, даже затрясся — от злости, что ли, или знамение ему привиделось.

— Чего мы стоим действительно, лясы точим! Работать надо! Чиниться. А думать — не хрена, ребята. Айда работать!

— О! — Граков удивился даже, потрепал его по плечу. — Гляди-ка, Иван Кузьмич. Мы тут про железо беспокоимся, а на этом железе — еще люди плавают!

Чокнутый наш рванулся — куда-то чего-то вкалывать.

— Ну, ребятаки, — Граков нам сказал. — Давайте-ка действительно, делов у нас хватает, не будем розовым мечтам предаваться.

Мы постояли и разошлись. Тут лишь заметили, что сварщики уже протянули провода к корме, притащили с катера пару стальных листов. Все — пока мы лясы точили.

— Веселей, веселей на палубе! — Это уже старпом покрикивал из рубки. — Заспались.

Шурка задрался с ним:

— Сиди там. Скажи спасибо, что не разжаловали.

— Ты с кем разговариваешь?

— С кем! С тобой.

— А ты глаза разинь. Ты не со мной одним.

А за ним, действительно, кеп стоял — хмурый, шапку на брови надвинул. К нему тоже как будто относилось.

— А я вообще говорю. Кой-кого не мешало бы разжаловать.

Кеп отошел вглубь. Я взял Шурку за рукав, увел от греха подальше.

Отдранли трюма, стали бочки катать на полубак. Это чтобы корма поднялась. Все делали молча, но каждую минуту готовы были сорваться. Так оно вскорости и вышло.

Кепу идея пришла — на полубак еще и сетей натаскать. Это нужно весь порядок, уложенный для выметки, разрушить, а потом его снова набирать. И много ли толку от сетей — в них, в каждой-то, тридцать килограммов весу; это чтоб увеличить дифференциал на сантиметр, нужно сеток полста, не меньше. Мы их таскали, таскали, потом соображать начали — что же это мы делаем? А вернее — дрефтер обо что-то споткнулся. И озверел.

— Посылают командовать лопухов на нашу голову, так их, и так, и разэтак!

А тихо было, и кеп, конечно, услышал. Он уж, поди, и сам был не рад, что такая идея ему пришла, но команда отдана, отменить — амбиция не позволяла.

... — Скородумов, ты это про кого?

Мы бросили сетки, расселись на них и закурили. Спектакля ждем.

— А я, — говорит дрефтер, — про тех, к кому это относится.

— Скородумов, у меня к тебе давно претензии. Не нравишься ты мне, Скородумов.

— А я не за тем плаваю и не за то деньги получаю, чтобы кому-то там нравиться.

— Так вот, Скородумов, больше нам с тобой не плавать.

— Да упаси! Только до порта дойти, а там расплываемся. Ну, это уж потерпим недельку.

— Нет, не недельку, Скородумов. Насчет порта вопрос решенный.

Дрифтер так и сел.

— Когда это он решенный?

— Извини, с тобой не посоветовались. Так что можешь — в индивидуальном порядке. Мы тебе замену найдем.

Дрифтер взял сетку и потащил. Мы за ним. Лицо у него векольное стало, но все слова в горле застряли.

— Хорош! — кеп наконец скомандовал. — Больше не таскайте.

А мы всего-то штук двадцать перетаскали.

— Как это «хорош»? Или уж все таскать, или не братья было...

Но кеп уже удалился. Вместо него старпом выглядывал.

— Ладно, Скородумов, покричали — и хватит. Тебе сказано — «хорош».

— Дак эти-то что — обратно таскать?

Старпом задумался.

— Давай.— говорит,— обратно.

Тут такое сделалось! Дрифтер заревел — так, что чайки взмыли над Фугле-фиордом, пошел к полатам неверным шагом, вытащил багор и кинулся с ним наперевес к рубке. Старпом уже, наверное, с жизнью распростился, стоял, как памятник на своей могиле. Впятером мы едва дрифтера завернули, увели в кубрик. Там он лишь минут через двадцать успокоился и вышел с помощником — шкерить подбору. Остаемся или уходим, а он ее должен срезать со старых сетей, уже негодных, а в порту сдать — она ценная, сизальская.

А мы все катали бочки, пока не сказали нам «хорош», корма поднялась, можно заваривать.

Боцман соорудил беседку — два штерта и доска, — на ней мы обоих сварщиков смайнали к воде. Один там дрелью сверлил отверстия в обшивке, другой кувалдой выстукивал края пробоины.

— Эй, сварщики! — Шурка им орал.— Вы варите как следует. По-тоном — вас же совесть замучит.

Мне с Васькой Буровым боцман вручил по лопате — мокрый уголь из каптерки штывать в пробоину. Его там до черта насыпалось... трубу разорвало, по которой он сыплется с ростр; вся вода от него почернела.

— Эй, сварщики, — Васька шептал им в дыру.— Ни хрена не варите, поняли? Одних бичей слушайте. Сварите себе тят-ляп. Чтоб она снова потом бы разошлась.

— Да не поймешь вас, ребята, кого слушать...

Они и не слушали, грохали по обшивке. Дрель визжала, как зарезанная.

— Давай, Васька, штывай,— сказал я ему.

— Да погоди, жожаковый, посачкуем. Никто нас тут не видит.

Я один штывал. Что толку сачковать — когда сидишь в вонючей дыре, грохот в ушах, визг. Но Ваську хоть повесьте за ноги -- он и так сачковать согласен. Сидел на кадушке с капустой и все перекуривал, перекуривал.

Старпом пришел — взглянуть на нашу работу.

— Сколько выгребли?

— Сто шидисят три лопаты,— Васька говорит.

— Он, значит, работает, а ты считаешь?

— Как же не считать? Мы ж по очереди. Двоим же не развернуться, продуктивность снижается.

Он хорший сачок, с образованием. Спросил даже с готовностью:

— До сколько штывать, старпом? До тыщи или до трех?

— Пока сухой не пойдет.

— Ясно, это, считай, тыща семьсот.

Старпом постоял и ушел.

— Кури смело,— говорит мне Васька.— Слыхал -- «пока сухой не пойдет».

— Ну, так нам туг работы суток на трое.

— Ты что? Его, если хочешь знать, вообще штывать не нужно. Думаешь, он мокрый не горит? Его специально водой поливают, спроси у кандея.

Я бросил лопату.

— Так чего ж мы с ним возимся?

— А не возись! Я ж те говорю — кури. Ну, шевели полегоньку, а то на палубу выгонят.

Я снова взял лопату.

— Не напрягайся,— сказал Васька.— Это ж мы всегда можем сказать: «сухой пошел».

— Они ж увидят.

— А мы сами сухого подсыплем. С ростр принесем и затолкаем в трубу. Ты, Сеня, молодой еще, дак за артельного держись. Я с дураками всю жизнь живу, а с ними-то больше научишься, чем с умными.

Но недолго мы блаженствовали. Граков пришел — я его ботинки увидал, с замшевым верхом. Стоял и стоял у нас над душой, пришлось тут и Ваське включиться в работу.

Вдруг он нас спрашивает, Граков:

— Это кто велел?

Я все кидал лопату за лопатой.

— Кто приказал уголь в воду бросать?

— Мало ли,— говорю,— умников найдется.

— А у тебя самого голова на плечах имеется?

Я встал, опершись на лопату, и заглянул вверх.

— Ну, вы потише, меня родная мама с детства не обижала.

— Грубый матрос,— говорит он мне.— Совершаешь двойную бесхозяйственность и грубишь при этом старшему. Уголь надо сушить, а не бросать в воду. А второе — дно засоряешь в бухте. Мы здесь окурков не имеем права бросить за борт.

Это он все правильно говорил. Но мне его тоже подколоть захотелось.

— А мое дело маленькое. Скажите старпому, пускай свое приказание отменит.

— Так вот я тебе приказываю.

— Вы? А кто вы такой на судне, прошу прощения? Я вас просто знать не знаю.

Он постоял, постоял. А я все кидал, с таким даже увлечением.

— Ну, что ж,— говорит.— Ты прав.

— И кстати,— говорю,— пожалуйста, со мной на вы.

Он не ответил, ушел. Старпом прибежал, весь пылающий.

— Хорош! — говорит.— Сколько перекидали?

— Да лопаты четыре,— ответил Васька.— Только ж начали.

— Кончайте.

Но вылезть нам тоже не дали. Полез групповой механик в люк — поглядеть, как там выстучали края.

— Порядок, можно притягивать.

Сварщики завели снаружи лист, приложили его к обшивке, в каптерке стало темно. В дыры, что они там просверлили, мы им просунули тросы полиспаста, зацепили его за пиллерс и все трое потянули дружно. Лист пошел — с жалобным стоном, со скрежетом. Они его начали приваривать — от электрода по эту сторону пролег кровавый шов, запахло окалиной и каким-то газом. Мы очумели, пока держали этот чертов полиспаст. Потом еще групповой взял второй электрод и начал изнутри заваривать. Мы сразу ослепли.

Васька заорал благим матом:

— Пустите, а то бороду спалю!

Отпустил он нас с богом — откашливаться на волю.

На палубе Шурка с Серегой замешивали жидким стеклом цемент, боцман стругал доски для опалубки. Как ни заварят, а надо еще зацементировать. Но с таким усердием они это делали, как будто еще утром не орали: «В порт, в порт!» Шурка прямо взмок от страсти. Потом побе-

жал к сварщикам, отнял у них электрод, сам заварил верхний шов. И язык при этом высунул, так ему это дело нравилось.

Ну, правда, шовчик он им показал — первый класс. Ровный, гладкий, а потом мы его зачистили, засуричили, покрасили чернью и вовсе его не стало видно. Если, конечно, не приглядываться.

Шурка поплевал на него, пошел гордый, руки в карманах. Я напомнил ему:

— А говорил — ни к чему не прикаснешься.

— Так, земля, это ж не рыбацкая работа! Себе удовольствие.

— Завтра и рыбацкая начнется. Груз сдадим и метнем.

— Ну, метать уж хрена! — Потом он подумал и скривился: — Э, земля! Конечно, метнем, а что нам еще остается. И не лезь ко мне, понял? А то — как звездану тебя по уху, земля!..

Вот так. Да мне и самому порт уже и мечтой не казался — ни розовой, ни голубой.

К вечеру все заделали, залили раствором. А через час он у нас потек, цементный ящик. Это уже тогда обнаружилось, когда убрали все бочки с полубака, поставили судно на нормальный дифферент. Что же теперь — опять корму поднимать?

— А где там наши каптерочки? — спросил боцман. Это я, значит, и Васька Буров. — Почерпайте, ребята.

Васька внизу черпал, я на штерте тащил ведро и выплескивал с кормы. А воды все прибывало.

Васька почерпал и засачковал.

— Пойдем поспим, вожакочный. Скажем — всю вычерпали, а она потом снова набралась.

— Так потом опять и пригонят.

— Главнос — сейчас удрать, пока старпом на вахту не вышел.

Но старпом еще перед вахтой прибежал.

— Там вода — говорит.

— Она и будет, — сказал Васька. — Ее всю не вычерпаешь.

— Половину вычерпайте.

... Мы черпали — она все прибывала. Я вспомнил, как в детстве, когда мне есть не хотелось, отец брал мою ложку и чертил по тарелке с супом: «Вот эту половину съешь, а эту оставь».

Старпом псечесал в затылке и принял решение:

— А ну ее, задранвайте на фиг. Каптеркой пользоваться не будем.

Для чего ж мы тогда вообще эту пробойну латали? — хотелось мне спросить. Заваривали, цементировали... Да у кого спросишь?

Покидали мы бухту чуть свет, еще почные огни не погасили в городке. Фарерцы в этот день не выходили на промысел. И, наверно, глядели на нас, как на диво, — идиоты мы, что ли, уходим из фиорда, когда в Атлантике черт-те что творится. Но нам уже и Атлантика была по колено. Мы только вылезли поглядеть на Фугле, попрощаться, а потом — завалились в ящики, проснулись, только когда закачал.

— Шесть баллов, ребята, не меньше, — сказал Митрохин. — Наверно, не пустят швартоваться.

— Пустят, — ответил Шурка. — Нас-то — в первую очередь.

Всё мы уже знали наперед — до апреля, когда нас никто на промысле не удержит, никакой Граков.

В динамике шелкнуло, затрещало. Мы спохватились — сейчас на палубу позовут. Но это «маркони» базу вызывал. А трансляцию не отключил. То ли забыл, то ли нарочно оставил, чтобы мы в кубриках поразвлеклись.

Сильные были помехи, грешало, попискивало, потом знакомый голос прорезался:

— Граков говорит.

Все приподняли головы. Серега потянулся с койки, подкрутил погромче.

— ...Пробойна серьезная, но заварили, зацементировали. Приняли решение остаться на промысле, выполнить плановое задание, несмотря ни на что. Сама команда решила, и почти единодушно. Были, конечно, отдельные настроения, но в общем — ребята боевые, коллектив здоровый, моряки, одним словом.

— Добро,— ответила база.— Вас понял. Привет экипажу. Подходите к моему левому борту.

Мы еще полежали минуту. Потом Жора-штурман басом своим молодецким скомандовал выходить на швартовку.

5

Мы вчетвером опять в корме оказались — Ванька Обод, салаги и я. Корма подвалила, стала биться о кранец, и вахтенный с базы подал нам конец.

— Вахтенный! — крикнул Ванька.— Ты никак тот самый?

Вахтенный долго приглядывался. Трудненько было Ваньку узнать под его капелюхой.

— Ну что, залатали вас?

— Да залатали.— Ванька сплюнул на воду.— Только веры у меня нету. Ты к доктору-то меня записал ай нет?

— А-а!..— сказал вахтенный.

— Вот те «а»! Обод у меня фамилия.

— Да записал, примет.

Сверху уже спускался строп. Бочки у нас так и остались по бортам, когда уходили из Фугле-фиорда. И мы их выгрузили часа за чегыре, без перекура. А на последний строп даже не хватило одной. Шурка вместо бочки приладил веник.

— Точка,— сказал Ванька Обод.— Морской закон выполнил, рыбу сдал. Расплевался я с вами, ребятки золотые.

Ухман крикнул нам:

— Людей не будет?

— А я тебе не люди? — Ванька заковылял к борту.— К доктору я записан.

Ухман спустил ему сетку. Ванька поехал, даже не оглянулся на нас.

— Трюма отворяйте, ребята,— сказал ухман.— Тару буду майнать.

Мы отдраили оба трюма и разбежались кто куда. Порожних бочек по двадцать пять штук в стропе — это страшное дело. Строп от мачты к мачте носится, пока ухман не выждет момент, и тут он летит на трюм и грохается, и бочки раскатываются по всей палубе. Только успевай их рассовывать по трюмам, потому что уже висит и качается новый строп и надо от него спастись. Но, в общем, это уже легкая, веселая работа.

Мы приняли стропов восемь и весь кормовой трюм забили, под самый бимс. Задраили его, сели перекурить, на базе какой-то перерыв вышел.

— Капитана просят! — крикнул ухман.

Высунулся Жора-штурман:

— Капитан у себя в каюте. Акт составляет. Что надо?

— Матросик у вас списывается.

— Какой такой матросик?

А с ухманом рядом уже и Ванька Обод показался. Очень смущенный, личико скорбное.

- Ты, что ли, Обод?
- Ну.
- Списываешься, гад? А с какой такой стати?
- Бюллетень мне выписали.
- А что у тебя?
- Боюсь даже сказать.
- Ну что, на винт намотал?..
- Хуже.
- Что ж может быть хуже?

Ванька похлопал себя рукавицей по шапке:

- Здесь у меня чего-то.
- А, ну валяй,— сказал Жора.— Нам психов не надо, сами такие.
- Аттестатик бы мне. И шмотки там, в кубрике.

Я сходил в кубрик, достал Ободов чемоданчик, покидал в него мятые рубашки, носки, вынес ему. Жора сложил аттестат самолетиком и пустил вниз. Ванька стравил штертик, мы с Шуркой привязали чемоданчик, аттестат сунули под крышку.

- Извиняйте, ребята,— сказал Ванька.— Не могу больше.
- Валяй,— сказал Шурка.— Списывайся, сукин сын.

Мы завидовали Ваньке, а потому и злились, никто доброго слова не сказал на прощание. А чему завидовали — что у самих духу не хватило вот так же гнуть свое до конца.

Ванька нам помахал и ушел.

- Принимай строп! — сказал ухман.

Мы с Шуркой полезли в трюм. другие нам подавали сверху. Порожние бочки — после рыбы — как перышки, просто летают у нас в руках. И что-то хоть видишь вокруг себя. Я вдруг увидел — Шурку. Это одну минуту длилось. Западал небольшой снежок, посеребрил ему волосы и брови, и невольно я залюбовался Шуркой. До того он красив стал, как черт. Лицо — героя, ей-богу, и все на нем — в полную меру: брови — так брови, вразлет, глазищи — так уж глазищи, рот — так уж рот. И правда, такого в кино снять — он бы там всех красавчиков забил. Только, наверное, талант еще нужен... Может, мне бы его — я бы такую книгу написал о людях. Как я их понимаю. А мы вот — с бочками... Нет, лучше об этом не думать. А то еще с круга сопьешься. И минута эта — прошла.

«Маркони» к нам заглянул.

- Сень, со мной на базу?
- А мне нельзя? — спросил Шурка.
- Одного могу. Аппаратурку надо поднести.

Я посмотрел на Шурку.

— Ладно,— сказал Шурка.— Вали, земля. Я один управлюсь. Бритву мне возьми, если будет в лавочке, электрическую.

Мы полетели с «маркони». Когда внизу стоишь, не кажется, что сетка идет долго-долго, и дух замирает, когда болтаешься между мачтами, а под тобою — крохотная палуба и кранец бьется между бортами, — вот где страх-то туда угодить. А когда взлетаешь над бортом плавбазы, ветер набрасывается, отдирает тебя от сетки, а вокруг — пустынное море...

Ухман поймал сетку, повел к палубе, и мы спрыгнули.

- Погуляй пока,— сказал «маркони». — Я Галку пойду искать.
- С аппаратурой — потом?
- Да еще, наверно, не починили. А твоей, если увижу, сказать, что ты тут?
- Не надо.
- Как хочешь, а то могу. Через минут двадцать сюда приходи. Может, и починили. Да хотя я и один донесу. Там чепуха нести.

Я пошел искать лавочку, а заодно и базу поглядеть, я на этой ни разу не был.

Рыбный трюм был открыт, и там, на разных палубах, грузчики укладывали бочки с нашей рыбой. Вот она куда идет. Мы все говорим — трудней и опасней нашей работы, на СРТ, нету, но и тут тоже не санаторий. Строп уходит вниз и мотается в трюме, пока его с какой-нибудь палубы не притянут багром. Прорва такая, что в ней бы семиэтажный дом поместился. А если силы не хватит строп притянуть да его поведет на волне, то ведь сорвешься — костей не соберешь. Такая высь — к комингсу подойти страшно.

Здесь же, над люком, рокотал конвейер, двигались по нему ящики с сельдью — деликатесного, ящичного посола, — женщины черпали ковшиками из чана тузлук, подливали его в ящики. Да и не сразу поймешь, что это женщины, — они в сапогах, в роканах, в буксах, на головах у них шапки.

Я постоял, поглядел на их работу, потом спросил у одной, как мне найти лавочку.

— А вниз майнайся, на четвертую палубу, там спросишь.

— Спасибо.

— На здоровье. Закурить дай.

Я вынул «беломор», она сунула рукавицы под мышку, понюхала руки и сморщилась.

— Ну к бесу, дай из твоих рук затынись. А то в рыбе моешься, рыбой дышишь, дак рыбу еще и курить?

Я раскурил, дал ей затынуться.

— Вот спасибо, хороший. А то душа горела.

Так я и не понял — двадцать ей или сорок.

Я походил по шканцам¹, знакомых не встретил — а была такая надежда — и хотел уже идти в лавочку. И вдруг — я застыл. Как прилип к палубе. Кого же я тут увидел — Клавку Перевощикову!

Вот уж кого не ждал. Стояла она ко мне боком — в тамбуре, за комингсом, — такая же, как тогда, в столовке: платье серое с коротким рукавчиком, фартучек белый, кружево на голове, — а напротив какой-то комсоставский стоял с двумя шевронами на рукаве, затраливал ее как будто. Я туда и сюда прошел мимо двери — Клавка все-таки или не Клавка? Сейчас я с ней разговор буду иметь, скажу ей пару ласковых, так чтоб не спутать.

В это время он ей говорит:

— Как же все-таки, Клавочка?

И пошел ей баки заливать. Неплохо заливал. Так примерно:

— Если наш маленький роман имеет шансы на продолжение, то он должен развиваться либо по гиперболе, либо по параболе. Если по гиперболе, тогда восходящая ветвь устремляется вверх стремительно. Если же мы избираем параболический вариант...

— Вы мне вот чего скажите, — она ему отвечает. — Благоверной не боитесь? Я ведь исключительно за вас беспокоюсь.

Я встал против двери, ждал, когда он ее кончит тралить. Голько бы она с ним на пару не ушла. Ну что ж, придется догнать, взять за плечико.

О чем я с ней хотел говорить? О деньгах? Да нет, я уж на них крест положил. И что толку их сейчас требовать, если я тогда в милиции про них замял. Но вам, наверное, тоже бывает интересно — поговорить с человеком, который вам зло причинил — просто так, ни за что. Любопытно же — что он при этом думал? Вот, скажем, Вовчик с Аскольдом — я ведь

¹ Шканцы — средняя часть палубы.

их и кормил, и поил, и немало денег моих к ним перешло, наверно, еще до драки. За что же они меня еще и избили, да с такой злобой? Откуда эта злоба берется? Или вот эту Клавку взять — ей-то я что сделал плохого? Почему она так со мной обошлась? Не напрасно же они меня к ней потащили. Без нее бы они, пожалуй, не справились, она тут душа всего. Она их и в общагу за мной послала, когда я ушел из «Арктики», и к себе привезти велела, и там еще завлекала, чтоб я совсем голову потерял. Слова не скажешь, хорошо сработано. Но что же она при этом думала? Просто — как деньги выманить? Но ведь не до сорока же копеек грабить человека, когда такие берешь. Тут еще и злоба была! Так вот — откуда злоба?

— Ценю ваше беспокойство, Клавочка, — он ей заливал. — Но ведь она ж далеко, благоверная, в голубой дымке. Я даже не знаю, существует ли она.

— А глаз-то кругом сколько! — она ему. — Не смущает?

И тут они оба ко мне повернулись.

И что думаете — испугалась она? Смутилась хоть? Заулыбалась во все лицо, как будто милого встретила.

— Простите, — говорит, — ко мне братик мой пришел. Я с братиком давно-о не виделась.

Это я, значит, братик. Тот на меня зыркнул так выразительно: а не смоешься ли ты, братик, туда-то и туда-то? Нет, я ему тем же отвечаю, не смоюсь, есть дела поважней ваших тралей-валей. Он ей козырнул и пошел.

Клавка ко мне шагнула через комингс.

— Здравствуй, сестричка! — говорю. — Не ждала, не ведала? Есть о чем поговорить. Только накинула б что-нибудь, холодно на палубе.

— Ну что ты, рыженький! Как же мне может быть холодно, если я тебя встретила? — Протянула мне руку. — Как же не ждала? Третий день тебя высматриваю.

Я руки ее не взял. Держал свои в карманах курточки. Клавка себя обняла за голые локти, пожелилась. Ну что ж, я подумал, не хочется тебе в помещении говорить, где свидетели есть, так терпи. Мы с ней отошли подальше от тамбура.

— Как здесь очутилась? Тоже поплавать решила?

— Да рейса на три только, в замену. Тут у них одна в декрет ушла, Анечка Феоктистова. Знаешь ее?

— Никого я тут не знаю.

Клавка улыбнулась — так искоса, ехидно.

— Совсем никого? А с какой же я тебя видела? Которая к тебе на пароход лазила.

— А... И как — понравилась она тебе?

Клавка поморщилась.

— Зачем она штаны носит? Скажи, чтоб сняла. А то все думают — у нее ноги кривые.

— Прямые у ней ноги.

— А ты их видал?

— Сколько надо, столько видал.

— Ничего-то ты про ее ноги не знаешь.

— Ладно. Тебе-то о чем беспокоиться?

— Да не о чем, рыженький. У меня ж они не кривые. Просто мне тебя жалко стало.

— Вон чего! Ты и пожалеть умеешь?

Чуть-чуть она только смутилась. Но намеков не приняла.

— Я серьезно говорю, рыженький. Неужели ты себя так мало ценишь? Большого не стоишь, да?

На палубе ветрено было, и скулы у меня обтянуло солью, и в глазах синело от моря, и я себя здесь неуверенно чувствовал, хоть и в курточку был одет,— и меня понемногу злость начала разбирать: ведь вичем я ее не пройму, кошку эту полусонную. Она же меня хигрее. Вот и не накинула на себя ничего, чтоб я весь ее вырез наблюдал на груди, до той самой ложбинки.

Крановщик ей покричал сверху:

— Клавка, что пепельницу выставила? Прикрой, я ж так людей могу покалечить!

Так она нарочно к нему еще повернулась и вырез расправила пошире.

— Быть этого не может,— говорит.— Из-за меня еще никто не покалечился. Только лишь по своей глупости.

Вот так. И я, наверное, по своей. Я ее взял за локоть, повернул к себе.

— Может, поговорим все же?

— Да, миленький! — Вся подалась ко мне, и глаза прямо влюбленные.— Да! А зачем же я за тобой в море пустилась? Расскажи хоть, как плавается тебе? Меня-то вспоминал или совсем забыл?

— Только тебя и вспоминаю,— говорю.— Днем вспоминаю, а по ночам снюшусь.

— Что ты говоришь! — вся просто рассиялась.— Даже сердечко запрыгало.

— Клавка,— я сказал,— давай-ка шуточки в сторону.

Опять она мне улыбнулась искоса.

— А я думала, когда ты мне руки не подал, она у тебя — в рыбе. А она — сухая. Ах ты, рыженький!..

— Какой я тебе «рыженький»? Какой «миленький»? У тебя своих там экипаж наберется, меня к ним не приплетай.

— Зачем же приплетать, ты у меня отдельно. Ты к этому, что ли, заревновал? С которым я в тамбуре стояла? Зачем? Такой заливщик типичный, а поговорить-то с ним не о чем. И руки — как у лягушки, бррр! Да мне и смотреть ни на кого не хочется с тех пор, как я тебя увидела.

— Вот именно. Не считая Аскольдика твоего.

— Аско-ольдика?!

— Ну да, с которым ты осталась.

— Да какой же он мой? Ты что, миленький! Он, во-первых, и не остался. И не так-то просто со мной остаться. Меня, знаешь, еще повадить нужно.

Стояла она передо мной — крепкая, ноги такие сильные, что можно в шторм стоять и ни за что не держаться, плечи — как у солдата развернуты, который «грудь четвертого человека» видит; вся подобранная, как будто вот сейчас кинется. И никакой же ветер ее не брал, лицо лишь слегка залубенело, грубо так зарумянилось, а руки и грудь — и кожей гусиной не покрылись. Ну чем такую проймешь? И я чувствовал — разговор у нас в песок уходит. С ней же нельзя про эти трали-вали, она здесь трех собак съела, а нужно прямо спрашивать. И я прямо спросил:

— Клавка, зачем ты все же в море-то пошла? Или денег моих мало показалось? Могла бы и пожить на них.

Вот тут наконец она смутилась. Вся красная стала, даже вырез порозовел.

— Миленький, про деньги я все скажу. Обязательно, а как же? Я тебе их все верну. Наверно, с этого надо было начать... Ну, прости. Я так обрадовалась, когда тебя встретила. Но ты — неужели только из-за них про меня вспоминал?

— Сколько ж ты мне вернешь?

Опять она поежилась, обняла себя за локти.

— Все, что было. Триста с чем-то.

Так. Решили они, значит, со мной поделиться. Моим же собственным поделиться. Испугались, вдруг я скандал начну. Ведь я от них пряником в милицию попал, а что, если я заявил там и милиция свой розыск начала, ждет лишь, когда я с моря вернусь, вспомню каких-нибудь свидетелей... Торгаша, гардеробщика в «Арктике». Таксишника, который нас вез,— их на весь город человек двадцать и наберется. Так лучше меня опередить, вернуть мне какую-то долю, и с нас взятки гладки, остальное — ты у своей Нинки на Абрам-мысу посеял, пусть там и поищут. Не для того ли ты за мной «в море пустилась»? Бог ты мой, сколько мороки! Знали б вы, что я на них крест положил...

— Ну, мы все кончили про деньги? — она спросила.

— Да, все.

Она помолчала.

— Может быть, там больше было?

— Не было.

— Вот, слава богу... А другого разговора у нас не будет? Не приготовил, да?

Так и спросила — «не приготовил?».

— Вот здорово, еще я специально готовиться должен?

— А как же? Разве я не думала, какие тебе скажу слова, когда встречу? Просто не вышло... из-за этих денег проклятых. Никак я не могу к тебе пробиться. То так жить без меня не мог... Обиделся, что тогда тебя побили?

— Ну, за это я отдельно как-нибудь посчитаюсь.

— А так тебе и надо, если хочешь знать. Ты вспомни, как ты себя вел. Или совсем ничего не помнишь?

— Ладно,— я сказал.— Кончили обо всем. Никакого разговора у нас и быть не должно. Кто я тебе? И ты мне — кто? Поняла?

Она кивнула молча.

— Эти ты мне вернешь, а все остальное, что вы из меня вытрясли... пользуйтесь, никуда я заявлять не буду.

— Там, значит, больше было?

— А то не знаешь?

— Сколько же?

— Тысяча. Ну, почти тысяча.

— Ой, много! — вздохнула чуть не горестно.— Где же ты столько растерял? Может, когда на Абрам-мыс ездил?..

— Клавка,— я сказал.— Ну что ты финтишь? Насквозь же я тебя вижу!

— Господи, ну не знаю я, где твои деньги! Пропили они, наверно...

— Пропили?!

Отчего меня так поразило, что именно пропили? Ну, ясное дело, не дворцы же они строили с хрустальными палатами на мои шиши! Но я так представил себе — вот я сегодня с этими бочками... а они там, на берегу, в каком-нибудь шалмане, может, даже в тот самый час... Хорошо ли им пилось? Хорошо ли вспоминалось обо мне? Может, даже пропустили по одной за мое драгоценное... Вот так. Пропили. Я их — убью. Ну я же их убью, другой же кары у меня нету для них. Пусть меня судят. В суде, в зале, свои же будут сидеть, такие же моряки или их жены, они-то знают, как я эти шиши заработал. И вот пришли подлые лодыри, нелюди, сволочь подзаборная, и накололи меня на эту девку, и ограбили. И добро бы еще употребили эти деньги на что путное. Так нет же. Промотали. Пропили...

— Уйди,— сказал я Клавке.— Уйди, пока я тебя не пришел тут же. Никогда мне не попадайся на глаза.

Она себя взяла за плечи, как будто ей тут-то и стало холодно. Прикрыла наконец свой вырез.

— Что ты на меня кричишь? — спросила чуть не со слезой в голосе. Хотя я не кричал, я тихо ей это сказал, сквозь зубы.— Думаешь, я боюсь тебя, бич несчастный? Что ты можешь мне сделать? Чем ты мне грозишь? Я, знаешь ли, криканая. Мужиками битая. Родителями проклятая. Ревизорами пуганная. Мне за себя уже ничего не страшно. А ты вот — жизни не понимаешь, рыженький! С тобой по-хорошему, а ты на людей кидаешься.

— Я еще на тебя не кинулся. Я еще всех слов тебе не сказал.

— Да уж какие ты там слова для меня приберег... Слышала, и сама умею.

Она пошла от меня, застучала каблучками по палубе. С полдороги повернулась, спросила:

— Говорят, вы на промысле остаетесь?

— Тебе-то что?

— Теперь — ничего. Вам счастливо, с пробоиной. Авось не потонете. Значит, до апреля?

— Значит, так.

— Ну вот, в апреле и получишь свои деньги. Скажи хоть спасибо — я эти-то у них отняла. Когда они в коридоре их подбирали.

— Постой...

— Да нет уж, я все сказала, что тебя мучило. А стоять мне больше некогда. Я тоже, знаешь, тут не пассажирка.

Она ушла в тамбур и прикрыла броневую дверь с задрайками.

Лицо у меня горело, как ошпаренное. Так, значит, не понимаю я жизни? Я закурил, глядел на траулеры, которые внизу шарахались на волне и бились об кранцы. Может быть, и не понимаю... Вообще все так гнусно вышло, и ведь вовсе я не собирался скандалить. Но почему я верить ей должен — когда уже так погорел хорошо? И еще спасибо ей скажи. А зайди за этими деньгами в апреле, так, может, без штанов последних останешься, там такая шарага. Надо бы кореша взять с собою, он и свидетелем будет, и поможет в случае чего. Главное — этой кошке не верить, никому не верить, когда дело грошей касается, это дело вонючее, тут все сами не свои делаются...

Ладно, я сплюнул, пошел искать лавочку. Но Клавка все не выходила у меня из головы. Отчего-то мне даже жалко ее стало — тоже девка путаной жизнью живет, и столько ломаться приходится, страхом душу уродовать — из-за каких-то вшивых денег. В общем, я так решил: не пойду я за ними в апреле, разве что она сама меня в порту разыщет, лучше от этого подальше.

На четвертой палубе мне даже не по себе стало — ковры постелены, стеклянные двери, переборки обшиты пластиком, в салонах — телевизоры, читальные столы, ребята в бобочках играют в пинг-понг. А я хоть и в курточке, но в шапке, в сапожиках, все на меня косились. Ввалился в лавочку и заорал с порога:

— Бритвы электрические есть?

А там тишина, как в церкви, тихонько вентилятор жужжал, и два парня в бобочках чинненько беседовали с продавцом, отрез на костюм выбирали. На меня поглядели и покачали головами: ай, как нехорошо. Я и присмирел.

Чего только не было тут — и костюмы самые дорогие, из шевиота, из бостона, из «ударника», и часы золотые, и лезвия «блюэ матадор», и бритвы какие хочешь. А платить не надо — предъявляешь матросскую

книжку и тычешь пальцем: «Вот это заверните». Потом все это с тебя вычтут, и окажется, что всего грошей осталось — месяц погулять, а там снова в море. Но ведь это «потом», а пока у тебя глаза разбегаются и голова кругом идет.

Парни себе выбрали отрез и ушли чинненько — в пинг-понг играть. Тогда продавец соизволил на меня обратить внимание. Не любят они, когда с траулеров приходят, а почему — бог ведает, мы-то и есть самые могучие покупатели. И выбирать нам особенно некогда.

Я ткнул пальцем в бритву — «Москву» или «Харьков», — вынул Шуркину книжку. Он полистал у себя в ведомости.

— Пойдите, вас же снимают с промысла.

— Не снимают. Решили остаться.

— Это нужно проверить. — Взглянул за телефон.

— Да чего проверять, — говорю. — Мы же один груз-то сдали. Неужели на паршивую бритву не заработали?

Он подумал, записал Шуркину фамилию, начал мне объяснять про бритву — как она переключается на 127 и на 220, как ножи менять, как ее чистить.

— Да разберемся, — говорю.

— Потом чтоб не было жалоб.

А хоть и будут, сами понимаете, мы уже с этим продавцом не встретимся.

Больше мне ничего не хотелось покупать. Черт знает, как дальше сложится. Да и на всей базе мне делать было нечего. Если даже и знакомые плавали, где их найдешь в этом муравейнике.

У главного трапа дрефтер меня завернул. С каким-то он дружком беседовал — сам в телогрейке, в шапке на глазах, а дружок — причесанный, брюки в складочку, ковбойка с коротким рукавом. Но веселые одинаково, прямо лоснились.

— Погоди, Сеня, сейчас сети доберем, поможешь мне.

Разговор у них с дружком был серьезный.

— Сатаны меня занесли на этот пароход! — дрефтер говорит.

— Да, не повезло тебе, — дружок отвечает.

— Перейду на другой, вот те крест истинный.

— Конечно, себя ценить надо.

— Хоть на «Сирену» перейду.

— А что, «Сирена» — это пароход.

— Или на «Шалапина».

— Тоже пароход.

— А этот «Скакун» — ну его к бесу, это не пароход.

— Ясное дело, не пароход!

Этак они еще долго могли травить, пароходов у нас много, но тут чьи-то каблучки застучали и юбка зашелестела, так что внимание у них переключилось.

Прошла мимо нас Клавка, стала всходить по трапу, но приостановилась. Скользнула взглядом по мне, как будто знакомого хотела вспомнить, но не вспомнила.

— Смелей, смелей, Клавочка, — дружок ей сказал. — Мы на тебя снизу смотреть не будем.

— А хоть и смотрите, белье у меня в порядке.

Дрефтер заржал от удовольствия.

— Ох, Клавочка! — дружок говорит. — За что мы тебя все так любим?

Хотел было руками ее достать, но она высоко стояла.

— Если бы все! А то вот этот злодей, в курточке, зверем на меня смотрит. Убить меня хочет.

— Кто, Сеня?! — дрифтер взревел. — Какого же он злодей? Да он у нас — душа парохода. Весь экипаж в нем силы черпает в трудные минуты жизни.

— Вот вы его и заездили. Может, и была у него душа когда-то, да вы из него вынули.

— Сень! — дрифтер ко мне пригляделся. — А у тебя и точно взгляд какой-то неродной. Сень, смягчись. Ведь на такую королеву смотришь!

— Правда, рыженький, — сказала Клавка, — что ты против меня имеешь?

— Ты не кошка, я подумал, ты змея. Тебе еще надо, чтоб я при этих двоих сказал, что я против тебя ничего не имею. Нет уж, что я решил про тебя, то сам решил. А ты от меня слова не дождешься.

— Да ничо он не имеет, — сказал дрифтер. — Правда, Сеня?

— Почему ж молчит? Рыженький, почему молчишь?

— Знак согласия, — сказал дружок.

— Так пойдем тогда, захмелиться дам. Хочется же перед отходом?

— А мне — можно? — спросил дрифтер.

— Вы и так веселые. А вот он — грустный. А я грустных прямо ненавижу. Вся жизнь от них колесом идет...

Я все молчал. Клавка засмеялась вдруг, махнула рукой и пошла.

— Чо ты? — сказал дрифтер. — Баба ж тебе авансы выдает.

— Ничего не значит, — сказал дружок. — Он правильно держится. Ты правильно держишься, кореш. Она тут многим авансы выдавала. Вот-вот уже кажется — до дела дошло. А в последнюю минуту — вывертывается!

Дрифтер отчего-то вздохнул. И опять они за свое принялись:

— А «Василиса Мелентьевна» — это, скажи, не пароход?

— Как же не пароход!

— А «Боцман Андреев»?

— «Боцман»-то? Еще какой пароход!

Насилу я его оторвал от дружка. Пошли в сетевой трюм. Я спросил по дороге:

— Больше к этой базе не подойдем?

— Нет, Сень, она нынче в порт уходит, полный груз. Так что упускаешь ты шанс. Если надо — беги, я сетки один донесу.

— Не надо.

В сетевом трюме мы еще полежали на сетях — у дрифтера и там дружок нашелся, — покурили втихаря в рукавчик. И когда выехали на лифте на верхнюю палубу, уже смеркалось. Ветер посвежел, и базу сильно раскачивало, срочно нужно было отходить.

Сетки мы покидали к себе на палубу. Пароход ходуном ходил, и попасть было не просто, одна в воду угодила, Серега ее багром вытаскивал — с матушкиной помощью. В это-то время я и увидел Лилю — в брезентовом дождевике с капюшоном. Смотрела через планшир на наш пароход. Может быть, слышала, как я ругался, когда Сереге наставление давал.

Она подошла, подала руку. Рука у нее все та же была — теплая, сухая и крепкая. И та же улыбка — милая, немного смущенная. Но что-то переменилось у нас с нею. Не знаю даже что.

— А я уже ваш пароход различаю. У него на мачте самолетик с пропеллером.

— Это не только у нашего, многие делают.

— Для чего?

— Так, игрушка. Пропеллер вертится — все веселее.

— Но я все-таки различила!

Дрифтер увидел, что я задержался, и тоже решил куда-то сбегать.

— Сень, ты меня дожди, вместе спустимся.

Она спросила:

— Пробойна у вас серьезная?

— Авось не потонем.

— Почему — авось?

— Все в море случается.

— Так просто, само по себе? А мне говорили — серьезная.

— Чепуха, дело не в ней.

— А в чем?

Я хотел рассказать ей про «дедовы» опасения, но раздумал. Долго рассказывать, да и не к чему ей.

— Тоже чепуха.

— А у вас, я слышала, списался кто-то. Я думала, ты.

— Нет, не я.

— Я знаю. Просто подумала — как было бы славно, если бы ты.

Поплыли бы вместе. Мы ведь сейчас уходим, ты знаешь? Гракова только дождемся, он у вашего капитана в каюте.

А ведь и правда, все можно было переиграть. Позвать Жору-штурмана, наврать ему что-нибудь, он же у Ваньки бюллетеня не спрашивал. Кто-нибудь мне на шертнике подаст шмотки, а я Шурке смайнаю бритву. Не забыть бы только сказать, чтоб Фомку выпустили. И мы поплывем на этом чудном лайнере. Вместе, вдвоем. Ах, синее море, белый пароход!

— Не решаешься? Знаешь, тут даже все удивилсь, когда вы решили остаться, я многих расспрашивала. Вы просто дети. Какое-то дикое легкомыслие. «Авось обойдется». А если не обойдется? Ты же понимаешь, что это глупо? Разве мужество в том, чтобы лезть очертя голову?

В первый раз ей не все равно было, что со мной будет. В первый раз она меня просила о чем-то, предлагала. Это понимать надо!

— Что же я, сбегу, как крыса, а другие останутся?

— Вот чего ты боишься! Лучше, конечно, утонуть за компанию?

— Ну, не обязательно «утонуть»...

— Ты же сам сказал — в море все случается. Боишься быть не как все?

Это правда, я этого боялся. Но вот «дед» не боялся быть «не как все», а тоже оставался.

— Или насмешек боишься? Неужели они всего страшнее?

Я когда-то мечтал о такой минуте, когда она обо мне позаботится. А теперь она не то что заботилась, она за меня боялась. Но радостно мне не стало. Наверно, потому, что как раз сейчас и не нужны мне были ничьи заботы. Если б даже я и списался, так с «дедом» могло без меня случиться, и я бы себя всю жизнь за это казнил.

— Ну, решайся.

Она смотрела на меня с любопытством. Нашего «Скакуна» подкинуло на волне, приложило бортом о кранец. Она вздрогнула.

— Если б меня четвертовали, я бы и то не согласилась!

И так она это сказала испуганно, что я вдруг ее притянул к себе и поцеловал — в губы. Они у нее были холодные и чуть потресканные. Я сам этого от себя не ожидал, и она не ждала, отшатнулась. И от этого еще больше смутилась.

— Ну вот, здрасьте... Какая лирика.

Сверху послышалось из динамиков:

— Восемьсот пятнадцатый, поторапливайтесь с отходом!

Внизу Жора-штурман выглянул из рубки:

— Ясно-ясно, закругляемся!..

Ухман подвел сетку. Я подошел и взялся за нее. По палубе к ней бежали «маркони» и дрейфтер.

— Так что же? — спросила Лиля.

— То же самое. Все обойдется.

Она сказала улыбаясь и чуть насмешливо:

— Кажется, я все про тебя поняла.

— И как?

— Такой, как я и думала. Но убедиться всегда ценно.

— Напишешь мне в море?

— А думаешь, это нужно? Ты же для меня вот столечко не пожертвуешь. А знаешь — был момент, когда мне вдруг так захотелось с тобой... пообщаться, как говорят. Но раз тебе этого не нужно, то письма, прости меня...

Мне показалось, она это не только с грустью говорит, но и с каким-то даже облегчением.

«Маркони» с дрейфтером добежали, вцепились в сетку.

— Ну, ни пуха! — Лиля нам всем помахала рукой. — К чертям! Сто футов вам под килем!

— Вот это да! — дрейфтер заревел восторженно. — Вот это женщина!

Сетка взлетела над бортом, над Лилей и стала опускаться. Вдруг резко остановилась — нас прямо на мачту несло, ухман вовремя углядел. Я поднял голову — Лиля на нас смотрела, приставив ладошку ко лбу. Снизу ей бил в глаза наш прожектор.

— Что-то у вас невесело, — сказал «маркони». — Зря я тебя на базу провел.

— Я ж говорил -- не надо.

Он ей хотел помахать, но сетка пошла круто вниз, на трюма, и Серега нас принял. Они сразу разбежались. А я остался. Пустая сетка качивалась между мачтами и здорово меня соблазняла.

— Восемьсот пятнадцатый! — крикнули с базы. — Отдавайте концы!

Нас подкидывало и с грохотом наваливало на базу. А в рубке никого не было; наверно, и Жора убежал в кепову каюту. Акт же дело суровое, нужно же и расписаться всем, и обмыть его.

А дальше — вот что произошло. Я был на палубе один, смотрел на Лилю. Не знаю, видела она меня или нет, глаза у нее сощурились от прожектора, и казалось — она глядит как-то презрительно.

— Восемьсот пятнадцатый! — кричали с базы. — Скоро вы там?

Жора показался в рубке.

— Минуточку, закругляемся!

Но на борту базы никого не было, только Лиля, ухман куда-то ушел. И Жора опять смылся. Потом я увидел — ее тоже не стало. Я смстрел, пока в глазах не защемило. Ровный планшир, ни одной головы над ним.

Тогда я пошел за роканом, чтоб зря не мочить мех на курточке, — концы-то, по-видимому, мне отдавать придется, все уже в койки залегли, — а когда вышел, сверху мне крикнули:

— Вахтенный! — Там опять стоял ухман. Но как будто другой уже, тот сменился. — Ваших людей всех смайнали?

— Всех!

— А наших всех вывирали?

— Всех!

Я сперва сказал, а потом вспомнил про Гракова. Он же там еще посиживал у кепы, подписывал акт, или выпивал уже по этому поводу, или черт его знает что делал, а в это время его ждали, и волна била траулер о базу.

— Тогда я сетку уберу!

— Валяй.

Вот так-то лучше, я подумал. Ты тоже останешься. Что бы там ни случилось, но и тебя не минует.

Ухман мне помахал варежкой, спросил:

— А бичи ваши где?

— Попадали в ящики.

Он заржал.

— Уже?

— А долго ли?

— Ну, счастливо, вахтенный!

Я хотел ответить, что никакой я не вахтенный, а после решил — а пусть думает. Пусть меня потом узнает, зеленого.

С плавбазы крикнули в «матюгальник»:

— На «Скакуне» — отдать концы!

Сердце у меня стучало, как бешеное, когда я пошел в корму и скинул все шлагги. Конец выпал из клюза и поволочился по воде, и корму сразу начало отжимать течением. Я правду вам скажу, ничего страшного не могло случиться. Просто на конце уже нельзя было подтянуться, для швартовки пришлось бы по новой заходить, вот и все.

Когда Жора появился в рубке, я уже в капе стоял, в темноте. Он сразу увидел, что корма отвалила.

— Кто конец отдал? Так и так тому туда-то и туда-то! — Потом он включил трансляцию. — Выходи отдать носовой!

Я вышел не сразу и не спеша, как будто услышал команду в кубрике. Жора на меня посветил прожектором.

— Э, кто там? Шалай? Отдай носовой!

Вахтенный с плавбазы принял у меня конец и пожелал всего лучшего. Я вернулся и стал под рубкой.

— Шалай! — крикнул Жора.

— Чисто полубак.

— Ясно. Не ходи никуда, сейчас опять придется причаливать.

Машина заработала, и мы отходили.

Потом они выскочили в рубку. Граков и кеп.

— Кто велел отходить?

— Я велел, — сказал Жора.

Он был настоящий штурман, Жора. Не мог он ответить: «Не знаю, конец сам, наверно, отдался». Он сказал:

— Я велел. Ситуация аварийная.

— Как же со мной? — спросил Граков.

Не знаю, что там ответил Жора. Они врубили динамик, и Граков сам закричал в микрофон:

— Плавбаза, восемьсот пятнадцатый говорит! Мне — вахтенного штурмана!

База уходила все дальше, огни ее расплывались.

— Вахтенный штурман слушает...

— Прошу разрешить швартовку. Остался человек с плавбазы...

— Швартовку не разрешаю.

— Это Граков говорит. Требую капитана.

Там, на базе, помолчали и ответили:

— Капитана не требуют, а просят. Даю капитана.

И другой голос, по радиомегэфону:

— Капитан слушает.

— Граков говорит. Прошу разрешить швартовку. Мне необходимо пересечь к вам.

— Волна семь баллов. Какая может быть швартовка? Оставляйтесь на восемьсот пятнадцатом.

— Попрошу капитана не указывать мое местопребывание. Восемьсот пятнадцатый уходит на промысел.

— Желая восьмьсот пятнадцатому хорошего улова! — сказал капитан плавбазы. Мне послышалось — он там смеется. — Завтра снимается с промысла восьмьсот шестой, вернетесь на нем в порт. Димитрий Родионович, вы находитесь в здоровом коллективе наших славных рыбаков. Как-нибудь сутки с ними скоротаете.

— Но мне акт нужно передать.

— Зачем он мне? Я вам верю на слово.

— Вас понял, — сказал Граков. — Считаю долгом сообщить об инциденте капитан-директору флота.

— Счастливо на промысле. Прекращаю прием.

Все утихло, кеп с Граковым ушли из рубки. Я встал против окна и сказал Жоре:

— Жора, это я отдал кормовой.

Он даже высунулся по пояс, чтоб на меня поглядеть.

— Ты? Вот сукин сын! Ты соображаешь, чего делаешь?

— Все соображаю.

— А что авария могла быть?

— Не могла, Жора.

Он подумал.

— Скажешь боцману, пусть пошлет тебя гальюн драить.

— Два.

— Чего «два»?

— Оба гальюна.

— Иди спать. Пошли там на руль, кто по списку.

— Есть!

— Сукин ты сын!

База уже едва была видна. В самый сильный бинокль я бы не разглядел человека на борту. Да ее там и не было, разве что в иллюминатор откуда-нибудь смотрела, как мы уходим.

Погода стала усиливаться, волна брызгами обдавала все судно. Потом повалил снежный заряд, и пока я шел к капу, мне все лицо исклोलло иглами, и глаз нельзя было открыть. Так я и шел, как слепой, ошущую.

Все, как в романсе, вышло. Мы разошлись, как в море корабли...

(Окончание следует)



АМО САГИЯН

★

ИЗ ЛИРИКИ

С армянского

Я БЫЛ БОГАТ

Не золотом, упрятанным в мешок,—
Я был богат счастливыми мечтами.
Я семь небес легко купить бы мог,
Чтоб все тебе их подарить на память.

Но не хотела ты мой дар принять.
Тебе от жизни было нужно мало:
Из всех богатств — платок, чтоб утирать
Слезу, что на глаза мне набегала.

Не золотом, сжимаемым в горсти,
Я был богат; мой клад — мои утраты.
Я мог бы звезды Млечного Пути
Купить и дать тебе. Но не брала ты!

Не к небесам ты устремляла взор,
Тебе нужна была такая малость:
Из всех сокровищ — вытертый ковер,
Где след застыл мой, как тебе казалось.

Тебе отдать хотел я семь миров,
Но были не нужны миры для счастья.
Ты от меня ждала сердечных слов,
И доброты немного, и участия.

Я был богат и, заплатив сполна,
Мог вечность подарить тебе, как слово,
Но вечность не была тебе нужна,
Был нужен месяц иль хоть день медовый.

Ты жалких не брала даров моих,
Все ценности с досадой отвергая,
Тебе из всех сокровищ золотых
Нужна была лишь свадьба золотая.

Я был богат, владел я, богатей,
Землей и небом — всем, что видит зрячий.
Я богачейшим был среди людей.
Но ты любила, ты была богаче.

Перевел Н. Гребнев.

ЛЕТНЯЯ НОЧЬ

Дом засыпал. Соломенная мгла
Его землистой пылью покрывала.
Потом луна, как снегом, осыпала,
На крыше тень от тополя спала,
А под золой —
Дремал огонь усталый.
Спал белый кот,
Спал старый пес
На вытканых луной узорах.
А ветру что-то не спалось —
Слонялся ветер, подпирал заборы.
И, развалясь, вельможные волю
Степенно и торжественно жевали.
Под самой крышей наши сны не спали —
Землей пропахшие,
Соломенные сны.
Мечтала ночь, колени обхватив,
И светлое лицо свое клонила,
Но лишь денница восходила —
Сны спать гнала,
Согласья не спросив.

Всё под землей. Все беспробудно спят:
Очаг, собака, запахи, молчанья —
Землей засыпаны.
А на земле шуршат
Пропахшие землей воспоминанья.

Перевела А. Марченко.



А. ПРОЦКЕВИЧ

★

ХРОНИКА РАБОЧИХ КУРСОВ

Железное уведомление

ШШШагах в ста от заводской проходной до сих пор еще видна деревянная постройка, поблекшая не то от времени, не то от соседства каменных великанов. За годы революции великаны эти, словно проправившись из-под земли среди пустырей с заплесневелыми водоемами, оттеснили последние бревенчатые постройки куда-то за железную дорогу, к самой опушке леса.

В архитектуре нашего здания нет ничего от старины, если не считать железной саженой вывески, время от времени подновляемой безымянной кистью применительно к текущим событиям. До революции железная вывеска сообщала случайному прохожему о каких-то частных курсах «Товарищества инженеров». После революции поверх желтой краски положили сурик, извещавший рабочих об открытии «Профессионально-технических курсов» завода. На протяжении десятилетий железная вывеска не раз меняла свое обличье, и мы читали на ней то о «Рабочей технической школе», то о «Производственно-политехнических курсах», то, наконец, о «Курсах мастеров социалистического труда».

В отдаленные времена зданием владел некий Евстигнейч. По рассказам, хозяин, разогнав жильцов, пустил дом под питейное заведение. Географическое положение трактира среди пустырей и на путях к заводу было оценено еще при жизни самого «изобретателя».

Спавивая мастеровых, не гнушался трактирщик и общества бродяг. Оставив в трактире нечестые деньги, они протрезвлялись на пустырях с заплесневелыми водоемами. И мало-помалу дом Евстигнейча становился общим притоном петербургского оборванного люда.

Не в пример другим трактирщикам Евстигнейч имел неукротимую страсть к «железке» — одной из вариаций картежной игры того времени; известной в более высоком обществе под названием «шмендефера». И однажды, проиграв все деньги, он рискнул, с общего одобрения завсегдаев трактира, своим недвижимым имуществом. Незаметно с помощью друзей спустил сначала верхний этаж своего заведения, а потом и нижний. Потрясенный проигрышем, трактирщик кинулся к своим старейшим клиентам за поддержкой. Клиенты обшарили карманы мастеровых и поднесли банкометчику мизерную сумму. Евстигнейч тут же пропил подношение и швырнул ключи новому хозяину.

Проведя две ночи на улице в компании воров, он в припадке меланхолии повесился.

После этого бродяги сложились и похоронили великого картежника, а на могиле его вырезали эпитафию:

Не унывай в гробу без дела,
Поклонник шмендлера.
Но уповай на вечного судью
И... отыграешься в раю.

При каких обстоятельствах и в какие точно годы возникли на месте трактира курсы «Товарищества инженеров» — остается пробелом нашей хроники. Достоверно одно: курсы существовали только на средства инженеров-бессребреников — они и преподавали, и программы сочиняли, и еще вносили от себя по сто пятьдесят целковых в год, чтобы как-нибудь поддержать просветительское начинание среди мастеровых завода.

Бессребреники сами прошли суровую школу: учились на медные пятаки родителей, в столице появлялись с петухом в корзине вместо денег. Не покладая рук они несли крупинки просвещения рабочему люду и не боялись строгого надзора местных «архангелов». Нередко к просветительским целям «Товарищества» примешивались задачи политические, еще неясно осознанные и оформленные. Тогда появлялись исправник и надзиратель. Курсы оцеплялись полицией. Бессребреников допрашивали. Не добившись толку от учителей, блюстители закона крутили руки подозрительным учащимся. Железная вывеска срывалась и вместе с арестованными куда-то исчезала до лучших времен.

Два-три инженера удержались на учительском посту к приходу революции, после которой они проработали еще лет десять—пятнадцать. Нам посчастливилось знать последних из могикан полуподпольной просветительской работы. Преклонный возраст не охладил огня, с каким они соединяли инженерное искусство с порывом просветителей. Они сохранили привязанность к простонародным выражениям и для иллюстрации своих мыслей охотно брали примеры и сравнения из области рабочих профессий, которых по заводу набиралось свыше сотни.

О том, что стало с курсами в последующие годы, и будет рассказано в предлагаемой хронике. Автор задумал отразить одну из страниц в истории просвещения рабочей массы, когда бывшая мастеровщина довалась до учебы и полвека тому назад заявила о своих правах на культуру.

Василий Иванович

Василий Иванович появился на курсах в двадцатые годы, сменив старое руководство, которое, как тогда выражались, «завалило работу».

Смена руководства — эпоха в жизни учителя, чреватая глубокими последствиями.

Появление Василия Ивановича интриговало: впервые он назывался директором курсов. До него перебивали, согласно хронике, одни только заведующие: народ в целом неплохой, умевший и поговорить, и пошутить, и, поглядев на потолок, назвать цифру средней успеваемости по курсам, а при случае — закатить вечер во славу педагогического оружия. Все это был народ, искренне тяготившийся составлением учебных сводок и донесений.

Впрочем, и с приходом Василия Ивановича ничего знаменательного на первых порах не обнаруживалось. Учителя как давали уроки, так и продолжали давать их. Завуч как сидел за расписанием, так и продолжал сидеть. Одна только уборщица, взглянув на нового человека, круто изменила свое отношение к швабре и тряпкам. Держался Василий Иванович незамысловатым образом, учителей избегал и уже совсем не мог усидеть в своем кабинете, точно стеснялся, что согнал с места предшест-

венника. Целыми днями он пропадал в мастерской курсов, где ладил трансмиссию, паял и дымил кислотой да возился с передаточным механизмом заржавевшего станка.

— Бог его знает, что это за птица прилетела! — недоумевал завуч. И все острее чувствовалось, как не хватает учительской прежнего заведующего, добродушнейшего человека.

Умел бывший начальник ладить с людьми, стараясь вмешиваться в учебный процесс как можно меньше, чтобы там чего-нибудь не напортить и не остановить. Не боялся добрый человек и премировать сотрудников по два-три раза в году. Но в основном бывший заведующий читал лекции в другом учебном заведении, трактуя вопросы режима экономии и снижения себестоимости, пока и не получил указаний о передаче дел Василию Ивановичу.

Не прошло, однако, и двух недель, как пришелец вдруг неожиданно заявил о себе и о своих правах. Пронеслись слухи, что директор не терпит компанейских разговоров. Поступили тревожные сообщения: Василий Иванович хотя и занят своей трансмиссией, тем не менее всегда угадывает попасть навстречу опоздавшим на уроки. Пострадавшие в один голос повторяли реплику директора: «Я вас пока не увольняю, но заявляю чиновникам официально: будем равняться по заводу».

— Бог его знает, где он нашел у нас чиновников и чем он недоволен, — отзывался завуч, слушая пересуды учителей.

Из канцелярии сообщили невероятное. Обложившись журналами, отчетами, инвентарными книгами, директор развил в июне такую деятельность, что поднял тучи пыли. Наведя в бумагах порядок, директор стал присматриваться к работе хозяйственной части. Но тут следует задержаться.

Курсовое имущество до прихода Василия Ивановича особо точно не учитывалось. Парты, столы, стулья и наглядные пособия всегда жили какой-то личной жизнью, до которой никому не было никакого дела. И если бы, скажем, кто и позарился на такое имущество, задумав перенести его на другую улицу, пропажа могла остаться незамеченной.

Из двух завхозов, проработавших на курсах, один был ленив на все, кроме разбойничьих набегов на кабинеты физики и химии. Проследив его, директор как можно скорее отдал взломщика в руки правосудия. После этого походив по заводу, отыскал Василий Иванович знакомого кузнеца и прельстил его чистой работой.

Новый хозяйственник перенес в неизвестную ему область приемы опытного кузнеца: сильно пыхтел, двумя руками держался за каждую бумагу, словно брал щипцами раскаленное железо, и, как это бывало в кузнице, неустанно смахивал с лица пот, который продолжал обильно струиться и теперь, но уже по причине душевного волнения.

Довольно скоро честный малый потерял голову в погоне за тетрадями и мелом. И совсем уж непосильную работу задал ему директор, поручив составление и ведение инвентаря. Тут завхоз только ходил по этажам и уныло насистывал: «Вы жертвою пали...» Кроме чувства досады и тоски по заводу, ничего другого он не испытывал, листая инвентарную книгу.

Для уточнения курсового имущества решено было создать заведующих кабинетами. Таковых сначала не оказалось, хотя зарплата им шла регулярно. Василий Иванович не на шутку расходулся. Впервые учителя познакомились с ораторскими возможностями директора, когда-то кончившего церковноприходскую школу и по сему случаю немного злоупотреблявшего такими словами, как «апостолы» и «чудотворцы».

После этого немедленно начался «субботник» по проверке школьного имущества.

Два дня в классах стояла густая пыль. И сам директор, засучив рукава, разбирал и перетирал, складывал и раскладывал. Взор его становился мрачнее и неприветливее по мере того, как извлекалось на свет божий разное добро, напиханное по шкафам, расованное по ящикам, забитое под потолок и в дальние углы.

Много чего запропастилось. Недосчитывали уйму инструментов и деталей, имеющих цену в сочетании с целым агрегатом. В кабинете физики пропали воздушные насосы, исчез паровой котел.

— Мне трудно допустить, чтобы котел и насосы разорвало во время опытов,— заметил Василий Иванович физику, наотрез отказываясь списать пропавшее имущество.

— Что же мне остается делать? — спросил растерявшийся физик.

— Купить на свои средства равнозначные предметы и поучиться сохранять народную собственность,— заявил директор и направился в следующий кабинет.

Кабинет химии иллюстрировал директору самую душу химии как науки о превращении веществ. Битая посуда и невымытые пробирки с застывшей серой, истлевшие этикетки и проржавевшие штативы — все это ясно говорило о грозной и неизбежной гибели всего, что еще вчера считалось прочным и красивым. Сам химик то и дело советовал директору беречь рукава и локти, колени и плечи от едкой щелочи, разбрызганной по кабинету.

— Разрешите взорвать что-нибудь... для вас? — спросил учитель химии, желая сгладить опытом первое неблагоприятное впечатление.

— Вижу и так, на что вы способны,— ответил Василий Иванович, оставляя химический кабинет.

Однако кабинеты физики и химии были еще оазисом в сравнении с кабинетами «Николая-чудотворца», как прозвал директор преподавателя спецдела за его удивительную способность изображать на пальцах важнейшие технологические процессы. Здесь в основном отсутствовало то, что значилось по описи нового завхоза. Разобраться в этих письменах отказывался и сам завхоз, не узнававший теперь своего почерка.

— Чудотворцы!.. — не выдержал на этот раз Василий Иванович. — Когда же вы... (тут он обернулся и, заметив учительницу, изменил первую редакцию)... когда же вы приведете мне лабораторию в христианский вид?

Произнеся такую фразу, директор распорядился задержать у «чудотворца» его зарплату до выяснения размеров неслыханных убытков.

Списав пропавшее и выбросив хлам, накопленный годами, Василий Иванович уточнил курсовое имущество; остальное упиралось в расторопность завхоза. Кузнец вдруг понял, что его карьера окончена. Молотобойца потянуло в родную кузницу, где все было так просто и очевидно. Директор не выслушал и половины доводов. «Ты человек порядочный и сам все это понимаешь», — согласился он, отпуская его на все четыре стороны. Кузнец повеселел, прямее стал ходить и уже подшучивал над своей «ученой» деятельностью. Сдавая дела, которых у него не было, он подмигивал и говорил новому завхозу: «Теперь уж ты, геноссе, ходи и звони по всем швам, а я, брат, кувалду свою не променяю на бумажный ветер».

Мероприятия Василия Ивановича подняли его в глазах коллектива. Даже словесник, крепко обиженный за «апостола», и тот согласился признать организаторские способности директора.

Отчитав однажды двенадцать педагогических часов за три учебные смены, словесник расписался за все сутки. Тут не было ни подлога, ни злого умысла. Учитель заменил больного преподавателя и поставил рекорд, одновременно проведя уроки в своих и чужих группах (на кур-

сах жили и уважались традиции). С чувством облегчения заканчивал он свою честную операцию, выводя в журнале регистрации часов цифру «24» и перемножая ее в уме на три рубля с копейками.

— Апостол Петр сегодня жирно расписался, — сказал директор, как нарочно сидевший в учительской и наблюдавший за движением пера учителя. Последний не растерялся и стал ссылаться на курсовые традиции. Василий Иванович сверкнул глазами и, прихватив завуча, удалился с ним для изучения конфликта.

Следующим утром учителя знакомились с приказом директора. Отныне совместителям платили по особой договоренности с хозяином курсов, как видно, очень осторожным в расходовании денег.

Тем временем уже назревало противоречие между Василием Ивановичем, с одной стороны, и членами общественных организаций, с другой. В интересах истории следует сейчас обрисовать роль местного комитета, деятельность которого на курсах не всегда укладывалась в рамки трезвых суждений о жизни, столь присущих Василию Ивановичу.

Было в деятельности месткома что-то от «золотого века». Не проходило и недели без объявления культпохода, вылазки или семейного вечера. Учителя совершенно избаловались, посещая театры, преимущественно — даром. Приличный спектакль, сносный концерт уже не заслуживали внимания педагогов. Все только и требовали первых артистов и первых рядов. Билеты, щедро закупленные культкомиссией, ходили по рукам и оставались неиспользованными. В последнюю минуту в театрах появлялись ближайшие родственники учителей. Вся эта публика размещалась по всем ярусам и была несказанно довольна.

Не зная, как лучше избавиться от профсоюзных денег, местком по всякому поводу объявлял «чашку чая». Удивительные, если не сказать бездонные какие-то, были эти «чашки чая». Случалось, что и спустя два дня остатки пиршества хранились у тети Матрены, негласной кулинарки, жившей при курсах на положении скромной уборщицы. Учителя и кулинарша на эти два дня освобождались от заботы посещать заводскую столовую:

Не могли опустошить кассу месткома и таланты, выступавшие на вечерах с пятиминутной мелодекламацией по расценке в двести и триста рублей. Все это и тому подобное находилось за пределами понимания директора.

Довольно скоро сократил он привычки педагогов к торжественным обедам. «Чашка чая», сохранившись юридически, фактически превратилась в стакан жиденького чая с куском сахара и венской булочкой по особому важному случаям курсовой жизни. Впоследствии и эта часть расходов была переложена целиком на плечи устроителей вечеров. Месткомовские деньги вдруг оказались в негоряемом шкафу директора.

Поинтересовался как-то Василий Иванович расписанием уроков, прибывшим в учительской на самом видном месте, и на манер железнодорожного расписания. Давно ему хотелось ознакомиться с нагрузкой своих учителей, да все как-то оттягивал вмешиваться в дела учебной части.

— Ну и загрузился наш инженер! — удивился директор, ознакомившись с расписанием. — Семьдесят часов в неделю!

— Во-первых, не семьдесят, а только шестьдесят восемь, — поправляет инженер, поднимаясь с дивана и начиная излагать свою точку зрения. — Чем больше нагрузка, тем выше коэффициент полезного действия, Василий Иванович. Хуже будет, если я начну совмещать и летать по городу.

— Так можно совсем улететь,— хмурился директор и переводил разговор в другую плоскость.— Говорят, у тебя конный завод имелся?

— И совсем не у меня, а у моего покойного батюшки. И совсем не конный завод, как вам доносят на меня... Просто-напросто извозом занимался мой родитель.

— Занимался-то сам или ямщиков держал? Эксплуататором был?

— Позвольте, многоуважаемый... Где же тут логическая связь между моею педагогической нагрузкой и прошлым моего родителя? Никакой связи не вижу, Василий Иванович.

— Не видишь?.. Ну, не опоздай на урок смотри.

— Нет у нас кадров,— вздыхает завуч, выждав момент, когда преподаватели разойдутся по классам.— Да и кто пойдет к тебе читать токарное и фрезерное дело, если не дать человеку хорошей нагрузки? За выслугу лет у нас на курсах не платят. Путевок в дома отдыха и не обещают даже. Живем вроде приживальщиков при заводе.

— Ну-ну... расплакался,— перебивает Василий Иванович и, раскрыв окно, смотрит в сторону проходной конторы завода, где заметно оживление и передвижение народа более, чем в обычные дни.— Надо и мне сходить на открытие турбинного цеха. И попрошу заодно, чтобы снова меня перевели работать в цех.

— Вот это не выйдет! — смеется завуч.— Не отпустят тебя на завод. Живи теперь с нами, с приживальщиками.

— А если отпустят, что будешь делать без меня?

— Пришлют другого директора. Вот и будем без тебя работать. Пропадем, думаешь? — иронизирует завуч.

— Так тебе и прислали другого директора. Где кадры взять? Были бы кадры, я этого самого коннозаводчика...— И директор махнул рукой, как бы не желая испортить доброе и хорошее чувство, какое вдруг нахлынуло на него при мысли о турбинном цехе и новой технике.

Жил Василий Иванович с величайшей аккуратностью и требовал ее от людей. Верхнее платье, подобно Сократу, носил одно и то же летом и зимой. Расходы на необходимые потребности были чрезвычайно малы. Учителя, то и дело разорявшиеся в столовой на разных пончиках, кексах и бабах с ромом и без рома, стеснялись в присутствии директора заказывать двойные или тройные порции шницелей.

— Питайтесь, чиновники, питайтесь!.. — подтрунивал Василий Иванович за обеденным столом и тут же, просмотрев меню и долго не выходя, заказывал себе что-нибудь молочнокислое.

О личной жизни Василия Ивановича ходили отрывочные сведения. Слышали, что начальник женат, только жены своей никому не показывает.

С умом живым и наблюдательным, непосредственным до ребячества, слыл он, по одним отзывам, существом деликатным и отзывчивым, а по другим — несговорчивым и ко всему придиричивым. Слесарь по профессии, рабочий по происхождению, он не обманывался в своих силах для того, чтобы возглавить работу просвещенцев. Директор умышленно сузил поле своей деятельности вопросами практическими. Вопросы же теории и методики педагогического процесса предоставил он суждению своей учебной части, положившись на ее добросовестность и опыт. Но судьба спутала планы Василия Ивановича и, отравив душевный покой, чуть было не свела его в могилу.

Вскоре между директором и его неверной учебной частью начались неполадки, которые, то замирая, то разгораясь вновь, переходили в настоящее сражение, славившая вокруг Василия Ивановича все лучшее, что было на курсах.

Учебная часть

В истории курсов памятна деятельность завуча, прозванного «громоотводом» за его способность отводить грозу, откуда бы она ни исходила: из отдела кадров завода, из Дома ли техники, или даже от московских ревизоров.

Василий Иванович годами хранил пожелтевшую фотографию любимого своего помощника. То был многоталантливый и неутомимый деятель, который, едва дело доходило до учебных сеток, программ и разных методик, попадал в родную стихию, подобно старой рыбе, изучившей ручейки и заливы большой заводи с ее крутыми берегами и травянистым дном, камнями да ямами, приманками и насадками, раскинутыми под каждым кустом.

Коллектив, которым управлял директор, отличался любительским творчеством по части узловых вопросов педагогики. И прежняя учебная часть, и старый заведующий сходились в одном: давай уроки, как знаешь, только укладывайся в расписание. А зачем, к чему да почему — об этом надо было думать раньше, когда тебя обучали на учителя.

С приходом Василия Ивановича завуч нашел себя: собрание за собранием, один показательный урок за другим. Учителя не поспедали застегивать портфели: такова была у завуча ненасытная жажда проверки конспектов, рабочих планов, контрольных работ. Цикловые и предметные комиссии не только ожили при нем, но заработали, как исправный механизм, основательно почищенный от пыли и ржавчины.

В изобилии снабженный тем, что выработали кабинеты советской педагогики, завуч недоверчиво относился к модным теориям, отрицавшим роль учителя в учебном процессе. Но, требуя дисциплины от других, сам он частенько выходил на работу, когда большинство сотрудников уже заканчивали свои дела. На замечания директора, сверявшего по двум часам случаи опоздания, завуч отделялся общими фразами:

— Надо уметь планировать, а не сидеть в учительской и делать вид, что умеешь планировать.

— Чиновнику виднее, — только вздыхал Василий Иванович, выслушав ответы интеллигентного человека, и бежал в мастерскую сорвать досаду на предметах железных и бесчувственных.

И все же наступила минута, когда чувства директора излились на его помощника со всем запасом скрытой в них энергии, изо дня в день накапливаемой.

Однажды, когда наш завуч, проведив старый год, полеживал в своей постели, раздумывая, выходить ли ему сегодня на работу, на курсы пришло московское начальство. Следом за ним поспешило и местное — из отдела кадров завода. Как мог, задерживал директор внимание неожиданных гостей на своей трансмиссии и учебных кабинетах. Но завуч точно заблудился где-то в лесу и не откликнулся на глухие раскаты налетевшей бури.

Разбитый предчувствиями, Василий Иванович бросился к учителю математики.

— Поправляй дела, Павел Кириллович! — крикнул директор, снимая учителя с урока. — Треугольники нарисуеть завтра.

Учитель положил мел и, сообразив, что от него требуют, поспешил в директорскую.

Ревизия курсов была основательной. Три инспектора, рвавшиеся к критике, оказались, по несчастью, людьми осведомленными в деле, которое решили они проверить. Все неожиданное и чаще ставили директору вопросы. Все больше и больше вовлекалось в обследование доку-

ментов и фактов. Канцелярия, сбита с толку, не могла найти без завуча каких-то важных сводок.

— Пересоревновались, чиновники! — шумел Василий Иванович, почитавший за государственный документ всякую бумагу, подшитую к делам учебной части.

Учитель математики тем временем собрал воедино свой жизненный опыт и дал образец искусства и ловкости в деле обороны курсовых мероприятий. Но ревизоры, как видно, только еще расходились и всё продолжали задавать вопросы. И быть бы Павлу Кирилловичу на шите рядом с директором, не появившись в такую отчаянную минуту бессмертный завуч, сопровождаемый курьером.

Нет нужды описывать, как были рассеяны нависшие тучи. Придирчивое начальство осталось в хорошем настроении. Покидая Василия Ивановича, москвичи долго пожимали руки бывшего слесаря.

— Все прошло благополучно! — сказал завуч, проводив ревизоров.

— Нет, не все еще!

— Не понимаю вашей декламации, — сухо сказал помощник.

— Не понимаешь? Так подавай заявление... и катись с рабочих курсов! — затопал Василий Иванович, сам не ожидавший такого поворота дела.

...Несколько раз подносилась директору от завуча бумага с указанием на состояние здоровья, которое может улучшиться с переходом на другую работу.

— Ты еще десять раз переживешь своего директора, — шутил присмевший Василий Иванович, менее всего склонный принимать отставку. — Стоит ли тебе обижаться на рабочий класс?

В конце концов Василий Иванович поставил вопрос ребром. Завучу предстояло расстаться со свободным расписанием и начать применяться к часам директора, которые в свою очередь проверялись по выстрелу из Петропавловской крепости. В переводе на философский язык — крайнему и безалаберному индивидуализму противостояла трезвая фабрично-заводская действительность с рабочими номерками, проходной контророй, гудками и цехами, где все размерено, взвешено, продумано и подчинено интересам целого. Завуч подумал-подумал и махнул рукой на курсы. В те времена так же просто было уйти с работы, как пересест с одного трамвая на другой. И не прошло трех суток, как завуч передал дела какому-то блондину. Василий Иванович закрылся в кабинете, не желая ни прощаться, ни здороваться. Спустя некоторое время директор показался в учительской посмотреть на жертву, которой предстояло с ним уживаться.

В самой наружности нового завуча было что-то методически выдержанное. В разговоре он следил за движением своих рук, поворотами и полуоборотами головы своей, посаженной на гибкую шею. В учительской быстро оценили хорошую дикцию и были довольны, что новый начальник не злоупотребляет ударениями и выражениями вроде: «выводь мне проценты» или «учащиеся знают все ваши мимики»... Голубые глаза на выразительном лице нового завуча точно говорили собеседнику: «Что вы там рассказываете — это, конечно, неплохо, но я вам расскажу гораздо интереснее». К удовольствию всего коллектива, блондин оказался на редкость доступным, общительным товарищем.

Внешность и манеры завуча вывели из оцепенения Василия Ивановича, сказавшего о новом помощнике:

— Гомеопата какого-то прислал мне отдел кадров!

Курсанты отпустили несколько шуток насчет «сахарной личности» и старались поменьше тревожить ее расспросами о книгах, тетрадях и чернилах.

Учебные занятия шли своим порядком, заведенным еще бессмертным завучем. И когда директора неожиданно вызвали для повышения деловой квалификации, Василий Иванович, немного успокоенный, отбыл в Москву, согласно телефонограмме ГУУЗа тяжелого машиностроения.

С отъездом директора блондин развил широкую деятельность. Методические и цикловые комиссии распускались за ненадобностью: Конспекты и планы уроков объявлялись устаревшей галиматьей. Новый завуч явно забредил о каком-то методе «проектов» и составил план работы на курсах, где не было ни лекций, ни бесед, ни учета знаний учащихся, и выходило черт знает что!

Ни прений, ни вопросов это не вызвало. Один только словесник рискнул спросить:

— Смогут ли учителя, не давая уроков, получать по ведомости?

Долго не спалось в ту ночь учителям. Не один из них пересмотрел свой жизненный путь со всеми заблуждениями и исканиями правды. Готсы уже были некоторые ежеч все, чему поклонялись, и поклониться тому, о чем так нелепо, но очаровательно говорил завуч. И лишь Павел Кириллович, не изменяя ни долгу учителя, ни привычке своей, далеко за полночь углублялся в математические упражнения слесарей и токарей, наставляя и поучая доверенные ему батальоны учащихся. Остальные же уроки наполовину были заброшены. Учителя теперь через день разгуливали по заводу, учитывая количество цехов, станков, рабочей силы, энергетические ресурсы, попутно измеряя длину и ширину заводской территории. На классные занятия смотрели они теперь, как на досадные явления между двумя переменами. Влетит, бывало, такой учитель в класс, раскроет журнал и начнет:

— Итак, товарищи, изучив газы, переходим к жидкостям...

— А у нас сегодня механика! - - хором перебивают учителя.

— Что вы мне рассказываете... вот и по журналу... выходят жидкости.

— Да у нас журнал другой, -- разъясняют рабочие.

Минут пять проходит, пока наставник ходит и разыскивает такого же незадачливого коллегу, обменивается с ним журналами и возвращается в класс. Долго еще листает он журнал да потирает лоб, силясь восстановить в памяти незаписанную тему.

— Звонок - - враг мой! — таким афоризмом заканчивает учитель свой импровизированный урок, перебитый на середине неумолимой уборщицей.

Два горячих учителя, изболевшись душой за свои предметы, не выдержали и, подбив на это дело профорга, доложили отделу кадров о положении вещей на курсах. Но, увы, приход делегации оказался совсем нектатн. Методист отдела кадров, как нарочно, заинтересовался новшествами завуча и встал на его сторону. Учителя посоветовались и решили действовать по партийной линии. Обойдя десятки цехов, отыскивали они нужного им человека, который руководил в это время сборкой какого-то замечательного станка отечественной конструкции. Не отрываясь от своего дела, секретарь комитета выслушал делегацию и вскользь заметил, что теория Маркса еще не спасает нас от разных дураков, какие могут появляться и при новых производственных отношениях.

Учителя повеселели и на обратном пути дали большой крюк, повернув сначала к мартеновскому цеху, а из мартеновского в чугунолитейный и затем уже куда-то в самый конец завода, к турбинному цеху, присматриваясь на ходу к технологическим процессам, как этого требует инструкция производственно-политехнического образования.

Испытанные кадры директора своим горбом исправляли преступления учебной части. Не ожидая постановлений об отмирании школы, они

продолжали требовать, настаивать и, дорвавшись до меловой доски, изувертствовали, упиваясь идеей урока. И крепла привязанность к таким учителям. Под свежим обаянием урока Пазла Кирилловича многое забывалось и прощалось учебной части. Так, приятно бывает выйти вдруг из погорелого хвойника в зелень леса, где и дышится привольно, и тянет и манит вас старый кудрявый знакомец.

Новые обстоятельства еще более запутали дела учебной части. Погруженный в свою методику, блондин сделал неожиданное открытие, что одна из учительниц недурна собой и, как ему казалось, кое-что вынесла из его доклада.

Преподавательница, сбита с толку методом «проектов», вспыхнула идеей о загсе. Перетряхивая свой гардероб, несчастная стала показываться в учительской в самых разнообразных цветах и тонах. Наблюдательные на этот счет учителя уже заранее соображали, как все пойдет с учительницей и завучем, имевшим жсну и кучу детей... Но тут же на горизонте показался сам хозяин курсов с объемистым пакетом новостей и распоряжений учебно-методического характера.

Возвратился директор на курсы самым неожиданным образом. Шли уроки. Коридоры пустовали. Как нарочно, уборщица забилась в гардеробную попить чайку и посудачить на злобу дня. В преподавательской меньше всего ждали появления директора. Совершенно уже не замечая ни обстоятельств, ни обстановки, интимно беседовал завуч с учительницей.

— Чем занят мой чиновник? — как мог равнодушнее спросил Василий Иванович.

Вместо ответа «сахарная личность» методически заулыбалась и, привскочив с дивана, шагнула к Василию Ивановичу, готовая на дружеские рукопожатия. Директор передал пакет и хлопнул дверью. Не более чем через пять минут от завуча потребовали отчета о проделанной работе.

Завуч был вынужден оставить курсы при самом счастливом ходе любовной ситуации. Деликатность нежных чувств была пощажена. В присутствии директора не смели криво толковать оборвавшийся роман. И лишь много спустя как-то в разговоре с учительницей директор позабылся и заметил к слову, что из всех его помощников этот «гомеопат» оказался самым вредным. Учительница встrepенулась. Чувства, преданные забвению, на миг занскрились в ее глазах. Василий Иванович только махнул рукой, ничего не поняв в механизме женского сердца. Учительницу больше не волновали намеками о прошлом.

Итак, деятельность блондина бесславно закончилась. Место завуча пустовало. Директору предстояло искать и выбирать себе помощника как можно осмотрительнее. К тому времени прояснилось и на учительском горизонте: выходило в свет историческое постановление ЦК партии о работе в школе.

На соискание почетной должности директору прислали двух кандидатов. В карманах одного из них, очень застенчивого с виду, скрывались рекомендательные письма, написанные то правой, то левой рукой. Кандидат номер два импонировал фетровой шляпой. Василию Ивановичу представился случай из двух зол выбрать меньшее.

— Вам придется подождать в учительской, — сказал хозяин курсов, забирая рекомендательные письма и склоняясь в мыслях договориться с владельцем фетра.

Последний, как оказалось, был на все способная личность. Где-то он читал геодезию и элементы высшей математики, излагал попутно токарное дело. Черчение, знакомое ему еще со школьной скамьи, осталось навсегда его страстью. Как всякий образованный человек, он прилично

разбирается в технологии металлов. Кстати, на таких же точно курсах ему пришлось как-то читать химию, и, представьте себе, он так быстро уложился в программу, что не знал, куда ему девать оставшееся время и о чем дальше говорить с учащимися. На курсах, конечно, легче и спокойнее работать, чем, скажем, в начальной школе. «Там, видите ли, до сих пор спорят о том, с чего начать изучение букваря: с «ау» или с «уа».

— У меня, к сожалению, и свои учителя не полностью загружены. Мне нужен заведующий учебной частью, который не полетел бы с моих курсов! — сказал директор, собрав все свои морщины в величественную складку, на что энциклопедист многозначительно заметил:

— Можно подумать и на эту тему, если бы нам удалось договориться о витамине Д.

Василий Иванович чистосердечно сознался, что немного «плавает» в таком сложном вопросе, как витамины.

— Как?.. Вы еще не слышали, что кроется под витамином Д? Послушайте, ведь это же деньги, денежки, деньжата! — сострил в заключение навязчивый посетитель.

— В таком случае могу вам предложить витамин Г, — добродушно заметил директор.

— Это что-то интересное! — насторожился и затем поморщился собеседник.

— Зайдите через неделю... Возможно, мне и понадобится гардеробщик, — разъяснил Василий Иванович.

Оставшись один, директор начал пробегать рекомендательные письма, задерживая все свое внимание на авторских подписях, как если бы он был не просто Василий Иванович, а, например, ответственный редактор толстого журнала.

Радушно приняли в учительской очередного помощника директора, простого и скромного человека. Учителей при первом знакомстве смутил только костюм вновь прибывшего завуча, который мало гармонировал с характером его владельца. На нем была синяя тройка, сшитая на экстраординарный случай — вроде серебряной свадьбы или гастролей Московского Художественного театра. Шевровые ботинки и заливчатый галстук нового завуча также не вязались с его характером, тихим и даже мрачным в своей основе.

Мнение учителей разделял, видимо, и сам владелец костюма. К концу рабочего дня неуклюжий человек успел за что-то зацепиться и облить свою гройку чернилами. Учителя ахнули. А Василий Иванович даже рассердился и посоветовал неловкому помощнику сменить парадный костюм... При этом начальник сослался на свою поношенную пару. Сколько раз она у него тонула и горела, и все продолжает служить.

На ближнем педсовете выяснилось еще одно свойство нового завуча. Он оказался человеком глубоко молчаливым и до конца страстных и красноречивых прений так и не сказал ни одного слова. Василий Иванович облегчил свою душу, проклиная вредителя, своими проектами развалившего работу учебной части, но пожурил и нового помощника:

— Дирекцию мало устраивают болтуны, но не утешают и великие молчаливники.

На все это застенчивый человек еще ниже опускал голову и только ворчал: «Вот грех какой».

Раны, нанесенные «гомеопатом», медленно, но затягивались. Журналы приводились в удовлетворительное состояние. Расписание, в котором спроектировали много «окон» не вызывало более нареканий.

Завуч налег на посещение уроков. Молчаливо передвигался по классам, не здороваясь и не прощаясь, садился где-нибудь за партой и

не шевелился до конца урока, нагоняя тоску и страх на робких учителей, словно привидение.

«Привидению» особенно понравилось сидеть и дремать на уроках русского языка. Зная, как не терпит словесник разных обследователей, учителя в шутку принялись поздравлять его с заслуженным успехом. Словесник не выдержал и пожаловался директору:

— Василий Иванович, и что это за казнь педагогическая? Торчи на моих уроках и ничего не скажет.

— Странный, странный какой-то чиновник! — только отмахивается Василий Иванович.

Учебный год был на исходе, когда с завучем произошла метаморфоза. Все чаще нарушал он жуткое молчание с просьбой одолжить ему на мелкие расходы. Учителя подтрунивали над манерой начальника расплачиваться рукопожатиями, но просьбы его исполняли.

Как-то уже с утра усевшись за свой стол, начал завуч считать мелочь. Учителям показался странным внешний вид повеселевшего человека. Вместо синей тройки надувалась и топорщилась на нем известная всем пара. Шевровые ботинки пока не разлучились с ногами хозяина, но разлука предстояла, судя по развязанным шнуркам.

Василий Иванович не удивился, хотя и побледнел немного, когда доложили ему о таком редком случае в истории педагогики.

— Ничего особенного: выпил чиновник за мое здоровье, — только и сказал он безучастно.

Ни о чем не думая, не предпринимая ничего, директор покинул кабинет и, сбегав по лестнице, вырвался на свежий воздух. «Недоброе здесь место!» — подумал он, обводя глазами постройку, поблекшую от времени и соседства каменных великанов.

Каждый раз, когда несчастье постигало курсы, приходила на ум глухая молва о злосчастном трактиршике. «Распрощаться бы с его на следствием!» — мечтал директор.

У бедного Василия Ивановича от всей этой истории разыгралась печень. Прибежавшие на стоны учителя, не теряя времени, доставили директора в заводскую поликлинику.

Смута, посеянная частой сменой завучей, грозила бесславным окончанием учебного года. Отсев рабочих на курсах достиг неслыханных размеров.

Половина состава учащихся гремела молотками, строгала, сверлила, шлифовала да разливала сталь по ковшам, махнув рукой на пустые махины вроде метода «проектов».

В заводской печати замелькали статьи, громившие работу учебной части, то и дело сочинявшей новые программы да ломавшей расписание. Влетело и директору.

Разговоры и настроения рабочих омрачали и без того невеселое состояние духа учительской. Словесник со дня на день ожидал, что Москва «прихлопнет» курсы, и деятельно готовился бежать с корабля, пока тот не затонул вместе с преподавателями.

Погода, наступившая в те дни, только усиливала растущую тревогу. Стояла распутица. Порывы морского ветра пробивались через все щели ветхого здания и дули, наподобие муссонов, в коридоры, где уже соединялись в мощное воздушное течение, проносившееся теперь вихрем с одного этажа на другой.

Совсем стало невесело заниматься в третью ночную смену, когда и классы опустели, и ветер неистовствует, и слышно только, как хлопает, готовая сорваться, вывеска курсов.

Появились слухи, что на курсах поселился ночлежник. Учителя, ра-

ботавшие в третью смену, с опаской ходили по классам, вооружась линейками и штангенциркулями сверх предусмотренного рабочим планом.

Когда Василий Иванович после болезни показался на курсах, директора узнали не сразу: то ли болезнь подсушила его, то ли морщин и складок прибавилось. Еще строже и молчаливее стал хозяин курсов. Пока находился в учительской, хоть раз бы усмехнулся да проронил словечко из священного писания, как это случалось раньше. И лишь напоследок, собираясь уходить, директор оживился, напомнив прежнего Василия Ивановича:

— Некрасиво получается, товарищи. Строим вторую пятилетку, а у вас тут привидение появилось... рабочих отпугивает от учебы. — Рассмеялся, вздохнул и кивнул в сторону математика: — Ходить к варягам не будем, Павел Кириллович. Придется тебе отдуваться за учебную часть.

Математик только покрутил усы, словно совещался с ними.

— Пойдем поговорим... Математика — наука точная, — шутил Василий Иванович, беря учителя под руку и покидая с ним учительскую.

— Павел Кириллович — в гору, мы — под гору, — процедил словесник, сильно занятый проверкой тетрадей, а еще более того следивший за разговором умных людей.

На этот раз реплику Петра Мартыновича не поддержали. Учителя расположились на двух диванах. Отдохнуть, конечно, следовало. За вечерней сменой пойдет ночная. Придешь с утра давать уроки и не вырваться тебе с курсов ранее полуночи. А там еще лови последний трамвай да громыхай на нем верст десять—двенадцать. Упустил трамвай — пешком пойдешь и опоздаешь к разводу моста. Стой тогда на берегу Невы и дождайся, пока не сведут обе половины его. И тут найдут на тебя сомнения: то ли домой надо спешить, то ли поворачивать на курсы, дабы не опоздать к началу утренних занятий.

— Что скажет Павел Кириллович? — начинает директор, запираясь на ключ в своем кабинете.

— Дела не блестящие.

— Гроб с музыкой! — хмурится директор. — Коллектив у нас хромает... Проффорг засыпался. На тебя одного могу положиться.

Василий Иванович машет рукой и смотрит в окно, прислушиваясь к заводскому гудку; гудок торжествующе ревет, выбрасывая мощные клубы пара навстречу сердитому ветру, готовому принять и начать изматывать противника, пока тот не растаял в воздухе.

— Тебе известно, сколько расходуется пара, пока гудок вдоволь насвистится?

Директор называет цифру в несколько тонн и, видя недоверие, продолжает прерванный разговор:

— Говорят, Мария Ивановна куличи святила на прошлой неделе?

— Не сразу человек перестраивается, Василий Иванович.

— Сначала перестройся, потом уже иди преподавать рабочему классу. Не за себя боюсь, за вас, чиновники, краснею. — И, не давая возразить, добавляет: — Совместителей до черта у меня. А кто в штате — так половина из них поповичи. Штат из поповичей! — закатывается вдруг Василий Иванович и как бы между прочим добавляет: — Ты тоже чудотворец: беспартийным ходишь. Неудобно как-то получается.

— Пожалуй, не совсем удобно.

— Рабочие поговаривают: такой складный учитель и в партию избегает. Не согласен разве с чем?

Математик накручивает усы и откровенно признается:

— Умнее Ленина, говорят, появился кто-то.

— Не ты ли, Павел Кириллович? — смеется Василий Иванович. — Ну и математика!

— Недосчитываюсь курсантов в классах,— поясняет свою тревожную мысль учитель.

— Отсеялись, наверно,— хмурится директор.

— На Колыму отсеялись... Что-то непонятное происходит на заводе, словно...

— Много знаешь, Павел Кириллович! — перебивает он учителя.— А еще больше тебе неизвестно. Ты бы лучше насчет партии подумал.

— Найду ли поручителей?

— Один с тобой разговаривает уже. Было бы у тебя желание шагать в рядах партии.

— Будем шагать, если потребуется,— соглашается учитель, направляя разговор в прозаическое русло учебно-методических вопросов.

О чем говорили в кабинете директора, держалось в тайне. И на следующее утро в учительской не успели объявить тревогу, когда Василий Иванович с первым звонком отправился по классам посидеть на уроках.

Поотвыкли преподаватели курсов от неожиданных обследований. И как ни старались теперь учителя в лучшем свете показать свое искусство, мало кому из них удавалось поразить директора. Скорее — на удивление самих преподавателей — все шло наоборот. Провалы в работе учебной части, зиявшие и раньше, выступали сейчас в своей зловещей значимости.

Обследование началось с того, что в классе не оказалось на месте самого преподавателя. Директор засекал время и терпеливо выждал, пока последний рассчитается в буфете, не торопясь пройдет за журналом и в лучшем настроении духа предстанет на глаза курсантов, дожевывая остатки бутерброда.

Преподаватель другой группы (и неплохой преподаватель) почему-то сбился с расписания и сгоряча изложил материал, пройденный на предыдущем занятии.

А физик, недавно присланный из отдела кадров, принял Василия Ивановича за курсанта и, не обращая внимания на легкий шумок в классе, провозился с прибором до конца урока. Директор не утерпел и, подойдя к прибору, подкрутил какой-то винтик, после чего прибор заработал, а Василий Иванович сказал:

— Зайдите ко мне в кабинет. Мне кажется, что вам еще рановато преподавать рабочему классу.

Даже Петр Мартынович — дотошный педагог — и тот расстроился неожиданным визитом директора. Долго еще потом сокрушался и говорил он: «Дернуло же меня захватить не ту таблицу. А ведь какой урок мог бы получиться! Вот не знаешь, где поскользнешься».

С полным накалом своего боевого темперамента обследовал директор постановку дела у преподавателей специальных дисциплин. Два-три инженера сразу же лишились «отхожего промысла».

Тем временем подоспел на курсы долгожданный завуч. Человек довольно молодой, довольно энергичный, он произвел довольно выгодное впечатление. Известно, что завуч пять лет варился в высшей школе, да притом советской, разгладило морщины у директора. Более того, диплом советского вуза магически подействовал на Василия Ивановича, приглушив опасения и подозрения, какие могли у него оставаться насчет будущего завуча. До этих пор к курсам прибывало разные «обломки» из бывшей царской империи, робко предъявлявшие документы об окончании каких-то подозрительных учебных заведений вроде института «благородных девиц», или — что хуже — какого-то заграничного лицея, либо совсем уже неизвестных Василию Ивановичу курсов некоего Шмудевича.

— Теперь вас будет двенадцать апостолов, а со мною — чертова дюжина, — сострил Василий Иванович, знакомя учителей с Андреем Анд-

реевичем.— Прошу любить и жаловать. А вас, Павел Кириллович,— передать дела учебной части.

Математик только что не перекрестился: пересчитал все папки поскорее и общим хохом сдал законному наследнику его малоутешительное наследство.

Курсанты

Из года в год с приходом осени в жизни курсов наступает «решающая пора». Помощник директора тот вообще побаивается осени, каждую зиму встречает думами об осени и делит астрономический год на две неравные части: сентябрь, октябрь — в одну рубрику и в другую — остальные, второстепенные десять месяцев.

От того, как пойдут дела в сентябре и октябре, зависит успех зимы. И заработки учителей, и настроение администрации, размах работы канцелярии и даже штат уборщиц — все на курсах зависит от величины набора учащихся.

Завербовать три сотни учащихся вместо четырех или, скажем, пяти — равносильно политической смерти Василия Ивановича. Излишне упоминать и о том, что лучшие педагоги курсов начнут засматриваться на соседние учебные заведения. Учителей Василия Ивановича возьмут всюду, не дожидаясь даже, когда они раскачаются принести дипломы и заполнить анкеты.

С приходом осени начальник курсов неистощим в своих распоряжениях. В одном и том же тоне, в одних и тех же выражениях придает он силы своему завучу специальной инструкцией:

-- Андреич!.. Оповестил цеха?.. Проследи техпропов, чтобы добровольцев присылали!.. Стариков за шестьдесят не приглашай... пусть дома обучаются. Смотри, не обеспечишь набора... снесем чиновнику подстриженную академию!

Андрей Андреевич на осенний период превращается директором в Андреича — в целях сбережения дорогого времени. Уже три года уживается завуч с Василием Ивановичем и по счету в третий раз восходит на эшафот, закаляя свои нервы до полной анестезии.

Великое дело набрать по цехам полтысячи учащихся, проэкзаменовать их и привязать к курсам, чтобы впоследствии не оказалось пропавших без вести. Попробуйте скомплектовать из пестрого пополнения десятков учебных групп: станочных, слесарных, кузнечных... — и вы устраситесь прихода осени. К тому же часть рабочих обучалась до революции, другая -- после революции. Одни складывали перья и ручки, недотянув трех классов; другие поднимались до комвуза, посещали рабфак или ходили в кружки и начальные школы, какие повсеместно тогда являлись, словно грибы после обильного дождя.

В разгаре августа Андреич изнывает от жары и духоты, ожидая за своим столом будущего слушателя. Поодиночке, а то и целыми партиями, с утра, в обед и вечером — как это удобнее заводским людям — заходят производственники на курсы. Иной решительный рабочий мелькнет в коридоре и напролом идет в учительскую выяснить программы, неизвестные подчас и самому завучу. Нерешительные стоят и курят на лестнице, советуются, заглядывают в классы и, набравшись духу, стучатся к завучу.

Андреич нервничает, уговаривает и сочиняет немного насчет диплома, который устраивал бы и рабочий класс и администрацию курсов.

— Договорились,-- облегченно вздыхает завуч, утираясь вторым платком.— Заполняй анкету и приходи на испытания.

— Прийти можно, почему не прийти,— явно тянет рабочий, боясь оступиться на жизненном повороте.

— Вот чудак!.. Ну, чего задумался?
— Хотел спросить: кто тут математику преподносит?
— Ходишь и людей отрываешь от дела!
— А что я худое сказал?
— Какой же мне интерес держать плохого учителя, а тебе ходить и слушать всякого лешего.
— Только и спросил, кто здесь заведует математикой... Имею я право задать нравственный вопрос?
— Правильно... Можешь.
— На то вы и учебная часть, чтобы растолковать дураку.
— Правильно. Изволь... Мария Ивановна, с большим стажем. Ваграм Бакшеевич хорошо и просто излагает. Кого тебе еще лучше надо?
— Пожалуй, не найти лучше,— соглашается рабочий.
— Как покажешь себя, а то определим в группу Петра Кирилловича. Слышал нашего Эвклида?
— С отцом дьяконом не знаком,— загадочно отвечает рабочий, начиная переминаться с ноги на ногу.

Андреич, которому за две недели такие переговоры стоят дороже прохождения полного курса педагогических наук, прибегает к решительному маневру.

— Слушай, кузнечик! — говорит завуч, беря рабочего под руку.— Вижу: отмахал молотом две смены. Отдохни сначала, потом зайдешь. Договорились? А плохих учителей не ищи на курсах.

— Согласен на Марию Ивановну,— сдается кузнец.— Другая Ивановна куда лучше зубастого учителя. Малограмотному человеку спокойнее с женщиной: ей как ни перемножил — наставляет без шума.

Высказавшись, рабочий пробует разные положения, пока не заполнит всей анкеты, жмурясь и покашливая при каждом замысловатом вопросе.

Все реже и реже заходят на курсы представители старого поколения рабочих. Они слышат плохо и худо видят и обогащают родной язык выражениями: «расколоть дробь», «знаменосец» вместо знаменателя и т. п. При всех огорчениях грамматического характера ссылаются они на своих детей. Сыновья и дочери за годы революции догнали и перегнали родителей по всем статьям и параграфам.

— Когда же нам ходить учиться, здорово живешь! — жалуется в учительской такой рабочий.— Тридцать лет отработал на печках... потом как стеганет: рука и нога забастовали! Сейчас поставлен к насосишку... знаете, что воду откачивает. И сколько раз меня учили, ну скажи пожалуйста — нет у меня головы!

— Кто направил папашу? — осведомляется Андреич.

— Известно кто: техпроп. «Иди, говорит, наяривай дробь». Скажи пожалуйста... Да мне и без дробей с насосом не управиться.

— Интересно, из какого цеха такой умный техпроп? — вмешивается в дело Василий Иванович, и разговор принимает характер уголовного расследования.

— И еще пугает: «Ты, говорит, партийный, так ступай без агитации на курсы!»

— Интересно... Надо будет проведать ваших чиновников.

— Дай бог удачи, хороший человек...

— Не волнуйся, отец.

— С 1875 года на производстве, дорогие товарищи! — выкладывает рабочий последний аргумент.

— Успокойся, папаша... Прогулялся к нам — дорогу будешь знать. Молодым расскажешь про наши курсы.

— Я и сам одобряю науки, ну скажи, не та голова теперь!

Не успеет рабочий скрыться за дверью, как лицо Василия Ивановича принимает каменное выражение. Завуч разбирается в каждой морщине директора, словно музыкант в диезах и бемолях.

— Что мне прикажешь делать с техпропами? — спешит Андреич предупредить возможные осложнения.

— Пройдись по цехам и проинструктируй лишний раз, чтобы зря не гоняли стариков.

— Легко сказать... А где у меня время?

Вместо ответа директор вдруг обнаруживает слона и коня, дремавших под прикрытием газеты и теперь выступающих в роли немых, неоспоримых свидетелей.

— Так, так... В цейтнот попала учебная часть! — хмурится Василий Иванович. — Эндшпиль разучиваешь?

Андреич багровеет и, смешав фигуры, замечает следы преступления, пряча шахматную доску в делах учебной части. Спустя некоторое время завуча можно встретить на территории завода, где вскоре между Андреичем и техпропами цехов открывается оживленная перепалка.

Пробелы по набору учащихся восполнялись учителями. Вернувшись из отпуска, просветители направляются в цеха агитировать за рабочее образование.

Не всякому учителю дано дарование обежать сотню гудящих станков, не мешая работе, не толкаясь под ногами, успевая поговорить с рабочими, угадать их настроения насчет учебы, в отдельных случаях убедить, доказать и посоветовать учиться. Бесталанный агитатор сотрет ноги в мозоли, галоши сожжет да схватит простуду от сквозняков и температурной разницы, которые преследуют его, пока он, горемычный, ходит из цеха в цех и лавирует между шкивами и сердитыми инженерами.

Такой учитель обольется потом при входе в кромешный ад, каким представится ему горячий цех. С замиранием сердца наблюдает он издалека, как летают подъемные краны, разливается сталь по ковшам и протекать сразу на небо и в ноги, вперед и назад, не забывая косить глазами по сторонам; необходимо представлять себе и назначение механизмов и расположение рабочей силы и даже характер начальника цеха, который может оказаться на редкость несговорчивым и будет просить вас освободить рабочую площадку. Даже Василий Иванович боится за нерасторопного учителя, когда тот по личной инициативе возьмет и сунется в горячий цех: как бы там чиновника не обмяли и не закатали вместе с сортовым железом. Чего только не случается на белом свете!

Иное дело — Павел Кириллович. Пойдет учитель агитировать, так скорее переночует на болванке, но не уйдет с завода без списка завербованных. Не разговаривает, а только беседует он да ищет остатки совести у разных технических начальников, недооценивающих задач рабочего образования.

В каждом цехе наберутся у Павла Кирилловича старые знакомцы.

— Так ты еще жив и здоров? — прогудит басом учитель, перекрывая гул и стук расходившейся железной стихии.

— Живой, Павел Кириллович, живой! — улыбается рабочий,правляя кепку.

— А я слышал: турбину у вас разорвало при испытании.

— Заграничная сталь не выдержала... Вон... осколком пробило. Страшно сказать! Других бедствий в нашем цехе не было.

— Ну и слава богу! Ты покурн, а я за тебя поработаю.

— Деталь запорешь, Павел Кириллович.

— Так уж и запорол! — усмехается учитель и начинает хозяйничать у станка, словно имеет дело с классным журналом. — Что это у тебя на малой скорости идет? Дадим-ка большую скорость.

— Резец сядет, Павел Кириллович, — беспокоится рабочий, уже довольный таким помощником.

— Не сядет, — входит в азарт математик, — только стружка летит.

— Откуда вы все знаете?

— Учиться будешь — и сам узнаешь... Э... э... да у тебя чего-то хлябает.

Учитель останавливает станок и прижимает деталь потуже.

— Переквалифицировались, Павел Кириллович? — доносится женский голос.

Молодая работница подходит и крепко пожимает руку математика.

Около учителя собирается еще несколько человек. И будьте спокойны: не упустит он случая замолвить словечко о пользе учения и о технике, которая мертва без знания. Заодно поинтересуется учитель семейным положением рабочего. И снова заладит о пользе учения, так что как ни вертись, а все получается, что надо тебе учиться и учиться. Да еще ударит напоследок по таким струнам, что слушатели только крикнут: «Ну и Павел Кириллович у нас: не учитель, а черт вездесущий!»

Из одного только уважения к учителю постараются рабочие завербовать охотников учиться математике у Павла Кирилловича.

Павел Кириллович был всегда необходим в составе различных комиссий, как необходим водород в составе воды. Никто лучше его не мог так молниеносно и безупречно ревизовать и бухгалтерию курсов, и профсоюзную кассу, и даже работу самой учебной части, которую он вечно поддерживал, выправляя и смазывая на ходу все ее трущиеся части. Никто не взялся бы в условиях экзамена оценить способности и знания рабочего так, как это делал Павел Кириллович. Уважали на курсах учителя и немного побаивались неподкупной совести его, выводов и заключений — всегда строгих и бескомпромиссных, в духе самой науки, имеющей дело с углами, уравнениями и параллельными линиями, бог весть где пересекающимися. Годами собирал и хранил математик биографические данные о рабочем слушателе. Видя в них документ эпохи, учитель подшивал биографии к делам и протоколам предметных комиссий и тем спасал от незаслуженного забвения примечательную страничку в истории заводской окраины города.

Архив учителя пожелтел и сильно попортился от согласованных действий солнечного света и канцелярии курсов, всегда недовольной старыми бумагами. При чтении архива разбегаются глаза: такое количество людей, живых и целеустремленных, прошло через руки Павла Кирилловича. На его глазах рабочие мучились, недосыпали, мало-помалу отсеиваясь с рабочих курсов. Но еще больше народу преодолевало жизненные неудобства, пробиваясь до мастера цеха или собираясь идти на приступ следующей учебной крепости.

Немало учеников Павла Кирилловича выдвинулись впоследствии как новаторы и реконструкторы заводской техники.

Меж строк архива чувствуется влюбленность учителя в женские характеры, время от времени появляющиеся на курсах как бы для того, чтобы еще раз подтвердить идею равенства и усилить порядок, чистоту и дисциплину.

В архиве учителя не один раз упоминается о братьях Седовых. Их и поныне помнят на курсах под кличкой Седова-старшего и Седова-младшего. И дело здесь не только в возрастных показателях.

Седов-старший, по отзывам учебной части, был застрахован от преподавательских попреков тем, что на протяжении ряда лет не сделал ни

одного прогула без уважительной причины. Седов же младший не столько посещал курсы, сколько отрывался от курсов сверхурочными заказами и рационализаторскими предложениями. Нередко на розыски Седова-младшего снаряжалась экспедиция, возглавляемая Седовым-старшим. В результате поисков ученик появлялся за партой и налегал на все предметы, удивляя учителей незаурядными ответами, точно он и не пропускал занятий, а где-то на стороне прослушал такой же курс лекций.

Старшего брата более всего занимала прикладная часть науки. Не плохо, например, знать, как образовались горы, но куда полезнее будет узнать, как добывать из этих гор разные ископаемые. От наук Седов брал все, что может пригодиться для его будущей книги. Содержание книги держится пока в секрете, и только из наводящих вопросов учителя догадываются, что дело идет о каком-то важном усовершенствовании в старой кузнице, где протекла половина жизни Седова и где он потерял свой слух.

Предметы, мало связанные с черчением и техническими расчетами, интересуют Седова в той мере, какая требуется для избежания конфликтов с учебной частью. Изучив наклонности своих учителей, Седов-старший с астрономической точностью определяет число и месяц, когда наступает его черед выходить к доске и отвечать по данной теме. Не было еще такого случая, чтобы этот степенный человек уронил себя в глазах преподавателей или своей группы.

Седов-младший — полная противоположность родному брату — с одинаковым рвением постигает и суффиксы и законы капиталистического развития, доказательства от противного и формулы чудодейственной химии, способной потревожить соседние классы в те дни, когда учитель химии бывает в ударе и взрывает одну консервную банку за другой. Младший брат всегда согласен выходить к доске и блистать своими ответами. Более того, завидя учителя еще на лестнице или где-нибудь в коридоре, он непременно задержит его и скажет ему: «А вы меня почаще вызывайте. Это очень полезно, между прочим». — «А ты, между прочим, поменьше пропускал бы уроки», — только и ответит учитель, торопясь по своим делам.

Восприимчивость к предметам была у братьев далеко не одинаковой. Старший, прежде чем запомнить какую-нибудь аксиому, должен некоторое время жмуриться и шевелить губами, мысленно повторяя ее суть. Младший, не моргнув глазом, запоминал все, о чем бы учителя ни говорили в течение двух двоек уроков по девятисто минут каждый. Память у Седова-младшего была чертовская. Павел Кириллович, которого трудно было удивить чем-нибудь, не раз давал лестные отзывы о способностях рабочего и огорчался только сверхурочными заказами, помешавшими ему выжать из Седова все, на что тот был способен.

Седов-старший — заметная величина в заводском комитете. Когда у Василия Ивановича случается «прорыв на хозяйственном фронте», директор обращается к Седову: «Ты бы там раскачал ваших чиновников и достал для наших курсов... вот, по этому списку». Проходит неделя, другая, и в кабинете директора появляются: ящик тетрадей, новые учебники, а то просто ордера на обувь или даже олифа с кровельным железом — словом, что в данную минуту требуется. О своей персоне директор очень мало думает. На что ему новая фуражка, когда у него есть старая кепка, пробитая вдобавок мелкой дробью.

Уцелевшие фрагменты архива представляются на суд читателей. «Родился я при старом режиме. В течение моей жизни, во исполнении 27 лет, прошло много нехорошего: батрачил, побывал пастухом в наймах; отец умер, вернее — убит кулаками. Устроился на завод по объявлению в трамвае. А когда вышел первый раз на работу — отбил себе палец.

едва завертелась деталь в патроне. Я пришел на курсы подучить себя в отсталости. Только при советской власти я живу на равных правах со всеми гражданами».

«Сегодня второй день испытаний, и для меня снова оказалась трудной встреча с дробями. Товарищ преподаватель, дробь очень заблуждает! Вчера было у меня разбитое настроение: разнервничалась задачей и оставила ботинки в классе. И потому эта комедия произошла, что я давно не касалась дробей. Работаю на фрезерном станке и чувствую потребность повысить свою квалификацию. Нахожусь под фамилией Андреева. Вот и все пока».

«Жил на иждивении дяди, теперь на своем иждивении. Сначала работал в порту. Работа не нравилась: всё больше курил. Потом ушел на завод. И так прошла моя жизнь».

«Родился по месту жительства, после чего пошел учиться. Годы учебы совпали с голодом, разрухой. Как сейчас, помню: напильник примерзал к рукам. Должен сознаться, что я дезертировал в более теплую столярную. Обещаю учиться и быть достойным почетного звания рабочего нашего красноразумного завода».

«Учитель, просматривая мои решения математических задач, ты не поверишь, что я окончил ФЗУ, проучившись свыше двух лет. Но, дорогой учитель, как забывается даже большое горе, так из моей головы испарились годы учения в школе. Чувствую, что наколбасил с процентами, хотя это, признаюсь, и не совсем литературно сказано».

«Павел Кириллович, слесарь-лекальщик — артист!.. Как на рояле. Точность до одной минуты без угломера. И главное оружие — напильник. Попробуй-ка выпилить лекало, у которого радиус меняется по параболе, циклоиде и еще черт знает по какой кривой. Есть, Павел Кириллович, артисты, что делают это; работают с ядовитой точностью. Иду на курсы учиться в этом направлении, а Вам пожелаю успеха в Вашей трудной и ответственной работе по воспитанию рабочих кадров».

Биографические данные о рабочем слушателе кровно затрагивали и самого хозяина курсов. В этих «биографиях», написанных бесхитрым языком, усматривал директор прогресс и стремление вперед.

— Через десять лет увидим, что нам скажет этот самый пока что малограмотный рабочий, — говаривал Василий Иванович, поощряя Павла Кирилловича коллекционировать подобную литературу.

Предсказание директора сбылось намного раньше. Завуч одним из первых почувствовал, что последний набор учащихся не так уж радуется крепким сравнениям и эпитетам, составляющим главное украшение речей самого директора. И сколько теперь Андрейч ни хлопает по плечам курсанта, ничего этим ему не докажешь. Иной рабочий поставит такой вопрос, что не вернуться завучу ссылками на Москву или еще на что-нибудь, столь же отвлеченное.

Стало труднее дышать от критики, какую наводили рабочие на учебные мастерские. Станки собирались из частей и деталей, подаренных Василию Ивановичу заводом, или, точнее говоря, сплавленных заводом за ненадобностью. Устаревшей конструкции, большие коррозией станки нуждались в каких-то частях, игравших роль желез внутренней секреции, и год от года все меньше вызывали восхищение рабочих.

Василий Иванович перестроился на ходу. Уделив отныне все внимание заводским экскурсиям, сохранил директор свою мастерскую теперь уже для обучения преподавателей общеобразовательных предметов, изъявивших вдруг желание поучиться снимать стружку да ознакомиться с коробкой скоростей.

Давно потоваривали о предстоящих изменениях в системе рабочего образования. Возрастала роль учителя, знающего толк в станках, маши-

нах и технических расчетах. Преподаватели все чаще заходили в мастерскую за советом к Василию Ивановичу.

— Лиха беда начало,— говорил директор и тут же вызывал охотников подержать в руках токарный и слесарный инструмент.

Под давлением стенной газеты перестраивалась работа хозяйственной части. На стенах появились свежие плакаты, обновлялась живопись. Вместо огурцов и помидоров неизвестного художника на вас теперь смотрело полотно, изображавшее штурм Зимнего дворца. Географические карты, по которым сами учителя затруднялись установить свои и чужие границы, были забракованы и переданы для затемнения кабинетов.

В свете происходящих перемен одно совсем не громкое событие как-то особенно сильно тронуло директора.

Давал однажды консультацию Павел Кириллович по своему предмету. И все, как водится, шло у него без сучка и задоринки: с одними решал задачи на подобие треугольников, с другими извлекал квадратные корни, с третьими забрался в самые дебри тригонометрических функций, пока уставшие курсанты не взмолились:

— Хватит на сегодня, Павел Кириллович! Тебе тоже надо отдыхать.

— Хватит так хватит,— усмехнулся учитель, провожая курсантов и собираясь уже вознаградить себя за труды лошадиной дозой табака. Как раз в эту минуту в классе показался невзрачный паренек с чертежом под мышкой. Занимал его очень один расчет какого-то механизма, как видимо, важного для производства.

Павел Кириллович взглянул на чертеж и только сказал:

— Не стану хлеб отбивать у ваших инженеров. Обратитесь к ним.

— Лучше Павла никто не объяснит,— заметил рабочий.

Павлу Кирилловичу стало не по себе за допущенную им суховатость.

Еще раз взглянул на чертеж и мелком на доске быстро выписал предполагаемые формулы и уравнения. Походил у доски и задумался. Потом все начисто стер, покрутил усы и снова заработал мелом.

— Уж если такой черт, как вы, не справится, кто же тогда решит? — сказал паренек, как бы поощряя учителя быстрее делать вычисления.

— Ну, если тебе не помогут инженеры, зайди ко мне через полгода. Раньше, пожалуй, ничего у меня не получится.

Рабочий только подивился и пока не убирал свой чертеж; Павел Кириллович уже исчез в кабинете директора.

— Отзанимался я на твоих курсах,— сказал учитель.

— Опять заболел? — поглядел на математика Василий Иванович.

— Хуже... Математики не знаю... С интегралами надо знакомиться...

Директор только рассмеялся:

— Кому она нужна здесь, высшая математика? Тут и от средней живот расстроится.

Пришлось Павлу Кирилловичу рассказать все и пережить еще раз огорчение с чертежом.

Василий Иванович задумался.

— Говоришь, первая ласточка появилась на курсах? — сказал он наконец и снова рассмеялся, но уже каким-то счастливым смехом, точно был радехонек за невзрачного паренька, поставившего в тупик такого складного учителя.

— Поучись, Павел Кириллович,— прибавил он серьезно.— Освободишь себя от лишних нагрузок, а ты поучись. Поддержи рабочий класс.

Через два-три дня курсы облетело странное известие: будто Павел Кириллович готовится на сверхматематика, для чего поступает на какие-то высшие математические курсы.

И в мыслях не допускали курсанты, чтобы Павел Кириллович не знал чего-нибудь из разделов математики. Такая была вера в учителя, и такое наносилось поражение этой вере.

Как бы там ни было, увидали скоро Павла Кирилловича в сапогах времен гражданской войны, с полевой сумкой вместо портфеля и другими атрибутами беспокойной студенческой жизни.

Ровно через полгода учитель давал исчерпывающую консультацию своему старому знакомцу. А спустя еще некоторое время показалась на консультации целая группа рабочих, зашедшая к Павлу Кирилловичу по вопросам рационализаторского характера. За неимением свободной площади перегородили кабинет директора на две части и отдали большую половину в распоряжение начинающих изобретателей.

— Доживем и мы когда-нибудь до выпуска своих заводских инженеров, — сказал при этом директор, отправляясь зондировать почву относительно нового, пока не существующего помещения.

Да, разные перебивали учителя на курсах заводской окраины. Бывали здесь таланты и бездарности, грамотеи и «шкрабы» с дикцией варваров, бывали и равнодушные, и горящие на работе. Приходили сюда и дезертиры, сбежавшие из трудовой школы до лучших времен. Без надежды на движение вперед оседали на курсах заводские инженеры, вышедшие в тираж с небольшой пенсией.

Встречались учителя, способные завоевать сердца курсантов с первой лекции; учителя, у которых все было построено на широкой основе: и знание предмета, и понимание запросов новой эпохи, и умение ладить с рабочей аудиторией во всех случаях учебной жизни, полной превратностей.

Заносило на курсы и таких наставников, что не приведи бог слушать их. Слушать и убеждаться после каждой лекции, как забыла природа наделить человека чутьем, терпением и добросовестностью учителя. Изучив директора и его идеалы, «наставники» начинали больше интересоваться соседними школами, где можно было бы тянуть лямку учителя без крупных разговоров.

Пополняли штат курсов и политпросветработники времен гражданской войны: сотрудники губполитпросветов и разных воинских частей. Провинция не забыла еще пионеров ликбеза — зачинателей красноармейских школ. Сколько уездной грязи перемесили они, бегая с одного конца города в другой, обвешанные картами и глобусами, магнитами и насосами, взятыми напрокат из губернского музея.

Педагогический коллектив, как бы мал он ни был, должен иметь своего вождя, своего Ушинского. Ничто так не формирует учителя, как его коллега, подчас угрюмый, но с золотым сердцем, признанный учащимися, администрацией и самой учительской. Такие избранники бесплатны для обозрения в течение всего учебного года. Терпеливо пускают они к себе на уроки всякого, кому только не лень его послушать.

Павел Кириллович и был одним из тех учителей-самородков, которые не знают себе цены и не задумываются об этом, увлеченные своей работой.

На заре революции приобрел он самые разнообразные знания по банковскому делу, коммунальному, канцелярскому. Рассказывали, как однажды он отказал какому-то представителю белого правительства в выдаче крупной суммы денег. Приговоренный к расстрелу, он счастливым образом бежал к повстанцам, унося с собой пробитое пулей легкое.

Долгое время слыл он грозой уездных кассиров и казначеев. Нажив мелких врагов, неподкупный ревизор решил искать пристанища в столичном городе. Так уж случилось, что железная вывеска курсов остановила

внимание человека из глухой провинции. На курсы требовался счетный работник.

Курсовой канцелярией управлял штат в составе делопроизводителя, бухгалтера и счетовода. С приходом Павла Кирилловича триумвират упразднили. Три штатные единицы слились в одну.

Заболел как-то учитель математики, заболел внезапно, минут за пять до начала уроков. Известно, как в таких несчастных случаях ухаживают за учителями с просьбой «выручить», «слить классы», «заменить товарища» и т. п.

В этот день, как нарочно, все учителя были несговорчивы. Бессмертный завуч не знал, что и предпринять, пока взгляд его не упал на Павла Кирилловича, чинившего арифмометр.

— Голубчик, у вас есть задатки! — воскликнул он. — Забирайте-ка вашу счетную машину... Пожалуйста в класс, пока не разошлись рабочие.

Павел Кириллович покрутил усы и задумался, точно направление всей его жизни решалось навсегда. В самом деле, почему не дать первый и последний урок? Чтобы знали на будущее и не отрывали бы его от обычных дел.

Осталось неизвестным, чем именно подкупил неожиданный учитель своих первых слушателей. Спотыкаясь от удачи, возвратился Павел Кириллович из класса в сопровождении курсантов, несших следом за учителем его арифмометр, словно драгоценный страдивариус.

— Да у нашей красной девицы истинно учительская повадка! — торжествовал завуч, угадывая в усатом человеке его настоящее дарование.

Рабочие осадили учебную часть, требуя вставить в расписание нового учителя.

Счетовод получил для практики две группы. Вскоре он мог бы захватить всю математику в городе, такая молва разнеслась о его подвигах и беззаветной свирепости на уроках. Все дальше и быстрее отходил Павел Кириллович от дел канцелярии, уходя в работу учителя с радостью таланта, еще не охлажденного ни зубастой критикой, ни излишним славословием.

Это событие счастливо совпало с появлением на курсах Василия Ивановича. Бывалый рабочий сразу сообразил, что не всякому директору выпадает счастье иметь учителя, столь преданного своим обязанностям. Василий Иванович перестал волноваться за состояние математики.

Мало-помалу завязалась и дружба между людьми, противоположно воспитанными, с разных позиций пришедших к одной высокой цели: просвещать заводскую окраину.

Годы начала учительской деятельности Павла Кирилловича рисуются в его воспоминаниях, как годы легкомысленной игры в методику. Немало учителей тогда под влиянием модных теорий бросались от одной методики к другой, упуская из вида принципы коммунистического воспитания. Ученики на весь хаос непроверенных теорий отвечали дружной безграмотностью.

Отдали дань эпохе и курсы с железной вывеской. И тогда оставалось просто загадочным: почему это классы Павла Кирилловича помнят, например, свойство пропорций, а в других группах забыли даже, как звать учителей, объяснявших те же самые пропорции? Такие великие скептики, как школьные инспекторы, и те находили удовольствие в ответах учеников Павла Кирилловича. Сильно заинтригованные, обратились они к директору за разъяснениями: каким же методом — бригадным или комплексным — добился его учитель таких успехов?

— Скорее всего... ни тем и ни другим, а лучше всего спросите у него сами, — вышел из положения Василий Иванович, будучи неплохим дипломатом в вопросах методики.

После долгих переговоров уломали Павла Кирилловича дать показательный урок, по ходу которого учитель должен был разъяснить методистам, как следует бороться за высокую успеваемость, не прибегая к помощи учителей — этой хотя и почтенной, но уже, видимо, отжившей корпорации.

Приуныл Павел Кириллович.

— Проводи урок без хитростей, — советовал и успокаивал директор учителя. — Излагай материал, как обычно излагаешь: деловито, просто и доходчиво.

Ученики Павла Кирилловича отказали себе в сне и отдыхе, повторяя разделы программы, и теперь, прижатые к меловой доске, держались стойко. Даже Василий Иванович, который всегда верил в силу рабочего класса, и тот не выдержал.

— Хватит тебе гонять по всей программе! — сказал он.

Но тут учителем овладел порыв. Самодельные шары, призмы и конусы, какие-то детали от поржавевшего станка, счетные линейки — все это вдруг было выпущено из шкафа и карманов Павла Кирилловича и пошло гулять по рукам рабочих. Все прощупывалось, измерялось да исчислялось, записывалось и обсуждалось. К этим чудесам присоединился шум от арифмометра, включенного по старой памяти в план урока учителя. Об этом уроке долго потом вспоминали, передавая подробности. Курсовая летопись признала его образцом мастерства учителя, который не уронил ни самого искусства учительского, ни вообще роли учительской личности в истории.

Старожилы помнят, как в день показательного урока директор смягчился и отпустил несколько рублей на венские булочки. За чашкой чая учителя поздравляли Павла Кирилловича и успокаивали методистов. Тронул всех Василий Иванович. Без длинных предисловий обнял он своего математика и даже накололся об его усы, похожие на две ветви гиперболы.

Новоселье

Пробил час, и директор представился своим учителям, искусственным по части оценок, в новом костюме.

Учителя пощупали обнову, признавая ее на четыре с плюсом, и начали подавать дружеские советы насчет обуви: ботинки на директоре были старые, но видны были усилия всего семейства сделать их новыми.

В учительской среде быстро догадались, что неспроста хозяин курсов помирился с галстуком да аквамаринowymi запонками.

Избегая распросов, Василий Иванович распорядился, чтобы выносили курсовое имущество, и как можно скорее. Он любил всякую работу делать своими силами. «Зачем я буду ходить и кланяться разным грузчикам, когда у меня под руками учебная часть, засидевшаяся на умственной работе», — говорил он.

Не раз в прошлом директор клялся поменять трактирную постройку на что-нибудь более удобное и в духе времени. И теперь, наконец, с восхода до захода солнца руководил Василий Иванович погрузкой и разгрузкой учебного имущества.

— Тут воздуха хватит, — судили учителя, собираясь на балконе, откуда открывался захватывающий вид на заводскую окраину.

С птичьего полета рассмотрели, наконец, и постройку Евстигнейча, к которой как раз сейчас приставили лестницу и по указанию Василия Ивановича, пожелавшего сохранить столь знаменитую реликвию, отдирали железную вывеску.

— Только подумать, где мы занимались! — поражались учителя.

Наплыву поэтических чувств поддалась и дирекция. Когда с балкона открылась такая перспектива, директор невольно задумался. Все ли его сотрудники способны оправдать доверие рабочего класса? Чем и как они будут заниматься, если завтра же на уроках появятся стахановцы и мастера социалистического труда? Теперь педагог должен принять внушительный вид. Хороший учитель ничего не потеряет, если он, например, лишний раз побреется или даже целиком отдастся в руки парикмахеров, не считаясь с расходами. Пойдем далее. Честное слово, директор удивляется, как можно излагать морфологию и синтаксис, когда одежда учителя напоминает костюм водолаза.

Речь директора сменилась минутой оживления, в течение которой нашелся и сам виновник лирических отступлений, повязанный двумя шарфами, поверх чего уже колыхались: шерсть, драп, каракуль, сильно промокшие от погрузки и разгрузки. «Чудны дела твои, господи!» — отзывался словесник на критику, силясь разобраться во всей сложности и важности назреваемых событий.

Широким жестом директор пригласил учителей полюбоваться с птичьего полета новостройками завода: одни слепые кроты да политиканы не видят достижений рабочего класса.

На глазах у слушателей оратор из очевидца заводских стачек перевоплощался в квалифицированного слесаря-монтажника. Душу, руки и ноги приложил он к восстановлению и пуску цехов: мартеновского (сердца завода!), прокатного, прессовочного, термического... В рекордно короткий срок возникла хорошая чугунолитейная мастерская и тракторная кузница. Эх, да чего там долго рассусоливать!.. На месте прежнего завода появился совершенно новый, в четыре раза более мощный завод.

Это он, Василий Иванович, был пионером по освоению тракторостроения. Ему запомнился красный Май двадцать четвертого года, когда из ворот завода вышел первый трактор! Через десять лет, к концу первой пятилетки, их было уже под сорок тысяч, этих миролюбивых машин, похожих издали на флегматичных жуков.

Теперь директор может спать спокойно, зная, что его родной завод выпускает за полторы сотни мощных турбин. Кроме того, он не забыл делегацию английских тред-юнионов, побывавших на заводе еще в двадцать третьем году. Тяжелое было времечко!

Осмотрели тогда иностранцы мартеновский цех и повеселели даже. Потом говорят: «Советам не поднять свою промышленность без помощи Запада».

— Хотел бы я еще разок повидаться с господами капиталистами, — закончил свою речь Василий Иванович, поглядывая на часы и как бы извиняясь, что не уложился в срок.

Этим памятным днем открылась новая глава курсовой летописи. Заняв просторное здание, директор справил новоселье, обновив железную вывеску, подобно живописцу, который один только знает секрет красок, не стираемых всемогущим временем.

Между тем бригада энтузиастов из курсантов и новаторов производства торопилась оформить выставку в свежеполученном здании.

Макеты, чертежи, эскизы паросилового хозяйства. Узлы, детали турбин и гидравлических прессов. Новейшие образцы режущих инструментов для скоростной обработки. Сталь различных марок, чугун и бронза боролись между собой за лучшее место на выставке. Бог ты мой! Каких только материалов, каких изделий готовой продукции краснзнаменного завода не старались представить здесь организаторы выставки! И все это народное добро приносилось, поднималось, размещалось и закреплялось во имя советской власти. Ради ее мирной политики и мирных планов строительства на пользу человечества.

Царица наук — математика — в лице Павла Кирилловича выражала все содеянное рабочим классом в виде цифр, формул, всевозможных кривых и уравнений.

Партию за партией посылали учиться на курсы к Василию Ивановичу людей, чем-нибудь да известных по заводу.

— Идет интеллигенция от станка, так вы принимайте гостей по-хорошему, — наставлял директор преподавателей. — Чудес от вас не ожидаю. Но пересмотрите, пожалуйста, вашу методику. Быть может, там еще сам черт ногу сломит.

Заполучив просторное помещение, директор сделал отеческое внушение своему завхозу. В каких тонах и выражениях делалось это внушение, осталось неизвестным, но только в коридорах неожиданно появились белоснежные столики с графинами воды и букетами живых цветов. Желавшие могли напиться и заодно полить цветы, не дожидаясь, пока спохватятся уборщицы. Открыли на курсах небольшой буфет, где ученики и учителя распоряжались без помощи официантов и кассира. Две глубокие тарелки заменили кассовый аппарат, принимая выручку и выдавая сдачу. Прекрасное начинание удержалось до того дня, когда Василий Иванович задержал у тарелок с деньгами самозванца-ревизора и — для сохранения репутации курсов — приложил к суточной выручке буфета свои кровные восемьдесят рублей.

С волнением артистов выступали теперь учителя перед живой и скупой на аплодисменты аудиторией. В обращении к учащимся исчезли фамильярные выражения: «Здорово, старики!», «Русский ты или елдаш?»

Среди курсантов все чаще и чаще разгорались дискуссии по вопросам: о случайности и необходимости, о прибавочной стоимости, о тихоокеанской проблеме и т. п. Многие учителя, слыша такие «образованные» разговоры, избегали подавать свой голос и не задерживались в классах.

Нравы, привычки, внешний вид учителей продолжали изменяться к лучшему. Исчезали пиджаки и платья старомодного покроя. Не брившиеся по пятидневкам, с треснутыми локтями и неполным набором пуговиц — такие учителя быстро приглашались к Василию Ивановичу.

По классам давно не регистрировали сизо-синего дыма, который, как это еще случалось в старом помещении, валил почем зря из учительских рукавов и карманов, иногда загоравшихся, как настоящие дымоходы.

Все реже стучало домино. Неизвестно, кто и когда занес на курсы игральные кости. Согласно хронике, лексикон учителей в короткий срок обогатился тогда словами: «мокрая», «сухая», «простой козел»; за простым шли по ранжиру более влиятельные: «морской», «заслуженный» и даже был «козел в кубе».

Не дожидаясь, пока учителя повысятя в таких странных знаниях, Василий Иванович собрал кости и сбросил их с четвертого этажа. Вскоре, однако, появились пластины из дюралюминия, отчего стук и азарт только удвоились. Директор выбрал момент и осуществил ликвидацию вторично. Спустя учебную четверть появилось домино из слоновой кости. Василий Иванович, который тоже был человек, взял кость в руки, удивляя всех своим темпераментом. И надо же было зайти в это время в учительскую одному из курсантов. Увидя азартную игру, рабочий поздравил директора с новым достижением курсов.

Василий Иванович проглотил насмешку и доиграл партию как ни в чем не бывало. И только когда игроки разошлись по классам, директор подступил к завучу:

— Вот что, ученый муж... Слышал критику рабочего класса?

— Скажи пожалуйста, опять я виноват, что ты плохо играешь — посмеялся Андрейч.

— Посмей только «козлов» разводите! — пригрозил Василий Иванович, считая вопрос исчерпанным.

На смену домино пришли благородные шахматы. Звание чемпиона по шахматам упрочилось за Павлом Кирилловичем, пока однажды в большую перемену знатный кузнец завода не переиграл учителя, став уже абсолютным чемпионом курсов.

Лавры кузнеца не давали директору покоя. И не раз при большом стечении курсантов брался бывший слесарь побить молотобойца. Играл Василий Иванович как умел и как ему подсказывали окружающие да его боевой темперамент. Двигал он фигурами так, что опрокидывал все предшествовавшие международные соглашения по столь тонкому вопросу.

А время бежало, летели часы расписания, и раздавались звонки в руках уборщиц. Многое от кипучей деятельности Василия Ивановича и Павла Кирилловича привилось на курсах. Многое было выстрадано всем коллективом. Редели задние шеренги учителей. Подходили свежие силы из числа заводских чертежников и инженеров, в отличие от самого чародея Павла Кирилловича легко ладивших с морфологией и синтаксисом. Почувствовал Василий Иванович, какая дружная семья учителей и воспитанников выросла на новоселье. Помогай бог англичанам и французам открыть у себя такие же курсы. Тогда-то и начал созревать у директора сокровенный план выпуска мастеров социалистического труда, одного из первых в системе тяжелого машиностроения. За год до выпуска стал к нему готовиться хозяин курсов, во всем себе отказывая и делая все для детища своего.

Пошел на жертвы и Павел Кириллович. Предчувствуя свою лебединую песню, могучий учитель махнул рукой на все, кроме своей математики. Даже жарким летом не покидал он города. В эту пору квартира учителя была к услугам рабочих, в свое время сорвавшихся с учебы по условиям производства и теперь прослышавших о радушии математика.

Василий Иванович появился здесь неожиданно. Консультации мигом прекратились. Бумажки и брошюры учителя с помощью Василия Ивановича были уложены в большую корзину. Штабеля папирос немедленно конфискованы. И столько при этом было сделано попреков и мрачных предсказаний, что ученики Павла Кирилловича безропотно разошлись по своим цехам, а учитель сдался на милость победителя.

Остаток лета провел знаменитый математик в колхозной избе, что прилепилась к косогору у сосновой опушки, подальше от речных и болотных испарений, столь вредных, по мнению директора курсов, для больных легких математика.

Тяжелые времена

Намечались и приближались сроки, когда директор покажет стране, что не даром его коллектив ел хлеб. Скоро все увидят, как после защиты дипломных работ в отделе кадров завода поднимутся цены на курсантов Василия Ивановича. Разумеется, не забудем и преподавателей. (Вы только подумайте, Петр Мартынович берет выверять стиль и орфографию дипломных записок. Деваться некуда: придется отметить словесника.)

Ночуя в классах, на ходу закусывая, давали последние консультации инженеры-бессребреники и нестареющие просвещенцы во главе с Павлом Кирилловичем.

Всё экстреннее совещались представители специальных дисциплин. Всё чаще заглядывали к Василию Ивановичу начальники цехов, видные

специалисты завода и местные представители партийных и общественных организаций.

От забот и волнений похудел теперь директор до того, что потерял сходство с бывшим слесарем. А какво курсантам Василия Ивановича, обремененным цеховыми совещаниями да семейными поручениями. Ах, эти курсанты! Напористая публика! Фундаментальный народ! Столько сил и здоровья положили они на дипломную защиту! Такого удивительного факта, как диплом, не найдешь в трудовой книжке бывшего слесаря, участника всех кампаний и баталий краснознаменного завода. И дело не пострадает, если сейчас он возьмет и пройдет к учителю математики поделиться своими переживаниями. Когда дадут последние консультации, можно скрипнуть дверью и войти в класс, не раздражая учителя. Павел Кириллович с полслова схватывает и понимает, что творится в душе директора.

Завязывается задушевный разговор.

— Быстро ты сегодня стер с доски свои биссектрисы и свою анафему! — проезжается директор насчет апофемы треугольника.

— Да... кажется, все подождит, — задыхается от кашля Павел Кириллович. — Вот она... вон она какая! — неожиданно прибавляет учитель и с каким-то странным удовольствием читает свой приговор на белоснежном платке.

Василий Иванович многозначительно поджимает губы.

— Докурися!.. — вырывается у него. — А кому я говорил?.. Эх, ты... И директора не пожалел!

Слесарь обнимает математика за плечи и бережно сопровождает его. Классы облетает весть: «Павел Кириллович сорвал голос!» Учительская начинает притягивать этот отзвучивый, теперь встревоженный мир преподавателей и курсантов. Из разговоров выясняется, что у славного математика держалась температура, как в хорошем калориметре, на два-три градуса выше, чем у прочих учителей. От таких подробностей взгляды завуча и директора сначала сходятся, потом отталкиваются. Предчувствуя непоправимо тяжелый разговор, Андреич пытается оправдаться:

— Спросите его, для чего он так громко кричит в классах... Он что... знаменитый бас или катается на американских горах?

Василий Иванович никого больше не слушает и ищет под диваном сукроватую палку.

— Ну, курильщик несчастный, собрался?.. Так и быть, провожу немного.

Готовый на все, с портфелем и палкой, учитель неодобрительно смотрит на такое чрезвычайное собрание почитателей математики и, чувствуя свою беспомощность, покорно уходит, уводя за собой всю эту трогательную процессию учеников, учителей, уборщиц...

— Не сдавайся, Павел Кириллович! — ободряют учителя мастера и стахановцы, не зная, с какой бы стороны подать ему помощь.

Друзья и близкие вспоминают, что Павел Кириллович расставался со всем земным так, как следовало ждать от характера, преисполненного живой деятельности и любви.

По вызову директора на квартиру математика прикатил легочник, известный всему городу.

— Э... эх, голубушка, как ты натянула свои струны!.. Где это тебя подстрелили?.. А? — разговорился профессор с грудью больного, не обращая внимания на самого пациента, начавшего было по учительской привычке задавать наводящие вопросы.

Слабо сопротивлялся Павел Кириллович строгому предписанию медицины, так как стал уже слегка забываться, иначе вряд ли бы уговари-

ли его ехать совсем не в том направлении, в каком он обычно ездил давать свои уроки.

Очнулся он от сильного ветра, гулявшего по комнате.

— Палату проветривают, чтобы вам дышалось, как в Швейцарии,— разъяснили новичку любезные сестры, предлагая ему, кстати, сознаться в контрабанде, какую он, возможно, и провез в своем чемодане.

Контрабандист честно указал на папиросы, занимавшие целое отделение и теперь поднявшие на ноги все сословия и профессии, проживавшие в палате.

— Да у него тут... публичная библиотека! — всплеснула руками дежурная сестра, неосторожно заглянув в другое отделение чемодана.

— Человеку в таком положении вряд ли понадобится «Теория относительности»,— говорила старшая сестра, вынимая книги и замечая на дне чемодана объемистый «Курс политической экономии».

Утомленный необычайной жизнью, математик нащупал книгу, временно зарытую в простыни, и, раскрыв ее, читал вполголоса: «Тот, кто живет в разлуке с вами, сладчайшая Дульцинея, испытывает бóльшие страдания, чем эти»...

Умиротворенный, листал он дальше и, мешая действительность с вымыслом, продолжал наслаждаться повествованием, находя себе все новых слушателей.

Не прошло и недели, как Павел Кириллович сжился с обычаями палаты. Здесь полагалось обмениваться преимущественно рассказами из истории болезни. И чем сложнее был случай, тем почтеннее человек. Учитель, который «поддувался» чаще, чем камера футбольного мяча, был человеком, с которым считались.

В палате пользовались заслуженным успехом куриные консервы, шоколад и апельсины, приносимые математику от имени курсов. Прошло немного времени, и учитель не пытался больше дотрагиваться до вкусных вещей, сберегая остаток сил для одних лишь размышлений. И только хотелось ему спать и спать, как бы за счет тех часов, какие он и Василий Иванович недоспали в свое время.

В день выпуска мастеров на курсах группа курсантов под водительством директора нагрянула в палату, стараясь в каждом больном признать своего учителя.

— Вот и реши, где тут наша математика! — сказал Василий Иванович, узнавая сначала свои апельсины, желтевшие по разным углам палаты.— Некрасивая получилась панорама! — прибавил он, всматриваясь в тень Павла Кирилловича.— Тебе и штангенциркуль не раскрыть, если будешь раздавать мои витамины,— укорял и сердился, а потом долго шутил директор, делая вид, что совсем не верит в близость печальных событий.

Мастера вывели учителя из забытья свежими новостями. Вспоминали защиту дипломных работ: без труда, положенного Павлом Кирилловичем, далеко бы не так все блестяще получилось, как вышло на самом деле. От новостей славный математик оживился, подмял под себя все подушки и, обняв колени, почти уже сидел на кровати. Потом станочки переключились на чахотку и от чистого сердца снабдили учителя простой и верной рецептурой, неизвестной лишь врачам. От разговоров перешли к делу, пряча за подушками больного табачную контрабанду. Не представляли себе токари и слесари, как может жить без никотина могучий курильщик, каким знали прежде учителя.

Под конец визита курсанты преподнесли Павлу Кирилловичу один из тех портфелей с серебряной монограммой и необыкновенными застежками, какие еще встречались в высших служебных сферах. Но на жиль-

цов палаты особенное впечатление произвел адрес со стихами и тучей подписей.

Забудем, может, Пифагора,
Но долго будем помнить Вас!..—

восклидал самобытный поэт, выражая чувства курсантов.

Стихи и визитеры растрогали больного вконец. Затянувшись папиросой, скинул он на пол одеяло с простыней и прошелся вдоль палаты, словно тут шел урок математики. На шум поспешила дежурная сестра, недовольная посетителями, кстати сказать, пересидевшими законное время. Не дожидаясь повторных приказаний, Василий Иванович покинул палату, уводя за собой приумолкшую свиту.

Возбуждение больного улеглось, когда соседи догадались сунуть в руки учителя его уцелевшую книгу, которая, по наблюдению больных, успокаивала страдальца лучше всяких капель. Перелистав страницы, чтец скоро напал на то, что искал, и совершенно успокоился. Только голос его ласкал слух палаты, начинаяшей привыкать к такого рода чтению: «Не умирайте, ради бога, поживите с нами подольше. Верьте мне! Величайшая глупость, какую можно сделать на свете,— это убивать самого себя, предавшись безвыходному унынию. Встаньте, пересильте себя, не думайте ни о чем грустном!»

— Ну, как поживает знаменитый математик? — спросил доктор, случайно зашедший в палату.

— Сеньор нотариус,— не узнал врача Павел Кириллович,— прошу вас деньги мои, находящиеся у Санчо Пансы, оставить у него..

При виде столь острого расстройства воображения известный медик приказал отобрать настольную книгу и выбросить все, что подарили учителю его курсанты. Влетело всем: и дежурной сестре, и сиделкам, и жильцам палаты, дремавшим на папиросах.

Рассказывали далее, что ночью учитель впал в полное беспамятство и кричал: «А... Седов, рационализатор! К доске!.. Сейчас мы выведем эту функцию».

На рассвете Павел Кириллович собрался на курсы, требуя от сиделок одежду, книги и даже арифмометр, которого здесь и в глаза не видели.

— Теперь ему и книга не поможет! — пожалели в палате о хорошем чтеце.

Расходы, неизбежно связанные с церемонией и могильщиками, приняло на себя заводоуправление.

Хоронили Павла Кирилловича солнечным и ветреным днем, словно кто заказал такую погоду, зная вкус учителя. Каждый цех представлен был на погребальном шествии, ибо не было цеха, где бы не знали математика лично или по рассказам. Подошли и стародавние ученики Павла Кирилловича, которых ни Василий Иванович, ни учителя не могли бы сразу признать.

Но бывшие курсанты все еще помнили «мирового» учителя и теперь, отбросив житейское и будничное, пришли на немое свидание. И кто только не подходил к Василию Ивановичу с сочувствием, каждый получал стандартную справку: «Уехал наш Павел Кириллович...»

По настоянию курсантов процессия прошла на улицу, где прежде было училище, и задержалась немного у старого пепелища. Потом повернули к каменному зданию с балконом и просторными классами, в котором не пришлось Павлу Кирилловичу долго поработать. И все видели, как отливала лучами солнца железная вывеска.

Примыкали к шествию и случайные люди; одни по сердоболию, другие из желания посмотреть, кому принесли столь много цветов и венков.

Гроб несли дипломники, держа по очереди тяжелую ношу. Лишь упрямый директор тянул свою лямку бесшумно, еще раз напоминая, кого потеряли курсы.

Надгробную речь директор начал и кончил словами: «Ему здесь хорошо будет», — и первым бросил горсть земли.

Отзвенели лопаты, жасмин с сиренью устлали свежую могилу.

— Да, ему здесь хорошо будет, — повторила и заплакала жена учителя при виде скромных незабудок, мило связанных букетом на вечную память от Василия Ивановича.

Поблагодарив и отослав всех по домам, директор задержался на кладбище: примерял и обдумывал размеры решетки, спугнул двух шалопаев, не отходивших от сирени, пожурил гробокопателей за спешную работу и, отыскав кладбищенского сторожа, поговорил с ним о смысле жизни и уплатил вперед за поливку цветов и присмотр за могилкой.

Не забыть старожилам и последнего собрания, посвященного выпуску мастеров-дипломников. Курсам с железной вывеской присудили переходящее Красное знамя. Грудь Василия Ивановича, правда, не украшалась орденом, но из приказа ГУУЗа тяжелого машиностроения вытекало, что все может случиться в недалеком будущем. Заводоуправление превзошло все ожидания. Половина учительского состава курсов была награждена если не полным окладом, то ширпотребом. Одному только словеснику отломили столько, что, по словам удивленного учителя, окупало его траты на рыбную ловлю за последние два года. Рукоплеканиями встретили все и сообщение о пенсии домочадцам Павла Кирилловича, заслужившего признание рабочего класса.

Как ни растроганы были учителя приказами заводууправления и тяжелого машиностроения, внимательно слушали они заключительное слово своего директора. Говорил теперь Василий Иванович о будущих выпусках курсантов, призванных стереть грань между трудом умственным и трудом физическим. Говорил и сам улыбался полотну, какое рисовалось его воображению.

С последним протоколом памятного собрания заканчивается и курсовая хроника. Рассветом следующего дня, тревожным и ветреным, открылась новая повесть, до конца еще не выстраданная и более крупным сочинителем. Повесть, которая началась с воя сирен и обстрела заводской окраины. Вскоре трудно было пройти по ней и узнать ее. Кирпич и камень, что вознеслись за годы революции среди пустырей и заплесневелых водоемов, приняли на себя удары с воздуха и суши.

Дивизиям, ринувшимся с Запада, заводская окраина ответила полками народного ополчения. Не отставали от завода и курсы Василия Ивановича. Директор первым записался в ополченцы.

Самолучно опечатал он кабинеты и классные помещения, давая инструкцию на случай пожара здания. Пункты инструкции не дошли до нас. Но точно известно: не раз рисковали учителя жизнью, спасая от огня кабинеты и классы во исполнение сурового наказа.

Здание с просторными классами изрядно пострадало, поскольку было принято неприятелем за наблюдательный пункт. Железная вывеска изрешетилась пулями и давно не красилась. Как гордый символ господствовала она над заводской окраиной.

Из учителей курсов видали где-то Петра Мартыновича. Получил он две медали и был ранен.

Судьба хозяина курсов трагична. При спешном отступлении батальона, Василия Ивановича не успели снять с поста часового. Окруженный врагом, ополченец чуть было не заплакал, услышав чужеземную речь. Ожесточенные упорством пленника, не пожелавшего отвечать перевод-

чику, принялись было немцы резиной выколачивать строптивый русский дух.

Полуживой, но еще грозный и увертливый, выбил он из рук фрица спасательный тесак и, достав чужим прикладом двух-трех мучителей, крикнул в предсмертную минуту:

— Что, завоеватели!.. Много взяли от рабочего класса?

...Годовщину двадцатилетия победы над фашистской Германией отметили мы небольшой экскурсией к памятным местам боев заводской окраины города-героя.

Подходя к переднему краю обороны краснознаменного завода, я обратил внимание молодежи на саженную вывеску одного из домов. Свежо положенные краски извещали прохожих об открытии при заводе высшей технической школы.

— До войны,-- сказал я,-- в этом здании находились Курсы мастеров социалистического труда. Говорят, неплохие кадры готовил себе завод: подлинных мастеров горячих и холодных цехов; случалось, со временем инженеры из них получались.

В июле сорок первого эшелон добровольцев набрался из этих ребят...

Автор этой «Хроники» Александр Кондратьевич Процкевич скончался в июле 1968 года. Его жена Наталия Николаевна Процкевич, возвращая нам верстку, написала несколько слов о своем муже. Мы решили напечатать ее письмо вместо обычной биографической справки об авторе, поскольку в нем, как и в самой «Хронике» А. Процкевича, видны та ясность, простота и благородство, которые привлекли нас в повести.

«Встретилась я с ним в начале революции. Красная Армия. Потом педагогическая работа. Педагогический институт имени А. И. Герцена в Ленинграде. Работает педагогом-химиком. Химикотехнологический институт. По болезни не кончил (легкие). Работа по специальности. Война. С первых дней уходит с народным ополчением. Окружение. Получено уведомление о его гибели. Но он оказывается партизаном в Ленинградской области. Многочисленные ранения. После самого тяжелого его переправляют через линию фронта на самолете. Выздоровливает. Я в блокаде. Позднее доходят его письма до меня. Он снова в армии и до конца на фронте. По возвращении — на той же педагогической работе.

В жизни не было человека, который бы его не уважал.

Ранения дали о себе знать. Он тяжело болел в последние годы».



М. ИСАКОВСКИЙ

★

НА ЕЛЬНИНСКОЙ ЗЕМЛЕ *

(Автобиографические страницы)

В МОСКВЕ

1

Во второй половине декабря четырнадцатого года я получил от М. И. Погодина письмо, в котором он писал, что скоро едет в Москву и что хочет взять меня с собой, чтобы там показать глазным врачам. Михаил Иванович в письме назвал и день, когда я должен прийти к нему в Гнездилово, откуда и начнется поездка.

Рано утром, лишь из-за горизонта успело показаться холодное декабрьское солнце, я отправился в путь и уже около двенадцати часов подходил к погодинскому дому. Это было совершенно нелепо, так как поезд, на котором мы должны были ехать со станции Павлиново, отправлялся только в сумерки, точнее — в пятом часу вечера. А от Гнездилово до Павлинова — рукой подать: всего верст шесть. Я хорошо знал это, но старая деревенская привычка приходиться задолго до отхода поезда, чтобы как-нибудь случайно не опоздать, взяла верх. Поэтому я должен был несколько часов толкаться в погодинском доме, ожидая, когда запрягут лошадей, и каждую минуту поглядывать на большие круглые настенные часы. Я и тут страшно беспокоился: а вдруг кучер не вовремя подаст лошадь и мы приедем в Павлиново, когда поезд уже уйдет? Я понимал, что и другим мешаю, да и сам тревожусь совсем зря, но вести себя иначе никак не мог.

Случилось тут и еще одно неудобство, от которого, казалось, все лицо мое вдруг загорелось. На мне был костюм и сапоги, что подарил Погодин. И с известной долей юмора можно было сказать, что я «как денди лондонский одет». Во всяком случае ехать в Москву в таком одеянии, в какое я облачился тем памятным утром, было вполне возможно, хотя оно шилось и не по моей мерке. Но штука вся в том, что я не располагал даже самым скверным пальто городского покроя, чтобы надеть его поверх костюма. Уходя к Погодину, я ограничился тем, что натянул на себя какую-то весьма непрезентабельную деревенскую хламиду: ничего другого в доме не нашлось. Михаил Иванович увидел ее и приказал снять. Откуда-то из задних комнат дома мне принесли нечто вроде бекеши, сшитой из серого сукна, — бекеши с меховой подкладкой.

— Вот так будет лучше, — сказал Погодин, когда я, примеривая, надел на себя бекешу. — Так и поедешь...

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» №№ 4, 5 с. г.

В бекеше действительно было лучше, но чувствовал я себя крайне неудобно по той причине, что одет во все чужое...

Наконец к дому подали лошадь, запряженную в красивый возок. Впереди на облучке сидел кучер, держа в руках вожжи. А я и один из служивших у Погодина людей, с которым Михаил Иванович обычно ездил в дальние поездки и которому он сдал меня на попечение, расположились на заднем сиденье, укрыв ноги мягкой и теплой полостью.

Но меня опять взяло беспокойство: на станцию ехали пока мы двое, без Погодина. И я с тревогой спросил:

— А где же Михаил Иванович? Что, он не поедет с нами?..

— Да нет,— ответил мой спутник,— он поедет, но выедет несколько позже. Времени еще много, успеет...

Мы не только не опоздали, но приехали на станцию даже рано: билетная касса была еще закрыта. Впрочем, скоро зазвонил станционный колокол — это значило, что поезд вышел с предыдущей станции. Касса открылась.

Мой попечитель (я, к сожалению, не знаю, как его звали) взял билеты себе, мне и Михаилу Ивановичу. Михаил Иванович приехал на другой лошади, когда поезд уже подходил к станции. И у меня как гора с плеч свалилась, когда я увидел, что он успел-таки к поезду.

Мы вошли в вагон третьего класса, Погодин же ехал отдельно — во втором. Но и третий класс оказался для меня необычным: мы ехали в плацкартном вагоне и в моем распоряжении оказалась целая полка. Раньше я даже не подозревал, что существуют подобные вагоны. Я был уверен, что в каждый вагон сажают столько людей, сколько влезет.

2

Никаких дорожных происшествий я не помню. Да их, наверно, и не было. Только в Сухиничах мне опять пришлось порядочно поволноваться все по той же причине: а вдруг не успеем?

В Сухиничи мы приехали часов около одиннадцати вечера и там должны были пересесть на поезд Киев—Москва. До отхода этого последнего оставалось около часа времени. К моему удивлению, мой провожатый, вместо того чтобы немедленно идти к месту пересадки, повел меня в привокзальную чайную.

— Успеем,— уговаривал он меня,— не бойся ты...

В чайной он заказал две пары чаю, белый хлеб, колбасу. Я пил чай и ел белый хлеб с удовольствием, но от колбасы отказался: до той поры я еще ни разу не видел колбасы и потому не знал, что это такое. В некоторых местах нашей Смоленской губернии в деревнях обычно делали домашнюю колбасу. Но в нашей местности делать колбасу никто не умел. Поэтому и о домашней колбасе я не имел никакого понятия. И когда в сухиничской чайной я увидел перед собой нечто круглое, красноватое, свернувшееся кольцом, то даже как бы испугался. Однако я, стараясь быть спокойным и равнодушным, сказал своему попечителю:

— Нет, колбасы я есть не буду: я не люблю ее и не хочу.— И приналег на ситный.

После Сухиничей я, успокоенный тем, что теперь-то мы уж нигде и нигде не опоздаем, сразу же заснул и проснулся только утром, когда наш поезд подошел к Брянскому вокзалу — так в то время назывался вокзал, впоследствии переименованный в Киевский.

3

В Москве меня поразило и множество людей на улицах, двигавшихся в самых различных направлениях, и неожиданные, резкие окрики извозчиков «эй, берегись!», и почти непрерывный звон трамвая. Однако все это отчасти было мне уже знакомо по поездке в Смоленск — и извозчики, и трамвайные вагоны, — хотя они были и не такие, как в Москве.

Но что привело меня в изумление, так это московские дома, во всяком случае некоторые из них. Пяти- и шестизэтажные, притом не только высокие, но и очень длинные по фасаду, они вставали передо мной такими невиданно огромными, что казались каким-то чудом.

Я вместе со своим провожатым ехал с вокзала на извозчике, то и дело задирая голову, чтобы посмотреть на очередное «чудо». И тут же невольно прикидывал, сколько в таком доме может быть одних только окон и сколько живет людей там, за этими окнами. А заодно я пытался мысленно нарисовать картину, как это люди живут друг над другом — один другого выше. И мне все время представлялось, что они как бы стоят друг у друга на голове...

Впрочем, от монх наивных представлений и предположений о том, как живут москвичи, меня очень скоро отвлек мой провожатый. Очевидно, выполняя поручение М. И. Погодина, которого я не видел после того, как мы сели на поезд в Павлинове, он говорил мне:

— Мы сейчас едем с тобою в лазарет «Трудовое братство». Там знают, что ты сегодня приедешь, и ждут тебя. В лазарете ты пока и останешься. Там тебя будут и кормить и поить. Так что об этом не беспокойся. А когда надо будет к главному доктору, Михаил Иванович пришлет за тобой или меня, или еще кого-либо...

Так во второй половине снежного и морозного декабря четырнадцатого года я неожиданно стал нахлебником лазарета «Трудовое братство».

4

Лазарет «Трудовое братство» размещался в сравнительно небольшом трехэтажном доме № 5 по 2-му Неопалимовскому переулку — недалеко от Зубовской площади. Содержался он за счет каких-то частных пожертвований. Михаил Иванович Погодин, возможно, был каким-то образом причастен к созданию лазарета или же был тесно связан с ним через работавших в нем своих знакомых. Так или иначе, Погодина в «Трудовом братстве» хорошо знали, и я мог попасть туда лишь по его договоренности с администрацией лазарета.

Лазарета как такового, то есть палат, где лежали раненые, комнат, где работал медицинский персонал, я ни разу не видел. Жил я в полуподвальном этаже, который использовался лишь как подсобное помещение.

Мне предоставили небольшую и почти совершенно темную комнату — окно ее было очень низко и к тому же оно почти вплотную подходило к стене высокого соседнего дома. Правда, в моем распоряжении была настольная электрическая лампа, но я лишь изредка зажигал ее, поскольку врачи советовали мне не увлекаться чтением и письмом при искусственном освещении, а лучше пользоваться дневным светом.

В комнату с электрическим освещением я попал впервые в своей жизни, и для меня было отнюдь небезынтересно провести некоторые опыты, чтобы понять в конце концов, что же такое представляет из себя электричество. И когда меня научили, как включать свет, и оставили одного в комнате, я незамедлительно приступил к своим опытам: я то

вставлял вилку в отверстия, сделанные в штепселе, и лампа моментально загоралась, то вытаскивал вилку, и лампа немедленно гасла. Просто чудеса какие-то, да и только!

Свои «опыты» я проделал много раз, но все же никак не мог понять, в чем дело: что там происходит внутри этого самого штепселя, когда вилка вставляется и когда она вытаскивается. Ну, а отсюда уже недалеко до решения все проверить, все ощупать собственными пальцами. Но оказалось, что самый удобный для этого палец — указательный — в отверстие штепселя не входит: палец определенно толстоват. Тогда я решил довести дело до конца при помощи двух своих мизинцев. Мне хоть и с трудом, но все же удалось одновременно вставить оба мизинца в соответствующие отверстия штепселя до такой степени, что я коснулся ими металлических трубочек, в которые обычно вставляется штепсельная вилка. Электрический ток больно ударил меня, я моментально отдернул руки от штепселя и очень перепугался: мне казалось, что произошло нечто страшное, непоправимое. Но потом вижу — нет, все в порядке, все обошлось. Я искренне обрадовался такому исходу и больше никаких «опытов» с электричеством уже не проводил.

Добрую половину моей комнаты занимала очень широкая, рассчитанная явно на двоих кровать с пружинным матрасом на ней. На матрасе — ничего: ни простыни, ни подушки, ни одеяла. Вероятно, мне дали бы все это, если бы я попросил. Но попросить я не догадался, а может быть, постеснялся. Да к тому же, исследовав матрас, я решил, что и так будет хорошо: я ведь еще ни разу не спал на таком удобном, пружинящем матрасе, хотя он и не был ничем застелен.

И действительно, по вечерам я отлично устраивался на нем, подложив под голову что придется и укрывшись своей теплой бекешей, немедленно засыпал сном праведника. Мой безмятежный сон охранял, покрытый белым покрывалом, высокий человеческий скелет, неподвижно и безмолвно стоявший возле кровати, прямо у моих ног.

Для какой надобности был приготовлен этот скелет, почему он стоял в моей комнате, я не знал и не пытался узнать. Но в течение целого месяца, проведенного мною в лазарете «Трудовое братство», никаких недоразумений, никаких конфликтов между нами не было, и я нисколько не боялся находиться вместе с ним в одной, даже темной, комнате.

5

Дверь моей комнаты выходила в довольно обширный, квадратный по форме зал с низким потолком и цементным полом. К этому залу приоткрылись две другие комнаты, уже отнюдь не темные, — с окнами на Непопалимовский переулок. Обычно в них жили в ожидании назначения в часть выписавшиеся из лазарета военные — почему-то все больше прапорщики, подпоручики, поручики. Жили они дня по два, по три. А потом уезжали, а в комнатах поселялись другие.

В том же зале у двух окон, выходящих во двор, за своим письменным столом работала письмоводительница лазарета. Работать ей приходилось очень много, потому что вся канцелярия лазарета лежала на ней одной. Очень часто домой она могла уйти лишь поздно вечером.

Посреди зала стоял большой продолговатый стол. За ним мы завтракали, обедали и ужинали. Мы — это временно проживающие в двух комнатах военные, письмоводительница и я. Еду нам приносили из кухни лазарета.

Особое мое внимание привлекал стоявший у стены «квадратного зала», совсем рядом с дверью моей комнаты, небольшой стол, буквально заваленный «тонкими» иллюстрированными журналами. Там, думается, можно было найти все журналы подобного типа, какие только выходили в Москве и Петрограде.

Я скоро заприметил две немаловажные вещи: во-первых, количество журналов на столике не только не уменьшается, а наоборот — увеличивается за счет поступления новых номеров; во-вторых, никто и никогда не читает этих журналов, никто не интересуется ими.

Поэтому очень часто я подсаживался к столику, который, словно магнитом, притягивал меня к себе, и начинал разбирать журнальные залежи. То, что мне особенно нравилось, я откладывал в сторону, а потом переносил в свою темную комнату и складывал на широчайшем матрасе, как бы сооружая для себя «подушку». Но тайным желанием моим было увести эти отобранные мною журналы домой — в Глотовку. Я думал, что осуждать за это меня никто не стал бы: ведь здесь эти журналы никому не нужны, а в Глотовке... ох, как здорово было бы, если бы они очутились там!..

6

Поселившись в лазарете «Трудовое братство», я в самые первые дни буквально изнывал, не зная, как убить время, что делать, куда девать себя: я еще не привык к новому месту, к новому для меня распорядку жизни, не сжился с людьми, с которыми довелось встретиться, и даже немного побаивался их. Да и люди эти, казалось, не замечали меня, хотя я был тут же, рядом с ними.

Исключение составлял, пожалуй, лишь швейцар Яков (так его звали все, а я — дядей Яковом). Он со своей женой жил в маленькой комнатенке, расположенной в вестибюле под лестницей, которая вела в верхние этажи здания. И именно он принял во мне живейшее участие.

Дядя Яков постепенно и как бы совсем незаметно начал приучать меня к новой обстановке, к людям, работавшим или жившим в лазарете, подсказывал мне, что и как я должен делать, как лучше поступить в том или ином случае. Я очень быстро привязался к нему и начал чувствовать себя не так уж одиноко.

Знакомство с Москвой я начал сразу же после приезда. Я подолгу бродил по улицам и переулкам Москвы, но делал это пока с большой осторожностью, так как боялся, что заблужусь. Я тщательно запоминал, где и в какую сторону свернул, и прикидывал, куда следует повернуть, когда буду возвращаться обратно.

Заблудиться я не заблудился ни разу. Но возвращался домой всегда невеселый и недовольный, и вот почему: я, конечно, с большим интересом наблюдал на улицах и в переулках за всем, что мне попадалось на глаза, но больше всего привлекали мое внимание те места, где в киосках или просто у столиков с навесами продавались газеты, журналы, книги... Всего было так много и все такое новое и интересное для меня, что я подолгу простаивал у иных киосков и столиков, не в силах оторваться от всего этого печатного изобилия. Я забрал бы, купил бы все сразу, за исключением разве только газет: газет я не любил, а вернее — не понимал; если же что и читал в газетах, то только стихи. Но стихи в тогдашних газетах появлялись редко. Купить я, однако, ничего не мог: даже «Газета-копейка» была мне не по карману. И волею-неволею я возвращался в свое прибежище во 2-м Неопалимовском переулке, не будучи обременен никаким, даже малейшим приобретением.

7

Однажды, вернувшись с прогулки по Москве, я увидел, как с деревянного диванчика, поставленного у стены вестибюля специально для посетителей, поднялась женская фигура и устремилась мне навстречу. В плохо освещенном вестибюле я не сразу узнал, что это была сестра моя Анна, работавшая на текстильной фабрике и жившая где-то в Замоскворечье. Я уже в день приезда послал ей письмо, указав в нем, где меня можно найти. Воспользовавшись первым же воскресным днем, сестра и приехала навестить меня.

Я обрадовался ее приезду, но в то же время мне было и как-то неловко. Пригласить сестру в свою комнату я не мог: это почему-то не решалось, а сидеть с ней в вестибюле и разговаривать при людях, которые то приходили, то уходили, — какая же это встреча!.. Поэтому свидание наше продолжалось недолго.

Я решил немного проводить сестру, чтобы поговорить с ней по дороге. Это было куда лучше! Мы ходили сначала взад и вперед по переулку, а потом пришли к Зубовской площади. На трамвайной остановке, отведя меня малость в сторону, сестра достала из какого-то своего потайного карманчика белый носовой платочек, в уголке которого были завязаны все ее сбережения. Развязав узелок, она отсчитала несколько серебряных монет и, протягивая их мне, сказала:

— Это тебе, Мишенька!.. Может, на что надо будет... Больше дала бы, да нет... Все, что было, на сак потратила — купила-таки себе сак. Вот посмотри! — И она сделала при этом какое-то движение плечами, приглашая меня определить, насколько хорош ее сак.

Сак, то есть женское пальто особого покроя, играл какую-то очень важную, хотя и непонятную мне роль в жизни молодых девушек и женщин, приехавших в Москву из деревни и работавших на текстильных фабриках. Так как текстильщицы зарабатывали мало, то деньги на сак приходилось копить иногда целыми годами. И люди копили, потому что жить, не имея сака, было никак нельзя. Те, у кого не было сака, чувствовали себя как бы неполноправными, неполноценными, ущербными. Среди работниц шли бесконечные разговоры о покупке сака. И если он покупался, то домой, в деревню, непременно отправлялось письмо, и все родственники узнавали из него, что наконец-то долгожданный сак куплен!

Я тоже радовался, что у Анны есть сак, что и она ничем не хуже других. Но невольно меня все же сместило название — с а к. В деревне саком называли сетку, при помощи которой мальчишки (в том числе и я) ловили в речке рыбу. А в Москве называют саком пальто!.. Право же, смешно.

После того как сестра, сев на трамвай линии «Б», уехала, я тут же, на трамвайной остановке, начал считать деньги. Оказалось, семьдесят пять копеек. Чтобы получить такие деньги, сестра должна была работать почти два дня. Я это знал, знал, как трудно достается ей каждая копейка. И тем не менее сразу же, почти не сходя с места, начал транжирить так неожиданно очутившиеся в моих руках капиталы.

В киоске на Зубовском бульваре я прежде всего купил песенник. Назывался он либо «Кочегар» (название по песне «Раскинулось море широко»), либо «Ухарь-купец». А может быть, «Липа вековая»: песенников тогда выходило много и назывались они по-разному, хотя по содержанию были почти одинаковы.

Кроме песенника, я в какой-то лавчонке купил записную книжечку

(первую в жизни!), а потом штук двадцать почтовых конвертов и столько же листов бумаги.

Однако тратить все деньги сразу я не стал, решил приберечь: мало ли на что они могут пригодиться...

На следующий день я начал писать письма. Писал и домой, и в школу, и своим друзьям — «лунатикам». Писал я карандашом, устроившись за журнальным столиком в том же зале, где работала письмоводительница «Трудового братства». Увидев, что писем я пишу много, а денег на почтовые марки (это она хорошо знала) у меня нет, письмоводительница встала из-за своего письменного стола, подошла ко мне, взяла все мои конверты и на каждом из них поставила круглую, красного цвета печать лазарета «Трудовое братство», печать, в середине которой особенно ярко выделялось изображение красного креста.

— Ты на свои письма марок не наклеивай,— сказала мне письмоводительница.— С этой печатью их можно посылать бесплатно, без всяких марок, как посылаются солдатские письма...

Таким образом мои возможности вести переписку сразу возросли. И письма я начал отправлять все чаще и чаще. Я как бы даже хвастался этим — мол, если захочу, могу писать хоть каждый день.

8

После недельного пребывания моего в Москве ко мне пришла учительница Екатерина Яковлевна Шукина. Она учительствовала в нашей Осельской волости, но в какой школе — не помню. До Москвы я видел ее и разговаривал с ней всего один раз. И потому, когда пришла она в «Трудовое братство», я не сразу узнал ее. В Москву Шукина приехала то ли к родственникам на рождественские каникулы, которые, как известно, продолжались две недели, то ли на какие-либо учительские курсы. А ко мне ее прислал М. И. Погодин, чтобы она в свободное время попутешествовала со мной по Москве, показала бы мне хоть некоторые московские достопримечательности.

Но начали мы не с осмотра достопримечательностей, а с посещения Алексеевской глазной больницы, точнее — ее амбулатории.

Алексеевская больница находилась где-то недалеко от Красных ворот — вероятно, там, где находится сейчас Офтальмологический институт имени Гельмгольца. Славилась она тем, что ее амбулатория принимала всех больных, сколько бы их ни было и откуда бы они ни приехали, принимала если не в день приезда, то на следующий день.

Е. Я. Шукина и зарегистрировала меня, и привела к нужному кабинету, а оттуда пошла со мной к другому врачу, к третьему... Один, без нее, я вряд ли смог бы сделать все это: просто заблудился бы среди множества людей, в лабиринте комнат и коридоров.

Однако врачи, осматривавшие меня, ничего мне не сказали. Разговаривали они после осмотра с Екатериной Яковлевной, но и та ничего не объяснила. От нее я услышал только то, что придется пока подождать, что Михаил Иванович намерен показать меня профессору, но сразу попасть к этому профессору нельзя...

Я был в некотором роде разочарован посещением Алексеевской больницы, поскольку даже три врача, обследовавшие мое зрение, не пришли, очевидно, ни к какому определенному выводу и ничего не могли мне посоветовать.

Может быть, Алексеевская больница и вовсе выветрилась бы из моей памяти, если бы не одно обстоятельство, которое запомнилось го-

раздо лучше и взволновало меня гораздо сильнее, чем посещение больницы.

Когда мы находились где-то уже совсем близко от больницы, я случайно обратил внимание на довольно большой дом, сложенный из красного кирпича, и, подняв глаза вверх — очевидно, для того, чтобы сосчитать количество этажей, — прочел вывеску. Меня аж обожгло всего!.. На вывеске — по темному фону ее — выпуклыми золотыми буквами было написано: «Редакция газеты «Новь».

Так вот где печатается та самая газета, в которой еще совсем недавно появились мои стихи «Просьба солдата», подумал я. И мне остро захотелось немедленно, сию минуту войти в этот кирпичный дом, войти и сказать всем, кто там будет: «Я тот самый деревенский школьник, что сочинил «Просьбу солдата»...»

Я был вполне уверен, что в редакции все хорошо помнят меня. Правда, к тому времени я уже отказался от мысли, будто живых, существующих вот сейчас поэтов нет вообще. Нет, я допускал уже, что живые поэты есть. Но их, по моим соображениям, могло быть совсем немного. И потому редакция, несомненно, должна помнить всякого, кто напечатал хотя бы одно только стихотворение.

И я воображал, как все удивятся моему появлению, как обступят меня, начнут обо всем расспрашивать... И уж непременно предложат: «Давай нам и другие свои стихи! Мы и другие напечатаем...»

Все это казалось таким реальным, что сердце мое бешено колотилось от радости, и я действительно готов был взяться за ручку большой двери, чтобы войти в «заветный дом». Но — увы! — решимость меня покинула как раз в тот момент, когда мы поравнялись с входной дверью. И, опустив голову, я с невыразимой грустью прошел мимо, не смея даже оглянуться назад. Я ничего не сказал Шукиной о том, мимо какого дорожного для меня дома мы проходили! О «Просьбе солдата» она также ничего не знала.

9

Е. Я. Шукина приходила в «Трудовое братство» через день или через два и каждый раз вела меня куда-нибудь. Именно с ней я впервые попал в Кремль, видел колокольню Ивана Великого, а также царь-колокол и царь-пушку, о которых в деревне ходили целые легенды.

Побывал я и в Третьяковской галерее, и в Музее изобразительных искусств на Волхонке. Но результаты от посещения этих сокровищниц искусства оказались самыми минимальными по причине чересчур большой моей близорукости. Мне очень хотелось рассмотреть знаменитую картину В. И. Сурикова «Боярыня Морозова», но я так и не мог этого сделать. Полотно — огромное, и чтобы оно все целиком попало в поле зрения, следовало рассматривать его, отойдя на почтительное расстояние. Но с такого расстояния я видел картину очень нечетко, расплывчато, а некоторые детали и вовсе ускользали от меня. Когда же я подходил к картине настолько близко, что рисунок воспринимался более четко, более ясно, то мог рассматривать поочередно лишь отдельные части ее: сначала, скажем, левый угол, затем середину и так далее. Таким образом, всю картину сразу я видеть опять-таки не мог. Точно так же обстояло дело и с картиной И. Е. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», и с полотнами других художников. И если все же мне известны сейчас многие картины, то знакомился я с ними отнюдь не по оригиналам, а по репродукциям небольшого формата. Такие репродукции можно поднести к глазам на любое расстояние и только так ясно увидеть все, что изображено на них.

То же самое происходило и со скульптурами. Не были исключением даже памятники А. С. Пушкину и Н. В. Гоголю, которые я пытался рассмотреть: издала я видел их неясно, как некие силуэты. А подойдя ближе, я мог рассмотреть лишь отдельные части памятников, хотя, например, голову Пушкина я плохо видел даже с близкого расстояния, потому что памятник был слишком высок.

Даже сейчас я вспоминаю об этом с большой горечью, ибо многое в моей жизни потеряно, а точнее сказать — не познано, не увидено в полной мере из-за крайне плохого зрения. И касается это не одних только картин либо скульптур, но и бесконечного количества других вещей и явлений, каждодневно наблюдаемых людьми с нормальным зрением.

Побывал я с Е. Я. Щукиной и в театре. Но тут возможности ее были весьма ограничены. Из-за отсутствия денег купить билеты она не могла и поэтому вынуждена была просить театральные администраторов, чтобы нам разрешили посмотреть спектакль бесплатно. Но бесплатно не разрешали. И только однажды — дело происходило днем, когда шел дневной спектакль, — нам не только разрешили присутствовать на спектакле, но и усадили чуть ли не в первом ряду (вероятно, потому, что зрителей в зале было совсем немного). Плохо, однако, было то, что спектакль начался уже давно и мы могли только досмотреть его.

Шла опера М. И. Глинки «Жизнь за царя» — так в то время называлась опера «Иван Сусанин». Было это, как я узнал уже много лет спустя, в театре Зимина на Большой Дмитровке.

Для меня представление началось с того момента, когда отряд польской шляхты ворвался в хату Ивана Сусанина и приказал, чтобы тот провел пришельцев через лес, так как сами они дороги не знали; я видел и тот дремучий, непроходимый лес, весь обсыпанный снегом, лес, куда Сусанин нарочно завел врагов своей родины и где он погиб от руки этих врагов, но откуда и сами они уже никак не могли уйти живыми...

Все это было захватывающе интересно, воспроизведено так реально, так впечатляюще сильно, что не верилось, будто лес на сцене не настоящий, а Сусанин — тоже не костромской крестьянин, а всего лишь актер театра...

Не понравилось мне только одно: почему люди на сцене не разговаривают друг с другом, как это обычно бывает в жизни, а все время поют. К чему это? — думал я. Ведь если бы они разговаривали, а не пели, было бы гораздо интересней и понятней. А то иногда и не поймешь, о чем поют: музыка заглушает слова. Короче говоря, опера мне не понравилась.

Но зато я был в совершенном восторге, когда в лазарете «Трудовое братство» устроили новогодний концерт для раненых, на котором присутствовал и я. Приехавшие в лазарет артисты пели, играли на различных инструментах. Один артист рассказывал грубоватые и далеко не остроумные «солдатские анекдоты». Но раненые живо реагировали на эти анекдоты.

Однако гвоздем концерта, несомненно, были два произведения А. П. Чехова — «Хирургия» и «Предложение», разыгранные в заключение. Было так весело, в зале стоял такой хохот, что трудно себе и представить. И я, впервые (как и на многом другом) присутствовавший на концерте, не мог даже вообразить, что может быть представление лучше и интересней, чем это. И долго потом, уже вернувшись в деревню, я, подражая актерам, рассказывал, как фельдшер рвал дьячку зуб, и воспроизводил спор о том, кому принадлежат Волосьи Лужки.

Я видел в Москве (поскольку мог видеть) и многое другое: побывал в Румянцевском музее, в соборе Василия Блаженного, что на Красной площади, в храме Христа-спасителя... Всюду меня сопровождала неумолимая и всегда доброжелательная учительница Екатерина Яковлевна Щукина.

В последнюю нашу встречу с ней в Москве она привела меня на квартиру своих знакомых. Привела затем, чтобы показать какую-то техническую новинку, которая только-только появилась.

— Ты сейчас увидишь и услышишь, как пианино заиграет само собой, без всякого участия человека, — пообещала мне Щукина.

Действительно, на моих глазах хозяйка квартиры открыла крышку пианино, стоявшего у стены, положила внутрь пианино что-то вроде ленты, намотанной на специальную катушку, нажала какую-то кнопку (вероятно, включила электрический ток), и пианино заиграло.

Сейчас нетрудно понять, что в пианино заложили, вероятно, нечто вроде перфорационной ленты, на которой была запрограммирована определенная мелодия. Но в то время самоиграющее пианино многим могло показаться волшебством.

Все сидели молча и слушали. Хозяйка квартиры и Екатерина Яковлевна то и дело поглядывали на меня, очевидно, полагая, что новый, «электрический» способ игры на пианино поразит меня совершенно. Однако поражен я не был. Правда, я сказал, что музыка мне понравилась и что игра без человека — это действительно интересно. Но я не сказал главного: до той самой минуты, когда учительница Щукина привела меня на квартиру своей знакомой, я не только не слышал игры на пианино, не только не видел, как обычно на нем играют, но ни разу еще не видел и самого пианино. Поэтому «электрическую» игру, которая при иных условиях могла удивить, поразить меня, я воспринял как должное, как нормальное, обыкновенное, повседневное: ведь других способов игры я не знал и потому не мог сравнивать с ними.

Скоро я до того привык к Москве, до того освоился с ней, что и в одиночку мог ходить довольно далеко. И однажды, когда мне стало как-то уж очень не по себе от одиночества (Е. Я. Щукина из Москвы уже уехала), я решил поехать к своей сестре. Деньги на трамвай у меня были, и название фабрики, на которой она работала, я знал.

Отправился я перед вечером. Благополучно добравшись до Большой Тульской улицы, дальше пошел уже пешком. Прошел под мост, по которому проходила неизвестная мне железная дорога, и там, за мостом, на некотором расстоянии от него, разыскал нужную фабрику.

Стало уже темно, и в многочисленных каменных зданиях, окружавших меня, вспыхнули яркие электрические огни. А я в нерешительности стоял на фабричном дворе, не имея никакого понятия, в какое здание, в какую дверь мне надо идти, чтобы найти сестру. Мимо меня то в одну, то в другую сторону спешили работницы: иные шли в одиночку, другие — группами, а то и целыми толпами. И так как все они шли быстро, торопливо, я не решался остановить ни одну из них, чтобы расспросить о своей сестре.

Наконец одна из работниц сама подошла ко мне:

— Ты чего здесь стоишь? Ждешь кого, что ли?

Я рассказал ей, что приехал к сестре, да вот не знаю, как ее найти.

— А как сестру-то твою зовут? — спросила работница.

— Анна,— ответил я.— Анна Васильевна Исаковская.

— Так я знаю твою сестру,— обрадовала меня работница.— Только у нас ее Ньюшей зовут...

— Верно, Ньюшей,— подтвердил я.— Она сама мне рассказывала, что на фабрике ее прозвали Ньюшей.

— А ты вот что,— продолжала работница,— ты подожди здесь, только никуда не уходи... Я сейчас сбегаю и скажу Ньюше, что ты ее ждешь. Она сейчас работает: ее смена не кончилась еще...

И работница быстро исчезла.

Скоро ко мне подошла и моя сестра. Я даже не заметил, откуда она появилась, но сразу же понял, что она торопится; выбежала на улицу, не успев даже накинуть что-либо на плечи, хотя стоял довольно сильный мороз.

— Мишенька,— как всегда очень ласково, обратилась она ко мне,— как же это ты приехал, а я ничего и не знаю?.. Ты бы написал мне, что приедешь, так я бы ждала тебя. А то ведь я на работе... Ну да ладно. Я тебя сейчас отведу к себе, там ты и подождешь, пока смена кончится.

И Ньюша сразу же двинулась с места, взяв меня за руку.

Идти нам пришлось недолго: «квартира» сестры находилась почти рядом с фабрикой, в трехэтажной (я успел сосчитать этажи) каменной казарме. Поднявшись на второй этаж и пройдя довольно длинный коридор, сестра открыла нужную дверь:

— Вот здесь!.. Садись на мою койку, а если хочешь, то и полежи... Я скоро вернусь... Если кто придет без меня, не бойся: это свои...

И сестра быстро исчезла за дверью. При тусклом свете электрической лампочки, висевшей под самым потолком, я начал рассматривать «квартиру» своей сестры Анны.

И хотя приехал я из деревни, где было и тесно, и грязно, и холодно, и голодно, все же сразу почувствовал и подумал, что совсем зря некоторые мои однодеревенцы завидуют уехавшим в Москву. Чему уж тут завидовать?

В комнате, где меня оставила сестра, в два ряда стояли узкие железные койки (их было не менее двенадцати), покрытые самыми дешевыми и к тому же изрядно потрепанными серыми одеялами. Проход между койками был так узок, что по нему едва можно было пройти. Пол в комнате — цементный, казавшийся очень холодным. Стены хоть и красились когда-то, определить их цвет было невозможно: так они загрязнились. Пахло сыростью, и у меня очень скоро начали замерзать ноги. Топили казарму, по-видимому, совсем плохо.

По малой нужде мне понадобилось разыскать соответствующее место, и я вышел в коридор. Место соседствовало с большой кухней, пол которой весь был залит водой: по-видимому, испортилась водопроводная труба и никто не собирался чинить ее. Поэтому в кухне, чтобы не промочить ноги, ходить можно было только по доскам, разбросанным во всех направлениях.

После я узнал, что сестре моей, оказывается, повезло: она-де живет в комнате, где размещены лишь женщины-одиночки. А то нередко бывает, что в одной комнате живут не только одиночки, а и целые семьи, да притом еще с детьми!.. Там уж не жизнь, а настоящий ад.

Сестра моя вернулась часа через два. Пришли и другие работницы из тех, что жили с ней в одной комнате. Мы с Анной немного посидели на ее койке (другого места и другой мебели для этого не было), поговорили кое о чем — говорить при этом пришлось шепотом, чтобы не услышали посторонние,— а потом она вдруг забеспокоилась:

— Мишенька, ехать тебе назад теперь поздно: уже вечер и ты мо-

жешь заблудиться, а то, не дай бог, под трамвай попадешь... А ночевать у меня нельзя: не разрешают. Пусть приходит хоть десять раз родной тебе, все равно не разрешают... Я сейчас сведу тебя к своей крестной: у нее переночевать можно... А завтра утром и поедешь к себе.

12

Крестная мать сестры моей Анны — уже довольно пожилая женщина — происходила из нашей же деревни. Но оттуда она давно уехала и возвращаться не собиралась. Жила она на Большой Тульской улице вместе со взрослым, но еще холостым сыном Павлом. Они снимали «квартиру» размером не более семи-восьми квадратных метров в старом деревянном двухэтажном доме. Таких домов на Большой Тульской улице было много. Домовладельцы обычно разбивали их на множество каморок, отделенных одна от другой лишь тесовыми перегородками, не доходившими до потолка, и сдавали эти каморки внаем рабочим семьям. Печи, которыми отапливался тот или иной дом, как правило, находились в коридоре. Поэтому, чтобы в каморке не было холодно, дверь ее нужно было держать почти все время открытой.

Ну, а говорить о звукопроницаемости было просто бесполезно: если в одной «квартире» стонал больной, в другой — надрывался от плача ребенок, в третьей — ругались соседи, а в четвертой — дрались или просто шумно веселились пьяные, то все это волей-неволей должны были слушать жильцы всего этажа. Я довольно часто наблюдал все это, так как впоследствии мне не раз приходилось ночевать в том самом доме и в той самой каморке, куда впервые привела меня сестра Анна в январе пятнадцатого года.

Как и всякого, кто приезжал из деревни в Москву и заходил к своим знакомым, меня прежде всего нужно было угостить: того требовал обычай. Павел — сын крестной матери моей сестры — почти тотчас же, как только мы пришли, оделся, взял в правую руку выдавший виды, изрядно помятый жестяной чайник и отправился в ближайший трактир за кипятком. За чайник кипятку в трактире платили одну копейку, а потом уже дома заваривали чай и пили его с ситным. Это было обычным и вполне приличным, хотя и стандартным угощением. Исключение составляли лишь случаи, когда в силу каких-либо особых обстоятельств требовалась водка и закуска.

Сестра моя, однако, не стала ждать угощения: быстро договорившись с крестной относительно меня, она немедленно ушла, так как ей назавтра нужно было встать очень рано. Впрочем, встать рано надо было и моим хозяевам: оба они тоже работали на фабрике. Поэтому, напившись чаю, мы сразу же легли спать.

Меня положили на сундуке, и я очень долго не мог заснуть из-за всевозможных шумов, стуков и криков, доносившихся из других каморок. Заснул я, кажется, лишь под утро, и только успел разоспаться, как меня разбудили...

Опять тот же поглощаемый весьма торопливо чай с ситным, и мы с Павлом вышли на улицу. Было, вероятно, не более шести часов утра, но во все стороны уже торопился народ, и снег приятно поскрипывал под ногами пешеходов. Горели фонари, то и дело позванивали трамваи, дворники соскребали и сметали с тротуаров снег. Далеко в морозном воздухе слышались звонкие голоса мальчишек, продающих газеты: «Газета-копейка!» «Газета-копейка!» А вот она, «Газета-копейка»!..»

Павел подвел меня к трамвайной остановке, где скопилось уже довольно много народу, помог сесть в вагон и ушел. Кстати сказать, я больше ни разу не встречал его, как не встречал и его матери. Говорили,

что она умерла за несколько лет до начала Великой Отечественной войны. А в комнате, в которой я ночевал, поселилась моя сестра Анна, которая к тому времени уже вышла замуж.

Я благополучно и еще затемно добрался до лазарета «Трудовое братство» и робко нажал кнопку дверного звонка. Швейцар Яков открыл мне дверь и сразу же начал ругать меня, почему я не сказал, что не приду ночевать. Он, оказывается, долго ожидал меня в прошлый вечер и стал уже беспокоиться, не случилось ли чего со мной. В свое оправдание я мог сказать лишь то, что я и сам хотел вернуться обратно, но меня не пустила сестра, также боявшаяся, как бы со мной не случилось чего-нибудь.

— Ну, ладно! — уже примирительно сказал дядя Яков. — Иди досыпай: ведь еще рано...

Довольный столь быстрым примирением с Яковом, я лег на широкий матрац и, как всегда, накрывшись сверху бекешей, моментально заснул, не обратив никакого внимания на своего соседа, скелет которого, накрытый белым полотном, неизменно стоял у моей кровати.

13

После того, как я случайно, недалеко от Алексеевской глазной больницы, увидел кирпичный дом с большой вывеской «Р е д а к ц и я г а з е т ы «Н о в ь», у меня начало расти непреодолимое желание увидеть хоть одного человека, имеющего отношение к выпуску книг или газет. Мне представлялось, что это люди необыкновенные и если я встречу хоть с одним из них, то уже одно это будет большим счастьем. Правда, иногда я позабывал о своем желании, будучи чем-либо отвлечен от него, но потом оно неизменно вспыхивало во мне с новой силой. И однажды я попытался осуществить его...

В вестибюле лазарета «Трудовое братство» на стене висел телефонный аппарат, а под ним стоял столик, на котором лежала толстая телефонная книжка. Я часто видел и слышал, как звонят по телефону, как разговаривают, и теоретически технику телефонных разговоров усвоил уже давно, хотя сам еще не пользовался телефоном ни разу.

В телефонной книжке, которую от нечего делать я листал уже много раз, мне совсем нетрудно было разыскать номер телефона одной фабрики, на которой работал мой однодеревенец. Когда в вестибюле никого не было, я снял трубку и, стараясь казаться совершенно спокойным, хотя сердце мое билось в это время со скоростью не меньшей, чем сто двадцать ударов в минуту, попросил телефонистку дать мне номер фабрики.

— Готово, — сказала телефонистка.

Через несколько секунд мужской голос ответил мне:

— Вас слушают. Что вам угодно?

— У вас на фабрике, — начал я с деланным равнодушием, — работает такой-то. — При этом я назвал фамилию, имя и отчество своего однодеревенца. — Нельзя ли позвать его к телефону?

— К сожалению, нельзя. Он работает, очевидно, на фабрике, а здесь контора. В контору мы обычно не приглашаем рабочих к телефону.

Таким образом, я убедился, что разговаривать по телефону умею. Это придало мне смелости, и вечером, сняв телефонную трубку, я назвал телефонистке номер уже не какой-то там фабрики, а номер домашнего телефона Ивана Ивановича Горбунова-Посадова, найдя этот номер все в той же телефонной книжке.

Мне ответили неожиданно быстро:

— Я вас слушаю.

Это привело меня в некоторое замешательство, так как заранее я не подумал, о чем буду говорить, и потому несколько секунд молчал. Но все же, в конце концов набравшись духу, сказал, что хотел бы поговорить с Иваном Ивановичем Горбуновым-Посадовым.

— А это я и есть,— послышалось в трубке.— Что вам угодно?

Я сбивчиво и быстро, боясь, как бы меня не оборвали, начал объяснять, кто я такой, откуда приехал. Не позабыл я сказать и о том, что еще осенью посылал свои стихи в издательство «Посредник». Я считал главным сказать именно об этом, так как был уверен, что Горбунов-Посадов лично читает все, что присылают в «Посредник», и, конечно, помнит всех, кто хоть раз в жизни посылал свои стихи на его имя. Поэтому, думал я, и меня он помнит и примет, что называется, с распростертыми объятиями.

Однако Иван Иванович довольно холодно спросил:

— У вас есть какое-нибудь дело ко мне?

— Да, есть! — оживился я.— Я хотел бы прийти к вам и поговорить с вами.

— Ну что ж, приходите! — согласился Горбунов-Посадов и даже назначил мне день и час, когда я могу прийти.

Но я, разумеется, и не думал идти к нему (ведь говорить с ним было не о чем, и мне стало стыдно за свой нелепый телефонный звонок, за свою глупую затею).

Но если мне не удалось увидеться с главой издательства «Посредник», то все же, и притом неожиданно-негаданно, удалось побывать в книжном магазине издательства. И это в известной мере явилось для меня как бы компенсацией.

М. И. Погодин решил подарить мне небольшую библиотечку. Для этого, уже перед самым отъездом из Москвы, он вместе со мной послал в магазин издательства «Посредник» своего человека, под руководством которого я должен был отобрать нужные мне книги.

Вероятно, потому, чтобы купить книг как можно больше, я отбирал преимущественно те из них, которые были самыми дешевыми. А самыми дешевыми были книжечки небольшого формата, издававшиеся специально для деревни. В зависимости от того, сколько бумаги пошло на ту или иную книжечку, определялась и цена ее. Самая дешевая стоила полкопейки, а самая дорогая — пять копеек.

Выбирал я долго и тщательно и в конце концов унес из магазина около ста пятидесяти книжек. Сейчас я едва ли припомню, что это были за книжки, но несомненно, что наряду с книжками, написанными неизвестными мне в ту пору авторами, были произведения и тех, кого я помнил со школьных лет. Например, я и сейчас ясно вижу и как бы даже ощущаю пальцами рук книжечку в красной обложке, на которой написано: «Н. В. Гоголь. Ревизор». В моей библиотечке оказались произведения и других классиков.

Настал наконец тот день, а вернее — вечер, ради которого я приехал в Москву, которого ждал целый месяц, живя в лазарете «Трудовое братство», — вечер, когда меня повезли на прием к профессору М. И. Авербаху. Кто меня повез, не помню, как не помню и многого другого, что было в тот вечер. Помню лишь полутемную комнату — кабинет профессора, — где в углу горела лишь одна электрическая лампочка без абажура, лампочка, при помощи которой профессор обследовал мне глазное дно. Был он небольшого роста, двигался и говорил очень мягко и тихо, как бы бо-

ясь нарушить тишину кабинета. И еще я запомнил, запомнил навсегда слова профессора, когда он уже осмотрел меня и уже подобрал очки.

— Ну, что ж я могу сказать? — начал Михаил Иосифович в ответ на мои расспросы. — Глаза у вас действительно неважные... Беречь их надо... Беречь очень и очень... Но писать и читать можно. И учиться, конечно, можно... Но только вы делайте так: почитаете минут пятнадцать, отложите книгу в сторону; отдохнете — тоже минут пятнадцать, и опять можно возобновить чтение... И так все время. И с чтением и с письмом.

Было, конечно, сказано не только это, но и многое другое, но главное для меня заключалось именно в этом: и читать, и писать можно, и учиться можно, хотя и надо при всем том вести себя весьма сдержанно, осторожно.

Вряд ли стоит говорить, какой огромный камень свалился с меня, — камень, о котором я иногда, может быть, и забывал, но который все же непрерывно давил на мое сознание. И я навсегда остался благодарным профессору Авербаху, который первым отважился снять с меня столь тягостную ношу.

Рецепт на очки, написанный рукой М. И. Авербаха, я долгие годы хранил как самую дорогую реликвию. Исчез этот рецепт уже во время Великой Отечественной войны. Вернее сказать — не исчез, а его вместе с другими моими бумагами и книгами сожгли люди, которых временно поселили в моей московской квартире, когда я находился в эвакуации. Но до того памятен мне этот рецепт, что я до сих пор явственно представляю даже рисунок шрифтов, которыми он был напечатан, не говоря уже о подписи М. И. Авербаха.

15

После того, как были изготовлены прописанные мне очки, наступило и время отъезда из Москвы.

Ехать я должен был с тем же самым человеком, который сопровождал меня и в Москву. С ним мы условились, что до Брянского вокзала я доберусь сам, что дорогу теперь хорошо знаю и не заблужусь. Он объяснил мне, что будет ждать меня с девяти часов вечера в зале, где продаются билеты. Там я и должен его искать.

Словом, надо было собираться в дорогу. Впрочем, на мои сборы времени много не понадобилось. Я засунул в мешок сверток с книгами, положил футляр с очками в боковой карман пиджака, вот и все.

Однако мне жалко было расстаться с теми журналами, которые я неоднократно перебирал и часть которых даже взял в свою комнату якобы для того, чтобы класть их под голову вместо подушки. И я решил попытаться счастья. Так как наступил уже вечер, то в полуподвале, где я прожил целый месяц, уже никого не было. Как всегда, на своем посту находился один только швейцар Яков. Я подошел к нему.

— Дядя Яков, — робко попросил я, — нельзя ли мне взять несколько журналов — вон тех, что лежат на столике?..

— Журналов? — зачем-то переспросил дядя Яков. И совершенно неожиданно и совсем уже другим голосом добавил: — Да бери ты их хоть все, если надо!.. Ведь их же все равно никто не читает.

Я поблагодарил дядю Якова за разрешение, и очень скоро груз мой значительно увеличился в объеме. Правда, брать все журналы я не собирался, их было все-таки слишком много, но номеров тридцать или сорок из числа наиболее понравившихся мне я с большим удовольствием и с большой тщательностью, чтобы не помять, незамедлительно отправил в свой мешок — единственное местоположение, которым я располагал.

На вокзал я решил пойти пораньше, чтобы уж наверняка не опоздать. Да и не знал я, сколько мне понадобится времени на то, чтобы до-

браться до вокзала: ведь идти я собрался пешком. Правда, у меня осталось еще несколько медяков и я свободно мог бы доехать на трамвае. Но московский трамвай мне определенно не нравился: такая теснота, такая давка в нем, что уж лучше двадцать верст пешком пройти, чем ехать на этом самом трамвае.

Настала минута, когда я навсегда должен был покинуть лазарет «Трудовое братство». Я стал прощаться с дядей Яковом и его женой и по-настоящему расплакался. Я так свыкся с этим добрым, отзывчивым и на редкость трудолюбивым человеком, так привязался к нему и — вдруг ухожу от него и никогда больше не увижусь с ним! Это было до невероятности обидно и жалко.

Дядя Яков начал успокаивать меня, даже вышел, чтобы проводить хоть немного, но все-таки, расставшись с ним и шагая по направлению к Брянскому вокзалу, я то и дело смахивал слезы со своих близоруких глаз.

А во второй половине следующего дня я со своим драгоценным мешком за плечами и с не менее драгоценными очками в боковом кармане пиджака уже шагал по белой снежной дороге из Гнездилова в свою Глотовку.

День был солнечный. Стоял небольшой морозец, и под ногами у меня приятно поскрипывало. Совсем недавно — может быть, только еще вчера — выпал свежий снежок, и белизна была повсюду просто невообразимая. Но по свежему снежку уже кто-то проехал на санях, а у дороги пробежала собака либо какой-то зверек. В некоторых местах видны были следы птицы...

Остановившись и положив свой мешок к ногам, я доставал из кармана очки, надевал их и начинал осматриваться кругом. Я четко видел и след, проложенный санями, и отпечатки лошадиных подков, и следы собаки, и следы птицы, и даже самые незначительные углубления в снегу. Словом, снежная равнина перестала быть для меня той пеленой, на которой все сливалось настолько, что я уже не видел ничего, кроме сплошного белого цвета.

16

Если б только кто-нибудь знал, как я был рад и как много для меня значило ясно и четко (хотя бы относительно) видеть окружающее! Я думаю, что люди, которые не были в положении, подобном моему, вряд ли могут понять это. У меня никогда не болели глаза так, чтобы я переносил физическую боль. Но то, что я переносил, и притом довольно длительное время, было куда хуже, куда больней, чем физическая боль. Вряд ли стоит рассказывать обо всем: это получилось бы и длинно и скучно. Но об одной стороне своего бытия я все же хочу рассказать, хотя эта сторона и не является главной.

Начать хотя бы с того, что я боялся ходить по своей деревне. Боялся потому, что со всеми надо было здороваться. А я из-за плохого зрения путал взрослых мужчин с мальчишками, а девочек — с бабами либо девушками. И случалось так, что, идя по улице мимо дома какой-нибудь тети Анисьи и видя, что она смотрит на меня из окна, я кричал:

— Здравствуйте, тетя Анисья!

В ответ на мое приветствие раздавался хохот, так как, оказывается, в окно смотрела вовсе не тетя Анисья, а ее младшая дочка, здороваться с которой еще не полагалось.

А случалось и наоборот. Иду и вижу, что с правой стороны, на своем крыльчке, что-то мастерит сынишка дяди Феди. Ну, я и прохожу мимо,

ничего не сказав. А на самом деле это не сынишка дяди Феди, а сам дядя Федя. И он мне вдогонку кричит:

— Что ж не здороваешься? Забогатель, что ли?!

В общем, много было самых различных и чаще всего самых обидных случаев и происшествий. Поэтому я совсем перестал ходить через свою деревню. А если надо было, то ходил огородами, то есть обходил деревню стороной.

Только после поездки в Москву я, надев очки, начал узнавать своих однодеревенцев и прочих знакомых и потому уже совершенно безбоязненно мог шагать по своей Глотовке то в одну, то в другую сторону.

Но это продолжалось не столь уж долго. Зрение мое постоянно ухудшалось, и «авербаховские» очки уже не помогали мне в такой степени, как раньше. Поэтому, когда приходилось приезжать в Глотовку — это было и в то время, когда я учился в гимназии, и тогда, когда работал уже, сначала в Ельне, а затем в Смоленске, — я опять вынужден был ходить не напрямик по Глотовке, а обходами, по огородам.

СНОВА ДОМА

I

Вернувшись из Москвы, я прежде всего пошел в школу. Подробно рассказал учительницам, как жил в Москве, что видел, где бывал, и, конечно, продемонстрировал, насколько лучше я стал видеть: когда мне приходилось читать, то я уже не водил носом по книге, а мог держать ее на значительном расстоянии и текст при этом видел совершенно ясно. То же самое было и с писанием. А к очкам я в конце концов привык так, что не мог обходиться без них ни одной минуты. Они как бы срослись со мной. Снимал их я лишь на время сна.

В первый же свой приход в школу я заметил на столе у второй нашей учительницы, Александры Васильевны Тарбаевой, «Самоучитель французского языка». Меня очень заинтересовала эта книга: я уже давно хотел хоть немного научиться читать и писать «не по-нашему». На каком языке — мне было безразлично, но только чтобы «не по-нашему». Иностраннй текст привлекал меня тем таинственным смыслом, который содержался в нем и который мне всегда хотелось разгадать.

Увидев, что я интересуюсь «Самоучителем», Александра Васильевна спросила:

— Что, может, хочешь попробовать учить французский язык?

— Хочу, — ответил я.

— Ну что ж, тогда возьми пока эту книгу и учи. А то я привезла ее сюда, а времени на французский язык все нет и нет. Так и лежит «Самоучитель» без дела.

«Самоучитель французского языка» я принес домой с большим удовольствием и немедленно же принялся за дело. Латинский алфавит я откуда-то уже знал и потому сразу приступил к изучению того, как по-французски произносится та или иная буква или сочетание нескольких букв — в «Самоучителе» на этот счет были особые пояснения. Уже через несколько дней я довольно бегло мог читать простейший французский текст, писать по-французски некоторые фразы, знал несколько десятков французских слов.

Время от времени я ходил к Александре Васильевне, и та, насколько могла, поправляла мое произношение, которое, конечно же, больше походило на «глотовское», чем на французское, указывала и на другие мои

ошибки и оплошности, хотя многого дать она мне не могла, поскольку и сама знала французский лишь чуть-чуть.

Но как бы там ни было, я продолжал продвигаться по «Самоучителю» все дальше и дальше.

2

Зачастил я по вечерам в школу не только для того, чтобы Александра Васильевна проверила мои знания по французскому языку. Была тут и другая причина.

Еще осенью, до моей поездки в Москву, на работу в школу поступила совсем еще молоденькая девушка Ариша. Она убирала классы, топчила печи и помогала учительнице Е. С. Горанской в ее несложном домашнем хозяйстве. Ариша оказалась той девушкой, которая вдруг неизвестно почему чем-то неувлимо-приятным влекла меня к себе и от присутствия которой на душе становилось как-то по-особенному хорошо и радостно.

Еще находясь в Москве, я, отправляя письма первой или второй учительнице гловатовской школы, просил их непременно передать от меня привет Арише. Я писал письма и самой Арише, но эти мои письма поневоле были весьма сдержанными, я не мог сказать в них всего того, что мне хотелось бы. Причина заключалась в том, что Ариша была неграмотна и прочесть мои письма без посторонней помощи не могла. Зная это, я не смел откровенничать с Аришей в письмах, надеясь, что когда приеду из Москвы, то лично скажу Арише все, что в таких случаях хочется сказать. В ту пору мне только что пошел шестнадцатый год (Ариша была старше меня года на полтора или два), но я уже твердо решил, что непременно научу Аришу и читать и писать и что от этого станет она еще лучше.

И вот я вернулся из Москвы. Вечером прихожу в школу и пускаю в ход всевозможные хитрости, чтобы только остаться с Аришей наедине. Мне ничего не нужно от нее, просто хочется посидеть с ней, поговорить, может быть, взять ее за руки, прикоснуться к ее плечу... Однако, как только мы остаемся одни, Ариша вдруг вспоминает, что в классах еще не закрыты трубы, и спешит их закрыть, чтобы тепло зря не пропадало, а то внезапно спохватывается, что в ушате мало воды, что ее завтра утром может не хватить, и поэтому, взяв ведро, уходит за водой...

Словом, Ариша не хотела оставаться со мной наедине, не хотела разговаривать, опасаясь, очевидно, что я могу сказать ей что-нибудь такое... Выходило почти так, как в одном моем стихотворении:

А она, притворная, молчала,
Будто вовсе ничего не замечала...

Только один-единственный раз Ариша переменяла свое отношение ко мне: в полутьме сидела на подоконнике в своей комнатке и уже не спешила ни за водой, ни закрывать трубы, хотя я стоял тут же, у окна, и даже притрагивался рукою к ее плечу. Она очень ласково разговаривала со мной, и мне уже начинало мерещиться, что вот я достиг того, чего хотел.

Но скоро на крыльце послышались чьи-то шаги, и кто-то, открыв дверь, вошел в школу. Мое свидание с девушкой, которую я, казалось, уже полюбил всем своим существом, внезапно оборвалось. Оно было первым и последним, хотя я и не знал тогда, что последним.

Я считал, что никто и не подозревает о моей привязанности к Арише. Но оказалось, что об этом знали не только обе учительницы, но и мои друзья Коля Афонский и Петя Шевченков. Они говорили мне:

— Ну что ты привязался к этой Арише? Ты разве не видишь, что она и внимания на тебя не обращает? А как придет Ваня Глагол, так она сразу же и уходит с ним куда-то... Вот кто ей нужен, а не ты!..

Я и сам стал замечать, что Ваня Глагол нравится Арише больше, чем я, но надеялся, что это ненадолго, что это скоро пройдет.

3

Зима подходила к концу, приближались пасхальные каникулы. Я с нетерпением ждал приезда Василия Васильевича: он писал, что придет обязательно. И он приехал.

По-видимому, заранее договорившись обо всем с Екатериной Сергеевной Горанской, Свистунов уже на второй день после приезда сказал мне:

— Тебе непременно надо поступить в гимназию. Но в таком возрасте, как твой, тебя могут принять только в четвертый класс, не ниже. Значит, за первые три класса ты должен будешь сдавать экзамены. За лето я, вероятно, смогу тебя подготовить, и ты выдержишь экзамены, если, конечно, и сам будешь стараться, не будешь лодырничать...

Помолчав немного, Василий Васильевич продолжал:

— Как только в школах прекратятся занятия и наступят летние каникулы, мы поедем с тобой в Зарубинки и будем все лето жить в доме у Горанских. Там я тебя и буду готовить. Ну как, согласен?

Еще бы не согласиться! Да я был на седьмом небе от предложения Василия Васильевича и хотел только одного: поскорее взяться за подготовку.

Свистунов очень одобрил, что я догадался заняться французским языком.

— Это у тебя хорошо получилось,— сказал он, проверив мои познания.— Французский язык в гимназии начинают со второго класса. Считай, что курс второго класса ты уже почти прошел. Остается пройти лишь за третий класс...

Василий Васильевич надавал мне множество полезных советов относительно изучения языков. И не только советов, но и самых неотложных заданий. Продолжая учить французский язык, я, кроме того, должен был взяться и за латынь: латынь в гимназии начинали с первого класса; стало быть, до экзаменов я должен одолеть все то, на что в нормальных условиях отводится три учебных года. А там еще — немецкий язык, который начинают учить с третьего класса... Словом, предстояло одолеть столько всяких наук, что становилось немножко боязно.

Василий Васильевич оставил мне несколько учебников. И не только по языкам, но и по некоторым другим предметам. Наказ его был такой: не терять ни одной минуты времени, иначе не видать мне гимназии...

До летних каникул было еще далеко, еще всюду лежал не потерявший своей белизны глубокий снег, еще не успели почернеть зимние дороги. И только в солнечные дни через дороги то тут, то там начинали перебегать первые робкие ручейки. Но я уже сидел за книгами, и никакая сила не могла отвлечь меня от них. Я хотел выполнить наказ своего учителя самым наилучшим образом.

ЗАРУБИНСКОЕ ЛЕТО

1

В те годы, о которых я пишу, летние каникулы в сельских школах начинались гораздо раньше, чем теперь: с наступлением весенних дней ребята сами переставали ходить в школу, так как начинались сельско-

хозяйственные работы и школьники должны были помогать своим отцам и матерям.

Так было и в пятнадцатом году. Уже в первой половине мая занятия в глотовской школе прекратились, и учительница Е. С. Горанская уехала к себе на родину — в село Зарубинки Касплянской волости Смоленской губернии. Следом за ней туда же отправились и мы с Василием Васильевичем Свистуновым.

Подробности этой поездки выветрились из моей памяти. Я помню лишь, что, проехав верст тридцать по железной дороге Смоленск — Витебск, мы поздно ночью сошли на полустанке Лелеквинская и сразу же направились в Зарубинки, до которых считалось верст семь или восемь. Дорогу туда Василий Васильевич знал хорошо.

Кругом — ни души, ни звука, и лишь откуда-то издали до нашего слуха продолжал еще доноситься шум удаляющегося поезда. Но и он скоро смолк. В безоблачном небе стояла полная луна, щедро освещавшая белую, пахнущую пылью дорогу и проложенную рядом с ней пешеходную тропинку, по которой мы шли почти молча, лишь изредка перекидываясь двумя-тремя словами.

Скоро мы вошли в небольшой лес и от неожиданности остановились: в лесных зарослях было столько соловьев и так хорошо они пели, что трудно себе представить это. И мы долго стояли на залитой лунным светом и кое-где перерезанной черными тенями лесной полянке и молча слушали. А соловьи продолжали петь, словно подзадоривая друг друга: где-нибудь начинал один, и почти немедленно из другого места ему отвечал второй, но отвечал уже по-своему, на свой манер. Вслед за вторым начинал третий, четвертый... Происходило так, словно каждый во что бы то ни стало хочет перещегоать своего соседа и потому запускает такие трели, начинает так щелкать либо свистать, что, думается, лучше уже и нельзя...

Я и раньше слышал соловьиное пение, но не обращал на него внимания. И о соловьях знал и судил больше по стихам и немногим романам, которые мне удалось прочесть, а отнюдь не по своим собственным наблюдениям. А тут вдруг такая встреча с соловьями!

— Ну и запугивают же!.. — проговорил наконец Василий Васильевич. — Вот это да-а!..

Но как ни хорошо пели соловьи, нам надо было идти дальше. И мы пошли.

2

Екатерина Сергеевна Горанская, а также ее младшие сестра Наталья Сергеевна и брат Иван Сергеевич родились в семье зарубинского дьякона Сергея Яковлевича Горанского. Однако отец их рано умер, и все заботы по воспитанию детей легли на овдовевшую мать Елену Андреевну. Для нее это было делом весьма трудным и сложным, так как после смерти мужа она осталась почти без всяких средств к существованию. И если две ее дочери стали учительницами, то лишь потому, что она сумела определить их в Смоленское епархиальное училище: в этом учебном заведении дети некоторых священнослужителей содержались и учились бесплатно или наполовину бесплатно.

То же самое и с сыном Иваном. По бедности он не мог поступить в гимназию и потому вынужден был пойти в Смоленскую духовную семинарию, которую еще не кончил. Оставалось пробыть в семинарии еще два года, после чего ему предстояло стать священником. Однако молодой Горанский вовсе не хотел быть священником, в бога он не верил, семинарию и ее порядки ругал на чем свет стоит. Но уйти из нее пока никуда не мог. Не мог хстя бы потому, что шла мировая война и, уйдя он

из семинарии, его тотчас же мобилизовали бы. А этого Иван Сергеевич тоже не хотел: так же, как и Василий Васильевич, он был решительным противником войны.

У семьи Горанских был в Зарубинках свой дом. Собственно, не дом, а простая хата, разделенная тесовыми перегородками на кухню-прихожую, крошечный зальчик и совсем небольшую комнатку, в которой спали сестры Горанские.

Для нас с Василием Васильевичем места в этом доме определенно не было. И мы — конечно, с согласия хозяев — оборудовали себе «квартиру» на чердаке. У слухового окна, дающего вполне достаточно света, чтобы читать и писать, поставили небольшой столик и две табуретки. Чуточку поодаль от столика прямо на земле, которой был засыпан потолок, разбросали две или три охапки соломы: это была наша постель.

Не знаю, кто первый придумал такое название, но только наше чердачное обиталище все сразу же стали называть не иначе, как «верхотурьем». Вот на этом-то верхотурье и началась моя подготовка к поступлению в четвертый класс гимназии.

Руководил моей подготовкой Василий Васильевич Свистунов. Но заниматься только со мной для такого деятельного, энергичного человека, как Свистунов, было мало: оставалась уйма свободного времени и он не мог допустить, чтобы оно пропадало даром. Поэтому Василий Васильевич начал давать уроки еще трем или четырем ученикам — на этот раз уже ради заработка, а не безвозмездно, как это было со мной.

Ученики его жили на довольно большом расстоянии как от Зарубинок, так и друг от друга. И очень часто случалось, что Василий Васильевич, не успев обойти их всех за один день, оставался у кого-нибудь ночевать и возвращался в Зарубинки только на второй день. Правда, Василий Васильевич давал уроки каждому из своих учеников не ежедневно и «расписание занятий» составил таким образом, что дня три в неделю он был все же совершенно свободен. В эти дни он из Зарубинок не отлучался.

3

Вставал я рано. Как только на верхотурье через окно проникало столько света, что можно было взяться за учебники, я уже сидел на табуретке за своим некрашеным столом и заучивал, готовил, запоминал то, что задано было Василием Васильевичем. Прекращал я свои занятия только вечером, когда становилось совсем темно.

В течение дня у меня было три перерыва — на завтрак, обед и ужин. Но перерывы короткие: если сложить их вместе, то они составят не более полутора часов.

Приходилось мне очень трудно, но я понимал, что иначе нельзя. Я должен был успеть сделать все, что надо, должен был во что бы то ни стало осилить все те предметы, которые значились в программе, причем осилить в очень короткое время: не более чем в три месяца. А предметов этих было так много, что даже от простого их перечня мне иногда становилось не по себе.

В самом деле, я должен был закончить арифметику (она в сельских школах проходила не вся, не до конца) и приняться за изучение совершенно неведомых мне и потому особенно трудных предметов — таких, как алгебра и геометрия. А иностранные языки — латинский, французский, немецкий! Их целых три, и все три я должен учить одновременно. Был, конечно, и еще один язык — русский. И по русскому языку предстояло многое выучить, но по сравнению со всем остальным это казалось делом не столь уж трудным. Далее — история, и не только русская, но и древняя! А география? А так называемая естественная история, из кото-

рой я должен был усвоить бесчисленное количество сведений о минералах, о металлах, о животных и птицах, о строении человеческого организма и многое-многое другое? Наконец, закон божий. Правда, этот предмет нельзя было считать трудным. Наоборот, он легче многих других. Но я так не любил его, что из моей памяти немедленно испарялось все, что я только что прочел в учебнике этого самого закона божия! Тем не менее надо было знать и закон божий: хоть лоб расшиби, а знай и помни!

Василий Васильевич ревностно следил, чтобы я, по его выражению, не лодырничал, чтобы ни один час не пропадал у меня понапрасну. И однажды мне сильно досталось от него. А дело было так: я знал, что Свистунов ведет дневник; где бы он ни находился, куда бы ни отправлялся, он не расставался с толстой записной книжкой в клеенчатом переплете, похожей на общую тетрадь, но форматом вдвое меньше тетради. Таких книжек он исписал много. Подражая ему, и я завел себе записную книжку и стал заносить в нее краткие записи по разным поводам. В одной из записей я посвятил несколько строк Арише. Когда Василий Васильевич — не знаю, случайно это было или преднамеренно, — прочел мою записку, то сразу же в очень резкой форме начал упрекать меня в том, что якобы я делаю все что угодно, но только не то, что я должен делать. И закончил он так:

— Пока ты не сдал экзамены, пока не поступил в гимназию, забудь о своей Арише!.. Ее нет, она для тебя не существует. Понял?!

Я, разумеется, «понял». И Аришу мне пришлось «забыть». Да что Ариша! За все лето я не написал ни одной стихотворной строчки, хотя мне так хотелось иногда «пописать стихи»!

4

Василий Васильевич был прав, когда говорил, что я должен забыть Аришу, что она для меня не существует. Действительно, она таки не существовала для меня, а точнее — существовала не для меня: вскоре после того столь памятного для меня зарубинского лета она вышла замуж. Вышла не за моего соперника Ваню Глагола, которому я когда-то так завидовал, а за кого-то еще, и не куда-нибудь поблизости от отцовского дома, а в другую — Гнездиловскую волость. Эта последняя хоть и граничила с Осельской волостью, но, по тогдашним представлениям девушек, выходивших замуж, все же была уже чужой, если не сказать чуждеальной стороной.

Весть о замужестве я встретил не без огорчения, хорошо в то же время понимая, что поступить иначе Ариша и не могла. Она находилась в том возрасте, когда деревенские девушки уже серьезно думают о женихах. В деревне выйти замуж стремились как можно раньше, чтобы не остаться в вековухах. Девушек, которым едва-едва перевалило за двадцать, в нашей местности открыто и с пренебрежением называли перестарками. Замужество для перестарок было почти уже невозможно. Поэтому и Ариша не стала ждать и вышла замуж сразу же — за первого, кто посватался. А что же я? А я в ее глазах был всего лишь мальчишкой, на которого ни в чем нельзя положиться и ждать от которого тоже нечего. Все это было совершенно правильно. И все же образ девушки то и дело вставал передо мною, и я с большим волнением не раз повторял про себя некрасовские строки:

На тебя заглядеться не диво,
 Полюбить тебя всякий не прочь:
 Вьется алая лента игриво
 В волосах твоих, черных как ночь...

Мне казалось, что в своем стихотворении «Тройка» Н. А. Некрасов изобразил такую именно девушку, какой была Ариша. И я совсем не понимал некрасовского «проезжего корнета», который от столь хорошей девушки почему-то все же помчался «к другой». Другая разве могла быть лучше?

Время шло, и я как будто совсем уже позабыл об Арише. Но летом восемнадцатого года — жил я тогда в своей Глотовке — мне однажды очень захотелось увидеться с Аришей. «В последний раз, — думал я. — Но как это сделать?»

И чтобы меня не заподозрили в чем-либо дурном, я придумал: прийдя в ту деревню, в которой живет Ариша, сделать вид, что по делам ходил в Гнездиловский волысполком и на обратном пути зашел. «Ведь может же так быть на самом деле? — рассуждал я. — Конечно, может... А впрочем, — решил я, — на месте будет видней: удобно будет — зайду, неудобно — пройду мимо дома»...

И я отправился. В деревню я зашел не с того ее конца, который был обращен в сторону Глотовки, а с противоположного. У сидевших на крыльце баб спросил, где живет Ариша. При этом нарочито громко, но в то же время и как бы между прочим сказал бабам, что по делам был в Гнездилово, а теперь вот возвращаюсь домой...

Мне указали нужную хату, и я робко вошел в нее. Ариша была дома. Я поздоровался с ней и тоже повторил выдумку о том, что якобы ходил по делам в Гнездилово. Молодая хозяйка пригласила меня сесть, и я сел то ли на табуретку, то ли на скамейку, но так, что Ариша оказалась как раз напротив меня. Мужа Ариши не было дома. Поэтому у меня не было и того стеснения, которое могло появиться в его присутствии, и я совсем свободно мог разговаривать с Аришей.

И вдруг я не то чтобы понял, а скорее почувствовал, что такой Ариши, какой она представлялась мне в моем воображении, никогда не было и тем более нет сейчас. Я выдумал ее сам. И только теперь это дошло до меня... Стало и грустно и неловко. «Зачем только я шел сюда?» — мелькнуло в голове.

Но раз уж пришел, надо о чем-то говорить. Разговор, однако, не клеился, был он таким будничным, тягучим, нудным, что лучше бы и не начинать его. А всего лучше — не приходить бы сюда. Все же я узнал, что у Ариши уже есть ребенок, что живет она «не хуже других», что хоть и трудно ей бывает иногда, «да ведь нынче всем трудно»; ну, а муж — он, конечно, не золото, однако же надо терпеть: у других мужья бывают и похуже...

Я просидел у Ариши не более получаса и, прощаясь с ней, не знал, что вижу ее в последний раз: вскоре Ариша умерла. Умерла совсем молодая, почти девочка, не успев ничего увидеть в жизни, ничего не взяв от нее...

Так окончилась история моего первого увлечения, первой моей привязанности. Я не говорю — первой моей любви, потому что не могу решить, была ли это любовь или нет. Может быть, и ее я тоже выдумал...

5

Ну, а пока что я сидел на своем верхотурье в Зарубинках, заучивал немецкие и французские слова, решал алгебраические задачи, отыскивал на географической карте разные города, реки, озера, горные хребты...

В жаркие дни, когда на верхотурье становилось очень уж душно, я забирал свои учебники, спускался по стремянке вниз и шел на зарубинское кладбище. Оно находилось почти рядом: стоило только пройти

через огород Горанских, пересесть неширокое поле, засеянное где овсом, а где тимофеевкой, и — вот тебе кладбище. Располагалось оно на пригорке и почти все заросло деревьями и кустарниками, под тенью которых можно было отлично устроиться, улечься или усевшись прямо на земле. Были на кладбище и открытые места, где не росли ни деревья, ни кустарники, а лишь густая темно-зеленая трава. На этих открытых местах и находилось большинство могил.

Могилы, особенно спервоначалу, сильно заинтересовали меня, потому что внешний вид их был необычен. В наших местах над могилой насыпали четырехугольный продолговатый холмик, ставили большой деревянный крест. Вот и все. А в Зарубинках — я увидел это впервые — на каждой могиле стоял небольшой продолговатый домик с двускатной крышей — домик, срубленный из тонких бревен и состоящий из четырех или пяти венцов. Надмогильные домики эти, особенно если смотреть на них издали, очень напоминали пчелиные ульи, расставленные на зеленой лужайке.

Я любопытствовал: для чего ставятся на могилах домики, что они обозначают? Мне объяснили, что христиане верят в бессмертие души: человек умирает, а душа его остается. Вот и ставят на могиле домик, чтобы в нем могла жить душа умершего. А то куда же ей, бесприютной, деваться?..

Я в то время мог уже отлично разобраться, что никакого бессмертия так называемой души быть не может, что все это придумано, хотя придумано не зря: человек никак не хотел и не хочет примириться с тем, что он смертен.

Приблизительно так я раздумывал на зарубинском кладбище, припоминая, очевидно, то, что когда-то говорил Василий Васильевич, или то, что я мог прочесть в какой-либо книге. Несмотря, однако, на то, что я не верил в бессмертие души, домики на могилах не переставали интересовать меня. Я внимательно осматривал их и все почему-то искал, где же в них окна и двери. Но нигде не нашел даже намека на окна и двери. «Ага,— невольно подумал я,— значит, душа может жить и в потемках, а проникать в свой домик она способна прямо через стену... Любопытно...»

Однако я не мог подолгу раздумывать о посторонних предметах: не было времени. И уйдя в какой-либо укромный уголок кладбища, я снова и снова брался за учебники. Надо мной, тихо качаясь, шумели березы и синело высокое-высокое небо; откуда-то доносилось пение птиц, теплый летний ветер ласково шевелил мне волосы... Но ничего этого я не должен был замечать, чтобы не отвлекаться от того главного, ради чего я приехал в Зарубинки. И я старался не замечать, хотя это было почти невозможно.

6

В середине лета мы с Василием Васильевичем переселились в старый дом зарубинского дьякона: сам дьякон с семьей только что переехал в новый дом, а старый отдал в наше распоряжение. Это было просто роскошно — целый дом для моих занятий! Правда, он основательно подгнил, скособочился; крашеный пол его очень уж прогибался и зыбился под ногами, штукатурка во многих местах отлетела, обои отстали от стен и висели клочьями. Но все же это был дом, который стоял к тому же в яблонево-м саду. Чего же еще желать?

Осталась в доме и кое-какая мебель: два венских скрипучих стула и небольшой весьма шаткий столик, на котором я сразу же разместил свои учебники, тетради, чернильницу.

В соседней комнате у стены стоял довольно широкий деревянный диван. Этому грубо сработанному и выдавшему виды дивану было, по-видимому, очень много лет: весь он аж почернел от времени, весь рассохся и, когда я садился или ложился на него, начинал шататься и отчаянно скрипеть. Однако, увидев его, Василий Васильевич, не раздумывая, решил:

— Вот хорошо!.. На нем мы и спать будем.

— Да как же спать на голых досках? — робко возразил я. — Надо бы подстелить хоть сена или соломы.

Но мой учитель был непреклонен: ничего, мол, и так обойдемся.

Как раз в ту пору я по учебнику знакомился с историей древней Спарты. Известно, что спартанцы вели весьма суровый образ жизни, легко переносили всякие лишения и не искали никаких удобств. Вот и Василий Васильевич, ссылаясь на историю Спарты, начал убеждать меня, что и мы должны вести спартанский образ жизни. В таком случае зачем же, мол, нам какая-то подстилка? И без нее обойдемся. Подушки он тоже отверг:

— Не надо никаких подушек! Подложи под голову несколько учебников — вот тебе и подушка!

И мы стали жить «по-спартански».

Я не говорю уже о том, что спать на голых досках очень жестко, неудобно: с этим еще можно было примириться, как и со стопкой книг, положенных вместо подушки. Но... клопы!.. Отец дьякон оставил их в таком количестве, что они могли сожрать нас без остатка. И мы с Василием Васильевичем вместо того, чтобы спать, только и делали, что с остервенением чесали то руки, то ноги, то шею. Засыпать удавалось только под утро, когда становилось светло: при появлении света клопы, вволю напившиеся нашей крови, прятались по своим щелям. Но под утро в доме становилось очень и очень прохладно, и мы, ничем не прикрытые — Василий Васильевич отказался и от одеял, — начинали замерзать. В результате вставали невыспавшиеся, разбитые.

Но Василий Васильевич все еще упорствовал, стоял на своем.

— Это с непривычки, — утверждал он. — Привыкнем, и все пойдет по-другому. Надо, брат, закаляться...

Однако очень скоро он убедился, что «привыкнуть», по-видимому, нельзя. Спать мы стали на верхотурье, а занимался я все же в дьяконском доме: там было и светлей и просторней, чем на верхотурье.

7

Никаких «выходных дней» у меня не было. Но иногда Василий Васильевич все же давал мне передышку, хорошо понимая, что без этого нельзя. Все эти «передышки» я хорошо помню от первой до последней — так мало их было в течение лета.

Началось с того, что однажды в жаркий день, обращаясь к Ивану Сергеевичу и ко мне, Василий Васильевич предложил:

— А почему бы нам, ребята, не пойти выкупаться?

«Ребята» охотно согласились, и все мы тут же отправились за три версты от Зарубинок — в деревню Латоры, возле которой широко разлилось сверкавшее под лучами солнца озеро...

Однако первое купанье едва не обернулось для меня большой бедою. Я вошел в воду и по очень ровному песчаному дну, постепенно понижающемуся, пошел по направлению к острову. Остров находился посреди озера, и был он весь в зелени от густой растительности, заполнившей его. Мне сильно хотелось посмотреть этот остров вблизи, а если можно, то и ступить на его берег. Но — увы! — вода почти уже закрывала

мне плечи и идти дальше становилось опасно. А плавать я почти не умел и поэтому не отважился пуститься вплавь, хотя полоса воды, отделявшая меня от острова, была не столь уж широка...

Стоя в воде по самые плечи, я руками начал волновать и будоражить воду, чтобы вспенить ее как можно больше. На языке глотовских мальчишек это значило варить пиво или делать пиво. Вот я и делал его, приходя все больше и больше в азарт. Но нечаянно неосторожным, неловким взмахом руки я сбил с носа очки, и они полетели в воду. Я сразу же словно остолбенел... Что же я наделал? Значит, теперь все пропало, значит, прощай гимназия!.. Таких очков, какие были у меня, нигде не купишь. Мне еще в Москве говорили, что стекла у меняграничные и что достать их очень трудно: идет война и потому покупать оптику за границей мы не можем... Вот что я наделал своим «пивом»!..

Все это промелькнуло в моей голове в одну секунду. И поняв, какое лихо навалилось на меня, я готов был в крик закричать от отчаяния...

И вдруг — именно вдруг! — я почувствовал, как нечто твердое, но все же очень легкое плавно опустилось на мою правую ногу и осталось на ней. «Очки!» — с надеждой подумал я и, чтобы не «спугнуть» их, начал осторожно сгибаться, опускаясь в воду и направляя кисть правой руки к предполагаемым очкам, чтобы сразу схватить их, пока они не «нырнули» куда-нибудь. И мне удалось это сделать! Я был несказанно рад, что все окончилось столь благополучно! Остаться в воде мне уже больше не хотелось, и я быстро пошел к берегу, дав себе зарок не вести себя в будущем так неосторожно, как это только что было.

В другой раз мы отправились в Латоры поздно вечером: кому-то из нашей компании пришла в голову мысль о «купании при луне», и мы решили попробовать. Луна, катившаяся по небу чуть повыше линии горизонта, в самом деле сияла всем своим желтоватым диском, а вечер был удивительно теплый, даже душноватый. В Латоры нас влекло не только желание выкупаться под луной, что казалось очень уж заманчивым, любопытным, но и нелепая, дурашливая затея «насолить» латорскому мельнику, напугать его, посмеяться над ним. Нам только что рассказали об очередном неблагоприятном поступке мельника, и рассказ этот подлил масла в огонь. По крайней мере на словах мы решили «отомстить» мельнику.

Водяная мельница в Латорах принадлежала местному богатею, кулаку. Этот человек, пузатый, разжиревший, даже внешним видом напоминал кулака — во всяком случае такого, каких рисовали художники на своих плакатах в первые годы революции. Впрочем, мы негодовали не потому, что владельцем мельницы был кулак — это в те годы встречалось часто, — а потому, что этот кулак-мельник был еще и учителем в местной школе. Подобное «совместительство» воспринималось нами — да и не только нами — как нечто совершенно ненормальное, недопустимое.

За все время, проведенное мною в Зарубинках, я ни разу не слышал, чтобы об учителе-мельнике кто-либо сказал хоть одно доброе слово. Я не слышал даже, чтобы его называли по имени и отчеству или хотя бы по фамилии. Называли его лишь по прозвищу — Баромей. Мне не удалось выяснить, в чем заключается смысл слова «Баромей». Но звучало это примерно так же, как если бы вместо Баромей сказать Кощей.

Вот этому-то Баромею-Кощей мы и хотели «насолить». Уж очень велика была неприязнь к нему, хотя лично нам Баромей ничего плохого не сделал.

Всю дорогу мы шумно разговаривали. Каждый из нас придумывал то одну, то другую «кару» Баромею. Сошлись мы на том, что сначала

выкупаемся, а потом незаметно (да и кто нас заметит, если все уже спят?) подойдем к мельнице, поднимем вверх заставки, закрывающие воду; вода хлынет на мельничное колесо, оно начнет вертеться, и мельница застучит, загремит, загрохочет...

— Вот всполошится Баромей, как услышит, что мельница заработала!.. — со смехом сказал кто-то из нас.

— Да он в одних подштанниках выскочит на улицу, — уточнили другие участники «лунного купания». — Как сумасшедший начнет метаться, пока не поймет, в чем дело...

Мы выкупались. Впрочем, мое купание было чисто символическим; я лишь вошел в воду, постоял несколько минут и сразу же обратно — на берег. Василий Васильевич и Иван Сергеевич пробыли в воде дольше, но все же довольно скоро и они были уже на берегу. Они, как и я, оделись и сразу же двинулись в сторону Зарубинок, как будто и не придумывали никаких козней для Баромея, когда шли сюда. А я-то было уже поверил...

— А как же с Баромеем? — спросил я.

Ответил мне Василий Васильевич:

— Да что же с Баромеем?.. Ведь это же все шутка была. Баромей, конечно, человечиска дрянной. Но от нашего озорства ничего не изменилось бы... Мы бы только себя показали: вот, мол, какие мы молодцы-удальцы, вот, мол, на что мы способны...

Я уже и сам хорошо понимал всю нелепость нашей «страшной мести» и все же отчасти жалел, что она не совершилась: ведь как интересно могло быть! Впрочем, в конце концов я удовольствовался тем, что мы хотя бы только мысленно, заочно, но все же наказали Баромея-Кощея...

8

Однажды, собираясь к своим ученикам, которым он давал уроки, Василий Васильевич пригласил и меня пойти вместе с ним по его «приходу», как он говорил иногда в шутку. Расчет у моего учителя был такой: сразу же мы направимся к ученику, который живет дальше всех других; там Василий Васильевич даст ему урок, там же мы и заночуем. А утром двинемся в обратный путь, но уже по такому маршруту, чтобы за день поочередно побывать у всех других учеников и к вечеру вернуться в Зарубинки. Так это все и было. Ночевали мы в доме то ли небогатого помещика, то ли богатого хуторянина по фамилии Гаевский. А утром, по другой дороге, пошли в обратном направлении.

Такие «походы» (правда, их было немного, всего два или три) вносили известное разнообразие в мою монотонную жизнь. Поэтому я всегда с большой охотой принимал в них участие. Но они отнюдь не освобождали меня от моих каждодневных, чертовски надоевших мне занятий. Я обязательно брал с собой учебники и раскрывал их каждый раз, как только мы где-либо останавливались хотя бы на час или два. Не пропадало и то время, которое мы проводили в дороге. Шагая со мной рядом, Василий Васильевич обычно проверял мои знания. Если на его вопросы я отвечал неверно, он поправлял меня, если знал что-либо не твердо, он терпеливо и настойчиво добивался, чтобы я усвоил все как следует.

Иногда обычные его объяснения ничего не давали: я все-таки что-то путал, чего-то никак не мог запомнить. В таких случаях Василий Васильевич придумывал самые хитроумные, самые замысловатые формы объяснения, и, смотришь, цель достигалась!

Однажды мы с Василием Васильевичем провели два дня у его роди-

телей в селе Новая Рудня — волостном центре Рославльского уезда. Утром мой учитель предложил мне:

— Пойдем немного прогуляемся!

При этом он сунул себе в карман синенькую тетрадочку, в которую я обычно вписывал незнакомые немецкие слова, чтобы потом их заучивать. И как только мы вышли на дорогу, мой учитель начал проверять, насколько хорошо я запомнил вписанные слова. Оказалось, что многие я знаю отлично. Но были и такие, которые я знал неважно, неверно произносил их, путал с другими словами. Однако я хорошо усвоил и эти слова после того, как Василий Васильевич заставил меня по несколько раз повторить каждое из них.

Все же оставалось одно слово, которое я никак не мог запомнить, а вернее, не мог удержать в памяти. Этим словом было немецкое *варшайнлих* (*wahrscheinlich*), что по-русски значит — вероятно. Вот, кажется, я уже окончательно запомнил это слово, но если через десять — пятнадцать минут Василий Васильевич внезапно спрашивал: «А ну-ка, скажи, как будет по-немецки вероятно?» — я или совсем не мог вспомнить это злополучное слово, или произносил его неверно. И тогда мой учитель решил применить один из своих хитроумных способов объяснения. Способ этот он, вероятно, придумал тут же, экспромтом.

— Ну, как же ты, голова садовая, не можешь запомнить? — начал он. — Ведь это же совсем просто, надо только вдуматься и чем-то примечать это слово. Давай попробуем так: слово *варшайнлих* разделим на три части. Первая часть будет — *вар*. Но ты давно уже знаешь, что *вар* (*war*) — это прошедшее время от глагола *быть* (*sein*), то есть по-русски *вар* означает — был или была. Запомни это. Теперь пойдем дальше. Вторая часть слова *варшайнлих* произносится как *шайн* (*schein*). Ну, а теперь скажи мне, как по-немецки сказать свинья?

— Швайн (*Schwein*), — ответил я.

— Ну, вот видишь, — продолжал Василий Васильевич, — вторая часть слова *варшайнлих* произносится почти так же, как и свинья (*Schwein*). Надо только от свиньи отбросить букву «в», чтобы было *шайн*, а не *швайн*. Разве это так уж трудно запомнить? Наконец, третья и последняя часть слова *варшайнлих* будет — *лих*. *Лих*, как ты давно уже знаешь, есть сокращенная форма русского слова *лихой*. Но в данном случае мы употребим это слово не в мужском роде, а в женском, то есть — *лихая*. И вот смотри, что у нас получается: *вар* — была, *шайн* — свинья (но без буквы «в»), *лих* — лихая. А все вместе составляет фразу: *была свинья лихая*. Запомнить эту фразу ничего не стоит. А раз ты ее запомнишь, то будешь знать и слово *варшайнлих*.

И действительно, когда после этого Василий Васильевич спрашивал меня, как-де по-немецки слово вероятно, я моментально вспоминал «была свинья лихая», «переводил» эту фразу на немецкий язык и безошибочно отвечал: *варшайнлих*.

С тех пор прошло почти пятьдесят пять лет, я успел позабыть многие сотни немецких слов, которые когда-то знал, но слово *варшайнлих* я помню отлично.

Не таким сложным и замысловатым способом, но все же очень посвоему объяснил Василий Васильевич, что такое отрицательная величина. Это было, когда я только что начал изучать алгебру и никак не мог представить, как понять число, ну, скажем, *минус пять*. Он мне сказал тогда:

— Предположим, у тебя в кармане есть пять рублей твоих собственных денег. Это будет число — *плюс пять*. А *минус пять* — это значит, что у тебя не только нет пяти собственных рублей, но ты еще должен

заплатить пять рублей мне. В этом случае можно сказать, что у тебя в кармане имеется минус пять рублей.

Объяснение, может быть, и элементарное, неточное, но все же оно очень помогло мне составить представление об отрицательных величинах, освоиться с ними.

Учителем Василий Васильевич был первоклассным. Даже те ученики, которых обычно считают неспособными, учились у него хорошо.

9

После того, как Василий Васильевич обошел весь свой «приход», побывал у всех своих учеников и мы находились уже верстах в восьми от Зарубинок, он неожиданно предложил мне:

— Тут недалеко живет один поэт. Хочешь, зайдём к нему?

Не знаю, когда и из каких источников Василию Васильевичу стало известно об этом «одном поэте», но он уже был осведомлен даже о том, что зовут поэта Яковом, а фамилия Макалинский и что у него есть своя книжка.

Я сразу же согласился, потому что, по моим соображениям, не всякому дано встретиться с «живым поэтом». И раз представляется такой счастливый случай, то его никак нельзя упускать.

И мы, свернув с дороги, пошли искать тот «поэтический уголок», где живет пока еще неизвестный мне поэт Яков Макалинский. А в том, что уголок должен быть действительно «поэтическим», красивым, живописным, янисколько не сомневался.

Я в то время не считал уже, как это было со мной в сельской школе, что все поэты давным-давно умерли и что новые еще не появились. Наоборот, я понимал, что «живые поэты» есть, о чем можно было судить хотя бы по газетам и журналам, где изредка печатаются стихи. Однако же я не знал ни одного из них ни по стихам, ни хотя бы только по фамилии. Мне были неизвестны даже такие крупные поэты, как Александр Блок, Валерий Брюсов, Иван Бунин, не говоря уже о других. Поэтические сборники до деревни не доходили, а в школьные программы, в том числе и в программы гимназий, современная литература не включалась. Вот почему встреча с настоящим поэтом, каким, по моим соображениям, был Яков Макалинский, потому что у него уже есть своя (настоящая, печатная) книжка, казалась мне крайне интересной, даже знаменательной.

Но в «настоящем поэте» Якове Макалинском я почти сразу же разочаровался, по-видимому, по той причине, что хотел и предполагал увидеть нечто необыкновенное, даже, может быть, чудесное... А вышло все наоборот.

Прежде всего показалось странным, что дом Якова Макалинского стоит посередине большого огорода, засаженного картошкой и обнесенного со всех четырех сторон самой что ни на есть обыкновенной изгородью из жердей. На огороде я заметил несколько гряд, на которых росли капуста, огурцы, морковь, а возле изгороди были посажены кусты черной и красной смородины. Но ни на самом огороде, ни поблизости от него нет ни дерева, ни какой-либо речушки, ни пруда. Местность была настолько непривлекательной, «непоэтической», что не верилось, будто здесь может жить поэт. Да и дом у Макалинского был старый, неприглядный и, по-видимому, неудобный. Собственно, это был не дом, а две хаты, соединенные сенцами и стоящие под одной крышей.

Насторожило меня и то, что поэта мы встретили не с пером в руках, а с лопатой. Он — человек лет сорока пяти, с редкой подстриженной бородкой — уныло стоял возле кустов смородины и то ли что-то перекапы-

вал, то ли выкапывал. Одет он был по-городскому, но пиджак его и брюки были сильно заношены и помяты, а башмаки истоптаны.

Кто он был, этот Макалинский, хуторянин или разорившийся помещик, у которого ничего не осталось, кроме огорода и старого дома, об этом я ничего не узнал ни тогда, ни после. Но внешний вид Макалинского и та обстановка, в которой он жил, никак не гармонировали с тем представлением о поэте, что сложилось у меня еще в школьные годы.

Подойдя к Макалинскому, мы поздоровались. Василий Васильевич назвал себя, а про меня, кажется, сказал, что я тоже пишу стихи. Хозяин пригласил нас пройти в дом и сам пошел вперед, как бы показывая нам путь. В сенцах он повернул налево.

— Здесь у меня чистая половина, — сказал он. — Идемте сюда.

В чистой половине я увидел крашеный пол и обои на стенах. Но обстановка показалась мне все же не такой, какая должна быть у поэта: самый простой обеденный стол, какие можно встретить в любой крестьянской хате, стоявший в красном углу — под образами, деревенского типа скамья, табуретки.

Мы уселись у стола, и Макалинский начал угощать нас красной смородиной. Мы, попробовав этой ягоды, попросили Макалинского прочесть свои стихи. Он достал с полки черную папку, в которой оказались большие двойные листы линованой писчей бумаги, сплошь заполненные стихами. «Живой поэт» прочел по рукописи два стихотворения и умолк. Мы попросили прочесть еще что-нибудь. Он прочел еще одно...

Я не преминул поинтересоваться и тем, какой почерк у Макалинского, потому что был уверен: настоящие поэты всегда пишут очень неразборчиво. Такое мнение создалось у меня после того, как в книгах я увидел воспроизведение почерка Н. А. Некрасова, а также некоторых других классиков — поэтов и прозаиков. Почерк Макалинского не был неразборчивым: я мог читать рукопись сразу, без всякой задержки. Это обстоятельство тоже казалось мне признаком того, что, может быть, Макалинский — поэт ненастоящий или в крайнем случае не очень настоящий. К тому же и стихи его (хотя мы и расхваливали их, чтобы не обидеть автора) мне не понравились. Они пролетели мимо, не затронув во мне ни одной струнки. Я даже не мог бы сказать, о чем они написаны: в них не было ничего конкретного, осязаемого, а все какие-то очень скучные рассуждения о земле, о небе, о вселенной, о боге...

Несмотря, однако, на некоторое разочарование, я в конце концов все-таки уходил от Макалинского с сознанием, что побывал у поэта, может статья, и не очень интересного, но у поэта. А если мне не понравились его стихи, так это могло быть потому, что я чего-то не понял.

Несколько месяцев спустя в Смоленске я зашел в книжную лавку Егорова, который торговал исключительно старыми, подержанными учебниками. И там увидел, что весь угол завален книгой стихов Якова Макалинского, которую сгрузили прямо на пол. Я взял один экземпляр этого «издания автора», полистал, подумал и решил купить. Правда, книга стоила один рубль, и мне жаль было отдавать его. Но тут уж такое дело — книга знакомого автора, того пока единственного «живого поэта», с которым я сидел за одним столом...

Я самолично переплел купленную книгу, много раз пытался читать ее. Но все стихи были такие же неопределенные, беспредметные, скучные, как и те, что Макалинский читал нам с Василием Васильевичем у себя дома. Вскоре я потерял всякий интерес к стихам Макалинского и к нему самому, решив про себя, что настоящим поэтом он все-таки не был.

10

В первой половине августа мы с Василием Васильевичем поехали в Смоленск на экзамены. Я держал их в гимназии Ф. В. Воронина, которая находилась в Солдатской слободе на Выгонном переулке.

Как и следовало ожидать, я очень волновался, нервничал, беспокоился — боялся, что провалюсь. От этой боязни всячески отвлекал меня Василий Васильевич, стараясь внушить мне, что все будет хорошо и что я не должен ничего пугаться. И действительно, это меня до известной степени успокаивало, и я начинал верить в добрые предсказания своего учителя. Когда я побывал на экзамене по географии — этот экзамен был первым, — то даже возгордился своими знаниями: до такой степени смешно и нелепо отвечал один из экзаменующихся на вопросы экзаменатора. Экзаменатор спросил:

— Скажите, что вы знаете о реках Северной Америки?

И экзаменующийся бухнул:

— Реки Северной Америки теряются в песках Азии.

Раздался дружный хохот присутствующих. Рассмеялся и я: мне никогда и в голову не могло прийти, что с такими знаниями можно держать экзамен; я-то уж, конечно, такой глупости никогда не сказал бы... И мне было приятно почувствовать, что я не на последнем счету... И это придало мне смелости.

Словом, я оказался на высоте: экзамены сдал хорошо. Подкачал лишь по закону божью: получил тройку, и даже не просто тройку, а с минусом. Это, впрочем, нисколько не помешало тому, что я был зачислен учеником четвертого класса «Частной, со всеми правами правительственных, гимназии Федора Васильевича Воронина в городе Смоленске» — так официально называлось учебное заведение, в которое я поступил.

Но радость моя заключалась не только в этом. Василий Васильевич сообщил мне и еще одну приятную новость: он разговаривал с владельцем гимназии и ее директором Ф. В. Ворониным и тот обещал, что никакой платы за обучение брать с меня не будет. Это было очень щедро и великодушно с его стороны: как-никак, а годовая плата за обучение составляла около ста рублей. И достать такие деньги я нигде не смог бы.

Что же касается средств, на которые я должен был жить, то тут на помощь мне пришел М. И. Погодин: он добился того, что Ельнинская земская управа учредила стипендию в сумме двадцати рублей в месяц. Стипендия предназначалась для ученика, который лучше всех окончил земскую школу и поступил в среднее учебное заведение, чтобы продолжать образование. Эту-то «погодинскую стипендию» я и стал получать со дня зачисления в гимназию.

Сложилось все так хорошо, что лучшего и желать было нельзя.

11

После экзаменов Василий Васильевич начал обмундировывать меня. Он заказал портному (и тот сшил в два или три дня) форменные гимнастерку и брюки; в магазине были куплены новый гимназический ремень с широкой блестящей пряжкой, а также новая фуражка с кокардой и ботинки. Что касается шинели, то ее — подержанную — пришлось купить на толкучке: заказывать новую не было времени, да и стоила она дорого. Но и купленная на толкучке шинель оказалась великолепной, если не считать, что была она мне великовата и что подкладка в одном месте порвалась. Но зато — какое добротное сукно! И какого цвета! По цвету шинель походила на генеральскую! А белые металлические пуговицы на

ней, пришитые в два ряда, хоть и были изрядно поцарапаны, но все же блестели так, что хоть глаза отводи...

Когда я надел все это добро на себя, то даже сам удивился: я это или не я?.. До того все было необычно!..

После того, как с обмундированием все было покончено, Василий Васильевич повел меня за Днепр. Там на Базарной площади в книжной лавке Егорова мы купили по дешевке комплект учебников, необходимых в четвертом классе гимназии, учебников, уже бывших в употреблении и потому достаточно потрепанных, но все же еще вполне пригодных. Таким образом, я был обеспечен всем, что требовалось.

Остается добавить, что жить я должен был на квартире некоего Ивана Корнеевича Корнеева, работавшего на железной дороге. Столоваться я должен был также у него, полностью отдавая ему свою стипендию.

До начала занятий в гимназии оставалось дня четыре или пять. У меня, таким образом, было время, чтобы съездить к отцу и матери в Глотовку, где я не был все лето. Вечером Василий Васильевич проводил меня на вокзал, посадил на поезд... А на другой день он должен был уехать и сам, чтобы успеть к началу занятий в свою сибирскую школу.

Пятнадцатого августа (по старому стилю) я с душевным трепетом впервые переступил порог «воронинской академии», как в шутку называли гимназию Ф. В. Воронина, переступил как уже полноправный ее ученик. И, вероятно, можно сказать, что с этого дня в моей жизни наступил какой-то иной период. Я не знал еще, каким он будет, что он принесет мне, но чувствовал, что все теперь должно пойти как-то по-другому.



В. БЕЛОВ

★

БУХТИНЫ ВОЛОГОДСКИЕ

(Завиральные, в шести темах)

...БУХТИ́НА — ж. *влд. арх.* — ложь, враки, нелепые слухи; шутка, прибаутка, красное словцо, побывальщина. *Пустить бухтинку*, что западные газетчики называют *уткой*.

В. Даль. Толковый словарь.

Достоверно записаны автором со слов печника Кузьмы Ивановича Барахвостова, ныне колхозного пенсионера, в присутствии его жены Вирины и без нее.

ПЕРВАЯ ТЕМА

(О том, как Кузьма Иванович родился, гулял в холостяках и как, наконец, женился на Вирине)

1. Ждать и догонять — нет хуже

Мне на сегодняшний день ровно пятьдесят годов, из тютельки в тютельку. Было пожито. Дорога моя долга и не больно ровна, иду вдоль своей жизни с бухтинами. Пройду вдоль, потом попробую поперек — может, чего и выйдет. Мне сват Андрей говорит: «Ты, Барахвостов, плут. Плут и жулик, ты себе годов прибавил. У тебя годов стало лишка». Нет, говорю, не лишка. У меня все точно подсчитано, ты, сват, не придирайся.

Дело было в шестнадцатом году. Начал я тогда задумываться: родиться мне или погодить? Думал, думал, не знаю, что и делать. Посоветоваться, да не с кем. Решил погодить, пока война не кончится. Думаю, нечего там пока и делать, ни хлеба, ни табаку нету. Ладно. В семнадцатом году накатилаёшь на матушку Русь революция. Царя Николая с должности спихнули. Все прежнее начальство прогнали по спине мешалкой. Слышу, мужики землю собираются делить. Ах ты господи! Матка моя еще в девках, отец неведомо где. В деревне вот-вот землю по едокам разделят, а я еще не родился. Что делать? Вот мой отец приехал с войны домой. Вот на игрище мою матку встретил. Ну, думаю, сейчас дело пойдет. Жду. Ждать да догонять — нет хуже. Девять месяцев ждал, пока не родили.

Меня мамушка рожала,
Вся земелюшка дрожала,
Тятка бегаёт, орёт,
Зимогора бог даёт!

Все прошло благополучно. Успел. Как раз к земельному переделу.

2. Начало жизни

С одной стороны, ладно, что и родился, а с другой... Вижу — на белом свете дым жоромыслом, ничего не поймешь. Бабы встали супротив мужиков, детки против родителей. От братанов ни слуху ни духу.

День рождения прошел благополучно, я уж тебе сказывал. Благополучно, да не больно. Старухи сослепу пуп на моем брюхе завязали неплотно. Я чихнул, завязка лопнула. Все старушки руками всплеснули: «Ай, какой фулиган!» Хотели вдругорядь завязать, а ниток нету. Побежали куделю катать. Чтобы ниток напрясть. Тут уж я этих старух и правда чуть не обматюгал. До чего, понимаешь, дело дошло! Человек родился из тьмы, надо пуп завязать, а они только нитки прясть собираются. Знали-видели, к чему дело идет, чего головами думали? Я ногами лягаюсь, в уме ругаюсь, язык-то еще почти не действовал: «Сивые дуры! Шоптаницы!» Они куделю скатали, к пряслице привязали. Спорят, кому нитку прясть. Одна говорит: я буду. Другая: нет я тоньше пряду. Третьей тоже не терпится. Спорят старушки, а я лежу с незавязанным пупом! Заревел. С такого начала еще и не так заорешь. Старушки, пока разобрались, что да как, избу вконец выстудили. Лучина кончилась. Пуп завязывали в полной темноте. Было греха-то.

3. Не мне говорил

Хорошо жить, пока ты Кузька, только станешь Кузьма Иванович — сразу и кидает в задумчивость. Тут уж опять без бухтины не проживешь. Бухтина душу без вина веселит, сердце примолаживает. Бухтинка иная и маленькая, да удаленькая, умный перед ней душу раскрыл, дураку она сама рот распахивает. Мало ли дураков-то на белом свете? Полоротых-то? Дураку только скажи — он решетом воду будет носить. Молоко шилом хлебать, да еще и прикрывать.

Вон у меня сват Андрей, этот не такой. Этот ухо держит остро, хвост пистолетом. Бывало, еще ребенками ходили мы с ним по другоизбам. Особенно к одному сапожнику, слушать бухтины. Сапожник сидит, голенище тачает. Сам рассказывает: «Вот, ребяташки, иду я вчерась из бани, гляжу, а лиска по полю попрыгивает. И прямо к церкви. Забежала на колокольню, да и давай звонить. Вот бомкает, вот бомкает. Отзвонила, курицу у дьячка свистнула, да и в лес. Рыжая!»

От сапожника бежим с Андрюшкой к нему домой. Он еще с порога давай рассказывать, как лиска на колокольне звонила. Дома над ним смеются: «Полно, дурак, ведь все неправда! Сапожник-то тебя обманул». Андрюшка головой мотает: «Не!» — «Чего не?» — «Да он не мне говорил-то». — «А кому?» — «Да Кузьке». Это он семи годов такой был, а какой стал в зрелые годы — сам догадайся. Нет, нас со сватом на кривой не объедешь.

4. Как бы не пересохли

Правда, и с ним вышла один раз промашка. В детском возрасте. Летом они с дедушкой жили в лесу, косили коровам сено. Свату Андрею сшили первый раз сапоги, научили косить. Вставать надо рано,

вместе с солнышком. Роса по утрам что кипятком, иногда и с инеем. Сват Андрей думает: «Ежели бы не сапоги, все бы ладно. Босиком косить не заставили бы». Говорит дедушку: «Дедушко, мне новых сапогов жаль. Не буду я их рвать, пусть стоят». Дедушко ему говорит: «Хороший парень, обутку бережешь с малолетства. Вот матка придет, мы твои сапоги с ней в деревню отправим. А пока ты их повесь на жердку, пусть просыхают». Утром дедко внучка не будит, какая косьба голопятому? Сват Андрей выспался досыта. Встал, кашу дочиста съел и котелок выскоблил. Весь день искал ягоды, а дедко косил. Вечером поужинали, дедко и говорит: «Как бы нам блох в избушке не развести. Давай старое-то сено выкидаем, настелем свежего». За избушкой была накошена крапива. Дедко ее и настелил Андрюшке, втолстую. Уклались ночевать, сват Андрей ерзает. Сапоги висят, сохнут. «Дедушко, вон у Кузьки в Петров день гости ночевали, все в сапогах на сарае спали. Обутые». — «Напились, видно». — «Не! Кузькин божат и вина не пьет, одно сусло, а тоже не разувался». — «Божат?» — «Ага». — «Видно, он разутся забыл. А ты ноги-то поглубже в сено зарой, оне и не замерзнут».

Полежали еще. Сват Андрей опять: «Дедушко, а ведь ежели долго сапоги не носить, оне засохнут, с портянками и не обуть». — «А мы их деготком, деготком. Оне и отмякнут. Не холодно?» — «Не. Только ведь ноги тереть будут сапоги-то». — «Пожалуй, немножко будут». — «Лучше я их обую, а то они совсем сохнутся». Дедко говорит: «Завтра и обуешь. Ты у нас парень хороший, вишь, как обутку бережешь. Я в твои годы еще и портки на ночь снимал. А как же? Семья большая, портки — дело не шуточное».

Утром до солнышка сват Андрей спрыгнул на обе ноги. Сразу бросился сапоги обувать, засобирався косить. Дедко говорит: «Не ходи! Надо бы еще посушить ночку». — «Нет, дедушко, как бы не пересохли».

5. Новые меры

Чего я в своей юной жизни не любил, так это дергать лен. Еще пастусти молодых телят. Это мне было хуже горькой редьки. Бывало, лен дергаешь, а голова от дурману — как колотушка. Руки в занозах, а полоса — что великий пост: конца не видать. Поставили меня в пастухи. С телятами того хуже. Только солнышко встанет, оне хвосты на спину, копыта в небо. Завзлягивали. Пока одного в коллектив восстановишь, другой от стада наяривает, сам не знает куда. За этим сбегает — третий сбился с фарватеру. Такое возьмет зло, заревешь и давай их сам разгонять. Каменьями по ним палю, только бухает. Бегите по всем странам! Хоть все разбегитесь! Все! Оне — хоть бы с места. Наоборот — сбиваются в кучу. Такая натура, всю жизнь пороят по-своему. Вижу, надо принимать крутые новые меры. Того же дня барабанку в озеро, сам с пастухов долой. Ушел на другую должность.

6. Обман зрения

Со стариками одна беда, а и с молодыми не мед. Особенно с мужским полом. Только с четырех ног сделал перестановку на две, сразу и варзать¹. На березу залезет сам, обратно слезать волокут пожарную

¹ Варзать — вологодский глагол, обозначающий какие-либо недозволенные действия, например, гонка собак, разбиванье стекол и тому подобное. (Здесь и далее примечания автора.)

лестницу. Дикого реву — хоть затыкай уши. Под осень на огородах ставят клепцы, как на зайцев. Еще ничего не созрело, а мы уж идем в поход, чужая репа испокон веку своей слаще. Из ружья по нам палят мелким горохом. На гумне друг у дружки эти горошины лучинками поочередно выковыриваем. Как в санбате. Вон у свата Андрея и сейчас целый стручок в заднице. Из-за этого в баню не ходит. Боятся, что от теплой влаги горох разбухнет, а потом пойдут дружные всходы. Милое дело.

Да. Расскажу, как выходил из детского возраста. Я уже трои сапоги измолот, печи класть выучился, а насчет женитьбы не заикнись. Во сне по ночам начал вздрагивать. Стали сниться пожары. Днем девки из головы не выходят, одна особенно.

У тальяночки ремень,
А я о дролечке ревел,
Я еще бы поревел,
Да мне товарищ не велел.

Обедать сядем. Матка мясо крошит, болонь — белое сухожилье — мне: «На, Кузька, перекуси! Перекусишь — на зиму женим». Кусаешь, кусаешь, отступишься. Матка хохочет. Через год отец устраивает экзамент: «Топорище хорошее сделаешь — на зиму женим!» Топорище сделал — оближешь пальчики. А отец помалкивает. Будто ничего и не говаривал. Ладно. На третий год говорит: «Вот, Кузька, ежели гвоздь с трех разов загонишь в бревно, на зиму женим». Этот гвоздь и не пикнул. Я его с двух ударов забил в бревно по самую шляпку. Отец говорит: «Нет, брат, рано тебя женить. Ты у нас еще дурак дураком. Такой гвоздь испортил, забил в чурку ни с того ни с сего». Вижу, кругом один обман зренья. Три зимы прошло, женитьбой не пахнет. Стал думать головой. Работа тяжелая. Один раз и говорю тятке: «Надо бы, тятя, овцу зарезать, пустые шти хлебать неохота». Отец говорит: «Да вот, сынок, сам видишь, овец только остригли, стриженую овцу резать невыгодно». На другой день, гляжу, выходит из хлева. Спрашиваю: «Что, тятя, не подросла шерстка-то?» Поглядел на меня, ничего не сказал. Через два дня лошадь запрягли, поехали свататься.

7. На взлете жизни

Как сватался, это место пропущу, расскажу сразу про первую ночь. Свадьбу приурочили к Первому маю. Для экономии лишних средств. Отплясали, отгуляли, подошло время ложиться спать. Пришла первая ночь с молодой женой, чувствую сам, что оказался на взлете жизни. Постлали нам в горнице. Только я один сапог разул, моя говорит: «Кузя, Кузя, мне надо в женсовет, у нас Бубновское движение». Кузя молчит. Ничего сперва не понял, думаю, в женсовет так в женсовет. Она дверями хлоп, только сарафан вильнул. Гляжу в одну точку. Не знаю, чего делать: то ли остатний сапог снимать, то ли и первый обуть да за бабой бежать. Пока думал, удула в избу-читальню. Изба-читальня в другой деревне. Я — туда. Заседание только вошло в силу. Мне говорят: «Осlobоди помещенье». Я уперся, не ухожу. Выставили физической силой. Я коромысло схватил, хлесть по раме! Хрястнул, знамо дело, изо всей правды, косяки устояли, рамы вылетели. Весь женсовет сперва визжать, после панику обороти и той же ночи постановили: «Кузьме Баракхвостову, урожденцу такому-то, как

злостному алименту, вставить новые рамы. А его несознательную личность отдать под суд».

В суде меня спрашивают: «С каких позиций пазганул по бкнуну?» — «С улицы». — «Нет, спрашивают, какие были первые намеренья? Ежели тебя судить по классовым признакам, дак столько-то, а ежели по фулиганству, дак сидеть намного меньше». Говорю: «Простите, пожалуйста!» — «Ладно, иди домой».

Домой прихожу, отец ко мне в ноги: «Кузька, гони, ради Христа! Пока тебя не было, иконы выкидала. Корову доить не пошла, сидит над бумагами. Рот в черниле. Не прогонишь — одна нам с маткой дорога: в петлю!» Я говорю: «Обожди!» — «Матка, зови десятского, будем делиться».

Разделились. Полкоровы нам, полкоровы отцу, пол-избы ему, пол-избы мне. Самовар отошел родителям, тулуп нам. От такой жизни оба с отцом похудели.

Неделю пожили, мерина запрягаю: «Складывай узлы!» Отвез ее обратно, у бани выгрузил. Мне ее стало тогда жаль. А на другой день на гулянке, слышу, поет:

Расставались с дорогим,
Пошла и не заплакала.
Буду с новеньким гулять,
Любовь-то одинакова.

Ладно, думаю. Свез, хорошо и сделал — баба с возу, жобыле легче.

После этого от женитьбы охоту отбило. Начал со сватом Андреем холостяжничать¹. Было поплясано, по чужим деревням похожено, в овинах поночевано.

8. Сгнули

В гости ходить любил больше всего. И сейчас бы ходил, да больно уж много стало праздников. Внахлестку так и идут, никак не угонишься. Конечно, здоровье тоже стало не то. Раньше я остановок не признавал, бегал регулярно по всей округе. Конечно, при таком деле и отряховки провертывались, не скажу. Поколачивали. Особенно первое время, смекалки-то, вишь, не было. Помню, только огороды трещат. Колья по твоей спине знай бухают. Отступаешь в поскотину, тюмы² считать некогда.

Да. Завел сперва гармонью, потом часы с цепкой. Костюм-тройка у меня был, еще до первого женсовета.

Помню, прихожу на игрище, игрище было у моей милахи. Сидим с ней в коридоре избы. Я в деревне один чужак, местные, чую, запохаживали на волю, запоглядывали. Чувствую, скоро пойдут в полный рост. У милахина отца было наварено пиво. Слышу, как оно ходит в бочонках ходуном. Я бочонки перед собой батареей расставил, затычки подколотил плотнее. Лампа в избе вдребезги — пошли! Я посудину поболтал, держу наготове. Пиво в ей гудит, как в атомной бомбе. Подскакивают. «Стой, — кричу, — лучше не подходи!» Ринулись... Я гвоздиком затычку колупнул. Бух! — человек десять легло грудой. Бух! — с коридора как вымело. Бух, бух! — на лестнице чисто. Я палю, они отступают. Разбежались. На другой день угодил в подкулачники, а их искали всем сельсоветом. Врать не хочу, все почти нашлись, только двух или трех и не нашли. Сгнули. Не мудрено сгнуть, стекла во всех домах от моей пальбы вышибло.

¹ Почти то же самое, что и варзать.

² Тюма — удар под дых либо по голове.

9. Была не была

Добро холостым гулять, а от женитьбы все одно не уйдешь. Редкий человек от нее отвергнется.

Есть такая болезнь — гриб. Знаешь, наверно. Как от его не изворачивайся — найдет и температуры нагонит. Прошлой осенью мне сват Андрей говорит: «Я теперь знаю средство, меня нынче ни один гриб не возьмет. Вон за неделю всю деревню перевертело, а я хоть бы что. Хожу да поплеываю». Я его слушаю, сам головой качаю: больно ты, сват, остроглаз. От гриба вздумал отбояться. Вон, говорю, идет вторая волна, уж погляжу, как нос-то у тебя разворотит. Ерепенится. Знаю средство, да и только. «Какое?» — спрашиваю. «Ставь, говорит, четвертинку, скажу». Я спорить не стал, выставил. «Ну, говори». — «А чего говорить, сам видишь, давай доставай стопки. Это средство самое верное». Вдруг как чихнет! «Ох, говорит, мать-перемать, надо было скорее, теперь уж не успею! Ну-ко, давай, может, еще и ничего». Чекушки как не бывало. Наутро свата духу нет, на другое — не показывается. Слышу, старухи рассказывают последние известия. У свата кашель в оба конца. Думаю, не хвастай, сват, этот гриб слой найдет.

Вот так и женитьба. Мы с отцом высватали невесту в дальней деревне. Девка что картинка. В семье одна она да еще сестра старшая. Сестру замуж никто не взял — косая да и шадрунья. В девках уселась плотно. Мы высватали младшую. Тесть посулил в придачу самовар красный да суягную овцу. Ладно. Мне бы в сельсовете расписаться, да и дело с концом. А моя матка вздумала свадьбу сделать по-прежнему, с венчаньем. Церква тогда стояла еще со стеклами.

По обычаю, невесту привезли в других санях, сидит фатой завешана.

В церкви темно и хоть волков морозь. Из-за этого хватили с попом лишнего. Иду к венцу, гляжу под ноги, чтобы не оступиться да людей не насмешить. Поп нас окрутил на скорую руку, по-стахановски. Всё! Молодых садят в одне сани. Мать честная, как повернул я голову-то, так весь и обмер! Сестра-то сидит не младшая! Старшая! Косая! Зовут Виринеей. Я чуть не плачу, а тесть меня по плечу хлопает: «Кузьма Иванович! Я тебе заместо суягной овцы корову стельную! К самовару-то!» Хотел я его из саней выкинуть, да совестно от народу. Эх, думаю, была не была, мне что корова, что овца! Попробую и с косоглазой жить, может, и ничего. С того дня Вирька да Вирька. Уж много годов с ней маюсь, а пораздумать — так вроде и хорошо... А? Чего? Ты, старушка, не хохочи и нас не подслушивай. Твое дело пятое. Сестры-то, говоришь, не было? Вишь, говорит, что у отца одна была. Здря, Вириней. Никогда не вру, могу и перекреститься перед человеком. Всю жизнь идешь поперек меня, одно спасенье — не обращать внимания.

ВТОРАЯ ТЕМА

*(Как пошла у Кузьмы Ивановича семейная жизнь,
а также про приработки к основному заработку)*

1. Ухваты не виноваты

А вот ведь первое время тоже еле с ней совладал. С Виринеей-то. Выбрали ее один раз в члены правления, и начала заноситься. Заговорила на «а». Суп варить перестала. В избе по неделе не метено, ребя-

тишки голодные. Чего? Ребят, говоришь, в ту пору не было? (Не слушай ее, все врет.) Конечно, не было, ежели занялась новым строительством. Значит, на чем я остановился? А ты, старуха, больше нас не перебивай.

Да. Так уж любила на собрания ходить, что и печь иной раз не топила, просто беда. Я уж ее всяко воспитывал и убеждал. А ежели, говорю, руководство переменится? Что тогда запоешь? Ведь тебе, говорю, тогда не отчихаться. Нет, нейметя. На слова никакого внимания.

Выручил сват Андрей. Ты, говорит, тоже начни ходить. По игрищам. Я так и сделал. Она на собрания, а я к девкам, на игрище. До полуночи домой не являемся, оба два! Только узнала, сразу все дополнительные нагрузки в сторону. Как отрезало. Я, конечно, человек податливый, тоже сразу остепенился. На игрища ходить перестал. Хоть уж и попривык было к этому делу. Начал налаживать семейную жизнь.

А в семейной жизни что, думаешь, самое основательное? Самое главное — это чтобы брюхо никогда не простаивало. Только у брюха нагрузка кончилась, глянь — и пошли перекосы. По всем направленьям, по всем участкам движенья. Это я много разов на себе испытал. Знаю. Досталось мне за свою жизнь. Бывало, только очухаешься, Вириная опять с заявлением: «Кузьма, мука кончилась!» Говорю: «Погляди внимательно!» Плюнет на мой валенок, уйдет в куфню. Ухваты, слышу, не чередом брякают. Ухваты не виноваты. Надо, думаю, эту канитель прекратить. Разве дело? Перед сенокосом выбрал свободное время. Выпил три доски, выстрогал начисто. Сколотил из них полочку. Ушки из железа выстриг, повесил на видном месте. Бывало, только мука вся выйдет, я женке шумлю: «Вириная! Время здря не тьяни! Клади зубы на полку!» Слушалась. С этого лета у нас все «конфликты разом отшибло. Живем дружно много годов. Деток вырастили. Кого хошь в деревне спроси, никто Барахвостовых деток не похает.

2. На свежем воздухе

Конечно, у нас с ней разногласия бывали. Редко, но бывали, врать не хочу. Она хоть и ударилась одно время в политику, а на пользу это ей не пошло. Как была несознательная, так и осталась.

Главная стычка вышла на почве артели. У нас в деревне все мужики записались в колхоз за один вечер. Мы все сорок хозяйств ликвидировали за полчаса, установили одно большое и общее. Собрание в полном разгаре. Дошли до дров. Обобществлять единоличные дрова или нет? Моя с собрания убежала. Я проголосовал и за дрова, чтобы не семь раз по месту. И чтобы до утра здря не сидеть. Домой идем прямо и гордо. На крылечко шагнул, моя ворота на крюк. Не пускает. Я к окошку, она на печь. Я опять к воротам — все как и раньше. Высунулась: «Неси леший! Ночевай в любом доме, для чего и колхоз!» Я говорю: «Вириная! Ты, говорю, подумай сама, что делаешь! Ну, ладно, дрова общие, зато чай будешь пить внакладку. Эко дело дрова! Нарубим!» Слышу, примолкла. Я прибодрился, говорю: «Коров будешь доить воздухом!» Молчит. «Я на электрической вспашке». Чувствую, что слушает. А ворота не отпирает. Я свою агитацию двигаю дальше: «Нам бы только до весны продержаться, а там пойдет пожар по всем странам. По хлебным». Слышу, половица скрипнула. «Будешь ходить в розовой кофте». Идет, отпирает. На всякий пожарный случаи добавляю: «Ребят родишь,

растить не придется. Всех на государство сладим, сами...» Не надо было этого говорить! Договорить не успел, ногу в притвор сунуть не успел, ворота опять хлоп. Слышу прежнюю реплику: «Неси леший! Домой не являйся!» Ну, думаю, все дело пропало, второй раз не откроет.

Ночевать пошел к свату Андрею. Сват Андрей сидит на крылечке. Время четвертый час ночи. «Чего?» — говорю. «Да вот... вышел на свежий воздух». — «Меня, говорю, тоже, это... Также вот покурить вышел!» Устроили коллективный перекур, на свежем воздухе.

3. Сдельная

Началась общеколхозная жизнь. Мою Виринею поставили в передовые доярки. Дали шестнадцать стельных коров. Я — на подвозке силосной массы. А в ту пору все мы переживали подъем напряженных нервов. Ступени развития не считали, все вражьи слова и слухи отметали в сторону. Только, бывало, подъезжаю к строению, сразу кричу: «Виринея! Принимай груз!» Она уже бежит навстречу, от восторгу вся розовая. Ущипнуть не успеешь, ведра уже брякают у реки. Сапоги иной раз не на ту ногу обует, да весь день так и бегают. В стенгазете ее хвалят, на слет везут в гарантасе. К моему прискорбью, спать перебралась на ферму. Я, как адъютант, за ней следом. Дом на замке круглые сутки. Все бы ладно, да сват Андрей подсатанивает: «Ты, Кузьма, только не отелись, гляди. Дело ночное, ошибиться недолго». Терплю. Трудодни нам с Виринеей не идут, а валят гужом. Накопилось под самую тысячу. Конечно, почету много, а толку наплакал кот. Говорю Виринее: «Пшеничников не пекла с прошлогодней масленицы! Юбка на заднице держится святым духом, разве ладно?» — «Не твое дело, выхожу на большую дорогу!» Я говорю: «Хорошо. Выходи. А мне надо платить налог, хозяйство записано на меня. Буду искать другой слой». Лошадь и сбрую передаю другому, инструмент складываю в котомку. Иду по деревьям класть печи. В людях кормят как на убой, почету не меньше. Никто меня не торопит, под локоть не тычет. Утром чаю поплюю, фартук надену. Глину разведу теплой водой — осталась в самоваре. Кладу кирпичи да попеваю «Во саду при долине». Сват Андрей мне завидует: «Тебе, Баракхостов, что, тебе полдела. Харч даровой, квартера готовая, возьми в помощники!» — «Иди». Он говорит: «Я бы пошел, да правленье не отпускает. Вставай, говорят, в пожарники, и точка». — «Встал?» — «Пока нет, ждут фуражку». Ладно. Живем дальше.

Один раз я в колхозном овине сложил хорошую печь. На совесть, по последнему слову техники. Печь будто фабрика. Жаркая, не дымная. Работает как часы, простоит сто годов без ремонта. Рассчитались со мной по самой высокой графе, деньги наличными. Шесть овинов высушили, вдруг является сват Андрей. В фуражке. Спрашивает бригадира: «Топится?» — «Как в аптеке». — «Разломать!» — «Почему?» — «Не разговаривать, даю сроку четыре часа!» — «Хорошая печь». — «Разломать! В противопожарном отношении». Печь потушили, оглоблями разворотили. Зовут опять: «Баракхостов, клади!» Приходит сват Андрей, дает команду: «Разломать! Дым идет не туда. По инструкции дым должен идти в левую сторону. У вас дым прямо вверх шпарит!» Оне ломают, я кладу. Дело идет без остановки. Работаем. Сват на окладе, у меня сдельная. Говорю свату: «Долго таким свистоплясом жить будем?» — «Да тоже, говорит, поднадоело. А чего делать?» — «Не ломать. Остановиться». — «Я, говорит, уж обращаюсь к инстанциям. Выполняй, говорят, приказ. Фуражка вам зря, что ли, выдана?» Я свату Андрею

говору в задумчивости: «Фуражка, оно, конечно. Фуражка-то ладно, ты в ней как поручик. А я вон печи класть совсем разучился. Был печник как печник, стал неведомо кто».

4. Сват художнику не научит

Да, право слово, совсем я разучился. В новой конторе склал печь, вышла очень угарная. Заседанье правления назначат — все члены через полчаса синие. От звону в ушах дребезжат стекла. Решенья принимают не те, бумаги путают. Все шишки на Барахвостова: «Ты уморил!» Я говорю: «Ребятунки, извините, пожалуйста, сам не знаю, как получилось». — «Откуда в ушах звон?» — «Не знаю». — «Видать, захотел на даровые харчи!» Я мастерком об пол — уйду опять в другие деревни.

Недоимок у Барахвостова нет, налоги платил первым. Одно худо — в чужих людях. Домой придешь — корова не доена. Виринея на ферме, ребятишек собираешь, как пастух, по всей деревне. Один раз сел корову доить, она от непривычки и возмущенья без остановки машет хвостом. То по носу, то по глазам. Животное — что с нее взять? Свата Андрея увидел, на жизнь жалуюсь: «Нет никакой силы-возможности! Доить пойдешь — корова хвостом машет. Все глаза выхлестала». — «Ты вот что, сват, говорит, ты к хвосту-то кирпич привязывай. Да потяжелее, хвосту у нее огнетет, она и не будет махать».

Сват Андрей художнику не научит. Вечером пошел доить, сделал все точь-в-точь. Кирпич привязал, начал чиркать. Как она даст мне по голове-то! Кирпичом-то! Поверишь, нет, а я полетел, будто шти пролил. Лежу на назьму в бессознательном виде, сам думаю: «Не надо было свата слушать, надо было думать своей головой».

5. Вывернулась

Я уже тебе говорил, что печи-то я сперва клал дородно. По всей округности жилых деревень печи в домах мои. Только себе не мог удосужиться сложить хорошую печь, топили по-черному. Дым идет под потолок, в спецдыру. Бывало, замешкаешься, вовремя не закроешь — беда! Вся память, какая есть, вместе с теплом вылетает, остаешься при своих интересах. Со мной это дело было, и много раз. Убей, ничего не помню, что было в те годы. Помню только, как чуть-чуть не остались под открытым небом. При всех-то ребятишках. Летом забыли закрыть дыру. Молния в нее залетела, изба враз загорелась. Огонь от грозы гасят коровьим молоком, знаешь сам. Простой воде этот огонь не под силу. У нас в ту пору коровы не было, только коза. Кричу свату Андрею: «Как думаешь, от козы погодится молоко огонь тушить?» Сват за ухом поскреб: «Ежели не больно жирное, так сойдет!» Ладно. Бегу в контору просить лошадь. Запрягаю, еду в поскотину, пастуху ставлю пол-литра. Так и так, животное требуется дома. Козу пулей привожу домой. Подоили, пожар потушили. Еще бы немножко, крыша бы занялась. Видишь, как матица-то обгорела? Не видно, заклеила Виринея бумагой. После этого я ее спрашиваю: «А чем корова лучше козы? Ведь будь в хозяйстве корова, разве бы я успел ее в телеге домой привезти? Да не в жизнь! Эдакую-то тушу. Сидели бы без квартиры, на чужих бы подворьях маялись». Баба есть женщина, женщиной она и останется. Недовольна. Говорит: чем козу держать, так лучше никого не держать. Молока доит по фунту, да и то козлом от него так и разит. От молока-то. «Почему я не слышу?» — «Потому, говорит, что куришь, вот и не слышишь». Вишь, как вывернулась. Вышла из положенья.

6. Нервы сдали

Конечно, с одной стороны, коза — животное очень экономная. С другой стороны, и Виринею тоже можно понять. Как человека. Уж больно эти козы любят блудить. Чуть что — и несут на них жалобы. Лезут везде и особо туда, куда нельзя. Куда лезя, туда никогда и не лезут. Что за скотина? Помню, только сядешь почитать, только сядешь, выберешь зремя — глядь, уж бегут: «Кузьма Иванович, твоя коза озимь щиплет!» Была бы озимь своя, наплевать. А озимь колхозная, коза своя. Да ведь еще и бригадир-то ты! Ну, ладно. Это было после, а я говорю, как было до этого. Думаешь, почему мы козу завели? А потому, что с коровой совсем согрешили. Не стало никакого терпенья, нервы сдали. Бывало, только подоишь — молока полный подойник. А она, шалава, что делает? Она заднюю ногу поднимет да в подойник-то и обмакнет. Еще и побулькает в молоке-то. Ногой-то. Вот до чего дело дошло! Нет, девушка, думаю! Так у меня ты скоро отвертисься. Первую партию вон уж на мясо-поставку угонили. Всё! Решенье мое твердое. Заодно и налоги скостят. По этой причине купили другую. О двух сосках. Борodatую.

7. Нет худа без добра

После этого у нас с Виринеей что ни день, то арабский конфликт. Почала меня точить: «Все люди как люди, одне мы с козой маемся». — «Виринея! Понимей совесть, не говори не дело». — «Чего не дело, чего не дело?» Молчу. Ругается. Составляю план своих действий. Складу-ка я ей новую печь! Может, и остановится. Печь сделал на совесть. Первый день вроде поуспокоилась, на второй совсем хорошо. На третий — хуже прежнего, начала точить с новой силой. А к этому время все тараканы от свата Андрея перебежали к нам на квартиру. Как узнали, что печь у меня новая, теплая, так один по-за одному к нам. Худа без добра не бывает. Жена на полатах ночует. Я внизу за печью. Как только начинает меня точить, я потихоньку да помаленьку валенки обую, да во двери, да напрямик к свату Андрею. Дома Виринея меня точит. Тараканы за печкой усами шевелят, шабаркаются, она и думает, что это я живой, точит и точит. А меня нет. Она точит. Все тараканы через неделю обратно! Утром возвращаюсь от свата, гляжу — бегут. На прежнюю квартиру. Кто где, прямо по снегу. Друг дружку перегоняют, толкаются. Я кричу: «Давай обратно ко мне, чего мало погостили?» Что ты! Домой прихожу — изба чистехонька.

Что-то, паря, у меня худые пошли бухтинки-то. Нескладные. Про тараканов вроде не все сказал. А чего еще — вспомнить никак не могу. Памяти мало стало. Говорил я тебе, что память-то у меня вместе с угаром вышла? С тараканами делов было больше, это я хорошо помню. Вот только забыл в точности, какие случаи. Ну да ладно, шут с ними. С тараканами-то.

8. Пошли, как новенькие

Про войну не буду и сказывать. Все равно никто не поверит. Ведь что за народ нынче! Бухтины гнешь — уши развесили. Верят. Начнешь правду сказывать — никто не слушает. Вот и тебя взять. Чего ухмыляешься-то? Правда, она что ость в глазу. Сидишь втемную, зажмура глаза, — не больно. Как только глаза откроешь — колется, хоть ревом реви. Так и сидим, никому глаза открывать неохота.

На войне я отслужил четыре года, не считая финской кампании. До самой Праги шел цел-невредим, на Праге вышла оплошка. Шарахнуло.

Домой отпустили — ноги разные, одна короче другой. На восемь сантиметров. Иду со станции с клюшкой, переваливаю, как утка. До деревни осталось верст десять, сел покурить. Мать честная! Гляжу — сват Андрей. Тоже вроде меня, ступает на грех ногам. «Здорово, сват!» — «Здорово!» — «Тебя куда?» — «В левую, а тебя?» — «Сам видишь, в правую». Сели, поразговаривали. Сиди не сиди, а домой надо. Пошли. Оба хромые, ничего у нас не подается. У него левая нога короче, у меня правая. «Сват, говорю, а ведь нам эдак домой к ночи не попасть».— «Не попасть». Идем дальше. «Знаешь, говорит, чего?» — «Чего?» — «А давай ногами менять. Я тебе свою окороченную, ты мне свою длинную. Мы потом тихо идем, что ноги разные у обоих». Я подумал, подумал, махнул рукой: «Давай!» Сменялись. Я ему свою ядреную, он мне свою хромую. У него ноги стали одинаковые и у меня. У обоих хромоты как не бывало. Костыли и клюшки полетели в канаву. И пошли мы, как новенькие. «Ну, говорю, и голова у тебя, сват! Еще хитрей стала после войны-то. А у меня, говорю, вроде и остатний умишко из головы выдуло. Ведь мог бы сменяться еще в поезде, мало ли нашего брата, хромоногих-то».

Домой пришли как раз к самоварам. Что ни говори, везде нужна смекалка.

9. Не в строку лыко

В мирные дни у нас с Виринеей пошла на свет свежая ребятня. Откуда, дружок, что и взялось? Иной год по два-три. Первое время я ходил в сельсовет, записывал каждого четко и ясно. После и записывать отступился, принимаю на домашний учет. Сват Андрей придет, начнет пересчитывать: «Первый, второй, третий... Стой, Барахвостов, одного нет! Не знаю только, девки аль парня». Отвечаю: «Посчитай еще, с утра были все на месте. У меня с этим делом строго. Ты, говорю, всю жизнь живешь по своей арифметике».— «Это по какой?» — «А по такой! У тебя вон всего двое, да и те довоенного образца. А ведь харчи-то были не чета нынешним». Соглашается. «Пожалуй, говорит, правда. Ты, Кузьма Иванович, молодец. А вот ведь медаль-то выдали одной Виринее, разве ладно? Уж ежели она мать-героиня, дак и тебя не надо бы обижать». Я, конечно, умом-то с ним соглашаюсь, а сам не уступаю: «Нет, сват, неправильные гвои слова. Может, говорю, мужчина-то был в этом деле не один, а с помощниками. Откуда правительству знать? Есть, говорю, и такие любители на чужом горбу в рай захватить. А уж насчет медалей-то я знаю много всего кое-чего».

Да. Перед сватом-то я, конечно, свою марку держу. А как дойдет дело до зимы... Ох, товарищ, это прямо беда! Без бухтин, говорю, не в строку лыко. Летом-то еще туда-сюда, босиком да на подножном корму, вроде и ничего. А как полетят белые мухи, ну! Ешкин нос, вспоминать неохота, шабаш! Шабаш, паря, шабаш! Вириней! Ставь-ко, матушка, самовар, жареной воды выпьем. Три раза с утра пили? Ничего, попьем и четыре. Неси пироги! Все до последнего! Из шкапа, из печи, из погребца и с повети — все харчи волоки! Хоть теперь поедим.

ТРЕТЬЯ ТЕМА

(На ту же тему, что и вторая)

1. Без мяса не живал

Кто скажет, что Барахвостов — худой мужик? Нету таких в нашей деревне и не будет. Может, где в других деревнях и есть, а в нашей нету. Нет, Барахвостов — мужик не худой. И спорить нечего. Хвастаться не

люблю. Ежели желаешь, расскажу лесные бухтины. До этого шли полевые, теперь пойдут лесные. Лес — первый друг каждого человека. Вот и у меня тоже вскорости началась новая, лесная эпоха. Осенью дело, сию, подшиваю валенки. В избе — несметный содом. Штурм Берлина, подписка на заем. Мои гвардейцы шумят, пищат на разные голоса. Все шубы вывернуты, табуретки кверху ногами. Вдруг слышу новый голос. Спрашиваю: «Вириная, а это кто?» — «Где?» — «Да вон скулит за печкой-то». — «Ох, этот кабы сдох!» Сама ведро схватила да в хлев. Я зову: «Кабысдох, Кабысдох, а ну-ко, беги поближе!» Не выходит. «Ребята, во-локи!» Мои саналпы рады стараться. Выволокли из-за печки нового зверя. Гляжу — лапы ухватом, глаза разные. Одно ухо висит мертвым капиталом. «Откуда, говорю, чей будешь?» Мои мазурики кричат: «Ничей! Ничей!» Спрашиваю своих штрафников: «Кабысдох аль Ничей, говори точней?» Зашумели: «Кабысдох! Кабысдох!» — «Ну вот, так сразу и говори». А он хвостом мелет, лапами топогит. Породы, конечно, не разобрать, а глаза острые. «Чем, спрашиваю, кормиться будем?» Молчит. Ладно, говорю. Сделаем на первый случай ошейник. К лету, смотрю, вырос. Ростом не больно велик, а слово чувствует. Восторгу и лаю лишковато, зато свой. Собака в доме есть, ружья нет. Покупаю в сельмаге берданку. Кабысдох проворнее час от часу. Научился обчищать соседские лошаники¹. Подкладыши оставлял, а свежие яйца волокет домой. Правда, без внутренностей. Сват Андрей по деревне жалуется: «Яичницы не хлебал с Октябрьской. Для чего шесть кур держу?»

Терпи, сват, еще не то будет! Бери пример с меня, покупай берданку. Утром, бывало, только свистну — Кабысдох тут. До лесу идем нога в ногу. Дальше — я вперед, он обратно в деревню. «Кабысдох, Кабысдох, кричу, ты что? Разве дело бросать хозяина?» Шпарит домой, не оглядывается. По лесу хожу один.

Врать не хочу, спервоначалу ходил зря. Домой носил одни грибы. Лесная сноровка появилась намного позже. Птица или там зверь, оне ведь что? Оне тебе тоже не лыком шиты. Одни летают, другие бегают. Так я, дружок, приноворился тетер-то привязывать к пенькам. Веребочек изо льна насучил. Пойдешь, напнривязываешь, оне и пасутся вокруг пеньков. Ключут ягоды. А на другой день ходишь да только постреливаешь. С подходу, не торопясь. Верное дело. Припасу немного шло и устанешь не шибко. Без мяса не жывал.

2. Повезло

А сват Андрей и тут позавидовал. Купил ружье четырнадцатого калибру. С рук. В лес идем вместе со сватом. Мой кобель увидел, что нас двое, осмелился тоже. Пришли в лес. Кабысдох у пенька справил свое дело, обнюхался. Я говорю: «Кабысдох! Пора жить по-сурьезному. Ищи!» Хвостом вильнул и сидит. Глядит прямо в нос хозяину. «Ну, чего? Сказано, ищи!» Тявкнул, подпрыгнул и опять сидит. Глядит. Сват Андрей встал и говорит: «Пустое дело. Ничего ему не внушить». — «Как так?» — «А так. Не понимает ни уха, ни рыла». Котомку за плечи, пошел сват в своем направлении. Я сию на валежине. Закурил табаку. «Ну? Что, говорю, станем делать? Так и будем жить зимогором? Нет, брат, я тебя кормить не намерен...»

Вдруг — заяц. Через лядины и кочки перемахивает, прямо на нас.

¹ Лошник — место, где по утрам одна за другой садятся домашние куры, чтобы снести очередное яйцо.

Мой Кабысдох на зайца никакого вниманья. Сидит, будто и дело не его. «Беги, говорю, хоть поздоровайся! С зайцем-то!» Хвостом виляет, глазами мигает. «Ну, думаю, ты и дурак! Только тебе и дела, что воровать яйца. Больше ты ни на что и не гожд. Иди домой! Иди, иди и не останавливайся!» Я ружье на кочку положил, за зайцем побежал сам. Ноги-то были не то что теперешние. Гоню его, косога, гоню и чувствую, что все пары сейчас кончатся. Остановился, кричу зайцу-то: «Давай, паря, отдохнем, больше не могу!» Отдохнули маленько, оба отпышкались. При моей семье много сидеть некогда. Встал. «Посидели, кричу, и хватит! Время дорого, надо бежать!» Побежали. Заяц от меня кругами, а я прировнялся да пошел напрямую. Не заметил, как обогнал, гляжу, нет зайца-то. Оглянулся, а он сзади меня, шпарит по моему следу. И тут что ты думаешь? Тут мой Кабысдох увидел такое дело — и на меня! С лаем! Вот ведь сучий сын, скотина! Облаял по всем правилам. Гонит и гонит, чуть не за пятки меня. Я впереди, кобель за мной, а заяц идет по нашему следу. Вот так, думаю, охота! Хорошо хоть снегу нет! (Дело было по чернотропу.) Ну да рассуждать головой — не тот момент. Бегу. Заяц за мной, и мой же кобель меня травит. Что делать? Пошел я тоже кругами, начал след запутывать. Кое-как да кое-как со следа Кабысдоха сбил. Очухался в какой-то болотине. Притих. Еле отдышался, а после выбирался полдня. Из болотины-то. Пошел за ружьем. Встречаю свата Андрея, ну, думаю, теперь не сгину. Рассказал ему, как было дело. Сват сперва не поверил. После вместе со мной охает: «Ну, Бархвостов, тебе еще повезло! Заяц, видать, молоденький, не больно проворный. Им, говорит, надо было тебя гонить-то не к болоту, а ближе к поскотине. Там бы тебе и капут, на ровном-то месте бы».

Вот, брат, какие судьба иной раз повороты делает. И самому дивно. Мой Кабысдох домой явился раньше меня, будто ничего и не было. На таких собачаров и надеяться нечего. Только хлеб едят, да в глаза глядят, да хвостом юлят. Сами того и гляди обманут.

3. Купим новую

Вот ведь не поверишь, а все равно расскажу. Был у меня один знакомый медведь. Истинно говорю. Каких только знакомых у меня не было за жизнь-то. Этот был самый памятный. В какой мы с ним дружбе жили! Гостились одно время. Самостоятельный был, покойная головушка, век не забыть. Не веришь? Э, брат, в нашем лесу и не то можно увидеть. Бывают и почище события. Люди говорят: «Ты, Бархвостов, весь изоврался. Ни одному твоему слову верить нельзя, у тебя что ни слово, то и бухтина». Хорошо, говорю. Согласен. Я тоже не святой, иной раз немножко прибавишь и от себя. Промашки бывают, не скажу. Число, бывает, перепутаешь, за имена тоже не ручаюсь. А в основном и главном — сущая правда. Бывало...

Да. Так вот, насчет медведя. Осенью ходил я на лабаза ¹. Один. Мой Кабысдох заболел, объелся пареной брюквой. Одну зарю сижу, другую. Сидишь, сидишь, да и про медведя забудешь. Птичек слушаешь. Помню, с лабазов слез, пошел домой с песнями. Чекушку ополовинил. Иду по пустоши, пою. Вдруг навстречу медведь. «Стой, кричу, шаг влево, шаг вправо, считается побег!» Он поглядел да как начал в меня плевать!

¹ Лабаза — стог или дерево, куда от страха залезают охотники, караулящие медведя. Обычно зверь не приходит, либо они накрепко засыпают и спят до утра. Бывают, однако, и такие случаи, когда дело заканчивается кровопролитием.

Я одной рукой вытираюсь, другой наставляю ружье. Ружье оказалось незаряженным. Медведь меня маленько помял, отступился. Вспотел. Ружье за дуло схватил да как даст о березу! Берданка вдребезги. Сам пошел в лес. Я сижу на дороге, в траве щупаю. Оборвал, охламон, все пуговицы. Кричу ему: «Стой, не ходи! Давай посидим в открытую!» Не слушает, идет все дальше. Я опять: «Воротись, говорю! У меня есть маленько, вроде не вся пролилась». Слышу, сучки трещать перестали. Видать, сделал остановку. «Ей-богу, немножко осталось!» Вижу, идет обратно. Подошел, сел задним местом около меня. Все еще глядит в сторону. Я ему чекушку подал, он выпил. Лапой машет, от хлеба отказывается. Мол, хорошо и так, без закуски. Я остаток допил. спрашиваю: «Вот ты всю зиму спишь, не кушаешь. Хлеба тебе не надо. Как это у тебя ловко выходит?» Лапой, как человек, отмахнулся, мол, завидовать нечему, всю зиму крючком. Тоже не сладко. Не куришь? — спрашиваю. Мордой мотает отрицательно. Я опять за свое: открой секрет. Семья, говорю, большая, на всю зиму завалились бы, любо-дорого. Он встал, подошел к березе. Собрал от ружья все щепочки. Дуло там, накладку. Вижу, щепочку к щепочке прикладывает. Говорю: «Шут с ней, наплюнь! Купим новую».

От дороги подальше отошли, сидели до темной поры. Я в магазин бегал два или три раза.

4. Миша-хыщник

С этим медведем одно расстройство. Трезвый медведь как медведь. Муху не обидит, не то что там корову или теленка. А как выпьет... Знаешь сам, останавливаться не умеем. Сперва вроде немножко, чуть разговеешься, после черепяшечку дернешь дополнительно. Ну, а потом пошло-поехало. Все тормоза отказывают, от восторга души поим подряд. Сами принимаем всякие новые образы. Шапки теряем. Говорим все, что надо и не надо, после каемся.

Тот медведь пил всю осень, до самого снегу. Берлогу искать не стал, от зимней спячки наотрез отказался. «Миша, говорю, подумай ты головой! Войди в чувство, остановись! Вон у тебя уж и глаза глядят не в ту сторону. Похудел весь, морда опухла. Долго ли до греха? Глядишь, на дороге замерзнешь». Рыло вниз опустит, молчит. Соглашается. А что толку? Люди пошли совсем бессовестные, спаивают медведя нарочно. Сушняку воз наломает¹ — ему стопочку для начала. А после, с пьяным-то, делай что хочешь. Дрова ломает, считай, бесплатно. Ну, зиму он кое-как перекаптался, дожили до весны. Подрядился он в пастухи за сорок трудодней в месяц, на своих харчах. Сперва коровы его боялись, убегали в деревню. После попривыкли, дело пошло хорошо. Я ему барабанку выстрогал да две колотавочки. Барабанить выучился дородно, бывало, по лесу идешь, слушаешь. Любо сердцу. Лето пропас чин чин. А зимой-то что медведю делать? Зимой ему положено спать. Этот спать отучился.

После Нового году пошел сердечный по миру собирать милостыни. В избу зайдет, у дверей встанет, кое-как перекрестится. Сперва по своему колхозу ходил, потом ударился в другую округу. Да так и пропал, больше я его не видел. Слух прошел, что он спать лег да уснул чередом, в берлоге. А будто бы из центра прикатили шестнадцать человек

¹ Несомненно, этот сюжет позаимствован Баряхвостовым у писателя Константина Коничева.

охотников-любителей. Окружили его со всех сторон. Шестнадцать лбов. С огнестрельным вооружением и все на одного медведя. В газете была заметка «Уничтожили хыщника». Это Мишка-то хыщник?

5. Уха

Говорят: рыба да рябки — потеряй деньки. Что верно, то верно. Пока в этом деле найдешь слой, проходит большое количество дней. Всякая рыба имеет свою линию судьбы и свой почерк жизни. Взять тех же ершей. Нынче их прозвали по-новому — хунвэйбины. Раньше эту шпану тоже называли двояко. Лезут везде, куда ни сунься. Большие их тысячи и мильёны шастают по самому дну. Едят чужую икру и зародышей. Все скользкие и колючие. Иной раз пролежит на воздухе целый день. Все, думаю, этот сдох навек. В воду опустишь, а он и мертвый щеперит перья. Отмокнет и пошел ныром в самую глубь. Воскрес, каналья! А ведь много часов лежал на воздухе. Другой бы давно протух, этот стал еще настойчивее.

Сорога — та против ерша не устоит по всем пунктам. Хоть и хитра, а, глупое место, клюет по-дамски. И хочется и колется. Червяка отщипывает по кусочку. С виду блестит, а телом слаба. Сорому по клеву узнать очень просто, как и окуня. Этот фулиган и дурак. Налетает без разговору. Крючок заглатывает в самое нутро брюха и летит дальше. В это время его волокут наверх.

Про щуку и говорить не буду: не рыба, а зверь. Так вот, братец, я хоть и сделал себе хорошую уду, а ловил по своему новому способу. Как? А так. Пока с удой-то сидишь, борода вырастает на полвершка. Весь итог — котелок ухи. Так я сократил все привычные сроки. Наша река летом пересыхает. Остаются глубокие рыбные омута. Я камень к берегу накатаю, огонь растоплю до самого неба. Каменья эти все докрасна накалю, потом колышком в омут знай спихиваю. Пару, жару, конечно, много. Каменья-то шипят, по дну разáются. Ну да ничего, терплю. Омут с рыбой за полчаса вскипятишь, за народом в деревню сбегашь. Хлебают да крикают. Меня нахваливают. Ай да Кузьма Иванович! Ай да Барахвостов, вишь, опять что для народа придумал! Бывало, целое лето кормишь всю деревню. Ели уху ежедневным образом, еще и оставалось. Остатки, правда, съедали сами. Кабы рыбнадзор не такой строгий — варили бы уху до сегодняшнего лета.

6. Волчья подкормка

Народ меня всегда уважал. Большой и маленький. Которое за бухтины, которое так. Один сват всю жизнь упрямится, на людях моего авторитету не признает. Двое сойдемся — нет мужика обходительнее. А при народе глаза в землю. Не глядит, только пышкает, вроде бы обижается. А на что обижаться-то? Я не виноват, что у меня голова по-другому устроена. Как погляжу — сразу вижу, чего делать.

Бывало, в наши колхозные угодыя пришли откуда-то волки. Напустились — беда! Что ни день, то овцы нет. А то и двух. Никакого от них спасу, как супостаты. Руководство бежит ко мне: «Барахвостов, выручай! Не знаем, что делать. Ежедень по две головы списываем, государству убыток!»

Ладно, беру первое слово: «Безобразничают? Да, безобразничают. Зорят? Да, зоряг. Вопрос, почему зоряг? Потому зоряг, что бескормица.

Предлагаю установить лесную подкормку. Резать по четыре ярушки в день и выдавать волкам бесплатно». Сказал, сел, носовым платком лоб вытер. Вижу, проголосовали единогласно. Только сват воздержался. Решили, записали. Стали каждый день резать по четыре овцы и возить в лес. Волки буйнить враз перестали. В лесу стало спокойно. До того стало спокойно, что и мой Кабысдох осмелел, бегал до ближней речки. Нет, что ни говори, без меня бы пропали. Намаялись бы.

7. Любо-дорого

В каждый прорыв — Барахвостова. Бывало, чаю сядешь попить — бегут. Посылали больше ребяташек: «Дядя Кузя, зовут!» — «Кто?» — «Требуют». — «Да куда требуют-то?» — «В контору». Все бросаю, иду. В конторе накурено не больно и мало. Дым ходит поэтапно, от пола до потолка. Здороваются об ручку. Стул подставляют, воды из графина наливают. «Так и так, Кузьма Иванович, вожжей нет». — «Чего?» — «В район выехать — вожжей нету». — «Дайте подумать». А чего думать? Была бы смекалка — додумались бы и сами. Прошу выделить рабочую силу, трех женок. Утром до свету иду с ними в лес, обирать с кустов паутину. Паутины насобираем, бечевки из нее напрудем. Из бечевки наьем веревок. Поезжай куда хошь, любо-дорого!

Приходит из центра директива насчет поголовья. План не выполняем из года в год. Что делать? Зовут Барахвостова. Говорю: «Ладно. Выручу». Опять же в лес. Лосей назаманиваю, открываю лосиную ферму. Дополнительно. Доим, сдаем на мясо. Планы во все годы перевыполняем. Только и стоит: рога у лосей опилить! Сену — экономия, грубым кормам само собой. Коровам стало нечего делать, телиться разучились.

Весна подходит. Удобренья выкупить — денег нет. В кассе — безвоздушное пространство. Тыр-мырк, опять к Барахвостову. Я деревню поднимаю, берем ведра, фляги и топоры. Лес — под боком. Берез наподрубаем, соку нагоним. Срочно везем во флягах в райцентр. Открыли свой ларек. С вывеской «Березовое ситро» колхоза такого-то. Меня — главным директором. Сорок две копейки кружка, люди с похмелья пьяог, прихваливают. Крику этого: «Без очереди не выдавать!» Милиция конная. Толкаются. Казенные напитки никто не берет. Жалобы в типографию. Дело доходит до Москвы. Наш ларек только вошел в силу — раз! И прикрыли. Говорят, перебиваем дорогу общей торговле. Ну да не больно и обидно. Ситро все кончилось, силосование кормов начнется со дня на день. Последнюю флягу распотчевал начальству, денежки пересчитал — и домой! Только меня и видали.

Деньги сдавал в кассу все, до копеечки. За хорошую работу колхоз выдал премию. Берданку и патронташ.

ЧЕТВЕРТАЯ ТЕМА

(О том, как Кузьму Ивановича выбрали в бригадиры и чем все это кончилось)

1. Первая попытка

Наша деревня часто оставалась без бригадира. Регулярно. Почему? Установить трудно. Причины были всякие и разные. Этот в леспромхоз уедет, этот сопьется. Многих переводили на повышение, другие умирали

совсем. Сперва руководство переходило из рук в руки. Потом дожили до тупика: в бригады выбирать некого. Собираем общее бригадное. Бабы разнесли тайну колхозного правления задолго до собрания: Барахвостова в бригады! Чувствую и сам, что гроза поворачивает на меня.

Первая попытка. Я что делаю? Я на собрание не иду, забираюсь в пустой погреб. Знаю какой закон: без наличия личности голосовать не имеют права. Сажу. Собрание тоже сидит, ждет Барахвостова. Час сидим, два сидим. Три сидим — я начал задремывать. Летом в погребе прохладное дело. Тихо и сухо. Вдруг приходят прямо на дом. Виринея хоть и подговорена, а все равно тревожно. Слышу разговор: «Где хозяин?» — «Сама не знаю, с утра мужика нет! Видно, на охоту уполз». — «А почему берданка, колхозная премия, на гвоздю?» Баба подрастерялась (где, дак оне уж больно остры). Народ к ней с приступом: «Подавай мужика!» — «В избе дак нету». — «Как нет, берданка тут, и он тут. Вон и фуражка тоже тут!» — «Где?» — «Да вон фуражка-то, вон!» Я не стерпел, кричу: «Мать-перемать, это не га фуражка! Эта фуражка праздничная, а та фуражка вот эта. На мне которая! У Барахвостова, слава богу, фуражек хватает!»

Не надо было сказываться! Из погреба подняли на руках: «Кузьма, мы тебя выбрали в бригады!» — «Не имеете права». — «Кузьма Иванович, единогласно!» — «Выношу самоотвод, голосование недействительно». — «Принимай бригаду!» Вижу, не выкрутятся. Попался. «А кто печи класть будет?» — спрашиваю. «Печи класть можно по совместительству». Все. Аргументы кончились. На лавку сел, голову вот так руками зажал. Что делать? «Товарищи колхозники, меня на эту должность нельзя». — «Почему?» — «У меня болезнь, привез из Германии, после войны. Не хотел говорить, сами вынудили». Притихли. «Какая болезнь-то?» — «Нельзя мне с коллективом, болезнь заразительная». — «Как название?» — «Название, говорю, этот... эта... ну, хавос. Хавос сердца». — «Хавос?» — «Да. Передается через карандаши и бумаги».

Вижу, подействовало! Расписал все по порядку, где и как эту болезнь подхватил, как вся наука много лет против нее действует и ничего сделать не может. Повздыхали бабы, да и отступились. В бригады выбрали свата Андрея.

2. По новой системе

Сват не глупей меня, долго не насидел. Сняли за провал весенне-кукурузной кампании. Вторично выплывает моя кандидатура. С хавосом теперь дело не выгорело, потребовали справку от местной медицины. (Кто свата округ пальца обведет, тот трех дней не проживет.) Увидел меня и говорит: «Ныче ты, Барахвостов, не отлытаешь. Хватит тебе дезертировать-то. Выберем. Погляжу, чего запоешь».

Махнул я на все рукой. Принял должность по акту, говорю на собрание: «Вот что, бабы и граждане! Ежели поставили, дак у меня чтобы слушаться и пустяками не заниматься! Будем поднимать бригаду!»

В каждом деле надо находить главное звено и центр притяжения: первым делом завел документацию. Толку мало. Установил штрафную таблицу и распорядок дня. Сдвигов нет. Организовал наглядную — никаких перемен к лучшему! Что за притча? Иду на риск и принимаю такое решение: постепенно все рабочее поголовье людей перевести на должности. Ежели человек на должности, у него другая ответственность и новый угол подхода. Сказано — сделано. Перестройка заняла меньше трех недель, всю деревню быстро перевел на новую систему

практики. Рядовых ни одной души. Смотрю — народ не узнать! Шкала матерьяльного уровня сразу шагнула вверх, сельпо не успевает завозить лисапеды. Избы подрубаем, крыши перекрываем. Ребят рассылаем по институтам, самым грудным — детские ясли. На каждого члена семьи — сберегательная. Очень хорошо пошла жизнь в деревне моей бригады! Люди со мной и раньше здоровались, теперь от теплых слов нет отбою. Останавливают прямо на улице: «Кузьма Иванович, благодарим!» — «Не моя, товарищи, заслуга, не моя». Идешь по делам. Один сват мной недоволен. Глядит быком: «Так-то, говорит, и я бы мог, дело нехитрое». — «Не бы, говорю, да не кабы, так на шестке росли грибы. Тебе-то, сват, кто мешал головой думать?» Свату сказать нечего. Окурок в землю затопчет, пойдет домой.

3. На первом месте

Конечно, личная жизнь пошла лучше, не скажу. Колхозники-то мной довольны. А продукцию-то давать мы совсем перестали. Ее благородие королева на полвершка из земли вылезет, дальше хоть тащи ее за уши.

А все ж таки я тебе скажу честно. Бригада все время держала первое место. Переходящий вымпел из рук не выпускали: три года лежал в моем шкапу. Каким способом? Очень просто. В соревнованье голова нужнее всего. Я, бывало, наряд сделаю, баб распределю. Сам иду по соседским бригадам. Под видом неотложного дела. Соседские пашут, ты — к ним. Товарищи, дайте закурить! Где одна сигарка, там и две, где две, там третьей не миновать. Стекаются. Пока курим, я какую-нибудь жиденькую бухтинку и расскажу. Народу станет больше, я бухтинку поволожнее. Все скопятся — пускаю тяжелую артиллерию. Лошади дремлют, плуги в земле. Народ слушает. Я заливаю бухтины, одна другой чище. Люди на лужке то впокатушку, то сидят смирно, от изумленья слов шеи вытянули. Как журавли. А мне это и надо, бригада не моя. Лошади дремлют, плуги в борозде. Весенний день год кормит.

Солнышко за полдень, а я еще не почал с картинками. Лошади оглядываются, солнышко к земле. День долой, суседушки пальцем не ворохнули. Вечером схватишься да бежать: «Ох, так-перетак, засиделся! Извините, пожалуйста!» Утром наряд сделаешь, идешь в противоположную сторону. Так и ходишь все лето. Мои бабы худо ли, хорошо — понемножку тюкают, шабаркаются. Суседи сидят, мои бухтины слушают. Бригада Барахвостова вырывается вперед. Передовики в любой кампании. Грамот навывадали, обоев менять не надо. Картин живописи тоже не требуется — не изба, а музейная редкость.

4. Пошла, матушка!

Ни у кого не растет, у меня королева — первый сорт. Барахвостов найдет слой. В любом невыгодном положенье. Что делали? Э, брат, много кое-чего делали. Было делов с ней, мокрехвосткой, врать не хочу. С кукурузой-то. Весной королеву жрут грачи, носами из земли выковыривают. Я пускаю в ход своего Кабысдоха. «Не давай! Отвечаешь за королеву своей головой». Этот знает, что делать. В поле день и ночь мерзнуть не будет ни за какие деньги. Заприметил двух грачей, самых старых и самых важных. Кабысдох на одного лает, а другому сам лапами помогает. Королеву из земли выгребать. Один грач при помощи Кабысдоха

голодный как волк, другой ходит по пашне сытый. Разодрались. Грачи-то. За одного заступились одни, за второго другие. Пошла в поле катавасия. Кабысдох дело сделал. Ах, молодец кобель! Хоть и жулик! Грачи разделились на две партии, вижу, клюют день и ночь друг дружку. Этим не до королевы. Зону стычки перенесли в лесные уголья, крик, шум, только перья летят! Кормятся чем попало, а борьбу не останавливают. Ладно. Кукуруза на два вершка выросла, дальше заупрямилась.

Даю бабам приказ: «Поливать парным молоком! Два раза в сутки, утром и вечером!» Тепла, вижу, ей очень мало. Колышек на меже вбили, солнышко на веревочку привязали. Оно по небу туда-сюда, на ночь не закатывается. Пошла королева-то! Пошла и пошла, матушка, будто что прорвалось. Я говорю: «Бабы, нервов не ослаблять! На успехи не обращать вниманья, поход продолжаем!» Веревка один раз обгорела, солнышко оторвалось. Еле изловили, навязали на проволоку¹. Ветер не тот подул, холодный, северный. Всю бригаду — к ветряной мельнице. Бабы, крути! За шестерни, за колеса! Разгоняй! Чтобы крылья вертелись, воздух гонили в другую сторону. Королева растет по десять сантиметров за один календарный день. Период молочной и восковой спелости проскочили без остановки. Ох, я тебе скажу, и намаялся я в ту пору! Ночами не спал, бородой оброс хуже тебя. Штаны в гашнике Виринея ушивает каждую декаду. Еле дождался зимы. Очухался, в баню ходил. Себя в порядок привел. Со сватом чекушку выпили, сват говорит: «Эх, как она тебя! Повытрясла. Похудел, что новобранец выбегался».

5. Шефская помощь

Только пришел в чувство — телеграмма. Товарищ Барахвостов! Точка. Поскольку ваша бригада заняла первое место. Точка. Направляем шефскую группу тридцать человек женщин. Точка. Именно лично вам. Обеспечить ночлегом. Точка.

Сперва-то приосанился. А как одумался... Обеспечить ночлегом. Да я и с одной Виринеей намаялся. А тут тридцать штук. Да еще городские, шефские.

Ну, ладно, стали готовиться к шефской помощи. Двух баранов зарезали, вымыли и протопили нежилой дом. Постелей настлали, ждем. Шефки приехали под вечер. Все намазанные. Краска в основном черная, красная и белая пудра. Багаж не приметил, а тоже вроде одне мазила. Спать не ложатся, поют песни. Всю ночь пропели, утром улеглись. Надо будить кормить, не знаешь, как приступиться. Ребятишки к ним в окно заглядывают. Бабы судачат. Некоторые мужчины начали появляться в бритом виде. Ну! Теперь жди помощи. До этого худо-бедно лен стлали, теперь все, вижу, останавливается. Захожу в избу. «Дяденька, сюда нельзя!» — «Не дяденька, а бригадир, товарищ Барахвостов. Кузьма Иванович!» — «Кузьма Иванович, к нам так заходить нельзя. Мы, может, раздетые!» — «Хорошо, не буду. Только, говорю, вот вам мое вступительное слово. Ежели спать будете до обеда, дак и варите суп сами. Молоко тоже будет несвежее». Зашушукали: «А что мы будем делать?» — «Делать будем расстилку льна». — «Кузьма Иванович, лучше

¹ Как выяснилось, Кузьма Иванович еще до войны читал гоголевскую «Ночь перед рождеством», хотя и забыл все начисто. По всей вероятности, идея пойманного солнца чаяеяна Барахвостову скорее новейшими достижениями науки и техники, чем прежними впечатлениями.

мы вам покажем концерт!» — «Дело ваше, можете показывать что хотите. На то вы и шефы».

Того же дня открывают репетицию. «Дамочки! — говорю. — Гастроль-то гастролью, а этот, лен-то, тоже надо бы... Под августовские росы». — «Кузьма Иванович, вы отстали от жизни, теперь месяц октябрь! Такого-то числа приходите на тематический вечер».

Что станешь делать? Вся деревня только и говорит про тематический вечер. Мужики заходили в начищенных сапогах. Пошли всякие мутные слухи. Производство встало. Шефы до обеда по три снопа расстелют, с обеда на репетицию. Я — матюгом. Она на меня: «Фу, как некультурно! Вас, Кузьма Иванович, надо на десять суток». Тут уж мне сила воли отказывает. Говорю категорически: «Гражданочки! Объявляю два вегетарьянских дня, мясо кончилось! Супу не будет, кислого молока вдоволь!» На мои слова никаких возгласов. Даже не оборачиваются. Ладно. Два дня не кормлю, держу на одном кислом молоке. На третий всех ставлю на обмолот и сушку гороха. Вегетарьянских-то. Вечером намечен концерт; гляжу, ходят многие боком. Иная и совсем стороной. Разговору и шепету стало не слышно, тематический вечер отменили. Уехали на другой день. Дисциплина в бригаде восстановилась полностью в прежнем виде.

6. Личный контакт

Командированных ездило одно время очень большое количество. И всё разные. Не успеешь приноровиться к одному, приезжает другой. С новым характером и другими привычками жизни. Ну, какие ни разные, а их всего-навсего есть три главных категории. Погоди, не перебивай, все расскажу сам.

Значит, так. Первый разряд — это уполномоченный угрюмый, второй — веселый, неженатый, третий — рыбак. К веселому я быстро приноровился. С веселым дело ясное. А вот угрюмого я раскусил не сразу. Помаялся. Тут, я тебе скажу, главное дело — не торопись. Дай человеку войти в свое русло. Чтобы заговорил, не молчал. Потому что какая ни на есть угрюмость, а когда он говорит, то не так опасно. Строгость из его выходит словесной речью, как в бане простуда. Во-вторых, со слов узнаешь его судьбу. А зависимо от судьбы ведешь план разговора. На ходу прикидываешь: «Так. Пуговицы на пальте нет. Значит, либо совсем овдовел, либо жена попалась мадама. На часы часто глядит — этот долго не вытерпит. Соленого-копченого не ест — болезнь желудка. Не забыть сходить к свату за медом». Ну, одно, другое, глядишь — находим личный контакт.

С рыбаком, с тем проще простого. Вспоминают, зачем приехали, в последний момент. Правда, рыбак, он тоже не сразу мне позиции сдал. Разный он тоже, рыбак-то. Один любит мурмышку, другой острогу. Третьему подавай готовую тройную уху. Четвертый уду насадит, да и ходит весь день по берегу. Ищет всякие коренья и загогулины. Кому что. У тебя-то какая специальность? Ну, ну, мне не жалко. Записывай.

7. Последнее средство

Чем тема кончилась? Тема кончилась сама по себе, как и положено. На бригадирской должности сижу три годовых сезона. Починаю четвертый, чувствую: умру. Здоровья совсем не стало, что ни день — полное

расстройство нервов. Внешнее-то питание, правда, наладилось, да поздно. Желудок внутрь не принимает. От курева весь почернел. Левая нога начала дрыгать. Всё. Надо уходить в срочном порядке. Пишу заявление. Резолюция — отказать! Пишу второе — отказать, обязать работать. Потом и заявления принимать перестали: сиди, говорят, и не крякай. У нас, мол, кадры на дороге не валяются. Решил идти напролом, начал выпивать. Это средство тоже не действует. Ругать ругают, с должности не снимают. Я — в панику, что делать? Принимаю последнее средство: все делаю наоборот. Регулярно выступаю против мероприятий. Вызывают в район. С женой простился, иду. «Товарищ Барахвостов?» — «Так точно, он самый!» — «Так вот, товарищ Барахвостов, решили мы тебя направить на курсы. Для повышения вашей квалификации. После курсов даем более высокую должность». У меня сердце так и вылягнуло, волосье на лысине — дыбом: «Ребята, отпустите, ради Христа!» — «Разговоры отставить, через два дня выехать на курсы!» — «Товарищи, мне не справиться!» — «Поможем, товарищ Барахвостов, поможем».

Пришлось ехать. Моя Виринея уж и поревела тогда. Я говорю: «Не плачь, Вирька, все равно убегу!» Что ты! Разве убежишь?

После курсов дали мне новую должность. Я хоть и ерепенился, да воли не получил. А тут и сам стал привыкать, понемногу вхожу во вкус новой жизни. Покупаю галстук и пыжиковую шапку. Записываюсь в общество «Урожай». Получаю квартиру, меняю походку. Разучиваю кой-какие иностранные фразы. Через шесть месяцев переводят в область, через год Барахвостов в центре. Своя машина. Виринею забываю совсем, свата Андрея наполовину. Ладно. Тут как раз свободное место в Объединенных Нациях: «Товарищ Барахвостов, решили выдвинуть вас!» Еду на пароход в Америку, принимаю дела. Нога перестала дрыгать, лысина обросла. Вылечили. В космос, правда, летал только два раза. В районе Венеры. Перевели на пенсию.

ПЯТАЯ ТЕМА

(Самая темная)

1. Местов нет

Пока я в отлучке был, сват Андрей умер. Завернуло, сказывают, в одночасье, только его и видели. Мой кобель Кабысдох жив, а свата нет. Виринея, та совсем оглохла. Жизнь пошла под уклон. Поговорить не с кем, контору колхоза перевели в другую деревню. Барахвостов дурак, что ли, жить в такой обстановке? Принимаю решение: николин день отгулять, вино не торопясь выпить, да и умереть. Затягивать, думаю, нечего, так и так не отвертишься. Все сделал по плану, умер честь честью. Как уж там меня хоронили — это не в курсе. Моя Виринея, может, и поревела недолго. Не знаю и врать не хочу.

Началась самая темная тема. На третий день прихожу на тот свет. Не пускают. Стучусь. Высунулась чья-то круглая голова: «Кто ломится?» — «Я». — «Кто такой?» — «Барахвостов. Кузьма Иванович. Умер третьего дня». — «Местов нет!» Хорошо, что курсва было вдоволь. Не надо было, думаю, связываться, жил бы да жил. Людям канители наделал, как шпана, под забором ночью. Ну, ладно, выдали временное удостоверение. Прохожу на ту сторону, спрашиваю: «Так, значит, меня куда, в

рай или в ад теперече?» На меня глядят, как на дурачка: «Вы что, с того света?» — «Так точно». — «Газеты, гражданин, надо читать, ни ада, ни рая давно нету. Произошло слиянье ведомств». — «Неужели теперь все вместе?» — «Да». — «Лучше или хуже?» — «Смотря с какой стороны рассматривать. Теперь все равны, все грешники в правах восстановлены». — «Грешить, значит, можно?» — «Дело ваше. Мы к этому не каемся. Анализы все сданы?»

Дурак я дурак, вишь разговорился! Накликал беды на свою шею. Надо было поскорее идти, да и дело с концом. Свата Андрея того дня так и не нашел, пришлось проходить все анализы.

2. Номер свата Андрея

Люди там все поголовно ничего не делают. Чаю не пьют. Шуровуров ни-ни, только одно сиденье с мыслями. Сидит, глаза закрытые. Подойдешь к нему — вроде бы спит. Один раз осмелился, спрашиваю: «Гражданин, скажите, пожалуйста, о чем думаете?» Отвечает: «Как это о чем? Думаю, о чем завтра думать. Сначала идут простые мысли. С развитием головы начинаются мысли об этих мыслях, потом мысли всеобщие. Из всех всеобщих приходит одна наиобщая, самая верхняя. От нее начинаешь все сначала, в том же направлении». — «А дальше? — спрашиваю. — Потом-то чего?» Поглядел, как на дурачка, разговаривать не пожелал. Ладно, иду дальше. Сидит другой. Задаю прежний вопрос: «А вы, гражданин, тоже в том же направлении?» — «Нет, отвечает, я уже обратен». — «В смысле?» — «В смысле наиобщего смысла к всеобщему, от всеобщего к общему».

Ничего я не понял, рукой махнул. «Мне бы, говорю, гражданин, дров поколоть, где есть возможность?» Глаза выпучил, не понимает. «Дров, говорю, поколоть бы». Задумался, после спрашивает: «Номер?» — «Что номер?» — отступаю на всякий случай на два шага назад. «Номер вашей души?» — «Пока нахожусь без номера». Он только хмыкнул. «Тут, говорит, и с номерами-то и то не можешь достучаться, а он без номера захотел. Хитер больно. Знаем вашего брата, свежих-то. Так и норовят без очереди». — «Ну, говорю, тогда помогите, пожалуйста, найти свата Андрея». — «Я, говорит, и есть сват Андрей. А ты Баракхостов, что ли? Давай проходи дальше, не мешай думать».

Вот так, думаю, номер!

3. Перекур

Маленько отошел от него, гляжу. По штанам вроде бы он, по обличью совсем другой. Ой, да что там обличье! Тут обличье у всех одинаковое. Подхожу потихоньку опять: «Сват, а сват?» Не откликается. Обращаюсь в полный голос: «Остановись хоть ненадолго, поговорим!» И не пошевелился сват! Ну, думаю, дело понятное. Бывает. Я когда в Объединенных Нациях служил, дак тоже не больно-то с земляками и разговаривал. Хоть сват, хоть брат, проходи, не вникай. Почтительно посидел, потом говорю: «Сват, сколько годов жили в одном колхозе. Моя девка за твоим парнем, как-никак родня. Давай поговорим!» Нет, молчит. Что, думаю, с человеком время-то делает! В свате Андрее нету свата, остался только Андрей с номером! «Может, закуришь?» — кричу. Смотрю, сват враз очнулся. Заерзал на заднице. Рукой меня подманивает: давай, мол, да только поскорее. Цигарку-то еле завернул, руки с непривычки трясутся. Вот-вот, говорю, перекури. Остановись думать-то.

Закурил сват, воровски оглянулся и говорит: «Ты, Барахвостов, только потише. Не шуми. Давно с дому-то?»—«Шестой день. Умер по собственному желанию».— «Ну и дурак! Я бы на твоём месте жил бы да жил».— «Дак в чем, говорю, дело? Давай убежим обратно, и вся недолга».— «Нельзя, Барахвостов».— «Почему нельзя, все лязя».— «Назадь нельзя отступать. Надо вперед».— «Ну, говорю, как хошь, а я обратно». Отсыпал ему табаку, адрес записал да бегом. В сторону проходной.

4.

Ох, маткин берег, так и знал, что обратно не пустят! Подбегаю я к проходной-то, а меня за рукав: «Куда?» Я растерялся, говорю: «Так и так, надо сбежать обратно, забыл дома эту... как ее. Постельную принадлежность».— «Никаких принадлежностей, думать можно в сидячем виде!..»¹

ШЕСТАЯ ТЕМА

(Последняя. Как Кузьма Иванович живет в настоящее время, а также о его планах на будущее)

1. Разошлись подобрау

Обратно-то прибыл, а дома тоже не признаёт. Ты, говорят, умер, значит, тебя и нет. Из всех списков похерили. Пенсию списали. Кабысдох ушел жить на молочнотоварную ферму Виринея нашла нового старика. «Ребята, говорю, как же так?»— «Ничего не знаем, с покойником не разговариваем».

Ну, потихоньку, помаленьку пенсию воротили. Хоть и не сразу, а стали носить. С Виринеей дело было много труднее. И старик-то, прохвост он эдакий, знакомый, вместе под Ленинградом служили! Я говорю: «Ты уж больно скор! Не мог погодить, сразу и прибрал к рукам».— «А жалко, говорит, так бери! Не больно-то я и обзарился».— «Это, спрашиваю, как так? Не больно обзарился! Это что, в самом деле? Сейчас же откажись от своих слов! Я оскорбленья личности не потерплю, моя Виринея не хуже других!»— «Глухая и забытоха. Самовар без воды поставила, вконец распаяла. За самовар плати, получай свою Виринею. Какая была, такая и есть, ничего от нее не убыло».— «И платить, говорю, не буду, и разговаривать не имею желания».

¹ На этом месте по вине автора пятая тема обрывается. Сюжет темы явно позаимствован К. И. Барахвостовым из некоторых литературных источников. Когда автор по неосторожности намекнул на это, то К. И. замолк, насупился и наотрез отказался рассказывать дальше. Какими путями удалось ему уйти обратно— неизвестно. Несколькими днями Барахвостов вообще не желал разговаривать. Автору стоило многих трудов, чтобы подбить его на продолжение бухтин, но Барахвостов так и не стал завершать пятую тему, говоря, что на тот свет ходил задолго до Теркина и что бухтины у него всегда были свои, а не чужие, что он не навязывается и может вообще ничего не рассказывать.

Кабы старая сударушка
Была не по душе,
Не ходил бы ночи темные,
Не спал бы в шалаше!

Ладно. Бутылку с ним выпили, разошлись подобру. Я Виринею восстановил под свою фамилию. Избу оклеили. Шестьдесят дней жили медовым месяцем.

2. Односторонняя переписка

Один раз сидим, пьем чай с баранками. Вдруг почта приносит пакет. Под сургучами, боюсь распечатывать. Екнуло сердце — оттуда! Ох, не везет, только успел наладить личную жизнь. Распечатал, читаю смысл: «Гражданину Барахвостову. В срочном порядке предлагаем явиться. Как сбежавшему. Явка строго обязательна, обжалованию не подлежит». Число разобрал, подпись не разбирается. Первая мысль: не надо было распечатывать! Послать бы обратно, будто и дело не мое. Ох, дурак, дурак! Тырк-мырк, не знаю, чего делать. Первый раз в жизни опростоволосился. По избе бегая. Советуюсь со своей половиной: «Виринея, что будем заводить? Как быть?» Виринея конфету распечатала: «А требуют, так надо идти!» Ох, такое меня зло взяло! Чуть стол не перевернул. «Ты что, говорю, видать, пондравилось! В чужой-то деревне!» — «Да я что, я что, я пожалуйста. Я ничего и не сказала».

Не сказала. Знаем вашего брата, только и норовят на сторону. Я маленько поуспокоился, сам с собой думаю: «А не пойду, да и все. Будь что будет». Через неделю приходит вторая депеша. Я — из дому ни ногой. Начинается односторонняя переписка. Депеши ихние прикалываю на гвоздик, сам стараюсь не обращать вниманья. Целое лето так и тянулось, письмо за письмом: «Гражданин Барахвостов, даем сто восьмое серьезное предупреждение!» Нет уж, молодцы хорошие! Я вам больше не ходок. Дураков ищите в другом сельсовете. Подают в розыски. За мою голову назначают большую сумму валюты. Вижу, дело худо. Чего-то надо делать.

Нынче после уборочной покупаю новый бумажный костюм, еду в гости. К зятьям и к невесткам. Отступились. А я уж было думал: придется менять фамилию.

3. Ухожу в себя

Когда уезжал, дак говорю Виринее: «Гляди, Виринея, чтобы все было хорошо. Ежели и в этот раз не устоишь, домой не жди: женюсь на городской. Такую еще отхвачу, и коготки розовые». Из деревни пошел, ни на кого не гляжу. Народ вперед забегаёт: «Кузьма Иванович, счастливо! Кузьма Иванович, поклон сказывай!» Первый раз в жизни горжусь сам собой — поехал в гости. Детки выросли, можно и пофорсить. В поезде меня то и дело культурно спрашивают: «А ваше имя-отчество?» — «Кузьма Иванович Барахвостов, оттуда-то». — «Выпить не желаете ли?» — «Благодарственное спасибо, не употребляю».

С вокзала прямо по адресу. К одной невестке, к другой. Все чернявые, крашенные, юбки чуть не до пупа. Глядеть неловко, отвожу свои взгляды в левую сторону. Живу. Каждый день по два раза посылают

на кулинарную куфню. К вечеру ноги, как чугунные. Разуюсь, сижу под водопроводом. Сапоги убирают в уборную. Курить не дают. Перешел к зятю, от зятя к другой невестке — эта тоже начала воспитывать: «Вы, папаша, совсем темная личность. Культуры не знаете». Хорошо, буду учиться городскому обхождению. Я понятливый. Выучился, поумнел — опять неладно! «Вы, папаша, больно много знать стали!» Не любят ни такого, ни этакого! За что не любят? Мало знаю — ругают, много — боятся. Ухожу от греха сам в себя. Невесткам опять неладно! Опять недовольны: «Вы, папаша, совсем бессовестный, мы вам добра хотим, вы — сами в себя». Думаю своей головой: «Это вам же лучше, что ухожу сам в себя! Вам же, дурочки, надежнее! А ну-ка бы я начал наоборот, из себя выходить? Что бы тогда в семье было?..»

4. Разжился

Обидней всего — назвали бессовестным. Ночами не сплю. Может, и правда мало во мне совести-то? Надо, думаю, разжиться. Беру хозяйственную сумку, иду на рынок. В этой толкучке ни у кого совести нет. Ладно. Может, из-под полы где достану? Поспрашивал. Старушка какая-то посоветовала: «Садись вот на такой-то автобус».

Поехал, стучусь в первом доме. Выходит гражданин, тапочки на босу ногу: «Была, говорит, да всю продал. Еще до праздника. Деньги были очень нужны». Брюхо почесал, дверями хлопнул. Я — в другой дом. Так и так, в цене не постою. Пожалуйста, говорят. Можем продать, сколько надо. Только деньги сразу. Я обрадовался: «Конечно! Конечно!» — «Давай посудину!» Рассчитался честь честью, прихожу на квартиру. К невестке. Та не обращает вниманья, ехидничает: «Ишь, какой совестливый стал папаша-то!»

Домой приехал, сумку в погреб. Лежит третий год.

5. Веселая жизнь

Съездил не зря, потому что понял цель жизни. Основную. Какая цель-то? Как тебе сказать... Не каждый, пожалуй, поймет. Я, конечно, не про тебя, а так, в общем. Жить научил зятев сосед. Последние-то дни меня уж и ночевать не пускали. Иди, говорят, куда хошь. И глаза не мозоль. Ночевать где-то надо. Я к зятеву соседу, мужик вроде душевный. Утром пробудились — хлеба нет. Чай пить не с чем. «Иди, говорит, дедушко, сдай бутылки». Я бутылки сдал, купил батонов. Он говорит: «Здря! Надо было на эти деньги купить вина. Жить не умеешь, дедко. Я, говорит, все время так. Бутылки сдам, на эти деньги куплю вина. Чтоб бутылок еще больше, чтобы еще больше сдать. Вот уж десять годов ничего не делаю». Я подумал: а ведь и правда!

Домой приехал, попробовал новый способ. Получилось. Веселая пошла жизнь! Пенсию не трогаю, все до копейки идет на книжку. Пяток бутылок сдам, а шесть покупаю. Выпьешь их, у тебя уж не пять, а шесть. Шесть сдашь, покупаешь семь. Дело прибыльное. Пей, сдавай, покупай, опять сдавай — ходишь все время веселый. Заботушки никакой. На давление со стороны не обращаешь вниманья. Мужики увидели такое дело, все перешли на мой способ. «Вот, говорят, Баракхостов, тебе спасибо! Научил, как жить». То-то, говорю, со мной не пропадешь.

6. Листки перепутал

В первый раз я умирал сам, по своей воле. А тут вдруг почувствовал: скоро придется помирать принудительно. Утром погляжу на численник, на календарь-то. Оторву вчерашний листок—дня как не бывало. Чувствую, осталось еще деньков считанное количество... Листочки как будто сами и сыплются. Я их в берестяную пестерку складываю, сам думаю: а, на хрена было и канитель заводить! Ежели все равно умирать...

Один раз утром еле-еле встал. Листок оторвал, да и полетел, голова закружилась, ноги подкосились. Вижу — всё! Приходит конец взаправду. Сегодня умру, как пить дать, умру. Тут уж обратно не убежать. Всё. Лежу на кровати, воздуху все меньше и меньше. В последний момент вспомнил, что я Барахвостов. Вспомнил, до календаря на карачках дополз, встал. Листок-то оторвал от численника, а после... после взял, да обратно и приклеил! В этот день не умер, на другой день приклеил позавчерашний листок. Опять день выжил. Начал приклеивать обратные числа. Начал жить в обратном направлении. Как утро, так листок и приклею. Пошел взад. Обратно к молодому возрасту. Вот уж и от пенсии отказали, говорят, стал молодой. Вышел из старого возраста. Работу стали давать опять потяжелше. Обжился. Чай пью самосильно. Кадушки делаю. Как думаешь, дальше-то пятиться? Уж больно заманчиво. Праздников стало много. Вон сегодня Первый май. А ну, Виринея, подавай новый костюм! Чего? Еще до Восьмого марта неделя? Ну, это я, видать, листки перепутал. А ты не трогай больше мою пестерочку. Ищи для наперстков другую посуду.

7. Дело заглохло

Еще думаю выписать посылкой один особый корень. Говорят, растет где-то в Китае, около самого Маодзедуна. Слышь, Виринея? Он, прохвост, Маодзедун-от, думаешь, почему долго живет? И ребятишки у него всё еще копятя. Корень, корень ему помогает! На вид вроде нашей редьки, и витаминов в нем очень много. Еще думаю делать физкультурные телодвиженья, а зимой заместо бани лазать голышом в прорубь. Возьму пешню, пошире распешаю и каждый день по два раза. Утром и вечером. Говорят, очень помогает.

А что? Вот худо только, не стало в колхозе работы по моей специальности. Русских печек осталось считанные единицы. Мерзнут, как воробьи в крещенье, а печи подай новомодные. Зато в передовиках. Печнику стало делать нечего, поневоле начнешь бухтины выдумывать. А меня еще до войны многие писатели за бухтины вином поили. Такой был мастак завирального дела. Оне у меня бухтины записывали, а грамотки посылали в Москву. Когда я первый раз умер, дак в Москве-то схватились за голову: «Ах! Ох! Как оконфузились! Почему Барахвостова проспали, не устеклили? Надо было его в больницу повалить, все ревматизмы вылечить». Дурачки! Где вы раньше-то были? Ну, постановили послать следом за мной человека, чтобы там, кровь из носу, меня найти и все бухтины, какие при мне остались, записать на блокнот. Уж и командировку ему выписали. А я — возьми да воскресни. У них весь интерес к бухтинам сразу пропал, дело заглохло.

А зимой вечера долгие, начал я рассказывать бухтины своим мужикам. Вдруг — бумага из области: «Прекратит разбазариванье бухтин! Барахвостова остановить!» Прибывает из района нарочный, берут поня-

того. Приходят на квартиру: «Товарищ Бархвостов!» — «Я за него». — «Приказано все бухтины у вас описать, принять под расписку». — «Что вы, ребята!» — «Не разводи частную собственность!» Делать нечего — сдал. Теперь по вечерам дома сижу, помалкиваю.

* * *

Итого бухтин штук: рассказано шестьдесят, предлагается читателю сорок две. Восемнадцать бухтин автором из рукописи выпущено по причине неудобных слов и сюжетов. Кроме того, из представленных читателю бухтин намеренно выпущены чересчур вольные в слогe — в виде так называемых баек и пригоношек, которые, кстати, не имеют самостоятельного значения и рассказаны К. И. Бархвостовым как бы попутно и для разгону. (*Прим. автора.*)



ЛЕОНИД ИВАНОВ

★

МАРТОВСКИЕ ВСХОДЫ

I

День, когда я познакомился с решениями мартовского Пленума ЦК партии, для меня, как и для каждого, кто интересуется, «болеет» делами нашего сельского хозяйства, был днем памятным. До этого мне доводилось не раз бывать и в сибирских и среднерусских селах, и я знал, что этого решения на селе ждали. Ждали всюду. Сразу же после октябрьского Пленума ЦК стало ясно, что неизбежны перемены и в сельском хозяйстве. Об этом сельские работники толковали между собой, размышляли о характере, о сути этих перемен, высказывали свои мечты.

Когда решения были опубликованы, я стал прикидывать, оправдались ли эти мечты. И пришел к выводу, что меры по дальнейшему подъему сельского хозяйства, намеченные решениями мартовского Пленума, кое в чем даже превзошли мечтания. В Сибири, к примеру, о повышении закупочной цены на зерно особенно-то и не говорили: в большинстве хозяйств даже при средних урожаях производство зерна было прибыльным делом. А вот о поощрительной оплате за зерно, проданное сверх плана, говорили везде. И вот пожалуйста: за сверхплановое — полуторная цена! Да и за плановое цена приподнята значительно. О повышении закупочной цены на мясо тоже говорили везде, потому что производство его в большинстве хозяйств было убыточным. Но о такой высокой цене, которая устанавливалась теперь, не мечтали...

И захотелось поехать на село, чтобы поговорить с людьми, своими глазами увидеть, как там восприняты новые важные решения.

Куда же лучше поехать? У меня порядочно знакомых среди директоров совхозов, председателей колхозов, специалистов, партийных работников. К кому же в первую очередь заглянуть, с кем поделиться мыслями?

И это был для меня не праздный вопрос: ведь за предшествующие годы переменились некоторые мои знакомые. В пору «волевого руководства», при шаблонных установках сверху, характер людей складывался по-разному. Многие руководители и специалисты длительное время сопротивлялись шаблону и в агротехнике и вообще в ведении производства. Но ведь всем им изо дня в день «вправляли мозги». И некоторые махнули рукой, стали постепенно сдаваться: пусть будет так, как вам хочется. И, к сожалению, таких оказалось порядочно, особенно среди молодых.

Но потом я заметил, что некоторые уступили только внешне. Приняв смиренный вид, они не выступали против шаблонных рекомендаций, видимо, считали совершенно бесполезным тратить на это силы. Но у себя в хозяйстве действовали так, как считали лучше для урожая, для всего производства. В Омской области я мог бы назвать нескольких директоров совхозов и председателей колхозов, которые сумели сохранить правильные севообороты, ранее освоенные у

них, и чистые пары, получившие название «подпольных», потому что в сводках они не значились. Люди шли на заведомую ложь. Но это ведь была, можно сказать, святая ложь.

Но были и такие руководители, которые с легкостью неимоверной принимали к исполнению любые установки: сеяли в сроки, предписываемые сверху, вводили любую подсказанную структуру посевных площадей, уничтожали многолетние травы, бездумно закупали «елочки» и «карусели», мало думая об экономических результатах. И таким вот руководителям жилось лучше, спокойнее, они никогда не попадали под удар, даже если и урожая не выращивали и снижали продуктивность коров. Они были механическими исполнителями. Именно они-то и нанесли наибольший вред нашему сельскому хозяйству.

Ясное дело, не к ним же в первую очередь ехать. Они наверняка сейчас в растрепанных чувствах. Решения Пленума требуют самостоятельных действий, ответственных решений, а люди эти уже отвыкли решать ответственно, приучились лишь механически выполнять предписанное: косить на свал зеленые еще хлеба, если установлен пятидневный график косовицы, сеять хлеб в мерзлую землю, если есть установка на ранний сев. Они все могли — лишь бы был на то указ. Каково им сейчас? Ведь не так просто самостоятельно думать, отстаивать правое дело, ежели длительное время они отучивались от самостоятельности.

Конечно, понаблюдать за людьми такого типа интересно, но ехать сейчас к таким к чему?

Перебрал я в памяти людей другого характера и решил: поеду к своему давнему другу Григорию Яковлевичу Виричу. Он директор одного из крупнейших совхозов нашей Омской области — «Сосновского». Человек неумной энергии. В поисках нового исколесил всю страну вдоль и поперек. Правда, не всякая новинка сразу же давала у него эффект. И получалось так, что с каждой привезенной новинкой он как бы привозил и наказание себе: «поставить на вид», а то и «выговор». Но, получив высканье, мчался опять, чтобы разгадать все же секрет успеха того самого дела, за которое только что схлопотал наказание. И в конце концов находил! Выговоров и других высканий на счету Вирича скопилось порядочно. И уже при вынесении очередного иногда задумывались: а стоит ли? Добавка к десятку уже записанных высканий ничего не даст. И махали рукой.

Истоки некоторых выговоров я знал.

Когда в области развернулась кампания за ликвидацию коров в личной собственности рабочих совхозов и колхозников, Виричу в числе первых предложили «провернуть» это мероприятие. Вирич запротивился, доказывал, что нельзя лишать сельского жителя коровы. Тогда ведь ничто уже не удержит его от ухода в город или в любой рабочий поселок, тем более что и заработки там повыше, чем в совхозе, да и быт, культура и тому подобное получше. Но эти доводы тогда оценили как «отсталые настроения». Прошло некоторое время. Вирича вызвали с отчетом: как выполнено указание? А он и не думал его выполнять. Снова горячо доказывал он неразумность такого шага, просил снисхождения для совхоза, потому что к хозяйству только что прирезали земли нескольких колхозов, а бывшим колхозникам особенно трудно без коровы. И снова схлопотал выговор. Да еще и предупреждение: если не выполнит указания, будет наказан более строго. Что же делает Вирич? На другой же день отвозит свою собственную корову на мясокомбинат. Уговорил некоторых помощников и специалистов поступить так же, у рабочих же коров не тронул. И получил новое высканье с еще более строгим предупреждением. Но и на этот раз ответил так: можете снять меня с директорства, но своими руками глупого дела не совершу. И Вирича вот-вот должны были уже снять, да неожиданно повезло: горячка с ликвидацией коров прошла...

Человек образованный, начитанный, Вирич раньше многих других понял, что отставание культуры на селе скажется во всем. Посоветовавшись со своими помощниками, решил он строить Дом культуры, но многочисленные ходатайства об отпуске средств на это строительство поддержки не встретили. И Вирич **пошел** на риск. Вместе с партийной и общественными организациями подняли **совхоз-**

ную молодежь на воскресники, заложили фундамент. А потом пришли строители. Но росли стены здания — и прибавлялись новые взыскания в личном деле Вирича. В 1964 году Дворец культуры в «Сосновском» все же был открыт. Пожалуй, самый лучший в области, ничем не уступающий городским сооружениям подобного типа: зрительный зал на пятьсот двадцать мест, комнаты для занятий различных кружков...

Я, понятно, знал не о всех взысканиях, наложенных на Вирича: он не любил рассказывать о них. Но знал, что были взыскания за отказ сдавать семена и фуражное зерно и за другие проступки. Однако никогда Вирича не обвиняли в каких-то корыстных поступках, связанных с личными интересами. Страдал он, можно сказать, за общее дело.

Вспомнилось мне и еще одно. Двадцать лет назад работал я заместителем директора Омского треста совхозов. Вирич и тогда был директором одного из наших совхозов. Когда я перешел на работу в газету, то порекомендовал на свое место Вирича. Он и на этом посту быстро проявил себя способным руководителем, а года через два стал директором треста. В этом не было ничего удивительного: с его-то опытом да с его неиссякаемой энергией ему и не такой пост можно было доверить! Но излишняя горячность подвела Вирича. Однажды от него потребовали, чтобы совхозы сдали на элеваторы все фуражное зерно. Вирич сопротивлялся, доказывал, что это неразумно, что без концентратов теряются ценнейшие качества племенных животных, сорвется план по производству молока и мяса. А когда его доводы во внимание не приняли, написал официальное письмо на имя секретаря обкома, в котором по своей горячности высказал все, что думал по этому поводу: что, мол, разорять совхозы могут только недруги советской власти. В тот же день Вирич был снят с поста директора треста. Но письмо его, посланное им в копии в ЦК, впоследствии сделало свое доброе дело: фуражное зерно из животноводческих совхозов забирать запретили. Вирич радовался: в Москве правильно рассудили и спасли совхозы. И не очень переживал, что лишился высокого поста. Попросился на работу в совхоз. Вот с того-то времени он и руководит совхозом «Сосновский».

Хозяйство это, можно сказать, старинное. Начало ему было положено в 1928—1929 годах. Правда, в период всевозможных реорганизаций от него отрезали большую часть старых земель со всем хозяйством, а к тому, что осталось, присоединили несколько колхозов. И опять совхоз «Сосновский» стал одним из самых крупных хозяйств Сибири: здесь только пахотных угодий более сорока тысяч гектаров, а на фермах более двух тысяч коров, восемь тысяч овец, шесть тысяч свиней, десятки тысяч голов птицы.

С приходом Вирича это огромное хозяйство стало быстро набирать силу, мужало с каждым годом и из убыточного превратилось в рентабельное. Сюда стали наезжать руководители из других районов за опытом. Если ехать — так к Виричу! Вот кто теперь расправит крылья! Интересно послушать человека перед взлетом!

II

Вирича, помнится, я застал в конторе. Сняв очки, он живо поднялся мне навстречу.

— Писатели корм почуяли, на село двинулись... — с улыбкой заметил он.

Рослый, плечистый. Над высоким, уже исчерченным морщинами лбом лохматятся волосы. Когда-то они красиво кудрявились, были смоляно-черными, а теперь поразвились кудри, поределели, поседелели. Но блеск синих глаз такой же задорный, как и двадцать пять лет назад, когда мы познакомились, — тогда Вирич приехал к нам в Сибирь с юга, после института, и работал агрономом в совхозе...

— Как дела? — спросил я.

— Отлично! Теперь, брат, заживем, — весело говорил он, помахивая газетой с постановлением. — Мы тут со специалистами почти всю ночь примеряли да прикидывали...

Он извлек из стола десяток листов бумаги с цифрами. Из его расчетов выходило так: если бы новые цены на зерно, мясо и молоко существовали уже в прошлом году, то совхоз получил бы за фактически проданную продукцию дополнительно 634 тысячи рублей. Тогда и прибыль хозяйства приблизилась бы к миллиону.

— А самое главное — теперь прибыль-то останется в распоряжении хозяйства, пойдет на улучшение быта людей, на расширение производства.

— И не придется тебе мудрить да выкручиваться, как с постройкой Дворца культуры.

— Э, нет, теперь все будет законно и правильно. Все пойдет нынче по-другому! Что ты! Такие огромные дополнительные вложения в сельское хозяйство! Но самое главное — есть в этих решениях еще и то, что не требует ни копейки затрат, но сыграет роль не меньшую, чем все эти огромные капиталовложения. Понимаешь, о чем говорю? О доверии! При таком доверии знаешь сколько дел повернуть можно!

Я спросил: как же он намерен воспользоваться своими новыми правами?

— А мы за одни сутки все свои права уже в ход пустили,— рассмеялся Вирич.— А может, зря нам так много доверили. Знаешь, как сразу фантазия заиграла, только бы дров не наломать...

И он заговорил о своих планах. По всему видно, что они родились не за последние сутки, а давно уже разрабатывались на всякий случай. Он говорил о более узкой специализации животноводства, о новых севооборотах, о более выгодном наборе культур, о новом строительстве.

Приятно было слушать размечтавшегося директора. А он был твердо уверен в исполнении задуманного. Намечал расширение основных отраслей хозяйства, небывалое строительство — и плановое, так как вложения государства сильно увеличивались, и сверхплановое, так как прибыли теперь будут в распоряжении директора. А что прибыли будут высокими, Вирич не сомневался.

Я слушал, а в голове вертелась неотвязная мысль: хозяйство будет расширяться, много надо строить, а где взять людей? В Сибири это едва ли не самая острая проблема. Я высказал ее.

— Эту проблему мы решим, — твердо сказал Вирич.

— А как?

— Решать ее, конечно, придется одновременно с двух сторон, понимаешь? С одной стороны — совершенствовать механизацию производства, тут огромные резервы! А с другой стороны — улучшать материальные, бытовые и культурные условия для работников совхоза. В постановлении же ясно сказано: сближать с городом! Вот мы и будем сближать, — улыбаясь, заключил Вирич.

III

В 1966 году приехал я к Виричу снова — очень уж хотелось посмотреть, как идут дела в совхозе «Сосновский».

Сентябрь в том году выдался удивительно солнечным и теплым. Этот месяц в Сибири самый трудовой: убираются хлеба, кормовые культуры, картофель, готовится земля под будущий урожай, много и других неотложных работ. Но сентябрь в Сибири чаще всего бывает дождливым, и тогда вдвое, втрое усложняется уборка: хлеба или переставивают на корню, или гниют в валках, то и другое приводит к потерям выращенного урожая. В непогожие дни все силы направлены на спасение хлеба, а другие работы откладываются. Потому-то погожий сентябрь радует каждого!

В совхоз «Сосновский» я ехал автобусом. Помнится, Вирич настойчиво добивался регулярной связи совхоза с городом. И вот победил! Как сказал мой сосед, автобус ходит в город три раза в день.

Кругом, сколько видит глаз, кипит работа: движутся комбайны, грузовики. Слева виден обширный ток. Там много людей. Наверняка горожане. Конечно, горожане: на многих лыжные костюмы, косыночки...

Свернув направо, автобус покати́л по хорошо утрамбованному шоссе. На этот раз в совхоз «Сосновский» въезжал я как бы с тыла — через его отделения.

Начались поля совхоза — ровные, почти квадратные, в ряде мест границы полей обрамлены молодыми лесополосами. На некоторых полях стоят лишь копны соломы. А на некоторых и соломы уже нет: по ним ползают тракторы — пащут зябь. А вот поле рослой пшеницы. Пассажиры повернули головы в сторону этой пшеницы, слышались одобрительные возгласы:

— Центнеров по двадцать будет!

— Если не больше...

И сразу же ревнивый голос:

— И в нашем отделении есть массивы не хуже.

Но что это? Несколько комбайнов косят напрямую. Такую рослую-то пшеницу? Странно. Ведь много лет хлеба и в Сибири убирались только раздельным способом. Строго наказывали тех, кто нарушал эту установку. Потом было послабление: низкорослые хлеба разрешалось косить и напрямую. Ведь низкорослые просто губили раздельной уборкой — косить-то косят, а подобрать и половины не подберут: подборщик не захватывает колоски, проваливающиеся сквозь стерню на землю. Но косить напрямую высокорослую? А на соседнем поле четыре комбайна подбирали валки. То и дело слышны тревожные сигналы комбайнов. При таком добром хлебе трудно успевать с отвозкой намолоченного зерна.

Показались постройки отделения совхоза. Я ищу глазами ток. В разгар уборки это самое людное место. Ищу и не нахожу. Где же ток? Верно, ближе к полю перенесли. Спросил соседа.

— А в этом отделении токов теперь нет, — услышал я ответ.

Когда проезжали через другое отделение, сосед пояснил:

— И в этом нет токов...

Что же получается? Тока, выходит, не приблизили к полям, как я подумал, а отдалили? Странно...

Миновав березовый колок, мы оказались вблизи центральной усадьбы. Автобус остановился у конторы — конечный пункт.

Как я и думал, Вирича в конторе не было. Но ошибся в другом: думал, что он на полях, потому что в разгар уборки урожай где же быть директору? А мне сказали: директор на стройке возле Дворца культуры, почти рядом с конторой.

Вирич был в окружении спорящих о чем-то людей. Увидев меня, он протянул руку и примирительным тоном заключил:

— Ладно, вечером доспорим! Хотя нет, не вечером, а завтра утром, а сейчас по местам. — Обращаясь ко мне, он пояснил: — Вот задачу решаем: как лучше построить спортивный зал, чтобы всем физкультурникам потрафить...

— О чем же спор?

— Да вот видишь какое дело, — стал рассказывать Вирич, когда мы шагли к конторе. — Ищали мы проект спортивного зала — без проекта же теперь строить нельзя! Но для села таких проектов нет. Тогда мы решили скопировать спортивный зал института физкультуры. Всем, кажется, угодили. И тем, кто увлекается волейболом, баскетболом, ручным мячом и даже футболом, могут и зимой тренироваться, правда только в одни ворота. А борцы наши в претензии — арены нет. Вот и спорили: как арену для борцов соорудить?

Мне рассказывали, что, когда построили и открыли совхозный Дворец культуры, сразу же начали создавать всевозможные кружки: драматический, музыкальный, танцевальный, шахматный, вокальный. Но вот беда — кто будет учить музыке, танцам, пению? Уговорили в городе нужных преподавателей и дважды в неделю привозили их в Сосновское для занятий с совхозными музыкантами, танцорами. Я поинтересовался: как обстоит теперь у них с этим делом?

— Теперь всеми кружками и коллективами свои руководят, доморощенные. Городские нам хорошо помогли. А вот нынче спортивным залом занялись. Ничего, и зал у нас будет что надо! В едином комплексе с Дворцом культуры, переход сделаем...

— А строите-то хоть на законных основаниях?

— Теперь все законно... Нынче урожай-то знаешь какой? Сто пудов с гектара!

— Значит, фундамент заложен под будущие прибыли?

— А ты как думал?— усмехнулся Вирич.— Доходы от нас теперь не уйдут. Прибыли подсчитаны, за миллион рублей перевалят. А спортивный зал обойдется тысяч в сто. Так что все реально.

Вирич подвел меня к доске показателей:

— Видишь, две трети хлебов уже обмолочено.

— Потому директора и нет на полях в разгар уборки?

— Ты, случаем, не уполномоченный?— рассмеялся Вирич.— Давно ли нашим братом командовали всякие уполномоченные? А сами-то они часто в деле нашем не больно разбирались. Теперь и уполномоченных нет, а я в страдную пору могу и стройкой заниматься, и подготовкой к зиме. Вот ведь какое время пришло: директору в разгар уборки делать на полях нечего! Помощники научились сами решать все свои вопросы, зачем же им мешать?

— А что у вас с токами произошло? В двух отделениях их вовсе нет.

— Не в двух, а в шести отделениях нет токов! У нас на весь совхоз теперь только два тока. Разве ты не знал этого?

Зайдя в контору, мы продолжали разговор. Я поинтересовался, как горожане помогают в уборке урожая.

— А никак не помогают. Ни одного не взяли нынче, хотя по разрядке нам было назначено человек четыреста.

Это уже было для меня полной неожиданностью. Вчера еще редактор областной газеты, узнав, что я еду в совхоз, попросил написать им о горожанах на уборке. Я пообещал, а оказывается, писать-то не о ком. Тысячи горожан, все студенты выехали из Омска на уборку, а в самом крупном хозяйстве области ни единого горожанина? Как же это так?

— Отстал ты, брат! Вот покажу тебе наш ток — сам все поймешь. А какие еще у тебя вопросы ко мне есть?

Вопросы, конечно, были. Прежде всего, что делается, чтоб создать постоянные кадры в совхозе.

— Ты же знаешь — заработки, всяческие материальные стимулирования — в общем, экономическая база для этого у нас неплохая. Но не хлебом единым жив человек. Вот и забочусь сейчас, сам видишь, о пище духовной... В нашем Дворце культуры ты ведь бывал,— продолжал Вирич.— Просторная сцена, большой зрительный зал привлекают городских артистов. Они в первую очередь едут к нам со своими постановками. В прошлом году — помнишь, в газете писали — театр музкомедии даже премьеру нового спектакля с нас начал. И приезжие московские артисты жалуют... Но главное все же делается у нас в тех десяти комнатах, что под кружковые занятия отведены. В хоре у нас больше ста человек. Танцевальный коллектив тоже разросся, желающих много. Вечерами, особенно зимой, во всех комнатах жизнь кипит. В бильярдной два стола у нас, а на игру всегда очередь... Ну, это развлечение. А вот кружки кройки и шитья. Сперва создали один на тридцать человек, купили швейные машинки, подыскали руководителя. Зимой уже сразу три кружка действовали, девяносто человек! Женщины в один голос требуют: учите шить! Но тут возникают и вопросы, которые нам разрешить не под силу,— заметил Вирич.— Теперь сибирские совхозы и колхозы живут много богаче, доходы их растут, везде возводят клубы, культурные и бытовые учреждения. Кто будет возглавлять культурную работу на селе, кто будет прививать культуру и физкультуру людям деревни?

В самом деле, кто?— задумался и я. В омских областных организациях как-то прикинули: в ближайшие пять лет армия культработников на селе должна возрасти почти на три тысячи человек — заведующие клубами и домами культуры, библиотечкари, хормейстеры, хореографы, музыкальные руководители, организаторы художественной самодеятельности. И это в пределах уже установ-

ленных штатов! А готовится за год лишь несколько десятков, на село же попадают единицы. И не случайно в сельских библиотеках и клубах области значительная часть работников культурного фронта не имеет не только специальной подготовки, но и среднего образования. Хорошо, что в совхозе «Сосновский» сумели подготовить с помощью городских преподавателей собственных культработников. Но ведь не у всех такие возможности.

— Для начала селу должен сильно помочь город, надо разжечь пускач, а потом и главный мотор заработает... Как по-твоему — помогает закреплению кадров наш Дворец культуры со всеми своими приложениями?

— Да он-то всего два года действует, он еще не мог...

— Подожди, подожди! — перебил меня Вирич. — Но ведь все годы, пока мы его строили, наши люди знали: будет он! Это же важно. Нужно только, чтоб культурной работой в совхозе руководили, чтоб этим занимались высокообразованные люди. Я ходатайствовал уже перед Москвой учредить штатную должность заместителя директора совхоза по культуре! Да-да, по культуре! Чтобы он занимался организацией культурно-просветительной работы в отделениях, в главной усадьбе. Как думаешь, разрешат?

Я выразил сомнение, и Вирич назвал меня маловеком. Ничего подобного мне еще ни от кого не приходилось слышать, а Вирич не просто думал о таких вещах, а уже и поставил в столице этот вопрос.

Я перевел разговор на бытовую сторону жизни сосновцев. И тут Виричу тоже было что мне рассказать. Для специалистов возведены двухэтажные дома со всеми удобствами — паровое отопление, газ. В будущем году завершится газификация всех квартир, а сейчас газифицирована почти тысяча квартир, осталось двести с небольшим. Пришлось директору выделить несколько машин специально для доставки газовых баллонов из города. Телевизоры скоро чуть ли не в каждой семье будут.

— А сколько новых домов строится! — хвалился Вирич. — В отделениях особенно. Ты обязательно посмотри, какие дома теперь там строят — на три-четыре комнаты и попросторнее. На мебель только вот и половины заявок не может торговля удовлетворить.

— А личные хозяйства как?

— Специалисты наши отказались от коров и свиней не заводят, потому и переселились в двухэтажные дома городского типа. А рабочие пока держат и коров и свиней. Почти каждая семья. В прошлом году мы продали рабочим около трех тысяч поросят! Специально держим разовых свиноматок, чтобы обеспечивать рабочих поросятами. А как же иначе? Возьми вот и прикинь, ты же экономистом когда-то был... Рабочие только одного нашего совхоза откормят за год три тысячи свиней, пусть половину сами съедят, но половину-то продадут государству или на рынке, а это ведь больше тысячи центнеров чистого мяса, при том до-ба-воч-но-го! А молочные продукты!

Верно, это лишнее доказательство того, что нельзя было сбрасывать со счета возможности личного хозяйства. В самом деле: если бы не было у рабочих совхоза «Сосновский» этих трех тысяч свиней и тысячи коров, которых они теперь имеют, сколько бы пришлось завозить сюда продуктов из государственных фондов? Да и для обслуживания этих тысяч коров и поросят, будь они в совхозе, потребовались бы дополнительные люди, помещения, корма. А теперь-то это стадо обслуживается как бы между прочим.

Зазвонил телефон. Вирич поднял трубку:

— Нет, нет, я помню... Приеду точно! — Положив трубку, сказал: — Напоминают, что сегодня бюро райкома, а меня ввели в бюро...

Вот как! Это приятная новость. Значит, все ранее «заработанные» выгоды сняты? Тогда Виричу легче будет в полете!

— У меня в запасе полтора часа, — сказал он, поднимаясь. — Могу показать тебе наш механизированный комбинат.

У конторы стоял «газик» — рабочая машина Вирича. Сидя за рулем, он го-

ворил о том, как трудно вести культурную работу в отделениях совхоза. В этих небольших населенных пунктах строить современные клубы, разумеется, нет резона. Но ведь люди, живущие там, вправе требовать и получать свою «долю» культуры? Где выход?

— Надо его искать. Ведь даже у нас наблюдается текучесть кадров, какая-то часть людей уходит, заменяется другими. И уходят в первую очередь с отделений. Вот недавно пришлось удовлетворить просьбу хорошего работника. У него четыре школьника, все уже в старших классах, а в пятом отделении только начальная школа, вот и приходится всех четверых отправлять в центральную усадьбу.

— У вас же огромный интернат!

— В интернате у нас двести пятьдесят ребят живет, но ведь не бесплатно же? А содержать в интернате четверых, сам понимаешь, накладно. Вот и нашел себе работу такую, где рядом средняя школа. И молодежь в отделениях хуже задерживается. В центральной усадьбе у нас молодежи полно, а там не очень...

Вопрос об отдаленных поселках колхозов и совхозов, конечно, сложный, но тем большего внимания он заслуживает. Возьмите любой колхоз или совхоз Сибири, сравните, как отстроены центральные усадьбы и отдаленные от них поселки. Ничего похожего! Очень многие центральные усадьбы совхозов напоминают скорее город, чем село. Там и клубы, и библиотеки, и магазины, и средние школы, и бани, и больницы. Словом, все необходимое для нормальной жизни. На отдаленных же участках почти ничего этого нет. А ведь главное производство сосредоточено не в центральных усадьбах, а в отделениях, в бригадах, и люди, занятые на главном производстве, вправе рассчитывать на внимание.

— Да, с окраинами много хлопот, — вздыхает Вирич.

Очень точно звучит это его выражение: окраина. Именно на окраинах-то мы и теряем сельских жителей: отсюда больше всего уходят люди, а уж паренька, вернувшегося из армии, на окраину жить калачом не заманишь! Молодежь, окончившую среднюю школу, тоже. В лучшем случае задерживается она в центральной усадьбе, а чаще и усадьбу минет, раз уж стронулся с места. А как же Вирич думает поступить со своими окраинами? В его хозяйстве семь отделений...

— Сложно тут все. Но кой-какие меры принимаем. У нас в четырех отделениях неплохие клубные помещения, все с паровым отоплением и оборудованы прилично. В двух начали нынче строить новые клубы. В пяти отделениях — свои библиотеки. В одном из отделений будем строить Дом культуры с таким расчетом, чтобы сюда могли приезжать жители еще двух соседних поселков. В первом отделении сооружаем среднюю школу, а к первому тяготеют еще три, так что для ребятшек будет все нормально. И в остальном стараемся все делать, как и в центральной усадьбе. Газ у всех теперь будет, бани тоже. Вообще-то на многих наших окраинах люди живут побогаче, чем в центральной усадьбе. Это точно! Многие в собственных домах, а дома, я тебе говорил уже, перестраивают, расширяют. Там повольготней насчет содержания скота, садов своих побольше, пчел многие держат. Так что кое-какая компенсация есть... Но, конечно, на окраины надо обратить особое внимание. Когда хороший концерт самодеятельности во Дворце культуры или когда приезжают артисты, мы на машинах свозим людей из отделений в усадьбу. У нас давно уже так заведено. Ну, и насчет работы кое-что уже упорядочено, летние таборы ликвидировали.

— Как, совсем нет полевых станов? — удивился я.

— Неужто жалко тебе их? — усмехнулся Вирич. — Это ведь только ваш брат восторгается ими: и кровати-то там новенькие, и воздух свежий, и кормят отлично, и все такое. А на самом-то деле только от большой нужды можно держаться за полевые станы. Подумай-ка сам: в стане всегда шумно. То повариха чуть свет начинает греметь посудой, то кто-то приехал на тракторе или заводит его, то кто-то молотком стучит, ремонтирует свою машину. Так что отдыху нет у людей. А теперь другое возьми: бывало, механизаторы и

полеводы в табор уезжали на все лето. А ведь у большинства семьи. Кто будет заниматься воспитанием ребятишек? Только матери, а отцы в стороне. Неправильно это. Ну, и таборная жизнь частенько приводила ко всяким нарушениям нормальной семейной жизни, а то и к распаду семей. Словом, мы от таборов отказались! Людей на работу возим на машинах, с работы тоже. А как же иначе? Горожан за пятнадцать, за двадцать километров возят на работу за три-четыре копейки, а сельский житель что же — пешком обязан ходить по пять—десять километров. Нет, это непорядок!

— Бесплатно возите на работу?

— Конечно! И это окупается в десять раз, если хочешь знать. Когда человек пять—семь километров протопает пешком до места работы, какой от него прок? Нет, мы возим бесплатно и полеводов и животноводов. А многие теперь и на своем транспорте ездят на работу. Механизаторы все до единого имеют мотоциклы или автомашины... А вот и наш комбинат показался! — сообщил он.

За разговором время пролетело быстро, мы, оказывается, уже добрались до отделения, где действует механизированный ток. Вирич назвал его комбинатом.

На первый взгляд ничего особенного: обнесенная оградой обширная площадка, в центре которой несколько строений типа складских. Но в отличие от обычных токов здесь не видно людей. Да и зерна не видно вовсе, хотя полные доверху грузовики то и дело вкатываются на автовесы, установленные у въезда на площадку.

Выйдя из машины, Вирич сказал:

— Чтобы тебе нагляднее было, проследим путь зерна вот от этой машины. — Он показал на только что прибывший самосвал с зерном.

Мы направились к первой постройке. Оттуда доносился шум работающих машин — глухой, размеренный.

Самосвал, съехав с автовесов, подкатил к завальной яме, развернулся и задом въехал на специальное устройство, называемое автопрокидывателем. Водитель нажал на рычаг, и зерно посыпалось широкой мощной струей. Минута — полторы — и трехтонная машина разгружена.

— На разгрузку бортовой машины затрачивается чуть побольше, — заметил Вирич. — Но не больше трех минут.

Самосвал умчался в поле, его место заняла бортовая машина. Я заметил по часам: да, три минуты...

А зерно, ссыпанное в завальную яму, с помощью специальных устройств поднимается вверх, а оттуда самотеком поступает на мощные сортировки. Отсортированное же подается в огромный сорокатонный бункер.

Все это поясняет мне Вирич, пока мы шагаем вдоль механизированной линии.

— А если зерно влажное?

— Это не имеет большого значения. Если нужна огневая сушка, то после сортировки зерно сначала поступает вон на тот, — он показал на мощные сушилки, — счетверенный агрегат. Оттуда, после просушки, опять на сортировки и затем в бункер. Но нынче погода хорошая, огневой сушки не требуется.

Когда мы дошли до бункера, к нему подкатил порожний грузовик. Поставив кузов под выгрузной люк бункера, водитель дернул за рычаг, люк приоткрылся, и зерно сильной струей полилось в кузов. Две-три минуты — кузов полон. Еще через минуту грузовик уже на автовесах. Все удивительно просто!

— Теперь понял? — спрашивает Вирич. — То-то! Этот комбинат за сутки может отсортировать семьсот тонн зерна! А на центральном току сортировки еще мощнее, там до тысячи тонн в сутки можно отсортировать.

Я мысленно прикидываю: тысяча семьсот тонн за сутки — это же сто тысяч пудов. Даже при стопудовом урожае два таких механизированных амбара успеют переработать за день зерно с тысячи гектаров. Великолепно!

Вирич продолжает вводить меня в курс дела. Когда додумались до сооружения таких механизированных комбинатов, то решили ликвидировать тока в от-

делениях. Теперь все зерно из семи отделений сразу от комбайнов доставляется на два механизированных комбината. Сколько же они экономят труда и средств? — подумал я.

— Экономия тут огромная, — словно прочитав мои мысли, говорит Вирич. — Мы прикидывали. Когда у нас действовало восемь токов, включая и центральный, то на одну смену требовалось триста—триста пятьдесят человек, а теперь в одной смене на двух токах всего восемь человек. Правда, когда приходится включать зерносушилки, то прибавляется по два кочегара.

Подумать только: триста человек и восемь или максимум двенадцать! Но ведь и не только это. Что такое восемь токов? Это восемь заведующих, шестнадцать весовщиков, восемь учетчиков, сторожа. Да и автовесов требовалось восемь...

Теперь понятно, почему здесь не боятся убирать прямым комбайнированием даже рослые хлеба: если зерно окажется влажным, его мигом просушат на этом вот комбинате.

— Мы же сами решаем, какой массив как и чем убирать. Агрономы решают... Ведь уборка напрямую почти в два раза дешевле раздельной, — продолжал Вирич.

А я думал в эту минуту о том, что это и есть уже частичное решение задачи создания постоянных кадров работников для совхозов. Отпадает и необходимость отрывать от своей работы горожан. Если Виричу это удалось, то почему же будет не под силу соорудить механизированные комбинаты в других хозяйствах? По два на хозяйство. Тут есть над чем подумать и руководителям областей, и Министерству сельского хозяйства. Только не очень бы откладывать и раздумья, и практическое претворение в жизнь результатов раздумий.

К Виричу подошел рослый мужчина в комбинезоне. Григорий Яковлевич представил:

— Главный механик комбината...

Механик посетовал: маловато машин для отгрузки зерна на элеватор. Из-за этого приходится отсортированное зерно направлять по рукам мимо бункера в соседний зерносклад. А там на погрузку его в машины потребуются больше затрат, потому что хотя и грузят с помощью зернопогрузчика, но времени уходит в пять раз больше, чем при погрузке из бункера. К тому же требуется дополнительный рабочий у зернопогрузчика.

— Вот видишь как, — обращаясь ко мне, сказал Вирич. — Нарушена комплексная механизация, поточная линия — и уже возникает необходимость в дополнительных затратах, а их можно бы избежать. Плохо у нас планируется сельское хозяйство, — неожиданно заключил Вирич. — В промышленности все делается в комплексе, а у нас машин хватает, только чтоб отвезти зерно от комбайнов, а на элеватор по ночам возим. Шоферы по двадцать часов в сутки вынуждены работать. В полеводстве у нас теперь, можно сказать, есть комплексная механизация, особенно в зерновом производстве. Там все делается машинами. А вот на завершающем этапе смекалки не хватило.

Верно, если у Вирича в «Сосновском» завершающий этап — подработка и сушка намолоченного зерна — остается отстающим участком, то что говорить о других хозяйствах. Знакомился я как-то с бухгалтерскими отчетами Алтайского края и Омской области. Получалось по ним, что затраты человеческого труда на подработку и сушку зерна равнялись затратам его на уборку и обмолот всего урожая, а в отдельных хозяйствах, где на токах слаба механизация, значительно превышали их. Вот ведь картина-то какая!

Когда мы уходили с тока, я еще раз глянул на сооружение. Оно же в один год оправдает все затраты. Почему же пример «Сосновского» все еще не стал достоянием остальных совхозов и колхозов?

— Вот наладим комплексную механизацию на фермах и тогда — порядок, — уже в машине говорил Вирич. — Мы уж все перепробовали, а главное звено так и не наладим никак, вот беда!

Это звено — раздача кормов скоту.

Все хорошо знают: самый тяжелый труд у доярок — раздача кормов. Однако до недавнего времени главные усилия были направлены на создание машин для доения коров. Машин эти, конечно, нужны, но надо прежде всего думать о самой трудной работе животноводов. Тем более что кормов расходуется все больше и больше. У меня были данные за много лет, они весьма любопытны. Скажем, лет пятнадцать назад в совхозах Омской области на корову в среднем расходовалось около пяти тонн различных кормов (исключая подножный). А в последние годы грубых кормов стали давать мало, потому что производство сена резко сократилось, его заменили силосом. И теперь на корову расходуется уже более восьми тонн кормов. К тому же сейчас доярка и коров обслуживает больше. Вот и выходит, что теперь доярка должна разнести коровам примерно в два раза больше кормов, чем пятнадцать лет назад. Почему же этого никто не замечает? Ведь если бы заметили, то наверное придумали бы нужные механизмы. А пока именно из-за этого женщины не очень охотно идут работать доярками.

Вирич давно уже ищет способы, как облегчить труд животноводов. Применял он и «елочки», первым в области ввел беспривязное содержание коров. За опытом летал и на Кавказ и на Украину. Но не удовлетворило беспривязное содержание: очень уж снизилась продуктивность коров. И теперь он снова был весь в поисках. Коровники несколько раз уже переоборудовал, но ожидаемого результата пока не достиг.

— Худо заботятся о деревне наши изобретатели. В других отраслях чудеса вершат, а вот для деревни умных машин мало, очень мало.

Уже зимой 1967 года узнал я об итогах работы сосновцев в 1966 году. Были они весьма отрадны. Урожай зерновых составил без малого шестнадцать центнеров с каждого из двадцати пяти тысяч гектаров. А хозяйственный год завершен с прибылью, превышающей миллион триста тысяч рублей! Только премий за перевыполнение планов по урожаю и продуктивности животноводства рабочим совхоза выплачено двести тридцать тысяч рублей.

А вскоре новые отрадны сообщения: Вирич награжден орденом Ленина. Правительственных наград удостоены многие рабочие совхоза. И еще: Вирич избран депутатом областного Совета. На организационной сессии он утвержден председателем постоянной комиссии по сельскому хозяйству.

Что ж, кто умеет вести хозяйство, тому и руководить большим делом!

IV

В сентябре шестьдесят восьмого снова решил я заглянуть к Виричу. Поехал на машине, и когда свернул с главного шоссе, то снова покатил по асфальту. Скоро открылся большой поселок, весь в зелени. Некоторые дома выше деревьев поднялись. Среди них знакомый мне Дворец культуры, какие-то новые двухэтажные кирпичные дома и еще трехэтажное здание с большими окнами. Полгода не был я в «Сосновском», а уже у въезда в центральную усадьбу столько нового! Впрочем, где теперь не встретишь заметных изменений в сельском пейзаже? И я подумал: «Ну, конечно, разве может Григорий Яковлевич отставать от других?»

Самый высокий, пока еще не заселенный дом с большими окнами находился как раз напротив конторы совхоза. Это было вполне современное здание из стекла и бетона — видимо, новая контора. Вирич давно собирался объединить под одной крышей все административные и специальные службы совхоза, организовать диспетчерское управление, машинно-счетную станцию. Пока же штаб совхоза по-прежнему располагался в старом одноэтажном здании, построенном почти сорок лет назад.

В кабинете Вирича я застал главных специалистов и секретаря партийной организации Антона Гавриловича Мякишева. Всех я знал в лицо, кроме одного. Вирич тотчас представил его:

— А это наш новый главный инженер Гелий Александрович Кабаков.

После окончания института Кабаков три года работал в совхозе инженером по эксплуатации машин, а совсем недавно назначен главным вместо прежнего, Соловьева, которого выдвинули директором соседнего совхоза. Соловьев далеко не первый из помощников Вирича, выдвинутый на директорский пост. Совхоз «Сосновский» стал в области как бы школой руководящих кадров.

Вирич и его помощники только что вернулись с полей, где прикидывали виды на урожай.

— Каков он нынче? — поинтересовался я.

— Агрономом может доложить, — сказал Вирич.

Сразу стало ясно: урожаем не устраивает Вирича.

Главный агроном Андрей Андреевич Кливер высказал обиду на засуху.

Да, в 1968 году для многих южных районов Омской области погодные условия сложились неблагоприятно. С весны дули сильные ветры, поднимая тучи пыли, были и необычно поздние весенние заморозки. Но самое опасное — засуха и суховей. А что такое суховей, наглядно видно из сопоставления, сделанного главным агрономом: еще на 10 июля они определяли урожай зерновых не менее двенадцати центнеров с гектара. Но затем четыре дня дули сильные ветры при жаре в 35—38 градусов. Многие массивы не выдержали такого сурового испытания.

— Центнеров восемь все же должны взять, — не очень уверенно высказал надежду Кливер.

— Если восемь возьмем, прибыль получим тысяч пятьсот, — резюмировал главный экономист Григорий Терентьевич Олейник.

— А что, если шесть? — резко спросил Олейника Вирич.

— Тогда прибыли может и не быть...

Вот она, арифметика сельскохозяйственного производства.

Но в тяжелый для урожая год особенно наглядны промахи и удачи в агротехнике возделывания хлебов. Я сказал об этом.

— Верно! — воскликнул Вирич. — У нас тут все как на ладони!

Кливер привел примеры: пшеница сеялась по чистому пару, по методу безотвальной пахоты Т. С. Мальцева и по обычной обработке и уродила очень поразному. Одно поле, засеянное пшеницей «мильтурум-553» по чистому пару, обещает не менее тринадцати центнеров с гектара. На зяби, обработанной по Мальцеву, урожай ожидается на три-четыре центнера больше, чем на отвальной зяби.

— Особенно наглядно это на опытном поле, — замечает Андрей Андреевич.

В совхозе давно уже выделен участок в восемьсот гектаров, на котором проводятся всевозможные эксперименты: и по способам обработки земли, и по срокам сева, и другие. И в условиях нынешнего года подтверждается снова и снова: чистые пары, как и безотвальная обработка почвы, себя оправдали безусловно. В «Сосновском» уже давно перешли на правильные севообороты: пятнадцать процентов пашни отведено у них под чистые пары, чуть больше — под многолетние травы.

— И никто не ломает ваших севооборотов? — спрашиваю я не без умысла.

Хотя руководителям хозяйств дано право самим решать, что и как сеять, какие севообороты вводить, но на практике, вплоть до нынешнего года, мне приходилось не раз встречаться с фактами, когда местные руководители все же вторгались в планирование производства. Только потому до сих пор в большинстве хозяйств Сибири и не освоены еще правильные севообороты и каждую весну происходит отклонение от намеченных планов. Если весна благоприятная, то руководители района или области настаивают на расширении посевов под зерновыми: лишнее зерно соберете. А если весна предвещает неблагоприятные условия для урожая, эти же руководители паникуют: плохо уродит, значит, опять-таки надо максимально расширять посевы зерновых, чтобы за счет лишних площадей увеличить валовой сбор. А ведь расширять посевы можно только за счет

сокращения паров или многолетних трав. Но пары идут самым первым полем в севообороте, когда нарушено первое звено, нарушен весь севооборот, значит, устойчивых урожаев ждать бесполезно. Потому-то, думается, в большинстве областей Сибири урожаи зерновых за последние пять-шесть лет по сравнению с предшествующим пятилетием даже снизились, а кое-где и значительно. Например, в Алтайском крае почти на четыре центнера с гектара.

Но Вирич заявил решительно:

— Нет, никто нам не мешал планировать, мы сами намечали, сами утверждали, так что весь спрос за плохой урожай только с нас. Правда, так обстоит дело, может, только с нами потому, что мы подчинены Москве. Мы считаемся хозяйством опытным.

Вполне возможно. Совхоз «Сосновский» подчинен непосредственно Москве. Но сам факт отраден. Руководители этого хозяйства — люди многоопытные и в планировании не ошибутся.

Говоря об урожае, главный агроном часто упоминал о звеньях: в таком-то звене урожай повыше, в таком-то средний. О том, что в совхозе «Сосновский» звеньевая система внедряется давно, я знал. Но, помнится, Вирич говорил как-то, что звенья на зерновых культурах не оправдали себя. Я решил уточнить.

— А у нас на зерновых звеньев уже нет. Они только на технических, — ответил Вирич.

Между прочим, Вирич и здесь отличился. В газетах много писалось о звене Светличного. Вирич тоже ухватился за звенья по выращиванию свеклы и кукурузы. Но звенья эти почему-то распадались. Тогда Вирич поехал к Светличному, упросил его отпустить в совхоз на некоторое время одного из своих помощников, чтобы тот на месте помог советами. И он действительно помог им в организации дела, и теперь все посева свеклы и кукурузы обрабатываются механизированными звеньями.

В совхозе были организованы звенья и по выращиванию зерновых культур. Но тут столкнулись со сложностью: за звеном приходится закреплять одно, максимум два поля севооборота, однако набор культур на каждом поле не постоянен. Если нынче посеяна пшеница, то в следующем году овес или ячмень, затем поле парует или засеивается травами. А когда парует или засеяно травами, звену мало работы. Потому-то вскоре вернулись к бригадам. За каждой бригадой (их-то главный агроном по привычке все еще называл звеном) закреплены все поля одного севооборота — полевого или кормового. В этих условиях бригада заинтересована, чтобы каждое поле севооборота обрабатывалось надлежащим образом. А в бригаде теперь по четырнадцать—шестнадцать механизаторов.

Когда зашла речь о хозяйственном расчете, в разговор включился Олейник. Он изложил порядок заданий бригадам и звеньям по производству продукции и по ее себестоимости, систему поощрения за успешное выполнение заданий. Вот один из примеров: первая и вторая бригады перевыполнили план по урожайности зерновых, но в первой урожай оказался выше, чем во второй, на полтора центнера с гектара, что сказалось и на снижении себестоимости зерна. Потому и заработок членов этих бригад оказался различный. Премияльных на каждый рубль заработка в первой бригаде пришлось по рубль тридцать пять копеек (то есть больше, чем основной зарплаты), а во второй — девяносто копеек.

— Мы все ищем пути, как бы у людей инициатива развивалась, заинтересованность увеличивалась, любовь к земле крепла бы...

Отпустив своих помощников, Вирич продолжал знакомить меня с основными новостями.

— А мы все же нашли завершающее звено в комплексной механизации животноводства. Слышал про фиксаторы? Все так просто оказалось. Хочешь, покажу? Хотя нет, сегодня не показать, коровы-то на выпасах, дворы пустуют. Прнезжай зимой, тогда и увидишь. А наш новый штаб видел? Недельки через

две переселимся. Там у нас и машинно-счетная станция будет, так что бухгалтерию на плечи машин перекладываем.

— Станция для одного совхоза — не начетисто ли?

— Что ты! Наша станция чуть не весь район будет обслуживать, все соседние совхозы. И диспетчерское управление тут будет. Половину управленческого аппарата сократим. НОТ введем!

В кабинет заглянула знакомая мне Татьяна Никитична Быстрова — директор Дворца культуры. Директор отменный — сама играет на нескольких музыкальных инструментах, хорошо поет, энергичный, жизнерадостный человек и организатор отличный. Татьяна Никитична вызвала Вирича в приемную.

Вернувшись, Вирич, улыбаясь, сказал:

— Беспokoится Быстрова о своей епархии. У нас, знаешь, тут такие дела разворачиваются. Что ты!

Дела эти были вот какие. В совхозе незадолго до моего приезда проводились областные соревнования сельских физкультурников по штанге, теннису, волейболу, по борьбе и по легкой атлетике. Вирич не без гордости отметил, что хоккеисты совхоза в минувшем сезоне заняли второе место в области, уступив первое команде города Калачинска. Решено проводить и в будущем в совхозе областные соревнования по большинству видов спорта, в том числе по хоккею, по футболу. В «Сосновском» уже оборудованы две площадки для игр в хоккей, завершается оборудование стадиона, на трибунах разместится пять тысяч человек. А так как сюда будут съезжаться физкультурники со всей области, начато строительство гостиницы на двести мест. А в шестьдесят девятом году начнется сооружение зимнего плавательного бассейна.

— Только у нас, ты же знаешь, с водой обстоит неважно, — сетует Вирич. — Для бань и столовых воду возим из Иртыша, за пятьдесят километров. Но теперь начато строительство большого водопровода, он четыре района обслужит и в наш совхоз попадает. Правда, строят что-то медленно, боюсь, подведут нас. По плану, в семидесятом году должен в строй вступить, но боюсь, а вдруг задержка? Тогда зачем бассейн? У нас уже все построено для спорта. Только плавательный бассейн и остался... А между прочим, помнишь, я говорил тебе, что добиваюсь должности заместителя директора по культуре и физкультуре. Добился! Утвердили нам ее! Вот только человека нужного не найдем пока. Всем районом ищем!

Я перевел разговор на перспективы хозяйства. Как думают развивать его, пользуясь правом самостоятельного планирования своего производства?

— Своими правами мы пользуемся, как говорится, на всю катушку! О севооборотах я тебе уж говорил. Три года назад у нас совсем не было чистых паров, а теперь шесть с половиной тысяч гектаров. В интересах урожая зерновые мы потеснили, чтобы не сеять пшеницу по пшенице, — словом, как считали лучше, так и сделали. А в животноводстве тоже — подумали, подсчитали и берем курс на более узкую специализацию. Есть у нас две отрасли, которые как бы конкурируют друг с другом, — свиноводство и птицеводство. Тем и другим нужны в основном концентраты. Зачем же нам обе? Поэтому птицу мы уже почти вывели, оставили лишь четыре тысячи, чтобы снабжать рабочих совхоза яйцами и цыплятами. А свиней и овец прибавляем, поголовье коров доведем до трех тысяч, держим курс на производство мяса и молока. Удой коров каждый год литров на двести прибавляются. Вообще-то мы планировали в ближайшие годы продуктивность коров довести до трех с половиной тысяч литров и теперь видим: задача реальная. А настриг шерсти с каждой овцы за один этот год увеличился почти на полтора килограмма, нынче он составил около пяти килограммов. Никогда такого высокого не было. Это потому, что мы заводим племенных овец, а беспородных постепенно выбраковываем. Ну, и меньше наших чабанов растет понемножку... Вот беда только — не повезло нам нынче с урожаем. Ты бы видел, какие замечательные были всходы! И за три знойных дня все сожгло... — с горечью говорит он и мрачнеет.

V

Зима в минувшем году в Сибири началась очень рано и сразу с сильных снегопадов. Уже за ноябрь и первую половину декабря зима в Омской области выполнила свой годовой план по снегу, если заданием считать среднюю многолетнюю норму. Это радует хлеборобов. Прошлогодняя засуха ополовинила урожай. Если к северу от железной дороги, где проходила граница засухи, в совхозе «Северо-Любинский» собрали почти по двадцать шесть центнеров зерна с гектара, то в хозяйствах, расположенных в каких-то пятидесяти—семидесяти километрах южнее, сборы зерна не превышали шесть—восемь центнеров. Такова превратность сельскохозяйственного производства. А совхоз «Сосновский», куда в январе я снова держал путь, южнее железной дороги. План по сбору зерна здесь не выполнен. Вирич очень удручен этим, хотя в разговоре по телефону выразил большие надежды на будущий урожай именно в связи с обильными снегопадами в начале зимы. Он стремится взять реванш за прошлогоднее поражение. И когда я вошел к нему в кабинет — уже в новом здании, — он встретил меня словами:

— Видал, сколько снегу-то на полях! Неужели и при таком начале дело снова может кончиться засухой? Не должно бы! Ох, как нужна влага нашим полям...

Он по привычке заходил по просторному кабинету, вороша рукой еще больше поседевшие кудри и делясь со мной своими мыслями.

— Вот видишь, октябрьский Пленум партии опять нацелил нас на хлеб, на урожай. И ведь должен быть добрый урожай! Мы, думается, подготовили для него все, что только можно: и хорошо обработанных чистых паров почти семь тысяч гектаров, и зябь вспахана как надо и рано, и семена подготовлены, и кадры механизаторов — лучше не бывает. У нас все настроены на стопудовый урожай. Так и записали мы, когда обсуждали решения октябрьского Пленума ЦК. Если соберем стопудовый, тогда погасим долг и порядочно хлеба продадим в счет семидесятого года. Как думаешь, будет шестьдесят девятый год нормальным для урожая?

Что я мог сказать? Конечно, подбодрил, сказал, что в Сибири пока не наблюдалось трех подряд засушливых лет, а в его зоне и шестьдесят седьмой и шестьдесят восьмой были сильно засушливыми.

— Но в большинстве районов Сибири засухи нынче не было, — возразил он. — Это только у нас тут на юге да в Северном Казахстане, у наших соседей. Ну, ладно, поживем — увидим. Что ты от меня хочешь?

Я напомнил о его обещании показать новые механизмы в коровниках.

Через полчаса его машина была уже на животноводческой ферме. Остановились мы у крайнего коровника, вблизи сильно заснеженного березового копка.

— Скоро начнется дойка, — поглядев на часы, заметил Вирич и открыл ворота. — А перед дойкой — кормление, вог и посмотришь.

Внутреннее оборудование коровника отличалось от обычного. Везде, где мне приходилось бывать, кормушки для коров расположены вдоль стен. А здесь они по обе стороны от центрального прохода, но от стойл они отгорожены металлическими прутьями. Коровы лежали вдоль стен. Вирич пояснил, что ложе животных — на толстом, полуметровом слое соломы, которая сменяется за зиму всего два раза с помощью скреперов.

Толстый слой подстилки — хорошая теплая подушка для животных и новость для Сибири, так как почти везде подстилка в скотных дворах меняется ежедневно. Но какое отношение имеет это к комплексной механизации?

— А ты не торопись, — усмехнулся Вирич. — Сейчас корм начнут задавать, тогда и увидишь. Доставлять корма в кормушки с помощью транспортеров мы научились. Но это не выручало. Что получалось: лента движется от кормоцепа, тянет, скажем, сено. те коровы, что стоят ближе к кормоцепу, хватают сено впопыхах, потому что голодные, роняют его под ноги, а последним коровам

сена-то не всегда и доставалось. Точно так и с другими кормами. Животные нервничают, лезут в соседние кормушки, а все это отражается и на продуктивности, да и к излишней трате кормов приводит. А самое-то главное — никак нельзя было организовать индивидуальное кормление коров. А нет индивидуального кормления — бесполезно говорить об увеличении удоев. Это всякий знает. Так ведь? А теперь все иначе.

В коровник зашел мужчина в темном халате, поздоровался, сказал, что сейчас включит механизмы: пришла пора кормить скот.

Загудели электромоторы, по дну кормушек задвигались транспортерные ленты, запахло пареной брюквой. Почуввав корм, животные начали подниматься. Посматривают через металлические прутья на аппетитный силос, но в кормушку им пока не попасть. Когда же все кормушки наполнились силосом, Вирич подошел к крайнему стойлу, крутанул какую-то ручку, и металлические прутья, отделявшие коров от кормушек, задвигались и образовали множество воротца. Животные в один миг просунули морды в эти воротца и накинудись на корм.

Рабочий в халате покрутил ручку на другом конце коровника, и теперь уже жадно жевали все коровы.

А Вирич стоял у своего пульта, поглядывал на меня и чему-то улыбался. Потом крикнул рабочему:

— Можно фиксировать, Петрович?

— Теперь можно, Григорий Яковлевич.

Вирич снова покрутил рычаг, металлические прутьи опять задвигались и плотно прижались к шьям коров.

— Вот и все! — заявил Вирич.

— Как все? — не понял я.

— Вся новинка в этих самых фиксаторах. Теперь коровы будут стоять у кормушек, пока мы их не отпустим, они как бы на привязи. Тут уж к соседке не сунешься, чужой концентрат не перехватишь.

— А как же с индивидуальным кормлением?

— Вот концентратами мы и регулируем индивидуальное кормление, но делаем это пока вручную. Доярка разносит комбикорма и подсыпает каждой корове положенную норму. Это не такой уж тяжелый труд, но наши механики ломают голову и насчет механизации раздачи концентратов. Думаю, наладят. А теперь видишь желоб между логовом и стоянкой коров у кормушек? Навоз-то теперь скапливается именно в желобах, а убирается с помощью скребкового транспортера. Вот сколько удобств! А когда коровы как бы привязаны к кормушке, их тут и доят машиной, конечно. Никаких привязей не требуется. А бывало, сколько времени уходило только на то, чтобы привязать всех коров да отвязать их, когда на прогулку пускать.

— Уж не из Чехословакии ли привез ты эту новинку?

— Оттуда. Просто и хорошо!

Пришли доярки с ведрами. В ведрах — комбикорма. Каждая подсыпала своим коровам положенную норму концентратов: одной — кружку, другой — две, а некоторым три и четыре.

В самом деле хорошо: каждая корова получает свою норму питания.

— Что ж дало это хозяйству?

— Много. Экономия в рабочей силе, нормированное кормление, а самое главное — большое облегчение для доярок. Бывало, не идут женщины в доярки, и все, а теперь многие сами просятся.

На обратном пути я все попытался у Вирича насчет не решенных еще проблем.

— Самую главную проблему мы сами себе навязали, — рассмеялся Вирич. — Да, да, сами! Тока у нас механизированы, ты знаешь, теперь завершаем механизацию в животноводстве. Текучесть кадров снизилась, молодежи остается достаточно. солдаты после армии. как правито, в совхоз возвращаются. И вот теперь новая проблема: чем занять людей? Летом еще туда-сюда, находим ра-

боту почти всем, да и собственные огороды многих занимают, а этой зимой порядочно лишних рук оказалось. Чем их занять? А если заглянуть в недалекое будущее...

А вот оно, это будущее. Сейчас совхоз производит продукции в год примерно на четыре с половиной миллиона рублей, а рабочих и служащих у него — тысяча семьсот человек. Через пять—семь лет продукции будет производиться на семь миллионов, но рабочих и служащих к тому времени потребуется лишь тысяча сто человек. По мере совершенствования механизации потребность в рабочей силе с каждым годом будет уменьшаться.

Я знаю, что пока так обстоит дело только в совхозе «Сосновский». Но ведь и многие другие хозяйства пойдут тем же путем. Значит, нужно уже теперь думать об этом.

Как же сосновские руководители предполагают выходить из такого положения?

— А я и сам еще толком не знаю! — сказал Вирич. — Выход один. Нужно и у нас создавать какие-то промышленные предприятия. Южанам проще — я был на Кубани, на Ставропольщине. Там сами хозяйства занимаются консервированием и переработкой фруктов и овощей. В Сибири же сложнее. Фруктов и овощей у нас нет, ими занимаются только пригородные и приречные хозяйства. Из продукции, которую производим мы, перерабатывать на месте нечего.

— А молоко? А мясо?

— Даже если молоко и мясо перерабатывать, так много ли людей займешь? Там теперь тоже механизация. Ну, десятка два, не больше. Нет, на своей продукции мы далеко не уедем. Я обращался в областное управление легкой промышленности, просил построить у нас швейную фабрику. Тем более что наши женщины обучились швейному делу. Нужна фабрика примерно на тысячу рабочих. Тогда решим и проблему занятости. Обещали рассмотреть наше предложение, но что-то медлят, а вопрос не терпит отлагательства. Вот поеду на днях в город, опять буду шуметь... Нынче я перед нашей молодежью на выпускном вечере такую задачу поставил: всем поступить в институт! Среднюю школу у нас окончило девяносто человек. Но поступили не все...

Вот и совсем новая для Сибири проблема! — подумал я.

Мы вернулись в усадьбу. Рабочий день кончился. У Дворца культуры толпилось много молодежи.

— Пошли ко мне ужинать, — пригласил Вирич. — В шахматы сыграем. Надеюсь на этот раз обыграть тебя, — усмехнулся он.

VI

Квартира директора самого крупного в области совхоза была очень скромная — три крохотные комнатки, всего метров тридцать с небольшим. А в семье Вирича жена, теща, трое детей. Квартиру эту он занимает со дня приезда в «Сосновский». Но сейчас квартира директора пустовала.

— Моя Петровна скоро придет, — сказал Вирич, открыв дверь. — Все еще в детском комбинате работает, а теща в гости уехала...

— А молодежь?

— Э, брат, молодежь разлетелась. Только на воскресенье привозят мне внука показать, да студенты иногда соберутся.

Молодежь действительно разлетелась: старшая дочь Вирича в городе, преподает французский язык, младшая учится на конструктора, а сын Юрий в сельскохозяйственном институте — будущий инженер-механизатор. Отец не зря «на-таскивал» сына, тот поработал и на машине и на тракторе.

В этой квартире мне все хорошо знакомо.

В гостиной, куда пригласил меня Вирич, все было, как прежде: шкаф и две этажерки с книгами, в одном углу телевизор, в другом радиоприемник. Хорошо помню, как этот приемник Виричу дарили друзья в день его пятидесятилетия.

Три года назад оно в этой комнате и отмечалось... Посредине компаты — стол, накрытый скатертью. Вирич достал шахматы.

— Ну, теперь держись! — заявил он, высыпая фигурки на стол.

Лет двадцать пять назад, когда Вирич только начинал увлекаться шахматами, я играл с ним легко: давал фору — ладью. А последние лет десять игра идет уже на равных — и тут сказала натура Григория Яковлевича, добился своего. Вот и сейчас: в конце партии я остался без пешки и с большим трудом свел на ничью. Вирич настаивает на новой партии. Но меня продолжает занимать другое: совершенно необычная для Сибири ситуация, в которой оказались сосновцы, — излишек рабочей силы!

— Значит, одна проблема только и осталась у тебя, Григорий Яковлевич?

— Не осталась, а только что возникла, — поправляет меня Вирич. — Но думаю, мы решим ее с помощью областных организаций. Беспокоит меня куда больше другое, самое трудное, если хочешь знать. — Он сдвинул шахматы на край стола и, облокотившись о стол, заговорил с тревогой: — Вот у нас вроде бы сделано все, что пока можно сделать в сельских условиях: и по части быта, и культуры, и спорта. А вот как повлияло все это на воспитание человека? — Он смотрит вопрошающе на меня и сам же отвечает: — В культуре, может, кое-что и заметно... Взять хотя бы такую как будто мелочь: праздновали мы проводы зимы. Гулянье затеяли куда там! — Вирич поднялся и по привычке зашагал по комнате. — Впервые я видел у нас такой веселый и дружный праздник. Раньше обычно не обходилось без неприятностей: кто-то перепьет, набьют, приезжает милиция и всякое такое... А в этот раз и выпито было немало, а ведь никакого безобразия! Ни единого инцидента! Это меня порадовало. Но я вот вижу, что нет у нас продуманной системы воспитания. Много сейчас говорят и делают для того, чтоб усилить материальную заинтересованность людей, и это верно. Но когда не обращается должного внимания на моральное воспитание, то что-то важное теряется. Вот и в звеньях, которые были у нас. Создаются группочки или по родственному принципу, или по приятельскому. Работают они хорошо, старательно, но чтобы, скажем, другим помочь в трудную минуту, тут уж сложнее. Сразу вопрос: а сколько за это получу? Надо бы как-то развивать интерес к коллективной заинтересованности. Чтобы друг другу доверять на общей работе.

Пришла Валентина Петровна — жена Вирича. Рослая под стать мужу, милостивая, но в противоположность ему очень стеснительная. Упрекнула Григория Яковлевича — почему не позвонил? И ушла на кухню, забренчала посудой.

— Ну, теперь деловые разговоры в сторону, — сказал Вирич, — еще одну партию в шахматы, пока Петровна ужин сочинит.

Много интересного и важного увидел и услышал я в совхозе «Сосновский» на этот раз. Бесспорно, это хозяйство сейчас стало правофланговым по главным делам. Но что удивительно: все эти отрядные перемены произошли в сравнительно короткое время. О чем это говорит? Да только о том, что и для других хозяйств этот путь не заказан. Значит, есть надобность заинтересоваться опытом сосновцев, изучить его да, как говорится, в добрый путь!

И еще думалось мне, что людей, подобных Виричу, расправивших крылья после мартовского Пленума ЦК партии, у нас немало. Их деятельность говорит о больших возможностях нашего села. А это вселяет добрые чувства, большие надежды.



ПУБЛИЦИСТИКА

Ю. ЧЕРНИЧЕНКО

★

КОЛОС ЮГА

I

В Галины Пустовой, хозяйки исправной и хлебосольной, с некоторых пор перестали подниматься пирожки, а вареники начали расплываться. Поскольку сходные явления отмечались и у соседок. Галина — работает она лаборанткой опытной станции под Синельниковом — решила для выяснения причин использовать свое служебное положение: принесла в лабораторию стакан магазинной, высшего сорта, муки и принялась отмывать клейковину.

Клейковина — белковое вещество, в здоровом зерне упругое, приятное на ощупь, схожее с живой тканью. Всякий мальчишка, жуящий на току пшеничные зерна, чтобы получить тягучую «мастику», занимается отмывкой клейковины. Пшеницу (во всяком случае в причерноморских степях) растят ради содержащегося в ней белка, равно как свеклу — ради сахара, подсолнечник — ради масла, отнюдь не для жмыха или лузги. Выдать это за новость или требующую доказательства теорему никому не удастся.

Еще в 1802 году универсальный Василий Левшин наставлял хозяев, что на Юге «зерно получает больше склизкого или клеевитого существа, которое собственную питательную часть составляет». А в начале века текущего профессор П. Меликов, отстаивая исключительную экспортную значимость пшениц Новороссии, протестовал против замены «гирки» с ее 21 процентом белка урожайной «улькой», в коей протеина содержалось только 14,75 процента (что выше сегодняшних мировых стандартов). Знаменитый француз Гей-Люссак среди прочих естественных закономерностей описал и следующую: хлеб Причерноморья «несравненно лучше хлеба, выращенного в других странах Европы, и обязан этим превосходством отменному количеству заключенного в нем белкового вещества. Так, французский хлеб содержит в себе 30% этого вещества, а одесский в крайнем случае 40%». Иначе сказать, известный ученый никак бы не счел сегодняшний стандарт на пшеницы-улучшители завышенным, скорей удивился бы нашей снисходительности.

Кстати, с прошлого года начали действовать новые условия приемки и оплаты пшениц. Предложения агрономов и журналистов «разменять» государственную премию за качество зерна и построить шкалу приплат лесенкой поддержаны правительственными органами. Теперь хозяйству за пшеницу с 32 процентами клейковины первой группы (при надлежащих стекловидности и натуре) выплачивается половинная надбавка к цене. Клейковина в рамках 28—31 сотых долей приносит 30, а в пределах 25—28 — десять процентов премии. Прежняя надбавка только за то, что сорт некогда зачислен в сильные, отменена: хлеб сам должен набрать проходной балл. Получается очень логично: есть валовой путь роста колхозных прибылей (полуторная цена за сверхплановый центнер), а вот и путь качества, делающий возможной ту же прибавку еще в рамках плана. Выбирай, председатель, а то и совмещай оба.

Правда, в практическом применении лесенка оказалась не простой. Извечная распря между колхозами и заготовителями вспыхнула с новой силой. Определяет

качество зерна, а значит, и назначает цену лаборантка хлебоприемного пункта. Академик Ф. Г. Кириченко с негодованием потомственного крестьянина восклицает: «Девчушка решает судьбу колхозной пшеницы!» Девчушка эта, что ни говори, лицо зависимое, и принял ее на работу, и ведомость на зарплату подпишет директор элеватора. Но будь она даже до конца принципиальной, не желай своему предприятию несправедливых прибылей — все равно от волевых решений ей себя не уберечь.

По моей просьбе я был приставлен к Гале Пустовой учеником лаборанта. Дело нехитрое: отвесить дозу зерна, размолоть его в подобии кофейной мельнички, замесить в фаянсовой чашке и после того, как тесто «отдохнет», полоскать галушечку в ведре с водой (над ситом, обязательно над ситом!), пока сменяемая гала не перестанет мутиться. Обретенную клейковину взвесить — это решит вопрос количества, потом растянуть по линейке, что выявит качество, то есть группу клейковины. Конечно, если на зернах много белых пятнышек, следов деятельности клопа-черепашки, тесто растворится в воде, и лаборант фиксирует непоправимое: «клейковина не отмывается». Это уже пшеница только по названию, ее надо отсылать на фермы. Качество, так сказать, перешло в количество.

Я старался, но на отмывку каждого образца уходил час. У опытной и сноровистой Гали это отнимало минут сорок. Сколько же машин с зерном проверит лаборант за уборочный день, какие очереди создаст у ворот элеватора! Положим, это не моя печаль, но клейковина... Один и тот же хлеб давал у меня то 27, то 29 процентов. Наставница успокоила: отклонение может составлять два процента, я ошибаюсь в пределах нормы. Да, но в первом случае я назначаю 10 процентов приплаты, во втором — 30. Тут тысячи рублей, а я волен или выплатить, или зажать их — в обоих случаях законно. Группы клейковины тоже зависели от моих нравственных достоинств: можно тянуть «мастику» быстро — и она оборвется, можно терпеливо — и она достигнет выгодных колхозу отметок.

Только тут я оценил, насколько же толковый прибор, датский по изготовлению, показывала мне в лаборатории Экспортхлеба на Смоленской площади Лидия Афанасьевна Новикова. «Прометер» определяет не клейковину даже, а чистый белок, точность — до сотых процента, на образец уходит шесть — восемь минут. Мука меняет своим белком цвет раствора оранжевой краски, калориметр улавливает это изменение — только и всего, если не учитывать добротность исполнения. Прибор широко используется на элеваторах США. Впрочем, рассказывали в Экспортхлебе, другая пшеничная супердержава, Канада, употребляет прибор надежнее: ладонь и глаза управляющего элеватором. Стекловидность, натур, цвет приемщики Саскачевана и Альберты оценивают с быстротой, с какой опытный бонитер определяет стати животного. Визуально принимаются миллионы тонн канадских «манитоб», вся штука в том, что к руководству хлебозакупом допускаются люди с многолетним стажем, способные внушить поставщикам доверие и сами (из деловых, понятно, соображений) доверяющие им.

Не берусь судить, какой способ перспективнее. Но что у нас быстрого и объективного способа пока нет — факт несомненный. Поскольку наш оценщик по положению своему не бескорыстен, поскольку еще жива привилегированность изготовителя, идущая из давних времен, поскольку обсчитать колхоз в пользу государства считается делом если не похвальным, то всегда простительным, строить отношения на одном доверии пока невозможно. Нужен прибор, надежный и точный, глухой к людским желаниям, — в него упирается стимуляция сильного хлеба.

Но вернемся к Галиным пирожкам.

Женщины отнеслись к изысканиям моей наставницы с живым интересом и дождалась, пока качество крупчатки было выведено на чистую воду: клейковина оказалась плохой, жидкой, рвалась под собственным весом. Галя установила третью группу, так что никакого сглазу нет, не виноваты ни печки, ни руки, настоящая пачьяница не получится.

Опыт произвел впечатление. Агрономов, заглядывавших на станцию, разозленные «жинки» брали под огонь критики. Молодые-деловые, храня престиж, в объяснения не вступали, но те, что постарше и словоохотливей, популярно толковали, что клейковина низкая от нехватки азота, рисовали апокалипсические картины: как шевелятся от клопа-черепашки пшеничные валки, как высоченные кучи вредителя скапливаются под окнами зерноскладов. Говорили, впрочем, так, будто речь шла о чем-то, от них не зависящем, хоть и досадном, — вроде гонконгского гриппа.

Галя заключила:

— За муку у них голова не болит.

Не болеть голова может от неведения — этот случай интереса не представляет. Я намеренно отправился к специалисту, чья квалифицированность сомнений не вызывала. Главный агроном колхоза «Коммунар» Григорий Иванович Марусич в контактах с опытной станцией, авторитетен, урожаи растут, семена из артели продаются соседям. Как тут с силой пшениц?

Григорий Иванович не сразу понял, о чем это я. Поняв, припомнил кое-какие цифры, стал неохотно говорить. Пораженность хлопком в 28 раз выше допускаемого стандартом. Колхозу с вредителем не справиться, летчики и химики борются, да эффект плевый. Азотные удобрения уходят под свеклу, пшенице остаются крохи, так что и требовать от нее клейковины грешно..

У меня не исчезало ощущение, что толкуем мы про шерстистость-прыгучесть искандеровского козлотура, я вроде бы хочу навязать колхозу «интересное начинание», а сдержанный агроном старается тактично внушить очередному представителю, что козлотур в данном хозяйстве по ряду причин пойти не может. То есть пойти-то он и мог бы, но только если хлопоты по его содержанию примет на себя некто посторонний, богатый, а само хозяйство в прыгучести проку не видит. Именно так: вал, сбор, намолот Григорий Иванович считал своим прямым делом, начинка же, клейковина эта самая, разумелась им как забота того, кто в ней заинтересован и, следовательно, должен «сничтожить» клопа и удобрить почву.

Напирать на то, что урожай он сдал в известном смысле полный, пшеница смахивает на кормовое зерно, а деньги взяты настоящие, что его вал крутится сам по себе, не поднимая производства белка, было бы пустой патетикой. Григорию Ивановичу достаточно было заметить, что на сильную ему плана-заказа вовсе не было, а за пораженную клопом элеватор платит полную цену по доброй воле, — и обвиняющий был бы повержен. Я понимал, однако, что эта поседевшая на висках толковая голова «не болит» по каким-то очень основательным причинам.

— А что вы хотели?

Это уже в Днепропетровске, один весьма ответственный агроспециалист. Я пришел к нему в конце дня, чтоб иметь запас времени для беседы. Ожидать можно было двух вариантов. Первый — укоризненное напоминание, что про вал забывать никак нельзя, народному хозяйству нужен реальный хлеб, а не абстрактный протеин, рост урожая остается первейшей задачей, просто опасно удариться в одну крайность, это отвлекло бы и дезориентировало людей... Все это настолько бесспорно, что фраза «пшеницу растят ради белка» обретает какой-то нехороший смысл, произнесший ее поправляется, просит правильно его понять, и разговор незаметно сходит с существа, которое питательную часть зерна составляет. Второй мог начаться выражением досады, широкими шагами по кабинету: да, да, запустили, занехаяли, а ведь и после войны еще — помнишь? — золото, не пшеничка была! Паляница веселая, румяная, шапка набекрень, ты ее к столу жмешь, а она твою руку — до горы. Ведь драка была на мировых рынках за такую пшеничку! (Что после войны, вплоть до 1968 года, озимых пшениц-улучшителей Экспортхлеб за валюту не продавал, уточнять не надо, говорящий того не услышит.) Ну теперь-то взялись за ум, положение будет выправляться: народ подняли, заготовителей озадачили, хватил бока пролеживать, определили хозяйства, вот — записывайте...

— Нет, а вы что хотели? — неожиданно спросил меня вечерний собеседник.

Молча выбрал карандаш поострее — и вдруг обрушил такой Терек цифр. ар-

гументов, сопоставлений, что я едва успевал его поглощать. Сила, клейковина, белок — кто про них думает? Райком спросит? Знамя дадут, в президиум выберут? Да у нас вывозка хлеба проходит в одну декаду, можно ли в таком штурме отобрать сильную, если у кого-то она и созрела? Лучший тот, кто в неделю, в пятидневку весь план до бубочки вывез, почет и уважение скоростнику! Это в уборку, а вообще первенство решает вал: кто больше с гектара взял, тот и передовик, гордость района. Агроном будет вам клейковину копить! Да если у него высшее образование, он пять дней в неделю тратит на коллективное руководство, два — на поля, он черт знает где только не член и не участник, у него «газик», чтоб успевать, двухколесную свою бедарку он забыл.

— «Тучные черноземы»... А как вымоктали из них за двадцать лет, забываете? Еще в пятидесятом году брали по девять центнеров, а последнее трехлетие — двадцать три вкруговую. А возврат? Паров триста тысяч держали, а теперь к ста пятидесяти не выберемся, никак не прокашляемся после пропашной системы, не к ночи будь помянута, а удобрений под пшеницу — котовьи слезы... Область стала эпицентром распространения клопа-черепашки. В шестьдесят седьмом году поражено пятнадцать зерен из сотни в шестидесяти процентах сбора, не отмывалась клейковина у сорока четырех тысяч тонн, в шестьдесят восьмом показатели поднялись до шестидесяти пяти процентов и шестидесяти шести тысяч тонн. Клоп — тварь, приспособленная к условиям, он на вале не отражается! Этот вредитель колхозного рубля не дырявит! Материальная заинтересованность? Ну нет, довольно, этим путем идти нельзя, — пресек он решительно. — Вы смотрите, что с подсолнухом наделал этот интерес. Уровень цен такой, что не шутка получить пятьсот процентов рентабельности плюс еще пяток месячных окладов председателю и тому же агроному за превышение плана. И забыл бы Марушич про те «семечки» — жинка сто раз напомнит. Зарплата руководителя в четыре, а то и в пять раз выше, чем у колхозника со специальностью, секретарь райкома получает намного меньше колхозного председателя! А подсолнух напоздает на поля. Уже сею на шестьдесят тысяч гектаров больше, чем позволяют нормы севооборотов, и все думки тут: ведь в доходах колхозов «семечки» занимают целых сорок процентов. Видите, что стимулы делают? Культура выходит из подчинения! Нет, путь один: за-ста-вить сдать сильную пшеницу. Не цацкаться, довести железный план, внушить — «головой ответишь». Главных агрономов я, не смейтесь, отдал бы в штатные заседатели, а на каждый севооборот — просто агронома с бедарочкой: поезжай и гляди, чтоб зерно было, не полова. Гайки подтянуть надо, люфт устранить, а то и с хлебом без хлеба насидишься!

Насчет мер и выводов с откровенным моим собеседником спорить я не стал. Тот же пример с подсолнечником мог служить и для подтверждения мощи экономических стимулов, только в данном случае столь сильных, что прибыль уже не пропорциональна затратам. И тяга к чистому, как стеклышко, администрированию, и вера в то, что «заставить» может быть полезней, чем «сделать выгодным», — все, как говорится, имеет место, да и какое еще широкое. Но этот человек умел хотя бы дослушать, расстраивали его сами факты, а не разговор о них, начатый неким пришедшим, — плюс несомненный. Он сам не по команде, а после анализа искал выхода пусть и на бедарочных, поросших быльем путях, да и его взгляд на роль рубля помогал размышлению. Кажется, мне повезло.

Однако предстояло подняться еще на одну вышку. В Киеве готовилось республиканское совещание по качеству пшениц.

II

Разве не стоит память, что хлеб нашего Причерноморья ели Афины времен Демосфена? Великий оратор добивался у народного собрания золотого венка правителю Боспорского царства Левкону: из Феодосийского порта шла большая часть ввозимого Атикой зерна. Часть эта внушительна даже по сегодняшнему дню. Был год, когда экспорт превысил 85 тысяч тонн, а обычные поставки в первой

половине IV века до новой эры составляли 16—17 тысяч ионн. Обглоданные эрозией склоны Эялады уже не могли прокормить гениальный народ, и между Тавридой и Пиреем пролег первый в истории импортный хлебный путь. Ковыльные степи скифов, сарматов, синдов поразили греков плодородностью: Страбон уверяет, что в степном Крыму «поле, вспаханное первым попавшимся лемехом, приносит урожай в 30 мер». Не удивительно, что народность крымчан у эллинов звалась просто «георгами», «земледельцами», что на боспорских монетах был выбит колос, а Феодосию называли именно так — Богоданной. Велик соблазн пофантазировать насчет древних элеваторов, портов, караванов, но и тут велит приземлиться точность данных. Известно многое — от числа судов, какое вмещали бухты Феодосии и Пантикапея (сто и тридцать), до многократной разницы в оплате за труд свободного и раба, ибо, согласно Гомеру, «раб нерадив».

Наши археологи считают, что в Тавриде, на Кубани, в Приазовье для поставок эллинам было распахано не менее двухсот тысяч гектаров. Местные пахари, в большинстве свободные, предпочитали кормиться просом, пшеница же имела товарное назначение. Она продавалась, торговля приносила громадные суммы: по определению В. Д. Блаватского, крупнейший хлебный транспорт (в нем-то и было 87,5 тысячи тонн) стоил около двух тысяч талантов. Культурное влияние эллинских колоний, этой «каймы на ткани варварских земель», как сказал когда-то Цицерон, было очень сильным, благодатным, но отнюдь не бесплатным. Мерцающее золото Скифии, недавно выставленное на погляждение в Киево-Печерской лавре, все эти чеканные гориты, чаши, украшения, изделия «звериного» стиля — они не с бою, не грабежом добыты, а куплены потом и умением древнего степняка, их можно считать удостоверениями о вкладе северных берегов Понта в тот радостный пролог цивилизации, который мы называем античностью. Эллы сохранили и картины труда пахарей. Полна крестьянского юмора притча поэта Агафия — увы, все еще современная.

Пахарь, закончив сев, отправился к предсказателю: обильной ли будет жатва? И вот что услышал в ответ:

Если пашня твоя увлажнится дождем благодатным,
И не сумеют на ней пышно расцвести сорняки,
И не скуют холода твою пашню, и градом не будут
Сбиты колосья, — они тянутся кверху уже, —
Если посев не потопчет лошак и беда не нагрянет
С неба или с земли, поле твое погубив, —
Я предрекаю тебе превосходную жатву: удачно
Ты ее снимешь тогда. Лишь саранчи берегись.

В хлебом промысле воистину ничего не исчезает бесследно. Минули десятилетия веков, все, кажется, смыто, погребено — и вдруг встретится такое, что перевернет твои представления о далеком и близком.

Сегодня в приазовской степи эллы могут пригласить вас на олимпиаду. Конечно, игры — сельские, наградой победителю будет не панафинейская ваза, а баран, но и старики судьи, и правила состязаний, и регулярность их — все идет с незапамятных времен.

Слушаешь в колхозном правлении черноглазого, коренастого дядю Георгия или дядю Димитрия (э-э, не тот сейчас «панаир», что прежде, таких богатырей, как Иоанн Парапула, среди этих мальчишек нету, и в беге больше не соревнуются, но борьба — каждый год, со всех селений съезжаются, с музыкой, с хозяйками, опашут за селом круг — выходи любой, борьба вольная, только без болевых приемов, кто троих поборет — получает барана, на плечи его да к друзьям) и вспоминаешь: ну конечно же, это у Семенова-Тян-Шанского в его многотомной «России»: о греках южной Тавриды, переселенных с разрешения Екатерины Второй в устье Кальмуса, об их трудолюбии, трезвости и страсти вкусно поесть, об этом остатке глубокой древности — сельских олимпийских играх.

А живая археология — пшеница «крымка»! Стекловидная, яростная по силе — и так похожая на зерно, извлекаемое из хлебных ям понтийских эллинских коло-

ний. Селекционная ценность староместных (не прямо скифских ли?) пшениц исключительна. Вывезенная в западное полушарие «крымка» дала исток важнейшим стекловидным сортам США — «канреду» и «тенмарку», «шайену» и «веляюту». Начинающий экспортер, США берут зерно, какое выгодно везти в любую даль, у Новороссии, первого экспортера и древности, и нового времени, — тут дело не только в селекции, а и в сходстве развития.

И греки под русской защитой, и восстановление в географии названий «Феодосия», «Севастополь», «Херсон», и возрождение «крымки» — все это следы громкозвучных событий «времен Очакова и покоренья Крыма». Новороссия прославилась Румянцевом и Суворовым, тут мужал Кутузов, и вряд ли одной иронической памяти достоин автор пресловутой деревень Григорий Потемкин.

Из основанных им городов, от Никополя до Севастополя, ни один не остался заштатным, любой обрел значение и славу. «Населенная по приглашению Потемкина самыми разнообразными этнографическими элементами, во главе с великорусами и малорусами, Новороссия начала сгущать свое население и разрабатывать под земледелие свои девственные степи со сказочной быстротой... — писал П. П. Ссменов-Тянь-Шанский. — Все культурные начинания, шедшие издревле с юга, теперь пошли только с севера».

Говоря точнее, сказочная быстрота появилась только после 1861 года. До того в степь сбегал от екатерининской новинки — крепостного права — украинский гречкосей, основывал Цюрихтал и Люденсдорфы приглашенный правительством немец-меннонит да переселял крестьян на дарованные земли аристократ уровня Юсуповых, Шуваловых, Кочубеев. А с поры реформ действительно: травяные леса, скрывавшие всадника, стремительно откатываются к Черному морю, уже и безводье, и солонцы не останавливают переселенцев, спрос на хлеб растет, а с ним и цена на землю (в шестидесятых годах — 22 рубля десятина, начало семидесятых — полтораста рублей!), а с ними и главный южный порт Одесса. Во время пушкинской ссылки город насчитывал едва сорок тысяч жителей, в конце века — четыреста. Уже и казачья Кубань с ее миллионом десятин пшеничного посева пробивается на мировые рынки, но Одесса укрепила первенство, по тысяче вагонов зерна «гарновки», «арнаутки», «гирки» поглощают ее элеваторы в один осенний день.

Конечно, это поражало: земля, погубившая безводьем войско Голицына, дикое поле с каменными бабами на курганах и бельмами солонцов, край, какой даже академики, знатоки дела, навсегда относили к «беднейшим и неудобовоспроизводимым», — Новороссия вдруг обернулась первостатейной житницей. Что же произошло с ней?

Не с ней. «...Главным условием, позволившим быструю колонизацию Новороссии, было падение крепостного права в центре России, — писал Владимир Ильич Ленин в 1908 году. — Только переворот в центре дал возможность быстро, широко, по-американски, заселить юг и индустриализировать его (про американский рост юга России после 1861 года говорено ведь очень и очень много)».

Пристально следя за развитием сельского хозяйства Юга, Владимир Ильич настойчиво подчеркивает первопричинность общественно-политического фактора и в росте и в отставании агрикультуры. Немец-колонист щедро тратится на машины — у него хозяйство товарное, он на капиталистическом пути, он прогрессист и в смысле буккера, молотилки, и в выжимании пота из батраков. Понятие «негодности земли» относительно. Залогом использования громадных земельных просторов будет создание действительно свободного, вполне освобожденного от гнета крепостнических отношений крестьянства в европейской России.

Технические приемы, сельскохозяйственные взлеты или застои — всегда следствия, причины — всегда в явлениях социально-политических. Таков ленинский ключ, без него и сегодня не открыть ни одной из дверей, исследование станет бесплодным блужданием.

Сходство освоения Великих Равнин США и Юга России можно видеть и в погублении животного мира (последний тарпан, дикая лошадь Скифии, был убит почти в один год с последним диким бизоном), и в быстром переходе к эксплуатации недр, и в стремительном беге железных дорог. Но сходство кончалось на том, что было будто бы одинаковой целью распашки: на экспорте хлеба. США вывозили зерно избыточное, Россия — недостающее. Перед первой мировой войной Америка производила на душу населения 1081 килограмм хлеба, импортеры Дания и Швеция — соответственно 852 и 491. Россия же, державшая за собой четверть мировой торговли зерном, выращивала на человека лишь по 475 килограммов. Даже в 1911 году, когда голодало 30 миллионов крестьян, из страны было вывезено 824 миллиона пудов хлеба! Конечно, были голодные и в гетто Гарлема, но экспорт из недоедающей России по размаху и устойчивости оставался исключительным явлением, он был национальным предательством и не забылся, а был приплюсован, когда пришло время предъявить счет.

Под Каховкой на высоком кургане неподалеку от места батрацкой ярмарки недавно поставлен бронзовый монумент. Тачанка!

«Поповская, заседательская ординарнейшая бричка по капризу гражданской распри вошла в случай, сделалась грозным и подвижным боевым средством, создала новую стратегию и новую тактику... родила героев и гениев от тачанки». Это — Бабель.

Четверка коней в бешеном, запальном галопе, спиц в колесах нет — слились, почти не видно и сбруи, бег ураганный, а в каждом копыте — тяжесть и беспощадность. На пути лошадей страшно стоять. Взлетающим ястребом изогнулся ездовой в островерхом степняцком шлеме, напряжен пулеметчик, впился рукою в борт стоящий на подножке командир. Распрямяющаяся пружина гнева, образ сокрушения, огненная колесница революции...

(Превосходная работа ленинградцев Ю. Лоховинина, Л. Михайленка, Л. Родионова, Е. Полторацкого по достоинству, думается, еще не оценена. На Турецком валу Перекопа никакого памятника нет. Работать над ним теперь гораздо труднее, чем до «Тачанки».)

Какой край в советское время может сравниться с южной степью размерами капиталовложений? Не каналы, не водохранилища — это частности, есть кое-что подороже. Дом под шифером. Трактор, тротуар. Дворец культуры, полевой стан, асфальтная трасса, линия электропередач, научный институт, элеватор. Первая МТС — под Одессой, первый комбайновый завод — в Таганроге, первая автоматизированная оросительная система с электронным «мозгом» — в плавнях Кубани. Из трех основных слагаемых плодородия — почвенного богатства, тепла и влаги — Юг нуждался только в третьем, но мощь техники и соблюдение агроправил снижали роль засух. Возможность планомерно и целенаправленно вести экономику, крупность хозяйств, высокая товарность производства — преимущества общественно-политического характера проявились здесь в полную силу, и все усилия, все заботы направлены на изъятие скопленного природой плодородия. Сама природа снимает многие сложности — приусадебный участок здесь значит гораздо больше, чем на Севере, приток населения сглаживает проблему рабочей силы и, следовательно, поднимает квалификацию среднего работника, и урожай растут, как нигде. Если предвоенный, довольно скромный, рост намолотов был в основном следствием механизации, то после сентябрьского (1953) Пленума ЦК КПСС факторы роста множатся, уровень цен обеспечивает получение дифференциальной ренты, экономика крепнет, Кубань и южная Украина оставляют далеко позади тот «стопудовый урожай», что по традиции был мерой достатка и сытости. Решения мартовского (1965) Пленума ЦК, курс на экономические стимулы при стабильности планов приносят на Юге особенно высокий эффект, ибо полнокровные хозяйства быстро реагируют на улучшение обстановки, и урожай озимой пшеницы на Кубани, втрое превысив дореволюционный уровень, достиг почти 30 центнеров! Впрочем, одно зерновое сопоставление даже не имеет смысла. Интенсификация,

идущая множеством русел, приводит на Юг новые культуры, заставляет тот же гектар давать и сахарную свеклу, и клецевину, и плоды, и подсолнечник, и корма для густых мясо-молочных ферм, на Кубани возделывается чуть ли не сто культур, зерновая специализация уже не так четка.

Вложения, собственно, идут не в черноземы, а под залог черноземов. Одни способы использовать тепло и извлечь азот, фосфор, калий (например, насаждение хлопчатника) не приносят успеха, другие — внедрение новых сортов, ликвидация или сокращение паров, съем двух урожаев в год — применяются все шире, почва выдерживает, запасы ее кажутся неисчерпаемыми, как сила знойного солнца. Но...

То там, то тут начинают применять минеральные удобрения — сперва скромно, затем смелее, вложения в агрохимию становятся все крупнее, технические культуры без туков уже не мыслятся. Агрономы требуют искусственного азота и рукотворного фосфора, утверждая, что Юг их окупит быстрее, чем Центр и Северо-Запад.

Юг есть Юг, он задает тон во всем, и финансовое состояние большинства хозяйств заботит только одним — трудно реализовать деньги. Сейчас, на пороге семидесятых годов, южный гектар имеет основных средств — средств извлечения плодородия или средств, обязывающих это делать, — в несколько раз больше, чем гектар Поволжья, Центра, Сибири. Но что значит стремление агрономов-южан вносить по пять, по семь центнеров, по тонне химических туков в гектар чернозема?

«Люди всегда считали, что именно та эпоха, в которую они живут... точка перегиба на пути поколений», — пишет Жан Дорст, французский специалист по охране природы. Мысль, может, ироничная, но если иметь в виду чисто земледельческий разрез, то можно утверждать: шестидесятые годы XX века для хлебопашества южной степи — действительно точка перегиба. Плодородие перестало быть даровым. Почвы, при всей толщине гумусного слоя, уже не способны ответить уровню сортов, набору культур, мощи техники: вынос питательных веществ явно превосходит пополнение.

Впрочем, полезный, идущий на урожай вынос — причина лишь небольшой части того обеднения, основное вызывается эрозией, ветровой и водной. Сплошная распашка земель, многократная обработка полей в течение года создали новый режим, при котором процессы выдувания и смыва черноземов идут с нарастающей силой, ливень и ветер стали как бы мощнее.

На урожаях это пока не сказалось — туки как-то компенсируют вынос. Но проявилось в качестве зерна. Белковая ценность сборов так упала, что южная степь от Дуная до Лабы, потеряв мировое клейковинное первенство, стала зоной слабых пшениц.

III

— Я рад, что об этом пошел разговор, — начал речь академик Кириченко, и зал притих. — Клейковина в нашем зерне катится книзу. Сегодня мы с вами услышали, что на Украину надо завозить яровые пшеницы-улучшители с востока — без того паляницы не будет. Вот что мы должны давать людям! — Он поднял над головой пышный золотистый хлебец. — А вот что сейчас даем. — Другой образец рядом с первым выглядел уродом.

Тут, на Крещатике, на совещании вершителей судеб украинского зерна, равнодушных не было. Серьезный, деловой совет. Говорились вещи простые, доступные пониманию любого земледельца. Уже до Кириченко было сказано многое.

Что слава южного зерна держалась на паровой системе и на высокобелковых, хоть и не столь урожайных сортах — «кооператорке», «ворошиловке», «украинке». Что сокращение паров, насыщение севооборотов кукурузой, внедрение сортов с громадной способностью выноса ускорило наступление азотного голода на ста-

ропахотных — уже целый век в обороте! — землях. Что «безостая-1», ставшая в Причерноморье монопольным сортом, при всех блистательных качествах, очень сильно колеблет содержание клейковины и в белке уступает старому стандарту — «украинке». Что селекция нацелена на вал, что вообще создать сорт, который при нехватке азота давал бы высокий белок, практически невозможно: закона сохранения веществ не отменить, растение не может перекачать в колос больше нитратов, чем находит в почве. Что стабилизация качества пшениц — главная задача селекционеров, а создание материального интереса колхозников в сильном зерне — долг организаторов. Что Запорожская, Луганская, Кировоградская, Днепропетровская, Одесская области подверглись нашествию клопа-черепашки и нужно объявлять всеобщий поход на вредителя...

Кириченко, лауреат Ленинской премии за твердую озимую пшеницу, говорил не о технологии. Уже по вступлению, по жесту с хлебцами можно было понять: это слово о хлебе. Даже так: о Хлебе. Что еще нужно газетчику? Голос хлеборобской совести. Академик и крестьянин в одном лице. И говорил-то хорошо: без намеренной патетики, без лишних эффектов, в бумагу не глядел — может, из-за слабого зрения; негромкий его баритон внушал, что растить слабый хлеб на черноземах не только накладно, а и дурно, непристойно, совестно.

Но, искушенный привезенным с собою знанием, я думал: негоже послу без верительных грамот. За премией одесского академика — всего-то 15 тысяч гектаров! Твердая озимая пшеница — «чудо селекции», «новое слово в биологии», не так ли? — колхозами отвергнута, вообще, кажется, возвращается на опытные делянки. Поля вокруг Одессы, у самого селекционно-генетического института, засеваются пришедшей с Кубани «безостой-1». Авторитет селекционера прямо пропорционален размерам занятых его сортами площадей, и тут звания ничего не прибавят. Слово о хлебе, заключил я про себя, увы, легковесно.

Вот почему я не записал речь Федора Григорьевича Кириченко, хоть и были в ней южные степи, дедовские колосья, большегрузные транспорты, мечтания о редкостных сортах, хоть и здорово говорилось о живом веществе пшениц, движущем и мышцы и прогресс.

Это непростительная моя потеря.

Потом я слышал и чистый его русский, и безупречный украинский («суржинка» он не терпит), но все то были уже лекции, не слово. застать его в ударе, как тогда на снежном Крещатике, больше не удавалось. Власть общего мнения может обойтись дорого. Судьба пшениц Кириченко — пример воздействия вала на науку. И настолько выразительный, что не сказать подробнее — грех.

Твердая пшеница гораздо сильнее отличается от обыденных мягких («вульгаре»), чем принято думать. От Ромула до наших дней она оставалась яровой, превосходящей мягкую в белке, но уступающей в урожайности — это наследственно закреплено. У твердой хромосом 28, у «вульгаре» — 42. Даже Т. Д. Лысенко, веривший в способность овса превращаться в овсюг, рябины — в осину, останавливался перед наследственной прочностью твердой и прямо предупредил Кириченко, что в переделку «дурума» он не верит, — а это значило многое. Твердая идет на макароны, это известно широко, но не все знают, что кавказцы, большие любители вкусного хлеба, именно из муки твердых пшениц пекли чурек, лаваш, пури. Да и Украина охотно подмешивала «арнаутку», «гарновку», «черноуску» в помольные смеси для ароматных своих паляниц.

Переход на озимые, более гарантированные в сборах, вытеснил твердые пшеницы с южных полей: шесть-семь, от силы: десять центнеров «арнаutki» были для колхозов явно неприемлемой урожайностью. Задача переделать яровую природу диковатого, неподступного «дурума» манила многих селекционеров, дольше и упорней других бился над ней Павел Пантелеймонович Лукьяненко, но тоже отступил. Кириченко начал на пепле чужих надежд.

Как именно удалось ему изогнуть, не сломав, генетический стержень «дурума», тут описывать не к чему, но «мичуринка», «новомичуринка», а теперь уже

«одесская-юбилейная» являют мировой селекции отлично зимующую урожайную пшеницу с завидными качествами твердых. Новая культура требует хороших предшественников, взыскательна к питанию, но прекрасно оплачивает заботу тем самым, ради чего сеют пшеницу: при урожае в 30 центнеров гектар озимой твердой дает на 120 килограммов белка больше, чем гектар мягкой. Мировые цены на «дурум» обычно вдвое выше, чем на «вульгаре», значит, Причерноморью возвращены экспортные его возможности. Да и своя макаронная промышленность — долго ей еще гнать тусклые, размокающие в кипятке трубки из мягких пшениц? «Новомичуринка» заняла значительные площади, правительство УССР особым постановлением обязало довести производство сырья для макарон уже в 1969 году до четверти миллиона тонн. Западные научные центры проявили к открытию большой и небескорыстный интерес, запрашивают для анализов не муку, а образцы всхожего зерна.

Но года четыре назад в газетах замелькали шапки «Возродим славу украинской пшеницы!» — и площади озимой твердой год от года стали таять. Она действительно удержалась теперь на считанных тысячах гектаров, почему и пошла молва о провале, о мыльном пузыре.

— Ой, дядько, жалко нам вас! Но ничем не поможем, пока наверху к вашей твердой не станут помягче!

Это сказал Федору Григорьевичу чернявый белозубый агроном, тронутый огорчением такого сельского повадкой и откровенностью академика. И весь семинар в актовом зале института согласно и весело закивал: жалко, а не поможем!

Зимой в институте людно — едут с Днестра, с Буга и Кальмиуса, с Сиваша и дунайских низовий, рассматривают теплицы и установки испытания на холод, выпрашивают образцы, прячут в карманы колосья, охотно фотографируются, теснясь к Кириченко. Живой день пшениц, среда здоровяков, загорелая и бесхитростная аудитория.

— Так что ж вы, добрые люди, делаете с твердой?

— «Безостая» урожайней, особенно по парам.

— Но белка-то в «новомичуринке» больше!

— Эге-е, Федор Григорьевич, как вызовут с отчетом, как дадут бобы за урожай — и протеин, и клейковина, — все из головы вылетит.

— Но деньги, грошенята, — ведь за твердую платят шестьдесят пять процентов прибавки!

— Что деньги? Скотина их не лопают, фураж нужен. Если б твердую отоваривали концентратами...

— Так добивайтесь, вы ж хозяева!

— Мы люди неслышные, это вам пробить нужно, вы автор.

Автор и сам добивается этих объективных реальностей — свиного, птичьего комбикорма, хоть бы по полтора центнера за центнер своего янтаря. Иначе вал вовсе покончит с твердой! Ездит в Киев, пишет докладные, превращается в толкача, в штатного жалобщика.

Он глубоко чтит Павла Пантелеймоновича Лукьяненко, «безостую-1» считает шедевром урожайности. Вернувшись к работе над мягкими, он берет у сортов Лукьяненко их главное достоинство — неутолимый аппетит, интенсивность — и создает формы зимостойкие, чисто степной экологии и устойчивого белкового содержания. «Черноморская» не уступает «безостой» в урожайности, но сила муки у нее значительно выше. «Новостепнячка» не боится мороза, засухоустойчива и опять-таки превосходит кубанскую качеством. Наконец, выдерживающий холода и сверхсильный «эритроспермум-232»: тут мука на целых 90 джоулей сильнее, чем у «безостой»! Детища Лукьяненко — подлинная эпоха в селекции, потому что не только дали рост вала, но и стали началом интенсивных и стабильных качеств сортов причерноморской засушливой степи.

Хлебец из «эритроспермума-232» идет по рукам семинаристов, агрономы качают головами, удивляются, вежливо хвалят.

— Ну как, возьмете на вооружение?

— Добрый хлеб, славный хлеб... А что, Федор Григорьевич, лукьяненская «Аврора», пишут, гораздо урожайней «безостой»?

— Гораздо. Но по качеству не лучше.

— Вот бы элиты достать! Элита едет, когда-то будет...

Ходили лучистым зимним днем по аллеям институтского парка. Обледенелые ветки каштанов и лип стеклянно звенели. Федор Григорьевич часто оставался — сердце. Рассказывал о родном селе: с земляками живут хорошо, на премию он построил больницу. Я спросил — кажется, некстати, — правы ли в Экспортхлебе: они считают, что ближайшие пять лет в южных закромах им искать нечего. Федор Григорьевич качнул молодую липку, та отозвалась, как хрустальная люстра.

— Я мечтал, что при моей жизни хорошие макароны будут в любой сельской лавке.

Понимаю, южанину то не утешение: сильная пшеница, растущее золото, стала монополией яровых восточных краев, той хваленной и клятой, ясной в начале и сомнительной спустя время целины, что имеет теперь и опыт, и чистые пары, и селекцию, нацеленную на вышибание из седел конкурентов, уже подзабывших о хлебе с востока. «SKS-14», советская казахстанская яровая с гарантированными 14 процентами белка, — этот код уже знаком мукомолам Западной Европы, и экспортеры Канады уяснили, что тут отнюдь не одни образцы. Осень 1968 года стала, кажется, порой отградного перелома: Оренбург — 225 тысяч тонн, Алтай — 280 тысяч тонн, Казахстан — 3370 тысяч тонн ясной, как стеклышко, годной и для подового, и на саратовский калач, и на ту же паляницу! Это не считая твердой, яровой «дурума», которого тоже заготовлено несколько сотен тысяч тонн. Мало? Да, мало, ибо восточным районам приходится поддерживать стандартную клейковину громадной зоны озимых пшениц.

Но вспомним, что целинным началом впрямь была лиха беда: тусклые, мучнистые «милтурумы», полные к тому же овсюга и корзинок полыни, годные только на фураж.

Фураж, кормовая пшеница — это вовсе не ругательство, если селекция ставила именно такую, фуражную цель. Правительство Канады, к примеру, недавно разрешило фермерам сеять полукарликовую мексиканскую «питик-62» с крупным зерном без следов стекловидности: урожай у нее громадный, фантастическая «прожорливость», а на хлеб не годна. Но главной стезей соревнования пшеничных конструкторов остается, понятно, зерно для питания, содержание белка при должном урожае. Импортёры закупают, как правило, только пшеницы-улучшители, и из 55—60 миллионов тонн зерна и муки, ежегодно выходящих на рынки, слабому хлебу принадлежат ничтожные проценты. Отсюда — внимание к каждому успеху селекции, способному повлиять на торговлю.

Свежайшие свидетельства судей международной категории: лондонская лаборатория Кент-Джонса шлет отзывы о новых сортах целиноградской селекции.

В образцах сорта «пиротрикс-28» содержание белка — 16,42 процента. «Прекрасный показатель, — считает высший авторитет британских мукомолов, — намного превышающий этот показатель у современных канадских пшениц. Принимая во внимание очень высокое содержание протеина, силу и способность протеина хорошо реагировать на химическую обработку, эту отличную пшеницу нужно включать в группу сильных». Если учесть обычную умеренность английских анализаторов, то не отзыв — дифирамб!

Но дальше, сорт «лютесценс-41»: «Эта пшеница имеет отличное содержание протеина и отличную силу, ее протеин хорошо реагирует на химическую обработку». Про сорт «лютесценс-10»: «Это прекрасная пшеница. Содержание протеина и сила его отличные...» Тут, впрочем, не обошлось без укола, так как Кент-Джонс определил — затянули уборку, дали хлебу попасть под дождь: «Это выдающаяся

пшеница, но ценность ее снижает начавшееся прорастание. Если бы ее собрать в здоровом состоянии, то это была бы самая превосходная пшеница».

Что ж, учтем: зёрна не должны прорасти в валках. Только и то заметим: положительный отзыв Кент-Джонса о сорте В. Н. Мамонтовой «саратовская-29» стал в свое время событием, обошел множество наших изданий, а теперь похвалы с превосходными степенями идут прямо пакетами.

Лондон, понятно, оценивает качество — фактор международного торгового значения. Урожайность — дело, так сказать, внутреннее. Но из снопа новых сортов есть что выбрать для доработки, налицо превосходный задел — и для экспорта, и для нужд собственных. Как же не порадоваться тут за целину, как не поздравить людей, возвращающих нашим пшеницам титул лучшего хлеба планеты!

Впрочем, обратимся к колосу Юга.

В какой степени справедливы, если учесть последние данные практики, претензии зерновиков к качественной стороне главного озимого сорта — «безостой-1»? С этим я решил отправиться к автору, академику Павлу Пантелеймоновичу Лукьяненко. Беседа предстояла трудная, не скрою — к ней пришлось готовиться.

Совершенно неверно мнение, будто пшеницам Кубани на роду написана валовая, так сказать, направленность (как, допустим, зерну Прибалтики), будто они прежде в чем-то уступали южноукраинским. В своей книге о кубанском хлебе П. П. Лукьяненко приводил данные о белковом — превосходном! — содержании сортов, высевавшихся в Краснодарском крае еще пятнадцать лет назад: «краснодарка-622/2» — 16,03 процента, «новоукраинка-83» — 16,87 процента, «первенец-51» — 17,83 процента... Но нет эпитетов, выразивших бы феноменальные достоинства районированной в 1954 году «безостой-4». Думается, Павел Пантелеймонович не без гордости писал аттестат поразительного своего сорта: содержание клейковины — 48,62 процента, протеина — 17,9%! Хлеб, почти наполовину состоящий из клейковины, — греза пекарей, мечта хозяек, такая же блистательная победа селекции, как и подсолнечные сорта чудодея Пустовойта, убежденного воителя за качество, — с ним Лукьяненко работает многие годы.

Переход на исключительное возделывание «безостой-1» резко поднял урожай и обогатил колхозы Кубани. Сорт получил звание сильного, за него артелям продолжительное время начислялась десятипроцентная прибавка к цене, независимо от фактического содержания клейковины. А оно устойчивым не было: в шестьдесят четвертом году край сильной практически не заготовил, в 1966—1967 годах наметился известный рост, но наиболее благоприятный 1968 год, когда смогли проявиться все способности интенсивной пшеницы, принес рекордный урожай — почти 30 центнеров в среднем по краю — и просто-таки отвесное падение качества: в валовом сборе зерно с 28 процентами клейковины не составило и одного процента. Еще серьезнее с качественной характеристикой «клеевитого существа»: больше третьей части краевого намолота составило зерно с третьей, низшей группой или вовсе не отмывающейся клейковиной. Работники элеваторов, получившие обычное осеннее задание грузить крупным центрам хлеб с 25 процентами клейковины, стали в тупик: такого было крайне мало. За низкокачественное зерно хозяйствам выплатили стоимость нормальной пшеницы — более пятидесяти миллионов рублей, реализовать же многие сотни тысяч тонн крупного, но крайне слабого зерна — задача сложная.

Сказались, понятное дело, летние дожди, ряд районов подвергся нашествию клопа. Но я побывал в степном Крыму, где условия уборки были идеальные, а вредителя нет. В пшеницах, привезенных на Джанкойский элеватор, клейковина колебалась от 12 до 32 процентов! Крайне тревожная амплитуда для одного сорта, одного района, одного лета. Среднее качество было ниже посредственного. Несмотря на шефство московских специалистов (Институт зерна направил их на уборку), несмотря на всю тщательность отбора, элеватор смог найти только две тысячи тонн улучшителя — это пятнадцатая часть заготовленного.

Нельзя ни фетишизировать сорт, ни преуменьшать его роль. Точнее всего воздаст кесарево кесарю, конечно же, сам автор.

Я не был первым, Павлу Пантелеймоновичу уже приходилось вести речь на эту тему. Настроение к тому же портили морозы: возникла опасность гибели больших площадей озимых. Но академик согласился принять. Привожу запись беседы, опуская лишь то, что прямого отношения к делу не имеет.

П. П. Лукьяненко выразил резкое несогласие с учеными, которые определяют достоинства пшеницы в основном по белку. Надо ценить и по выходу муки, по выходу печеного хлеба с гектарного намолота (качество хлеба упомянуто не было).

«С гектара при «безостой-1» мы берем больше белка, чем при старых сортах. Опытные данные: при среднем за три года урожае в 55,9 центнера «безостая-1» дала 780 килограммов белка с гектара, «украинка» же (урожайность 33,5 центнера) — только 510 килограммов, хотя процент протенна в последней выше.

Если даже отбросить метеоусловия и действие клопа-черепашки, тенденция неотвратима: с повышением урожайности белок понижается. Но какая медицина доказала, что зерно с 13 процентами белка дает плохой хлеб? И сколько надо этой, бог ее выдумал, сильной пшеницы?

В пшеницах произошла целая революция. В самом земледелии — тоже. Изменились биоценозы, почвы наши беднеют, вынос сумасшедший, отчуждаются питательные вещества. Сложилась иная экология, процент гумуса уменьшился, почвенное богатство у нас большое, но потенциальное, почвы скупы. В крае было до полумиллиона гектаров паров, не было такой интенсивности, вот и держался белок.

Конечно, мы не можем опускаться ниже 13 процентов. Но сколько Казахстан получает — это нам очень трудно. Новые сорта «Аврора» и «Кавказ» по силе муки не выше «безостой-1», иногда ниже.

Мы в селекции принимаем меры, белок нам в зубах навяз. Сейчас применяем мутагенез, возлагаем большие надежды на мутантные формы. Выделили из канадских сортов те, что дают устойчивые качественные показатели. Нажим на белок большой.

На всех площадях сильных пшениц не получить. Сколько, наконец, надо улучшителей? Определили бы на Кубани пять-шесть районов (конечно, в Усть-Лабу не лезть), обеспечили бы их удобрениями, уборочной техникой — они удовлетворят и своих и Экспортхлеб.

О клопе-черепашке. Причина его распространения — нарушилась естественная гармония. Когда не все почвы распахивались, была среда для грибов, паразитов, насекомых, был баланс. А сейчас баланс нарушен.

Некоторые кивают на «безостую-1»: клоп, мол, больше любит ее зерно, другие сорта будто бы устойчивее. Мы не установили никаких различий в поражении старых и новых сортов. Главное — биоценозы нарушены применением химических способов борьбы. Надо сильнее развивать биологические методы (до войны, например, разводили теленомуса). США организуют экспедиции во многие страны, отлавливают и изучают нужных насекомых. Всесоюзный институт защиты растений возмущает меня, он признает одну химию...»

Академик спешил на делянки, и я поблагодарил.

Замечательная урожайности «безостая-1», как показали последние годы, — тоже пример воздействия вала на науку.

Итак, надо закреплять качество сортами — ясно. Пшеницам не хватает азота, надо сблизить объемы вносимого и выносимого элемента N — понятней некуда. Но и непонятного остается вдосталь.

Где гарантия, что азот, когда он станет поступать в достатке, не направят в пшеничных краях под свеклу, кукурузу или кориандр? С другой стороны, почему теперь, при дефиците азота, кое-где все же устойчиво получают сильную, какой фактор влияет? И самое главное, ключевое: в какой связи находится ухудшение пшеничного качества с моментами общественными?

IV

Там, где Таврия тонкой Арабатской стрелкой переходит в Тавриду, где степь идеально ровна, а грузная вода Сиваша не знает волны в любой ветер, лежит городок Геническ. По мнению осведомленных херсонцев, в бычково-арбузный сезон и даже в цветенье акаций он не уступит любому курорту. Но я приехал тотчас после жестокого январского урагана — провозвестника пыльных бурь февраля.

Лед Азова был сер от кубанской земли, впрямь не море — «Меотийские болота». В Сиваш нагнало воды, уровень его поднялся на два с половиной метра. Рассказывали, что на Бирючьем в шторм гибли заповедные олени; на окраинах городка повредило крыши, снесло заборы. На опоры высоковольтных линий нанесло соли, изоляторы пришлось мыть теплой пресной водой. В колхозах, однако, серьезных потерь не было: отстояли и крыши, и трубы, и скирды. Чуть ли не неделю степнякам пришлось быть матросами на терпящем бедствие корабле, держались тут, как всюду на Юге, блестяще. Взрыва эрозии пока не было, озимые не внушали тревоги. Но степь вдруг грозно напомнила, что она «дикое поле», не курорт.

Привело меня в Геническ желание повидать в деле Ивана Петровича Обода. Главный агроном района, он интересно выступил на том совещании в Киеве, оставил ощущение уверенности, спокойствия, один из немногих говорил не что происходит, а что делается. Район прошлой осенью поставил 16 тысяч тонн сильной пшеницы — треть всех улучшителей республики. В Присивашье эта культура — самая урожайная из зерновых, сеять здесь ячмень, прочий фураж — значит без толку переводить землю и энергию солнца. Вредителей нет, извели их луцевкой, но серьезную опасность представляет горчак розовый, он расплодился во время бесконечных перестроек, занял десятки тысяч гектаров, боится он только мощных тракторов, пара. К специализации хозяйства готовы, есть опыт, есть уважение к пшенице. Помогут азотом и техникой — район гарантирует полтораста тысяч тонн в год, в большей части сильной.

Наголо обритый, плотный, или, как определяет украинский юмор, «натоптанный» районщик и одеждой и повадкой, он, я заметил, был очень прост в обращении с учеными — и не как передовик, а как ровня. Потом выяснилось, что агроном завершает диссертацию и многих пшеничников знает лично или по статьям.

Правда, дома, в озябшем Геническе, Иван Петрович не показался мне ни спокойным, ни уверенным. Это уже был не деловитый ученый, а просто человек районного аппарата, не всегда с решающим голосом. Кое-какие причины беспокойства выяснились. Подал новому секретарю райкома докладную со смелыми предложениями — как оно еще обойдется... В управлении без энтузиазма приняли просьбу об отпуске для кандидатской: и так часто в разъездах, а работа стоит... Главное же — баталия в крестики-нолики: сводили структуру посевных площадей. Зоотехник ярится — опять обделили кормовыми, агроном мирит:

— Какой мы ему урожай зеленой массы планируем — сто сорок? Ладно, накинем двадцать, пусть успокоится.

Зоотехник молчит — как же против роста урожайности? А что кукуруза больше ста центнеров не дает, записывать нечего, и так все знают... Словом, Киев был праздником, а тут — будни, служба, а на службе всегда важно, на уровне ты или нет.

У Обода есть служба, уравнивающая его с тысячами других, но есть и дело — оно резко выделяет его.

Это агроном отнюдь не бедарочного типа. И уже не того типа, какой в недавнюю пору сберегал хозяйства от лихих новшеств «ложью во спасение», защищая здравый опыт колхозника и сам довольствуясь, в общем-то, этим опытом.

Обод — агроном знания. Того сельскохозяйственного знания середины XX века, какое многое сместило на глобусе, сделало вековых импортеров Европы торговцами зерном, а индусов, бирманцев шлет изучать рисоводство на Апен-

нины, в Калифорнию. В этом знании он представляет именно Генический район Украины (почвы темно-каштановые, солонцеватые, среднегодовая осадков — 320 миллиметров, безморозных дней — 200). Он выпаривает факт до ясности и прочности кристалла, и этот научный факт становится мерилем моральным: ненаучное не может быть красивым. Он интеллигент не по социальной только прослойке, а в силу постоянной мыслительной работы, побуждаемой причинами нравственного порядка. Уровень его знаний превосходит уровень полевода-колхозника, разница тут, вероятно, не меньшая, чем была между мужиком и выпускником Петровской академии. Поддерживать ту разницу (а южный механизатор в большинстве хорошо обучен, развит и по натуре склонен «расти») позволяють ему технические достоинства времени: самолет как полевая машина, карбамид — концентрат азота, лаборатория. Уже колосающаяся пшеницу можно удобрить с воздуха, и за две внекорневых подкормки клейковина в зерне поднимется на целых 7 процентов, хозяйство получит с гектара дополнительно 17 рублей 52 копейки, а элеватор — сильную пшеницу. (Данный опыт, уточню, организовал Институт физиологии растений, но Иван Петрович и самостоятельно вел работы не проще.) Вся соль в том, что азот внесен намеренно очень поздно, не для роста вала только, а для заполнения зерен белком. Формула «если дождь да гром — не нужен агроном», четко выражающая «нищенства тормоз», к Ободу отношения просто не имеет, ибо для дела, на какое он способен, нужны и дождь, и гром, и карбамид, но только он превратит их в протейн. Его кредо, надо полагать, заключается в мельком сказанной фразе: «Преодолевать трудности все умеем, а как не создавать их?»

Иван Петрович пригласил съездить посмотреть хлеб. Я понял так, что отправимся на озими — какой же еще хлеб в январе? Мы и в самом деле останавливались у нескольких полей, Обода интересовало состояние узла кушения. Но затем свернули к Партизанскому элеватору, и тут выяснилось, что едем смотреть геническую пшеницу, которая здесь «дозревает», пока не достигнет качества сильной. Четыре тысячи тонн колхозы летом продали с отметкой «25—27», зерно в лежке поднимает клейковину. Как достигнет двадцати восьми, элеватор произведет перерасчет и выплатит хозяйствам премию — тысяч около шестидесяти.

Невероятно. Немыслимо! До сих пор не отправлена, не смешана, не исчезла в водовороте — ладно. Но чтоб ведомство хлебопродуктов по доброй воле выпластило надбавку за силу, которая пришла уже потом, в складах, не к колхозному уже зерну? Однако — платит, в прошлый сезон «дозрело» пять тысяч тонн, колхозы были довольны.

Технолог Анна Ивановна открыла нам хранилище; вспугнув зимующих тут воробьев, мы взяли образцы. Пока шел анализ, агроном и Анна Ивановна мирно толковали про какие-то красные квитанции... Мир между ними царит зимою, рассказала женщина, а летом Иван Петрович — человек ужасный. Заставляет пробовать на клейковину каждое поле, загонял лаборанток, руки все стерты, а красных квитанций (по ним колхозы отправляют сильную) на автовесах просто боялись: не дай бог послать грузовик не туда. А из-за чего вся колгота? Ведь никто на элеваторе и копейки за сильную не получит. Только из уважения к Ивану Петровичу, посмотрим еще, как он проявит себя Восьмого марта...

Элеватор — финал. Начало — в сроках сева, противоречие между валом и качеством и здесь прослежено досконально: ранний, августовский сев на опытных полях дал 26 центнеров урожая с 7 центнерами клейковины, средний, в конце сентября принес высший намолот (42 центнера) и 12,18 центнера клейковины, но лучшее качество (12,24 центнера клейковины) у сева середины октября, при этом вал снижен до 36 центнеров. Затягивать посевную — это работать на критических отметках и в отношении погоды, и в смысле сводочно-газетном: отстающих бьют. И все же Обод правит на октябрь.

А если точнее, то начало в предшественниках. Докладная райкому (Ивана Петровича, к великой его радости, поддержали) содержала стратегический план: перенести производство кормов на орошаемые участки, где люцерну можно ко-

силь трижды в лето, и тем расширить площади паров. Замышляется пустить зерно и снабжение ферм по непересекающимся путям. План капитальный, в исполнении долгий. Пока же и в Геническе «корова бодает пшеницу»: держит в черном теле, отгесняет на плохой предшественник. На каждый пшеничный гектар приходится почти такая же площадь кормовых, но если в первом случае берут в среднем 22 центнера зерна (по парам за три года — 35, по пшеничной стерне — 13,4 центнера, разница, как видим, в пользу паров), то во втором — центнеров по сто кукурузной массы, водянистой и малопитательной. Приходится и косить озими травую, и сеять ради фуража презираемый Ободом ячмень, а обеспечить стада кормами не поднимается выше 70 процентов. Полуголодный коровий гурт, как почти всюду на Юге, приносит убытки, рентабельность пшеницы прекрасная — 260 процентов. Как ни крути, а 30 процентов коров — лишние, они занимаются поправой, хотя и круглый год не выходят из денников. Поэтому любой разговор в колхозах непременно свернет на специализацию, а разумеют под ней, если без камуфляжа, желание сократить кормовые и брать с этих сухих, пропитанных солнцем земель пшеницей.

План есть план, мясо-молоко давать надо, в Херсоне и в самом Геническе на полках «гастрономов» говядины нет. Выходит, надо как-то преодолевать трудность?

Тут-то и был произнесен Иваном Петровичем тот афоризм, его кредо.

Сам в прошлом председатель, Обод чуток к тому, что думают и говорят в колхозах (конечно, про пшеницу, ибо о чем еще может думать серьезный и здравый человек?). Агрономию заменить нельзя, но помочь или помешать ей можно, подлинное старание рождается только подлинным интересом. Иван Петрович намеренно повез меня в «Волну революции», к многоопытному и хитрущему Илье Ивановичу Рыбкину.

Председатель этот обживал новый дом правления и сразу же стал нам показывать лепные потолки, полированную мебель, метлахскую плитку и прочие плоды искусства доставать. Все это имело, как оказалось, прямую связь с пшеничной проблемой.

Легко ли все это добыть? Трудно, подчеркнул Илья Иванович. И клейковину тоже трудно: ускользает, не поймашь. Но поймали бы и удержали, если б за нее давали не просто деньги, а дефицитный товар. Материальный интерес — это интерес к материалам, верно? «Волне» автотранспорт нужен. И лес, и бетон, и шифер, но машины — в первую голову. Так зачем деньги? Не надо развивать жадность. Давали б за сильную то, ради чего председатель по городам мотается! Будьте покойны, чаем с сахаром поили бы каждое поле, а накачали бы клейковину. И соревнование у председателей пошло бы «в степу», а не по линии доставания. Потому что сейчас тот передовик, у того машины крутятся и дома строятся, кто умеет добыть, вырвать фонды...

Вон какой оборот: отоваривание. Да не привычное, фуражное, какого добивается Федор Григорьевич Кириченко, а широкое, при коем реальная ценность, пшеница-улучшитель, обменивалась бы на манящие хозяйство ценности с общим именем «дефицит». Рубль тяжелый, уже наделенный фондами, позволяющий направить на производство ту громадную долю энергии, какую съедает снабжение, — вот чего хочет за сильную Рыбкин Илья Иванович с его своеобразным материальным интересом.

Словом, и в Геническе не асфальтом устлан путь к сильной. Пока и корма на поливе, и «дефицит» за белок — мечта, налицо лишь талант агронома. То, что при малых урожаях, при экстенсивном хозяйствовании давалось как бы само собой, при сегодняшней загрузке гектара под силу добыть только таланту.

Элемент знания, энтузиазма, увлеченности и при грядущих минеральных щедротах будет играть в пшеничном промысле кардинальную, незаместимую роль, пока же преодолеть всю череду препон под силу только незаурядному работнику. И то, что работа в высшем агрономическом классе не принесит ровно никаких лавров, что охота за клейковиной для пшеничного мастера бескорыстна, лишь под-

тверждает: дело в искре божьей. Кандидатским дипломом Обод, возможно, докажет серьезность и важность дела (ибо слыхано ли, чтобы степень присуждали за блажь и галиматю!), но предисловие к диссертации — эшелоны сильной — признания ему не даст.

Конечно же, полки южных агрономов имеют в своих рядах людей с исключительным пониманием природы благородного злака. Александр Константинович Мамонов на солончах Керченского полуострова растит пшеницу с великолепной клейковиной — но видно ли его за богатырями вала? Агроном Геннадий Алексеевич Романенко в Тимашевском районе Кубани наладил производство сильных при рекордных урожаях — многим ли известен он, утверждающий совместимость большого вала с высоким белком? Видимо, безымянные пока мастера кладут основу школе интенсивного сильного хлеба.

Но талант — редкость. Редки и пятнышки сильной на карте пшеничного Юга. На одних исключительных качествах специалистов массовое производство держаться не может.

Перечитаем Директивы XXIII съезда КПСС. Главной задачей в области сельского хозяйства определено значительное увеличение производства продуктов земледелия и животноводства в целях лучшего удовлетворения растущих потребностей населения в продуктах питания. За четкой, как закон, формулой — забота о человеке, о том, что он ест. Почему необходимо улучшать рацион среднестатистической «души населения»? Ведь, по данным бюджетных обследований, на одного человека у нас приходится 3000—3200 калорий в день, это в пределах нормы.

Вот книга, недавно выпущенная Политиздатом. — «Мы и планета». Цифры и факты о пути, пройденном страной за полвека. Тут отражен и рост потребления, представлена качественная сторона нашего питания в сравнении с данными других государств. В потреблении хлеба мы на четвертом месте, после ОАР, Югославии и Пакистана, наша доза — 150 килограммов в год, на три килограмма больше Индии. Выигрышное это место или нет? Скорее второе: в рационе француза хлеб составляет 91 килограмм, жителя США — 66. За последние семнадцать лет мы убавили хлебную дозу на 22 килограмма, по сравнению с тринадцатым годом — на 50 килограммов. И все же налицо известная «экстенсивность» рациона. Нельзя забывать о национальных традициях, привычках, вкусах. Но вот потребление мяса — здесь мы на восьмом месте (46 килограммов в год) и пока значительно уступаем Австралии, США (108) и Аргентине (88 килограммов). Нормой потребления мяса у нас принято сто килограммов в год. В картофеле мы следуем за Польшей и Бразилией, потребляя 131 килограмм. Это значительно меньше, чем было в 1950 году, но пока вдвое больше, чем в США... Словом, структура питания несомненно нуждается в совершенствовании, нужно больше продуктов хороших и разных.

Как добиться этого? «Решающее значение для подъема всех отраслей сельского хозяйства, для роста благосостояния народа имеет прежде всего производство зерна». Кажется, в столь сжатом документе не останется места для речи о качестве? Но нет, Директивы специально отмечают: «Осуществить мероприятия по обеспечению значительного улучшения качества, технологических свойств и ассортимента сельскохозяйственного сырья, предназначенного для переработки в промышленности». Да, пшеничный белок — это частность, как и сахаристость винограда Армении и свеклы Кубани, выход волокна из смоленских льнов и чистой шерсти из руна Ставрополя. Но вот документ съезда перечисляет главные пути повышения урожайности — рациональное использование земельных угодий, правильные севообороты, внедрение лучших сортов, эффективное использование удобрений, борьбу с эрозией почв, создание полезащитных лесонасаждений, — и всякий зерновик скажет: это программа борьбы за качество пшениц, ибо тут есть все для одновременного роста и сбора, и белковой ценности. Если в агротехнических позициях Ди-

ректив прибавить организационные (об укреплении договорных отношений хозяйств с заготовителями, о материальной ответственности сторон за выполнение обязательств по закупкам товарной продукции), то сложится комплекс.

Но в чем политэкономический ключ, где общественная гарантия успеха, чем выражен «гвоздь» момента? «Обеспечить правильное сочетание централизованного планового руководства сельским хозяйством с развитием хозяйственной инициативы и самостоятельности колхозов и совхозов». Сочетание плана, директивы, заказа «сверху» с интересом, толковостью, желанием быть рачительным «внизу» — вот слово реформы для социалистического села.

Почему, однако, сочетание? Зачем два рычага, а не «или — или»? С высоты трех лет пятилетки это видно четче, чем даже в 1966 году. Не будем здесь касаться прошлого. Заметим лишь, что черноземный Юг и в централизованных вложениях, и в размерах плановых заданий, оставлявших значительную долю продуктов для реализации на рынке, директивным руководством всегда ставился в преимущественные условия перед другими районами. Речь про день нынешний.

И сегодня план — это курс на «нужно», это материальное подкрепление государственных заказов, это те грузовики и дефицитный азот, что делают задание выполнимым. А план твердый, введенный мартовским (1965) Пленумом ЦК партии, — это стабильность, возможность специализировать хозяйства, отсюда истекает белгородский метод индустриализации животноводства, поддержанный многими областями. Централизованное планирование — настолько очевидное преимущество нашего строя, что и развитые страны Запада все шире применяют его в своей экономике.

Но план — возьмем самое близкое, элементарное — не предусмотрит, что на миллионах гектаров вдруг появится зерновой вредитель. Не допустить этого можно лишь «внизу» — если клоп вреден экономически. Административные меры не перекроют бесчисленных обходных непшеничных путей к прибыли в пшеничном краю — вломним подсолнечный натиск в Синельникове. Совпадение «нужно» с «выгодно», подкрепление команды плановой командой экономической гарантируют разумность использования любой земли, какими бы особенностями она ни обладала.

Что важнее — плановый рычаг или рычаг инициативы?

Когда на плече коромысло с ведрами, какой край важнее для баланса, для того, чтобы споро идти и не пролить воды?

Сами Директивы дают образец, как нужно развивать инициативу, добиваясь баланса. «Сверхплановые закупки зерна, осуществляемые по повышенным ценам, полностью отвечают интересам колхозов и совхозов и будут способствовать росту доходов труженников сельского хозяйства». Полуторная цена на хлеб сверх плана — это соединение интересов государства, хозяйства и работника; следовательно, прирост урожая будет продан элеваторам.

И увеличение сборов Кубани, и восстановление озимого клина югом Украины, где в недавние годы кукуруза разрушила севооборот, и новый стандарт на сильные пшеницы, поставивший оплату в четкую зависимость от качества, — все это сочетание в действии. Но в той части, о какой мы ведем речь, совмещение «нужно» и «выгодно» не достигнуто. Это-то, говоря в самом общем смысле, и порождает падение достоинств зерна.

Какой из двух рычагов вызывает перекосяк — вопрос несуразный, как и в случае с коромыслом. Оба! Госплан не считает нужным определить даже потребность в сильных — просчет плановый. Комитет цен не учел, что поврежденное клопом зерно покупается как здоровое — минус экономический. Министерство сельского хозяйства не специализировало районы, не определило баланс азота и объем удобрений, нужный для «накачки» пшениц белком, — тут сторона плана, хотя и науки тоже. Комитет хлебопродуктов не заинтересовал в заготовках лучшего сырья армию приемщиков — это будто «край» инициативы, но ведь и плана тоже. Всех моментов не перечислить, ясно лишь то, что случайности нет; выводя равной-

ствующую из самых разных команд, условий и обстоятельств, хозяйства следуют ей и продают то, что продают. Раз результат оказывается огорчительным, раз из ведер выплескивается, то скоростью хода не удовлетворишься: надо ровнять коумысло, достичь иного итога воздействий.

Но зима 1969-го, суровым рубежом вошедшая в анналы нашего Юга, многое переоценила и, не сняв старых сложностей, поставила на первый план проблему, от которой зависят урожай вообще с качеством их и количеством. Насколько же правы были делегаты XXIII съезда партии, когда включали борьбу с эрозией в круг первостепенных задач! Таврии нужен азот? Но при таких темпах выдувания он впрямь может стать а-з-о-т-о-м, «безжизненным». На Кубани все упирается в туки? Данаиды когда-то не могли наполнить емкость потому, что у той не было дна. Превыше всего — сбережение чернозема, каким благословила нас природа. Прежде всего — охрана почв, за ней уже все остальное!

V

Первая пыльная буря на распаханной целине Кулундинской степи была 20 мая 1955 года. В тот день мы ехали из Благовещенска в Славгород. С казахстанской стороны двигалась какая-то рыжая стена. Вскоре небо помутнело, солнце исчезло, хотя туч не было; появилась холодная духота. Хлестнуло в стекло «газика» песком, брезент загудел, машину начало шатать, дорога исчезла, свет фар упирался в экран пыли. И вроде бы исчез воздух — стало нечем дышать.

Фронт бури сравнительно скоро прошел. Умываясь у придорожного колодца, мы с удивлением заметили, что краска с номера счищена, как наждаком. Нам сказали, что это был «кулундинский дождик». Чем он опасен, что последует за пробной коротенькой бурей, мы не знали, как не догадывались и о причастности целинников к эрозии. Первая в жизни пыльная буря запомнилась исчезновением воздуха.

А этой зимой в степи между Краснодаром и Тимашевской случилось увидеть нечто иное. Воздух был — исчезала земля.

Утихал второй январский ураган. Первый, особенно сильный, порывами достигавший скорости сорока метров в секунду, сломил сопротивление почвы. Бесснежная зима и морозы, иссушившие поверхностный слой, помогли беде, и во второй заход уже начало «качать».

Через асфальт, как снег при поземке, текли струи земли. Занесенным кюветом я прошел в поле. Листья озими были срезаны, корни пшеницы обнажились, на них держались пожухлые семена. С этого поля снесло минимум сантиметров семь почвы. Стоило мне остановиться — и ветер выметал вокруг моих башмаков ямки. Несло не пыль Кулунды, а крупные зерна кубанского чернозема. Было это так наглядно, так стремительно, что все испытанное на целине в сравнение не шло.

Поражала крупность агрегатов сносимой почвы: комки размером с сечку гречневой крупы. Сразу пыли они не давали, ветер перемальывал их в движении, тяжелое оседало за прикрытиями лесополос, скирд, ферм, легкое же, поднятое ветром над Азовом, несло пыльной толщей на Украину, черня снег, как оказалось, до Киева.

Но в январе были цветики, главная эрозия началась в третий, сравнительно тихий шторм конца февраля. Радио день за днем твердило: «На Северном Кавказе — пыльные бури». Как только открылся аэропорт, я снова отправился в Краснодар.

Уже с Воронежа потянулся вниз серый снег, лед Дона не блеснул. Возле Ростова земля исчезла за мутной мглой: здесь еще мело.

Кубань — край свежий. То ли близость снежного Кавказа дает себя знать, то ли дыхание двух морей, то ли сама молодость земли, еще сто лет назад хранившей козыль целины и золото сарматских курганов, но край узнаешь по первому

вдоху в аэропорту. Когда бы ни прилетел, в августе или солнечном январе, бодрость и свежесть особого воздуха, ярность пейзажа молодят тебя.

А тут — серо, уныло, все будто состарилось, потеряло краски. Кусты самшита и роз в палисаднике занесены слоем земли. «Ой, да у нас как в Сахаре!» — поразились девушки-спутницы, прилетевшие домой, в пригород Пашковку.

Краснодар был неузнаваем. Ну, пыль меж рамами окон, ну, иссеченная кора деревьев, сорванные буквы вывесок, грязь, общий серый тон; но откуда это скверное состояние тревоги, неустроенности, ощущение чего-то нарушенного в самой сердцевине сущего — и дрянная тяга туда, где земля прочна и воздух пахнет вишней? Шут его знает, вдруг в человеческом виде за тысячелетний опыт Месопотамии, Сахары, Средней Азии выработалась охранный боязнь эрозии, как у зверья — чутье к лесным пожарам? Конечно, будут и дожди, и сев яровых, нужно снова думать об удобрениях, об урожае. Но внутренний «гомо сапиенс» при виде занесенных заборов на старых, еще станичных улицах чувствовал зябкость и беспокойство.

Город основан в конце екатерининской эпохи переселенными запорожцами. Кошевой атаман Чапега в 1793 году строгим ордером приказывал первому коменданту Екатеринодара: «Смотреть за жителями, дабы около града со стоящих лесов отнюдь не рубили, также в лес и скотину не пускали, а учредили бы пастуха, который должен гонять на корм в степь». Первое почвозащитное мероприятие. Вокруг-то, оказывается, был лес!..

В крайкоме партии рассказали, что от мороза и эрозии погибли огромные площади озимых. Беда тем обиднее, что до января посевы всюду были великолепны, край уверенно шел за 30 центнеров урожая, стихия подсекла на самом взлете... Громадным напряжением, созданием спасательных отрядов, подчас прямым героизмом станичников удалось не допустить серьезных потерь в скоте, постройках, коммуникациях. Сильно занесена сеть оросительных каналов, завалены лесополосы.

Но в каждом районе есть оазисы, будто обойденные бурями. Это, как правило, старые, сложившиеся хозяйства. Их спасла настоящая полезащита, нужно такой образец брать за основу. Вообще буря заставляет взвесить: можно ли держать столько пропашных, так перемалывать землю? Структуру диктуют сахарные заводы и громадное стадо крупного рогатого, им-то и нужны такие площади свеклы и кукурузы... О чем думает Госплан, почему не планирует производство? Кубани дали в план хрен, это чуть ли не сотая культура. Ведь растет все, нужно определиться, что можно брать...

Первым делом, конечно же, в Усть-Лабу, на хутор Железный, к доброму приятелю Николаю Афанасьевичу Неудачному. Умница, человек фантастической оборотистости и сметки, этот бывший бригадир за двенадцать лет вывел-таки колхоз имени Крупской в первые по урожаю хозяйства страны — через инфаркт в тридцать семь лет, через самые тяжкие пни и колоды. В прошлом году собрали уже по 54 центнера пшеницы! Одел асфальтом авеню хутора и армянским туфом — стены школы, дома культуры, правления, понастроил пропасть ферм, навел культуру в полях, хоть, правда, в лесополосах ни одного корня не посадил. Это добытчик, у которого развязаны руки, знающий землю так, что утаить что-нибудь от него она не в состоянии.

Бульдозеры расчищали проселок от пыльных заносов, сталкивая то, что было черноземом, на жердевые ряды. Не застав председателя, я отправился на хутор Свободный, всегда милый кубанской тишиной и сливовыми садами.

Вид поселка ошеломил. Оставив машину, которой делать тут было нечего, пошел курганами, грузно легшими во всю ширину улицы.

Занесены сады, заборы, занесены дома — до окон, кое-где до крыш. Будто небывалая северная метель погуляла неделю, но снег, как на негативе, черный. Встретил Ульяну Юхимовну — сапоги, фартук, несет четверть с молоком, смеется:

— Страшный суд! Бирюк больной лежит, а жена на работе. Так его пылью засыпало. У Шуры Лозихи собаку занесло, в будке и умерла. Люди на тот край перебрались, а я в окошко прыгаю. Откуда такая гадость — ума не приложишь.

Подошел Абакумов, бывший счетовод, снятый за известную слабость. Одержимый идеей переселиться на другой край хутора, поближе к теще, он и в буранах нашел подтверждение, что на этой улице жить нельзя, пускай Неудачный уступит.

— После первого бурагана я с сыном сорок бричек земли вывез со двора, а оно еще больше надуло, теперь до окон. Несло вместе с удобрениями, я надыхался — целый день рвало. А в том краю не тронуло, живы-здоровы.

Причиной было одно-единственное поле зяби с наветренной стороны. Зяблевые поля, как и на целине, были первыми запалами; пшеничные массивы сопротивляются сильнее, а с люцерны ветру вовсе взять нечего.

И все же колхоз имени Крупской устоял: из 1300 гектаров пшеницы около тысячи уцелело. Николай Афанасьевич досадовал, что пропало сорок пять гектаров элитной «авроры»: ведь размножил с восьмисот полученных у Лукьяненко граммов! Расстраивался: внесли под свеклу по тонне удобрений, а вот улетели на Украину, теперь снова граться (Усть-Лабинский район получает минеральные туки практически «по потребности», дело впрямь в рублях). Придется посеять больше гибридной кукурузы, чтоб были «грошенята»... Словом, председателя, как и нестойкого экс-счетовода, заботили ближние реалии, на разговор о решительных мерах защиты навести его не удавалось, о каком-то переломе в стратегии думки не было. Эрозия — из тех же проклятых случайностей, что и град или, скажем, ящур, не иначе.

Кажется, я впал в грех нравоучительства: высыпал перед ним короб тех данных, что от частого употребления в предисловиях и вступительных речах совещаний потеряли устрашающий смысл, обточились и становятся общими местами.

Он, Неудачный, летал в Соединенные Штаты, верно? Так там в один только майский день тридцать четвертого года было снесено триста миллионов тонн почвы. Там высчитано, что от эрозии почва теряет в двадцать раз больше элементов питания, чем выносятся с урожаем! Чтобы накопить три сантиметра почвы, природе в хороших условиях надо от трех до десяти веков. А с поля у Свободного в неделю снесен слой сантиметров в семь-восемь!

Николай Афанасьевич на это холодно возразил, что насчет эрозии в США, должно быть, наврано, там на это способны. Ничего опасного он там не заметил, хотя проехали много. А сантиметры Свободного — бирюльки, у людей качало похуже. Чернозем толстостенный, плантажный плуг не достает дна.

(Этот же аргумент, кстати сказать, был употреблен в газете «Советская Россия». «Резонанс в России от пыльных бурь, поразивших Кубань, получился намного громче, чем сама буря и последствия ее, — писала газета 25 марта. — Главное наше богатство — черноземы Кубани — целы-целехоньки. Снос верхнего слоя не превысил нескольких сантиметров, и всякие разговоры о разрушении плодороднейших степей Юга лишены основания... В воздух ураган поднял самый верхний, распыленный слой почвы». Выходит, разговоры обретут основание, когда ветер поднимет нижний слой, дойдет до подпочвы? Со сносом каждого сантиметра черноземного слоя гектар теряет 80 килограммов фосфора, 390 — азота, около шести тонн органических веществ — этого мало? Статья в Краснодаре вызвала, скажем скромно, удивление.)

Уже до этой зимы, продолжал напирать я, эрозия ежегодно обходилась стране почти в четыре миллиарда рублей. Каждый сезон смывается полмиллиарда тонн почвы, ветровой эрозией на Юге захвачено больше десяти миллионов гектаров. Раз начавшись, процесс сам не прекращается. Маркс писал Энгельсу, что культура, если она развивается стихийно, а не направляется сознательно, оставляет после себя пустыню. И в том же письме им сказано, что вещи, лежащие под носом, не замечаются даже самыми выдающимися умами. А потом наступает вре-

мя, когда всюду замечают следы тех самых явлений, которые раньше не привлекали внимания...

— Ну-у, теперь в науке пойдут кто во что горазд, — досадливо крикнул Николай Афанасьевич и отвернулся. — Советы, запреты, греха не оберешься...

Он выдал себя, мой старый приятель. Его гнетет опасность надзора!

Из всех ведомств наименьшей его симпатией пользуется котлонадзор. Может, еще пожарники, глухие и резкие люди, но котлонадзор с его каменным «нельзя» — особенно. Не объехать, не умастить. А если введут такой же догляд за почвой?

Хозяин, вышедший на оперативный простор, после стольких лет скудости получивший и технику, и большущие «грошенята», он землю заставил возвращать несъеденное-некупленное в былые годы. Смахнул тракторами линию старых акаций, укорачивавшую гоны, но ни метра земли не отдал под новые посадки. Он сторонник люцерны, ибо на семенах берет серьезные тысячи, но почвозащита, если не дает денег, — баловство, дурость. Намек, что снос того поля у Свободного приравняют к взрыву котла, раздражает его. Почва — единственное, чего он не принимал и никому не передает по акту, о чем никогда не спросил ревизор, контролер, инспектор. В почве государство — это он. Есть даже «Акт на вечное пользование землей».

Никакой он не временщик в том смысле, чтоб урвать и уйти. Просто в том комплексе крестьянских представлений, что (вместе с тракторами, азотом, «безостой») вывел его на всесоюзный олимп, понятия эрозии не было и нет. Амброзия — да, это карантинный сорняк, его теперь нанесло ветром, а эрозия — выдумка, дурь, бирюльки. На хутор послали экскаваторы, отружь!

Но было ли когда-нибудь, чтоб Неудачного расстраивали пустяки? Если хозяйское его естество так реагировало на самую возможность «котлонадзора» за черноземом, значит, дело серьезное. Сам, добровольно, охранником почв он не станет: если б и было желание — он не знает, что делать, как толком не знает системы мер и вся Кубань. А если поверит, убедится, что известные приемы не дают сдвигать тонны удобрений, — будет делать как следует, без обмана. Убедить его, что в том «Акте» главное слово — «вечное», что не превышать давления в «котлах» севооборотов даже выгодно, что брать у природы не больше «милостей», чем она способна давать, оставаясь здоровой, должен он сам, — тут целый этап воспитания, хозяйственного, научного и нравственного.

Гребнем Лабы, над пойменными лесами Адыгеи, вдоль цепи сарматских могил — к тополевому Курганинску, к предгорному прохладному Лабинску, оттуда — в глубь степи, к Новокубанке, на стрежень аэродинамической «армавирской трубы».

Прав был Николай Афанасьевич: в Свободном я видел «бирюльки».

С начальником Курганинского сельхозуправления Павлом Григорьевичем Пацаном взбирались на земляной вал на меже колхоза «Кубань», высотой почти равный лесополосе, с десятиметровым основанием. Из наноса торчали верхние прутья абрикосов и кленов: приняв черный поток в себя, посадка погибла. Павел Григорьевич рассказывал: один московский представитель до поездки в поля спрашивал, не очистить ли полосы мощными вентиляторами, но увидел валы, вздохнул и пожал плечами. Растащить наносы по полям — сложная и долгая мелиоративная задача, но поселки, приусадебные участки выручать надо быстро. В ассирийском хуторе Урмия занесены клуб и ферма, в Красном Селе люди кормят кур, поросят через крыши сараев; улицу перегородили курганы.

Лабинский секретарь райкома Павел Касьянович Чайкин, кандидат наук, человек редкого обаяния, повез, ничего не тая, в самое пекло — к станции Чамлыкской. Председатель колхоза Сливин сказал:

— Мы теперь уже смеемся — терять нечего.

Поля здесь были усеяны голышами, торчащими на столбиках чернозема, как шляпки грибов: землю вокруг камней выдуло, снесло в долину, за хаты, сарай, скирды. Теперь уже председатель, склонный к лекционной пропаганде, расска-

звал нам о законах американского конгресса в защиту почв. За пятнадцать лет управления хозяйством М. И. Сливин посадил всего шестьдесят гектаров лесополос — что делать, поддались течению, забросили лес. Надо убрать из станицы полтора миллиона кубометров грунта, это влетит в копеечку, нужен кредит.

Но — свойство людской природы — после прививки в Свободном все зримое не бросало в пот, стало почти привычным, вернулся сон, пошло обыкновенное газетное: сколько, почему, как? Тем более что и контрасты были разительные: рядом, буквально в соседстве с аренами «страшного суда», стояли здоровые хозяйства с густым ковром живых и крепких озимей.

В совхозе «Лабинский» (Павел Касьянович свозил и туда) долину спасли не лесополосы в привычном, широченном и непролазном виде, а просто шеренги взрослых тополей, узкие ветроломные гребешки, расчесавшие потоки воздуха до безопасной скорости. В пору зарождения науки о борьбе с засухой российские ученые называли такую защиту живыми изгородами. Живые изгороди — живые поля. Директор Семен Евдокимович Кравченко рассказывал, почему, хоть и бури, хозяйство нынче выполнит пятилетку по зерну, я же выпытывал, откуда такие славные тополя, как стал совхоз зеленой крепостью.

Знаменитый племенной завод «Венцы-Заря» словно одновременно находился и в зоне затишья, и на самой стремнине: на одном отделении ветер засек почти тысячу гектаров пшеницы, не затронув ни поля на остальных. Оказалось, жестоко потрепанный участок недавно прирезан, перешел из колхоза, где строили полосы для отчета, не для дела. А старые бригады сильны системой: можно, не выходя из тени, обойти все поля.

Непродуваемая, шириной метров в двадцать, с опушкой из кустарника лесополоса, сквозь которую мышь не пробрется, — хороша она или плоха? Такая конструкция двадцать лет назад считалась строго обязательной. Бури доказали, что она просто вредна. Если в снежную зиму полоса грабит поле, собирая в себя сугробы, то в пыльную природу просто выносит приговор нежизненной затее: земляной вал погребает крайние ряды деревьев. Это было бы технической деталью, если бы скверное состояние зеленой обороны так дорого не обошлось нынче, если бы валы на полях не подрывали в людях веры в способность живой изгороди. Лесополоса слушается законов аэродинамики; недаром способ очистки железных дорог от снега посадкой леса связывают с именем академика Жуковского. Ветер, перемахнув полосу, сдувает снег до шпал. Таким ли зеленый заслон изобретался в давние, докучаевские времена? Кубань, и прежде край манивший, позволяет ответить на это.

Один из акционеров строительства Владикавказской железной дороги барон Рудольф Штейнгель в 1881 году купил у генерал-адъютанта Святополк-Мирского в восемнадцати верстах от Армавира шесть тысяч десятин земли, где основал имение, назвав его Хуторок. Вскоре подкупил еще, взял и в аренду, построил спиртовой завод и галетную фабрику, подвел ветку железной дороги. Создалось одно из культурнейших хозяйств России, медалист многих выставок. Наследник, Владимир Штейнгель, нанимал в лето до пяти тысяч временных и поденных рабочих, эксплуатация была не легче, чем и в однотипной, тоже немецкой, Аскании. Большевицкая группа вела среди батраков действенную агитацию, доходило до вызова войск. «Имение мое Хуторок стало очагом самой ужасной революции в ее самых крайних проявлениях», — звал помощь хозяин. Любопытно, однако, что зимой 1918 года над арестованным Штейнгелем батраки устроили на площади общественный суд, признали лично его в злодеяниях невинным и отпустили за границу. В апреле восемнадцатого года здесь основан первый кубанский совхоз.

Хуторяне — завзятые историки, летописи их хозяйства в отличном состоянии, и не представляет труда проследить, как былое капиталистическое имение через разрушения двух войн, через беды неэкономического свойства поднялось к требованиям второй половины XX века, стало одним из культурнейших советских хозяйств. Средним многолетним урожаем пшеницы до революции было 15 центнеров с гектара; в 1964—1966 годах совхоз получил 31,2. Даже по сравнению

с предвоенным временем производство мяса увеличилось в десять раз, молока — в пять. Именно последовательное накопление культуры, надстройка этажей помогли достигнуть этих высот.

В 1886 году в Хуторке было посажено 50 километров лесных полос. Избраны были быстрорастущая гледичия (ее тут и теперь называют «баронской акацией») и ясень. Мы смотрели старейшие поля, и Константин Георгиевич Лепешкин, главный агроном совхоза, все обращал внимание на крайнюю экономность: полосы трех-четырёхрядные, без всякого кустарника, отличной продуваемости. Такая полоса дешева в уходе, ее легко чистить. Непродуваемые запусаются и дичают, кроме прочего, потому, что на очистку гектара требуется до 500 рублей зарплаты — средства громадные, если учесть масштабы хозяйств. А промах первых лесоводов в том, что за межполосное расстояние они принимали версту, эрозию тогда сковывала целина. Вполовину бы теснее стояли живые изгороди — и на старых отделениях Хуторка не выдуло бы нынче ни гектара озимей! Продуваемый ряд деревьев гасит ветер на расстоянии 35 высот за собой, средняя высота взрослых полос — около 15 метров. Следовательно, при сплошной распахке расстояние между поперечными барьерами не должно превышать полукилометра. Этого родоначальники лесоводства, видимо, не знали, но что главное не в ширине зеленой стены, а в ее высоте и продуваемости, они понимали прекрасно.

Коротенький акт, написанный на месте событий, — словно рецензия на многотомную, вековую историю лесоводства... Сразу после бурь специалисты исходили поля двух районов Донецкой области и определили работу полос. В колхозе имени XXII съезда КПСС Волновахского района площадь лесных насаждений составляет от пашни 3,7 процента, создана законченная система, гибель «безостой-1» от морозов большая, выдувания нет. В том же районе колхоз имени Жданова (доля леса — 1,2 процента, полосы единичны) выдута и засыпано 60 процентов озимых. Сходная картина в Володарском районе: поля колхоза имени Щорса понесли тяжелый урон, племзавод «Диктатура» шторм выдержал без потерь. Итак, отныне лесная полезащита может оцениваться по трем позициям: система, продуваемость, высота.

За пятилетие массовых посадок после 1948 года на Кубани к 20 тысячам существовавших было прибавлено 106 тысяч гектаров насаждений, к нынешней беде уцелела 81 тысяча, преобладают акация, напояющая на поля, недолговечный абрикос, клен, лох. Дуба, что любит расти «в шубе, но без шапки», медленно набирающего высоту, но вечного, — мало. Сейчас высказываются за сочетание дубовых линий с быстро растущим тополем, деревом краткого века. Кубани и соседним районам Северного Кавказа для создания законченной системы нужно прибавить четверть миллиона гектаров посадок, в прошлом году всей зоной посажено менее десяти тысяч, завершение комплекса может затянуться на десятилетия. Поэтому так возрастает роль почвозащитной агротехники: безотвальной пахоты, полосного земледелия, буферных посевов трав...

Это о средствах обороны. А что же враг, ветер?

Те же летописи Хуторка способны неопровержимо доказать, что никакой внезапности нападения не было. За четырнадцать лет до 1953 года пыльные бури десять весен губили на новых отделениях посевы озимых. На северо-востоке края эрозия — противник старый, методический, а ветры и прежде достигали 40, даже 60 метров в секунду. Перед самыми ураганами «Советская Кубань» статьей «Земля просит защиты» напомнила урон всех районов края за недавние весны: 1960 год — охвачено эрозией 530 тысяч гектаров пшеницы и ячменя, 1965-й — погибло 300 тысяч гектаров. И если излюбленное докучаевское «природа не делает скачков» в смысле диалектическом неверно, то в данном случае, пожалуй, подтверждается: размах эрозии явился скорей количественным шагом, чем катастрофическим скачком. Что ветру злодействовать все легче, говорят пыльные бури, повторившиеся в нынешнем апреле при сравнительно низких скоростях: наносы готовы служить запалами. Враг неумолим и открыто демонстрирует силы.

Наконец, о факторе психологическом, о настроениях людей районного звена, передающихся в хозяйства в точности, без искажений. Тут разница, понятно, вызывается различием и опыта, и жизненных целей, и складом характера. Схематизируя, можно говорить о трех подходах к происшедшему.

Первый секретарь Курганинского райкома И. В. Кулиниченко прежде работал помощником первого секретаря крайкома; человек он целеустремленный, волевой, хорошо знающий не только район, но и край в целом. Что бы ни надевали бури, главной задачей он ставит не убавить валового сбора. Взят курс на кукурузу, и это, видимо, единственный выход, хотя прибавка пропашных сразу после бурь никак не укрепит почву. Многократная обработка, говорит он, действительно сильно истощает: на иных полях из-за выдувания в одну весну приходилось трижды пересевать свеклу, и земля становилась, как дорога. Но эрозии тут не подавить, она всегдашняя: «армавирский коридор». Или «труба», или «ворота» — один черт. Слишком много берут с Кубани, чтоб можно было что-нибудь сделать. Трав район чуть прибавит, но лесополосы... Никто не может утверждать, что они спасают. После бурь приезжал академик Синягин, его просили организовать над районом шефство ВАСХНИЛ: если в опытных целях дать полную норму минеральных удобрений, Курганинск сможет получать по 50 центнеров зерновых.

Павел Касьянович Чайкин недавно, как рассказывают, нашел и перечитал старый документ: план преобразования природы по Ново-Покровскому району, где ему пришлось работать после института.

— Если бы план был осуществлен, ветру бы такой барьер не взяли! Он был комплексным, научным, но что губило его, даже когда выполнялся? Перевыполнение. Довели колхозу двадцать гектаров полос, а он рапортует: есть сто! Посажена дрянь всякая — желтая акация, лох, ильмовые... Нет, в научном деле не могло и не может быть соревнования, идти надо медленно и верно. Если бы исполнили тот план!..

Лабинск тоже пошел на увеличение пропашных, но с оглядкой: надо, чтоб «заживала сбитая холка» и чтоб поздней уборкой кукурузы не поставит под удар сев озимых для семидесятого года. В плане стратегическом — возвращение к программе 1948 года.

На взгляды Андрея Филипповича Недилько, первого секретаря Новокубанского райкома, большое, кажется, влияние оказала работа в Ираке. Пришлось в роли советского специалиста заниматься ирригацией долин прежнего эдема, превращенного эрозией в полу- или полную пустыню. В разговоре нет-нет да и вспомнит...

Район лежит под ставропольским плато, тянущимся по правому берегу Кубани. Оттуда-то и несет песчинку — таран в руках ветра. А чтоб мне понять, что за район, Андрей Филиппович завернул в конезавод «Восход».

Могучие вековые дубы среди лужаек, пруды, аллеи, тишина, и чистокровные скакуны в станках старинных конюшен. Доверчивые, общительные жеребята, остроухие внимательные кобылы и отцы-производители с родословными на манер королей. Про этих аристократов знает весь конезаводческий мир.

Вывели Анилина, феноменального скакуна, трижды взявшего главный европейский приз, «лошадь столетия». Понимая, что им любуются, дивной красоты жеребец стал малость кокетничать: зубами тянул из рук конюха ремешок повод, лез, выгибая шею, в карман за сахаром, потом, когда сняли узду, показал в деннике и рысь, и картинный шаг. Вот и свежесть заповедной Кубани, края мягких трав, солнца, прохлады и тучной земли, с жизненной силой природы, «способной на совершенные, идеальные творенья! Что Месопотамия с пропавшим деревом познания добра и зла — вот Анилин, и комментарии излишни!

В кабинете главного агронома Ткачика (секретарь ласково зовет его Валей) пахло летом, сенокосом: благоухали снопы люцерны, ежи. Недилько «кулачил» запасливого агронома, добывая семена трав для потрепанных эрозией хозяйств.

— До этого района я сам не знал, что такое бобово-злаковая травосмесь. Чудо, красотища! У Вали и костер, и житняк, и клевер, густющий ковер, он по сорок центнеров сена берет, а мы что на плато получаем? Пыль да беду. До войны, это точно, там всадник в травах скрывался, а содрали дернину — ни урожая, ни покоя внизу: главный очаг эрозии для всего района. Своя целина нужна была, как отстать! Нет, тысяча двадцать гектаров этой головогтыпской пашни надо залужать. Ну да сразу — «кто позволит?». Но внизу-то виднее. Лесополосы... Когда еще они станут действовать, через пятнадцать лет? А трава — через год, зеленый пластырь. Гасить пожар — это не давать ему заняться.

Лечить землю травами — это целинный, бараевский разговор. Да, Андрей Филиппович читал о работах Шортландинского института, после ураганов в край приезжал для консультаций сотрудник оттуда. Что ни говори, а единственный серьезный опыт погашения эрозии у нас пока — в восточных степях, надо заниматься. Различия большие: там нет озимых, Кубань же на них стоит, интенсивность тоже несравнимая. Ясно лишь, что лесополоса — последняя линия обороны, надо укрепляться на первых — новыми орудиями обработки, стерней и травой.

Зимнюю беду Недилько тоже, как и курганинский коллега, переживает как личный срыв, но говорит о собственной вине:

— Это ж мы заставляли ровнять зябь! Чтоб ни глыбочки, боже упаси. А где не успели прикатать, разутюжить, там целы и глыбы и почва. Начинала всюду зябь, с осени подготовленная нами для ветра, лучше не надо... Никто за нас «армавирские ворота» не закроет. А не закроем — будет весь двор разорять, пока не пустит с сумой, разводи тогда ирригацию.

План 1948 года, по мнению Андрея Филипповича, для своего времени технически был отличным, но теперь интенсивность несравнимо выросла, главной опасностью становится не так даже засуха, как выдувание почвы; значит, и в комплексе мер акцент должен быть переставлен. Пока трудно даже вообразить, что классическая Кубань перейдет на безотвальную систему с набором канадских орудий! В любом случае такой переход вызовет огромные организационные и психологические сложности. Нужно найти верное сочетание целинно-канадских приемов с мерами Юга, колыбели русского степного земледелия, нужно убедить станичника, что стерня на пахоте — не срам, не брак, а польза. Но выбора нет!

Настроения — дело изменчивое, особенно в среде дисциплинированной, тут речь о вполне определенном времени. Но если уж добиваться всеохватной почвозащитной системы, надо достичь единомыслия в оценке происшедшего, а это целый этап воспитания — нравственного, научного и хозяйственного.

А план 1948-го — что, если бы он был выполнен?

VI

Журнал «Москва» во втором номере 1968 года напечатал заметки В. Чивилихина «Земля в беде», вызвавшие немалый отзвук, что объяснимо и достоинствами статьи, говорящей в основном о смыве почвы на Украине, и тем, что об эрозии у нас пишут мало и холодно. То настроение — «если бы» — здесь дотянуто до выводов: вина за развитие губительных почвенных процессов возлагается исключительно на «период хозяйственных шатаний», когда был остановлен План (автор так, с прописной, обозначает постановление 1948 года «О плане полезащитных лесонасаждений...»). Пора «шатаний» обошлась чрезвычайно дорого, и все же ряд моментов статьи вызывает желание спорить.

«Можно сказать, что мир ахнул, восхищенный масштабами и сутью Плана», — пишет автор. Пропагандистская направленность постановления несомненна, но таким ли уж дивом для «мира» были и масштабы и суть? Известно, что служба охраны почв, созданная конгрессом США в 1935 году, в то время как раз подводила пятнадцатилетние итоги: было построено 393 тысячи прудов и водоемов. 811 тысяч миль террас, введены на 23 миллионах гектаров почвозащитные севообороты, выращены на 130 тысячах гектаров лесополосы. Специалисты

службы во главе с американским «отцом охраны почв» Хью Беннетом консультировали почвенные мероприятия в Европе, Африке, Южной Америке, на Кубе, так что писать о новизне сути и, следовательно, о восхищении будет явной переделкой.

Но вот и денежное выражение объема вины: «Ведь План преобразования природы по лесным защитным полосам к итоговому 1965 году был выполнен едва на одну пятаю. И не без основания многие считают теперь, что если бы все шло нормально, то, возможно, портам Одессы, Николаева, Херсона и Новороссийска никогда бы не пришлось разгружать заморский хлеб, а червонное золото, в котором веками концентрировался труд нашего народа, не лежало бы сейчас в американских сейфах...»

Тут главное прояснить — что понимать под категорией «нормально». Только ли лесопосадку или и серьезные нарушения принципа материальной заинтересованности, когда продукты у колхоза закупались по символическим ценам? Как не связывать то червонное золото с хронической недоплатой своим колхозникам, с ослабленным и трудно восстанавливаемым чувством хозяина в поле! Только ли гнездовые посадки дуба вводятся в норму или и массовые вырубки плодовых насаждений в хуторах, селах и станицах, вызванные налоговым обложением и вызвавшие печатные протесты (вспомним тогдашнюю статью М. А. Шолохова)?

Как отрывать техническую задачу от экономических условий, в каких она должна была выполняться! Основной груз работы ложился на колхозы (площадь государственных лесополос была определена в 118 тысяч гектаров, внутрихозяйственных — 5709 тысяч), на разоренные войной, потерявшие кормильцев колхозы Сталинградской и Ростовской, Днепропетровской и Курской областей. На посадки, верно, выходили целыми артелями, сажали за год пятилетнюю норму, были и подлинные энтузиасты, беззаветные радители — любовь к дереву в конце концов в крови.

Но если и урожай сего года не давал реального хлеба и денег, то как могла рассчитывать на подлинное старание полоса, создаваемая для роста будущих сборов? Даже на Кубани, где, по присказке, из оглобли вырастает тарантас, лесопосадки погибли на десятках тысяч гектаров. В целом же по стране сохранилось лишь 40 процентов насаждений. Замена дуба акацией, лохом и прочим, согласие на непродуваемую конструкцию с поглощением ею больших площадей, как и погубление посадок стерневыми палами, плугами и т. д., — все это следствия реальных трудностей развития колхозной деревни тех лет.

Как бы ни был хорош этот план технически, он все-таки не был экономически реальным для главного исполнителя — колхозника. Что не было «нормального» во взаимоотношениях колхозов с государством, лучше всего показали решения сентябрьского (1953), а особенно мартовского (1965) Пленумов ЦК КПСС, во много крат поднявшие закупочные цены на сельхозпродукты. Эквивалентный обмен, принцип рентабельности, положенный в основу работы последними партийными постановлениями, сочетание государственного планирования с хозяйственной самостоятельностью и инициативой «внизу» — вот нормали, на которых только и может прочно строиться всякое большое дело.

Если государственная часть плана (создание магистральных полос, гигантских водохранилищ и т. д.) могла быть и в основном была выполнена, а колхозная, с толком, не для отчета, не могла, то отсутствие стыковки должно было породить тяжелые явления — и породило их. Сам В. Чивилихин убедительно пишет, какую беду для земли принесли днепровские «моря». Размыв берегов волнами водохранилищ принял страшные размеры, подтачиваются и обрушиваются в воду миллионы тонн почвы, исчезают луга, леса, пашни. По словам автора, необходимость оградить от размыва Чернечью гору, на которой лежит Тарас Шевченко, заставила создать Каневскую мелиоративную станцию, святыня спасена. Можно добавить к этому, что курган славного казака Ивана Серго под Никополем подмыт Каховским морем, что в Цимлянском водохранилище на Дону еже-

годно аккумулируется два миллиона тонн твердого вещества, оно, как и волжские моря, стало гигантским отстойником, что скопления ила ежегодно уменьшают вместимость водохранилищ на 6—7 процентов, что под искусственными мелководьями пропадают сотни тысяч гектаров благодатных почв.

«За счет кого мы должны отнести эти безвозвратные потери прибрежных земель?» — спрашивает автор. Видимо, за счет Плана, что не посчитался ни с людьми, каким жить на берегах этих «зацветающих», отравляющих воздух теплых мелководий, ни с выгодой государства, теряющего производительные площади. За счет того положения, при котором колхоз и совхоз не видят в каждом кубометре почвы невосполнимой ценности, не сражаются за него, не противостоят ни ливням, уносящим чернозем по балкам на дно водохранилищ, ни лихим проектировщикам.

Предлагая спустить Каховское море, В. Чивилихин приводит расчеты: знаменитые Конские плавни, если вернуть их под солнце, будут давать в год 10 миллионов пудов зерна, 2,5 миллиона тонн свеклы, много молока и мяса. Но как не учесть, что теперь на той плотине (энергетическое значение ее впрямь скромное) держится все рисосеяние Крыма, что под Каховкой близка к сдаче крупная оросительная система, Северо-Крымский канал даст воду Феодосии, Керчи? Нужно спрашивать мнения у сотен тысяч людей! Поправить тяжкие просчеты плана, о которых невольно, но так доказательно пишет В. Чивилихин, вовсе не просто.

Как тут не вспомнить предостережение В. В. Докучаева, человека вообще-то дерзостного размаха и планетарных предложений, чей план и был положен в основу программы 1948 года: «...пренебрегать теми предосторожностями, от соблюдения которых зависит успех всякого более или менее крупного начинания, забывать, что регулирование наших рек и ирригационные попытки уже не раз терпели в России неудачи, оставить без внимания, наконец, что устройство правильного водного хозяйства в России дело совершенно новое и тесно связанное с массой разнообразнейших естественноисторических и хозяйственно-экономических условий, — нельзя и опасно в интересах дела, в интересах государства».

«Нельзя и опасно...» Эти удерживающие категории пришли в книгу знаменитого ученого и (в самом лучшем смысле) мечтателя вовсе не случайно. Увязка мер государственных действий «сверху» с осознанным и добровольным действием «внизу», проблема науки и земледельца, вообще значение человека, крестьянина в охране природных богатств были в пору рождения первого плана защиты наших степей предметами живого обсуждения. В этой дискуссии и выработались научные и нравственные принципы русской школы охраны плодородия.

Имена Докучаева, Костычева, Измаильского в годы программы преобразования природы были введены в широкий оборот, дело изображалось стандартно: передовые русские ученые указали пути преодоления засух, а косный бюрократический аппарат отсталой России тормозил все начинания. Упрощение здесь хотя бы в том, что и Докучаев и Костычев как раз сами принадлежали к высшему чиновничеству (первый возглавлял «Особую экспедицию по испытанию и учету различных приемов лесного и водного хозяйства в степях России», второй, хоть и сын крепостного, был директором департамента земледелия). Именно у нас впервые практическое руководство борьбой с засухой было передано крупнейшим ученым — шаг, какой через десятилетия повторит конгресс США, назначив главой службы охраны почв Хью Беннета.

Надо думать, правда и сложнее и горше. После страшной беды 1891 года (голодали сорок две губернии с населением в 35 миллионов человек) царское правительство именно программу Докучаева, изложенную в книге «Наши степи прежде и теперь», избрало громомтоводом от политических последствий. Борьба с оврагами, строительство водоемов, регулирование рек капитальными плотинами, поиски соотношения пашни, леса и вод, определение лучших приемов обработки — уже всеохватность этого плана была обещанием покончить с засухами раз

и навсегда, а крупность и дороговизна работ должны были выпятить благотворительную роль государства. Несоответствие замаха и возможностей, целей и средств затушевывалось, ибо подлинной целью призвавших Докучаева было успокоить общественное мнение.

Первым в мировой науке поднявшись до борьбы с причинами, а не с последствиями стихийных явлений, первым наметив сложный комплекс мер как единственный путь к успеху, Докучаев предложил план для богатой и просвещенной страны. Программа борьбы с нищетой была невыполнима из-за российской нищеты. Это в глаза говорили ему, светило, известнейшему деятелю, его нечиновные сторонники.

«Если я увлекаюсь культурными мерами,— писал в главе «Особой экспедиции» А. А. Измаильский,— то в той же мере вы увлекаетесь мерами облесительными; их значение, по-моему, под большим знаком «?». Практическое осуществление их в размерах, могущих иметь значение, представляется мне делом почти невыполнимым, если принять во внимание культурное и материальное положение страны. По-моему, главное значение Ваших работ — выяснить значение различных мер, а до их практического осуществления еще очень далеко».

Удивительная это звезда на русском агрономическом небосводе! Талантливый актер, Измаильский отказался от приглашения в гремевшую тогда труппу Малого театра; способный педагог, оставил преподавание ради должности управляющего полтавским имением Кочубея. В хате на хуторе Дьячково, отрывая время от силосования свекловицы и кастрации свинок, вел блестящую по глубине и последовательности экспериментаторскую работу. Тема ее стала названием книжки — «Как высохла наша степь». Труд написан наспех: у автора пошла горлом кровь, он боялся унести в могилу плоды долгодетных раздумий. В советское время книга издавалась в серии «Классики естествознания». Кроме нее и работы о грунтовых водах, ничего не написал.

Докучаев высоко ценил ясный ум, практический опыт и неуступчивость Александра Алексеевича Измаильского, находился с ним в переписке, предлагал и ректорство в институте, и пост в «Особой экспедиции», но агроном-степняк до старости строил мельницы, винокурни, обогащал помещиков, умер уже забытым. С полным основанием В. Р. Вильямс называет его имя среди «богатырей», «тружеников», которые «более полувека плели канву далекого и близкого прошлого этой полосы в целях построения лучшего ее будущего».

Нарисованная Измаильским картина ясна и впечатляюща. Недавняя гигантская растительность девственной степи играла ту же роль, что и лес: травяной войлок, как губка, впитывал влагу, предохранял почву и от палящего солнца, и от неимоверной силы ветров. Человек лишил почву ее защиты, годовой приход влаги будет уменьшаться, грунтовые воды опускаются.

«Если мы будем продолжать так же беззаботно смотреть на прогрессирующие изменения поверхности наших степей, а в связи с этим и на прогрессирующее иссушение степной почвы, то едва ли можно сомневаться, что, в сравнительно недалеком будущем, наши степи превратятся в бесплодную пустыню».

Выход, программа? В плане Докучаева?

«Артезианские колодцы, запруды в самых грандиозных размерах, облесение — вот те меры, на которые в настоящее время обращено наибольшее внимание. Несомненно, меры эти крайне полезны, но, в силу нашей материальной бедности, едва ли достижимы в размерах сколько-нибудь значительных...»

Идея Измаильского скромнее, приземленнее: если землелаз сумел довести когда-то плодородную степь до иссушения, то он же может культурными мерами (правильной обработкой, задержанием снега и т. д.) восстановить это плодородие. Решает пашущий!

Можно с большой долей уверенности говорить, что влияние агрономов-практиков побудило Докучаева кончить программную книгу «Наши степи прежде и теперь» словами о доброй воле земледельца, просвещенном взгляде на дело

и любви к земле, о роли школы, низшей, средней и университетской, ибо «никакое самое детальнейшее исследование России, никакая агрономия не улучшат нашей сельскохозяйственной промышленности, не поспособят нашим хозяйствам, если сами землевладельцы не пожелают того или, правильнее, будут понимать свои выгоды, а равно права и обязанности к земле неправильно, иногда даже вразрез с общими интересами и в противность требованиям науки и здравого смысла».

Через сравнительно благополучных лет позволила подзабыть грозный девяносто первый, и «Особая экспедиция» была ликвидирована, пополнив своими починами ту «пеструю картину не доведенных до конца всевозможных благих начинаний», о которой писал Измайловский. Политический ход правительства был понят, но критика современников не пощадила и самого творца программы. «Кто не слышал о нашей школе почвоведения, считавшей своим главой профессора Докучаева? — говорил в 1905 году К. А. Тимирязев. — Она поглотила десятки тысяч земских и казенных средств, — а что дала она для русского земледелия, и крестьянского в особенности, что дала она для вопроса, как получить два колоса там, где родится один?»

Тут происходит выплескивание и ребснка. Школа охраны плодородия дала самое себя, а это крупное достижение! И опыт посадок леса, и агрономические приемы, и самый взгляд на плодородие как итог множества факторов двинули вперед мировую науку и ни в коем разе не были забыты, а идея о главенстве земледельца даже в пору очень развитого естествознания — открытие, на котором возникли зарубежные школы. Если Д. И. Менделеев уже как доказанное производит: «Без полного сознания необходимости мелиорации у самих местных жителей всякие улучшения, пришедшие, так сказать, даром, ничуть не помогут делу устранения бедствий от засух», то уже сама бесспорность этого — завоевание, указывающее путь. Потому это и школа — то есть ученый отряд единомышленников, — что при всех спорах она проявила единство в главной цели: сделать борцом за плодородие самого земледельца. Отсюда — публицистичность, стремление говорить с человеком поля, внушать ему понятие о значительности его и силе.

Тип агронома-писателя, естествоиспытателя со страстным пером — явление не исключительно, но по преимуществу российское. Возникал он из громадного разрыва между средним знанием и уровнем науки, из стремления демократов-интеллигентов этот разрыв уменьшить и, конечно же, из высокой духовной культуры людей ученой среды. Даровитый А. Н. Энгельгардт, так высоко ценимый Владимиром Ильичем, оппоненты-соратники Докучаев и Измайловский, блестящий Тимирязев, за ними Прянишников, Тулайков, Николай Иванович Вавилов — какая плеяда публицистов, владевших и образным словом, и мастерством о сложном говорить просто! Георгий Николаевич Высоцкий, посланный в 1892 году Докучаевым возродить Велико-Анадольский лес, позже советский академик, прямо называет своими «возлюбленными» природное следопытство и писательство.

«Полям моей родины» — надписал одну из книг селекционер Лисицын. Это же благородное посвящение угадываешь на многих томах корифеев российской агрономии.

И наконец, личный нравственный пример, первооснова влияния и доверия; самоотречение, поднимавшееся до героизма. Школа дала подвижников.

В прошлом году наши лесоводы праздновали столетие Великого Анадолья — уникального лесного массива, подлинного дива степного пояса планеты. Портрет человека с пышными бакенбардами, в мундире с эполетами николаевской поры был обрамлен венком с дубов, выращенных в степи, не знавшей тени с геродотовых времен.

Двадцатичетырехлетнему подпоручику корпуса лесничих Виктору Егоровичу Граффу было предписано выбрать в Екатеринославской губернии «место для лесоразведения в широких масштабах». С отвагой молодости избрал труднейшее: водораздел Днепра и Кальмиуса, безводный и глинистый, с высотой 277 метров над уровнем моря. Задачей жизни поставил доказать возможность облесения

открытой сухой степи, опытом определить породы и способы посадок, приохотить местное население к разведению леса в степи и по возможности улучшить климат Юга России. Штат — четыре крестьянских мальчика и для охраны «одно семейство постоянной лесной стражи». За двадцать три года труда, лишений, страстных поисков вырастил на ковыле 157 гектаров леса. Уезжая в Москву на должность профессора, обнимал стволы дубов, как детей. Жизнь осталась здесь: без леса, отнявшего силы и здоровье, он не прожил и двух лет. В марипульских степях выросли основанная им школа лесников, питомник и дубрава.

В 1910 году при открытии памятника в Великом Анадоле говорилось: «С легкой руки Граффа степное лесоразведение сделалось нашей национальной работой, работой русских лесничих, а не заимствованной с Запада, работой, которой справедливо мы можем гордиться» И еще говорилось у скромного мраморного обелиска: «Лишь соединение таких высоких нравственных качеств в одном лице, таких свойств души, которые имеют абсолютное значение, которые человечество ценит всегда и везде... дало возможность Граффу исполнить ту историческую миссию, которая на него была возложена». Мрамор прост и строг, но памятник выразителен необычайно: широким кольцом вокруг столпа стоят каменные скифские бабы. Они свезены с курганов, теперь покрытых лесом. Плоские лики полны удивления: вокруг на тысячах теперь уже гектаров шумят дубы, ясени, березы, здесь обитают кунница и лось, поет иволга, здесь детвора степного края узнает, как растет гриб, что такое лесная прохлада. Здесь техникум и опытная станция, в библиотеке — журналы и рукописи докучаевской поры. И в нынешние пыльные бури снег у дубовых стволов был бел и чист, стихия окружила Великий Анадол, колыбель отечественного лесоводческого знания, венком живых озимей.

Знание — могучий целитель. Отлично, когда его принимают от деда вместе с азбукой и названиями трав. Известен примечательный казус: уже клубилась, пугая мир, «пыльная чаша» североамериканских равнин, уже всюю теряли почву разрушенные невежеством и корыстью Канзас, Колорадо, Техас, Оклахома, Юта, когда ученые вдруг обнаружили, что пенсильванские немцы, целых триста лет возделывающие холмы графства Ланкастер, содержат землю в первозданном плодородии. Переселившись из Западной и Южной Германии, где эрозия была хорошо известной угрозой, колонисты ввели почвозащиту с той же естественностью, с какой овчар заводит волкодава.

«Охрана почвы — это нечто большее, чем техническая наука. Это образ мышления» (Г. Конке, А. Вертран).

У нас на Юге охрана плодородия шла не от крестьянского опыта, а от науки, агрономии и народившегося почвоведения. Полезащита с ее живыми изгородями, задержанием снега и познанием целебности травяного войлока выростала в почвозащиту. Но что это образ мышления, что не государственная оплата долгов земле, а единомыслие миллионов, знание и целеустремленность «прихоженного населения» могут сберечь нынешнее плодородие и будущие урожаи — было открыто и признано истиной в России раньше, чем у других. И если теперь, как мы видим, на путь воспитания, обучения, убеждения тех, кто остается с землей один на один, прочно встали очень богатые страны, что проповеди почвозащиты среди миллионов посвящают жизнь незаурядные умы, что слово и пример уже десятилетия дают реальный хлеб, то тут мы узнаем нашу традицию, наш подход, наш образ мышления.

Книга Хью Беннета «Основы охраны почв» написана «для учителей, писателей, учащихся». Сфера ее — не само даже производство, а умы. Всему народу в целом, считает почвовед, следует лучше ознакомиться с землей, с ее нуждами, с возможностями практически их удовлетворить. Книга была бы учебником, если бы не жесткая ее прямота и резкость, такая далекая от учительской презумпции людской доброты и разумности.

«Перед взорами европейских переселенцев лежала обширная дикая страна, изобилующая неистощимыми, как им казалось, запасами дичи, рыбы, пушнины, леса, травы и плодородной почвы... Белье обитатели этой новой страны в своем

«завоевании пустыни» и «покорении Запада» поставили потрясающий рекорд опустошения и разрушения... Эрозия распространилась, как раковая болезнь, и привела землю в совершенно непахотнспособное состояние».

И все же книга, ставшая научным бестселлером, похожа на учебник образной логичностью убеждения и внушением, что это должен знать именно ты, никто, кроме тебя, избавления стране не принесет.

«Мы не можем восстановить потерянную в результате эрозии почву. Можно закрепить и улучшить то, что осталось на месте, но никакими усилиями человека верхний слой почвы, унесенный на дно океана, не может быть возвращен на поля и пастбища, где он зародился. Мы не можем заставить воду течь вверх по склону, но, уменьшая скорость поверхностного стока при его движении вниз по склону, мы можем сохранить в почве много влаги...»

Столь же ясны и общепонятны средства излечения земли. какими пользуются научные станции. почти три тысячи фермерских округов, общества и ассоциации: это земледелие по горизонталям, покровные почвозащитные посевы, мульчирование стерней, полосное земледелие, залужение эродированных почв, лесополосы (они тут не на решающем месте), задернение ложбин, целесообразные севообороты, террасирование валами и строительство прудов и водоемов. Это программа «малых», общедоступных дел, громадность же ей придает распространение мер на 60 миллионов гектаров. Незаменимость почвы не позволяет подходить к ее охране только с категорией рентабельности, не будет плодородия — вовсе ничего не будет, но самоокупаемость почвозащиты налицо: за десять лет Великие Равнины подняли урожайность кукурузы на одну треть, хлопчатника — на две трети.

Ты вступаешь в жизнь — не вздумай отделять себя от природы и не считаешь с ее законами, остерегайся слишком полного покорения природы, превращения ее из матери в рабыню, помни, что почва — самый драгоценный капитал, и нельзя побороть голод, опустошая землю. Ты педагог, воспитатель — внуши, что в целинных степях — прериях слой почвы в 20 сантиметров может быть смыт за 30 тысяч лет, а в полях с монокультурой кукурузы — за 15 лет, что только река Миссисипи уносит в год 650 миллионов тонн почвы. Ты человек пишущий — не скрывай от людей, что один только номер большой газеты сводит на бумагу около восьмидесяти гектаров леса, что человеку все дороже обходится защита от последствий своей же деятельности, что «гомо сапиенс», «человек разумный», должен защищаться от «гомо фабер», «человека действующего», что только разумное может стать деянием. Это проповедь рачительного образа мышления.

Строй частной собственности, конкуренции, индивидуализма снижает эффективность такой пропаганды — это факт; в мире делятся опустошительные почвенные процессы, тем же США они обходятся в 400 миллионов долларов годовых потерь — это безусловно; только социализм создает все предпосылки для обуздания стихий и планомерной работы общества в целом, создает условия, при которых государству не нужно расплачиваться за совершенное земледельцем, ибо здесь-то цели едины — это гордая истина.

Но предпосылки, возможности нужно реализовать, и если слово отечественной науки услышано так далеко, то на родных просторах оно должно звучать в полную мощь.

У нас «недооценивают опасности разрушительного действия ветровой и водной эрозии почв» — это не догадка, это упрек Центрального Комитета партии и Совета Министров ученым и руководителям партийных, советских органов, он выражен в постановлении 1967 года о мерах защиты почв.

Нужна техника для лесомелиоративных станций, но нужно и преподавание основ охраны почв в восьмилетней школе. Нужна «персональная ответственность за правильное использование... земель, осуществление противоэрозийных мероприятий» (так требует постановление), но нужны и массовые тиражи простых и дельных книг о способах защиты почв, нужно не допускать человека к рулю трактора до сдачи экзамена по охране плодородия. Нужно ввести в республиках,

как обязало постановление, инспекторскую службу по охране почв (дело это крайне затянулось), но нужно и во всю мощь использовать силу примера и бич общественного гнева, находить «крайнего», ибо круговая порука безответственности утраивает силу ураганов.

Если за последние пятнадцать лет пришли в запустение тылы степного лесоводства и распашкой легких почв созданы очаги эрозии, то ведь и утвердилось очень важное: экономическая выгодность охраны плодородия. Рост урожайности и колхозный достаток находятся в прямой и здоровой зависимости. Ветер поразил теперь уже богатые районы — и денежно, и людно, и машинно богатые.

Все взялось из чернозема. В каждой «силе» трактора, в каждом метре асфальтных трасс, в каждом кирпиче колхозного дома — частичка взятого у почвы плодородия. Комплекс охраны почв — не капиталовложение, а возвращение долга земле. Согласно постановлению, создание полевых защитных полос, облесение оврагов, строительство прудов и лиманов принимаются на государственный бюджет, но иждивенчества южные колхозы-миллионеры не должны, не могут допустить. И темп осуществления плана 1967 года (основательностью разработки он не уступит никаким документам прошлого, не говоря уже о том, что это постановление во всех деталях абсолютно выполнимо), и добротность исполнения будут зависеть от того, какие силы и средства сами хозяйства вложат в оборону от стихий. Ураганы минувшей зимы вполне можно счесть за последнее предупреждение: кого и они не убедили, того убедить нельзя.

«Считать борьбу с ветровой и водной эрозией почв одной из важнейших государственных задач...» — так заявили Центральный Комитет партии и Советское правительство, тут полный учет опасности. Дискутировать некогда — время гасить пожар.

* * *

В прошлом году на одном сортоучастке Кубани получен урожай пшеницы в 87 центнеров с гектара. Такой — более чем пятисотпудовый — урожай наши отцы не смогли бы себе вообразить. Но задача Тимирязева об удвоении колосьев неразрешима потому, что для каждого поколения предстает новая: удваивать надо достигнутое. Карл Маркс отказывал производительности почв в какой-либо границе, потому что при рациональной системе хозяйства «она будет повышаться из года в год в течение неограниченного периода времени, пока не достигнет высоты, о которой мы сейчас едва можем составить представление».

Наш черноземный Юг, алмаз в степном венце Земли, был и остается краем, где всей стране надлежит учиться земледелию — вечной науке об удвоении колосьев. Такие края создаются природой и достаются народу раз. Надо, чтоб — навсегда.

Люди сами себе ставят памятники. Графф посадил дубы, Докучаев оставил план, Кириченко создал озимую твердую. Общим же памятником ныне живущему поколению может стать обновленный колос Юга — полновесный, литой, годный хоть в хлеб, хоть в герб, достойный зависти мира и уважения потомков.

Май, 1969.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. КРАМОВ

★

В ПОИСКАХ СУЩНОСТИ

Для большого нужно немного. Он хотел, чтобы ничто не мешало человеку изжить священную энергию своего сердца, чувства и ума.

А Платонов. Из статьи «Пушкин — наш товарищ».

1

В последние годы один за другим вышли в свет несколько сборников рассказов и два однотомника избранного Андрея Платонова. Теперь уже нет нужды рыться в старых изданиях и журналах двадцатых и тридцатых годов, чтобы прочитать «Происхождение мастера», «Епифанские шлюзы», «Ямскую слободу» или «Фро». Все это на наших книжных полках, как и рассказ «Возвращение», как и повесть «Джан», долго пролежавшая в архиве писателя.

С полным правом мы можем опровергнуть сейчас суждения критика, утверждавшего некогда, что Платонов — писатель для знатоков и профессионалов литературы. Интерес к нему проверен сотысячными тиражами сборников. Творчество его живо для широкого круга читателей и принадлежит настоящему и, можно с уверенностью сказать, будущему. Нам еще предстоит понять, чем именно, какими образами, идеями он возбудил такой интерес к себе — не только у нас, но и за пределами нашей страны.

На какое-то время Платонов стал сенсацией. Но уйдет, а может быть, уже и ушла сенсация. Испарятся веяния моды. А с нами останется большой художник, запечатлевший черты своего сложного времени.

К тому, что уже сделано собирателями творчества Платонова, необходимо добавить еще одну важную и, пожалуй, наименее известную часть его наследия. Речь идет о критических статьях писателя. Сказать о

них особо, как они того и заслуживают, необходимо не в интересах академической полноты обзора. Живая ветвь платоновской музыки — критика сопутствует его прозе, тесно связана с ней, питается от одних с нею корней. Без статей Платонова на темы русской классической, советской и зарубежной литератур творческий облик его не полон, как не полон, скажем, для нас облик Блока без статей поэта, вводящих в мир споров, поисков и тревог русской интеллигенции в канун революции.

В первых критических откликах на недавние издания Платонова преобладало желание восстановить простую справедливость, признать значение писателя для нашей литературной, духовной жизни. Пусть никому не покажется чрезмерным эмоциональный накал этих поздних признаний. Нет ничего естественнее и горечи их, и радости от сознания обретенных вновь богатств.

Потом появились статьи с более аналитическим подходом к творчеству Платонова, и это добрый знак: слишком долго он ожидал разговора, свободного от сиюминутных страстей. В конце концов ничем другим мы не сможем в такой мере воздать ему должное, как критическим анализом того, что он написал. Тут, в его книгах, — последняя истина о нем. Тут и его биография, и его судьба.

На этом пути критика неминуемо должна будет обратиться к статьям Платонова на литературные темы. Из рассеянных в них мыслей, суждений и оценок возникает представление об эстетических взглядах писате-

ля, связанных с его этическими идеалами. Это также своеобразный критический комментарий к его собственной прозе, интереснейший опыт самопознания и в то же время утверждение тех основ, на которых, как считал Платонов, художник может строить свое здание.

О чем бы ни писал Платонов — о Пушкине или о Хемингуэе, — он писал о том, что волновало современников. Он затронул в своих статьях многое из того, чем жил, о чем думал человек тридцатых годов. Мы узнаем об этом в интерпретации большого художника, и это придает его статьям особую остроту и значительность как свидетельству об эпохе.

Платонов считал, что человеку свойственно понятие о ценности и смысле жизни, литература же бывает лишь побудителем этих благородных сил.

Продолжая эту мысль, он мог бы сказать, что и искусство обладает сознанием цели и назначения, дело же критики это сознание побуждать и укреплять.

Усилия Платонова сосредоточены были на том, чтобы возвысить значение искусства, где «одушевляющая сила поэзии и движущая правда действительности соединяются в одну суть».

«Для отдельного человека и для целого народа, — писал Платонов, — нет стыда или ущерба жить в том или другом веке — сто или две тысячи лет назад. Но есть преимущество и абсолютная ценность в том, куда человек или исторически решающая часть народа обратит фронт своих сил: если в правильно понятое будущее, то такой народ (и даже отдельный человек) останется современником, товарищем и собеседником всего человечества на все время существования последнего на земле. Забудутся лишь те, кто пытался прервать или бросил во тьму лабиринта «нить Ариадны», кто хотел оставить нас амёбой».

Платонов был одним из тех, кто особенно дорожил «нитью Ариадны», нитью преемственности, соединяющей настоящее с прошлым и будущим.

2

Большую часть статей и рецензий — около пятидесяти — Платонов опубликовал в журналах «Литературный критик» и «Литературное обозрение» в 1937—1940 годах. Подписывался он чаще всего разными псевдонимами — Ф. Человеков, А. Климентов,

А. Фирсов, — и вполне вероятно, что читатель, беря в руки журнал со статьей об Александре Грине или о романе Стейнбека, не догадывался, что принадлежат они перу того же автора, что и рассказы «Усомнившийся Макар» или «Река Потудань».

К критике Платонов обращался и в послевоенные годы, в основном в 1947—1948 годах. Эти периоды активности на критическом поприще связаны, несомненно, с писательской судьбой Платонова. В конце тридцатых и сороковых годов, в то время, когда Платонов регулярно выступает с критикой, он почти не появляется с прозой. Исключения составляют рассказы «Фро» и «Бессмертные», опубликованные в 1936 году в том же «Литературном критике», где писатель помещал свои статьи.

Рассказам журнал предпослал краткое объяснение. Огдавая, вопреки обыкновению, страницы теоретического и критического журнала прозе, редакция сочла нужным пояснить, что делает это потому, что перед автором их захлопнулись двери литературно-художественных журналов.

Публикация вызвала нарекания. Общий характер упреков точнее и короче других выразил критик Б. Илюшин в статье под названием «Порочная философия». Он писал, что герой рассказов Платонова и центр его философии — «бедный, несчастный, источающий добро человек», и что «советского своего героя он рисует таким же, как всех людей, существующих в неопределенном времени и в излюбленном Платоновым «уездном» или «областном» пространстве».

Критик не утруждал себя разбором рассказов, а, как это было принято в отношении Платонова (и не только Платонова) в то время, просто провозглашал свои суровые приговоры как нечто само собой разумеющееся. Журнал ответил на эту статью заметкой «Порочная кригика».

В годы войны Платонов плодотворно работал в прозе. Публиковал корреспонденции с фронта, выходили сборники его рассказов. Эта новая полоса в жизни писателя оборвалась с появлением в «Новом мире» «Семьи Иванова» — рассказа, известного теперь под названием «Возвращение».

Первым отозвался на его появление В. Ермилов. В духе отмеченной выше методологии В. Ермилов писал о герое рассказа: «Рисовать морально-толстокожего человека, «не замечая» этой толстокожести! Для этого и сам писатель должен отличаться тем

же свойством. Впрочем, только при наличии этого свойства можно было написать рассказ, клеветущий на нашу жизнь, на наших людей и советскую семью». Критик требовал, чтобы к изображению советской семьи допускались лишь писатели «с чистыми руками и чистой совестью». За Платоновым этих качеств он не признавал.

Теперь уже нет нужды доказывать, что «Возвращение» — одно из самых высоких созданий Платонова, это достаточно убедительно выяснено современной критикой. Среди произведений, проникнутых любовью к человеку, вынесшему на своих плечах тяжесть войны, рассказ по праву занял почетное место. Но в первые послевоенные годы он надолго преградил путь платоновской прозе.

И снова появился Платонов-критик. Круг его интересов и наблюдений и на этот раз был очень широк — от «Сказок русского народа» до повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда».

Испытав удары критики, не стеснявшейся в средствах, Платонов решительно избегал мелочной полемики. В его статьях нет ни тени ущербности, и написаны они свободно, с вдохновением человека, занятого поиском истины и далекого от групповой литературной борьбы.

Один-единственный раз он прямо ответил на критику. Это было письмо во «Литературную газету». Называлось оно «Возражение без самозащиты» и содержало ответ на статью А. Гурвича в «Красной нови» № 10 за 1937 год, выделявшуюся и в то время какой-то особой, залихватской грубостью.

«Зачем критику или исследователю предпринимать длительное изучение чего-либо, когда ему ясен конечный результат прежде, чем он написал заголовок своей работы? Я того не знаю точно, но догадаться могу».

Нужно сопоставить эти слова со статьей, где буквально изодрана в клочья вся проза Платонова, чтобы оценить их сдержанный тон и достоинство.

В дальнейшем Платонов избрал для полемики другой путь.

Спорить, высказывая наблюдения над особенностями и смыслом художественного творчества, свои выношенные в работе над прозой мысли — тут он чувствовал себя на родной почве. И хотя не названы в его статьях ни В. Ермилов, ни А. Гурвич, ни И. Астахов, ни другие его сокрушители, но спор идет именно с ними и с теми, кто ду-

мает, как они, — об этом нетрудно догадаться. Иногда внутренний смысл спора упрятан довольно глубоко, иногда же читается легко и просто.

«Ценность и своеобразие личности Церетели, — писал Платонов о грузинском классике, — в частности, в том и состоит, что он на всякое явление своего времени имел личную, особую точку зрения, совпадающую с основными целями прогрессивного движения народов, населявших Россию, но отличную от преходящей, злободневной пошлости и частных ошибок общего движения».

Эту «странность» поведения А. Церетели многие его современники ставили ему в вину».

Это же можно было сказать и тем из современников Платонова, кто заставлял его порою платить слишком высокую цену за некоторые «странности» его поведения.

«Возражением без самозащиты» можно с известным правом назвать всю работу Платонова в критике.

3

Но эта работа имеет и более общий смысл. В нее ушли в известные годы талант, страсть, мысль писателя, вся духовная его энергия.

Зрелым человеком, испытавшим многое из того, что выпало на долю его поколения, подошел Платонов к рубежу 1937 года, когда появилась его первая большая статья «Пушкин — наш товарищ».

Был он бойцом отрядов ЧОНа, помощником машиниста на паровозе, сотрудником «Известий Южного фронта», работал инженером-мелиоратором, осушал заболоченные земли, строил каналы и плотины, служил недолгое время в Наркомземе, в тресте Росметровес, получал патенты на технические изобретения. Поразительно, как среди этой далеко не оседлой жизни он сумел создать к сорока годам свои основные произведения.

Критические статьи вобрали этот многообразный опыт Платонова — человека и художника.

Платонов появлялся перед читателем во множестве обликов — сатирика, традиционного бытописателя, исторического повествователя, критика, публициста, автора сказок, притч и странных фантастических историй, вроде «Мусорного ветра». В поисках «истинной сущности» — а это и есть движущий нерв всех его поисков — он никогда не останавливался перед риском худо-

жественной новизны, и одна из наиболее приметных его черт — постоянное стремление к обновлению, нисколько не утерявшее в энергии и в последних вещах Платонова и оборванное его смертью в 1951 году.

Все это разнообразие скреплено личностью писателя, его особенным взглядом на человека и на мир, единством его нравственных понятий — всем тем, что мы называем духовным обликом.

В Платонове народная нравственность, отчетливо выявленная в его отношении к труду, к любви, к женщине, к матери, к детям, к беззащитным, органически соединена с широкими интересами художника и мыслителя, и это сочетание придает особое звучание его творчеству.

«Утренние» мотивы во многих вещах Платонова, таких, например, как «На заре туманной юности», «Глиняный дом в уездном саду» или «Фро», связаны с романтикой революции, которую он понимал как возвращение к истокам, освобождение человека от духовного гнета и от власти вещей. Свойственное Платонову ощущение первичности справедливости, человечности и добра передано им в картинах революционной России. Но Платонов идет дальше многих писателей, вместе с которыми он работал в литературе, и пытается рассмотреть, как сталкиваются эти стремления с исторически объективным процессом. Противоречия, порожденные новой действительностью, Платонов не обходился молчанием. Истину для отдельной личности он никогда не искал вне общества, вне массы. Но он никогда не пытался найти эту истину и вне реального содержания жизни. Творчество его аналитично и пропитано философской мыслью. Кто не ощутит этого, не воссоединит его усилий понять весь видимый художнику мир, тот не испытает подлинной радости от общения с ним.

Активное нравственное начало обычно общает платоновской прозе и оттенок проповеди. В возвышенной и наполненной интонации, в атмосфере тревожного внимания к духовности, к «внутреннему свету» человека, в стремлении говорить о главном, о времени и судьбе, в самой форме этой прозы, как бы нацеленной на поиски существа, — во всем этом звучит голос, призывающий к правде, к человечности.

Еще более очевидно эта черта — соединение проповеди и анализа — выражена в критических работах Платонова. Тут она откры-

то заявлена и, в соответствии с духом жанра, выступает на первый план.

«Словесное искусство не любит слов... — писал Платонов. — Оно состоит из доказательств посредством слов».

Критика не была для Платонова чем-то побочным, не главным, где можно работать не в полную силу и ограничиться выражением ни к чему не обязывающих впечатлений, для коротких доказательств не нужны. Такой роскоши позволить себе Платонов не смел. Прежде всего он и тут — работник, знающий, для чего и почему взял в руки перо. Не много найдется примеров в русской литературе, когда бы прозаик с таким чувством ответственности работал и в критике. Традиция тут идет от Пушкина.

В своей критике Платонов искал разрешения тех же проблем, перед которыми останавливался как прозаик. Критика была для него тем же постижением жизни и человеческой судьбы.

Технология писательского дела никогда не занимала Платонова сама по себе. Анализировать форму как самостоятельную область искусства он не любил. Истинное значение проблем мастерства он ищет и постигает в единстве с общей мыслью, со всей совокупностью идей и эстетических установок автора. Это восприятие книги как цельного организма, который нельзя раззять и рассматривать по частям, очень напоминает платоновское восприятие мира, охватывающее единым чувством все видимое пространство, где ничто не существует отдельно и только во взаимосвязи и взаимозависимости обретает свой действительный смысл — жизнь.

«Все, бывшее дотоле внешним, искусство превращает в свое внутреннее качество, в собственную энергию, — писал Платонов, — и само может служить вспомогательной, двигательной силой действительности, инстанцией для ссылки и апелляции».

С позиций искусства, дорожащего своей «двигательной силой», своей возможностью помочь человеку найти место в мире среди людей, Платонов рассматривает различные явления литературной жизни. Он пишет о Пушкине, о Горьком, Николае Островском, Пришвине, Крымове, Ванде Василевской, Бажове, Шкловском, Закруткине, о Короленко, Аксакове, Стефанике, о Хемингуэе, Чапеке, Стейнбеке, Олдингоне. В большинстве случаев выбор названных тут имен не случаен. Платонов испытывал потребность опре-

делить свое отношение к ведущим тенденциям литературного развития своего времени.

Но читателю, к которому были обращены статьи, не так уж важно было знать, чем именно руководствовался критик, выбирая ту или иную тему. Гораздо важнее для него было сознание того, что с ним не играют в мысли, в философию, в политику, а дают духовную пищу, предлагают нравственное общение и помогают в поисках истины, без которой, как говорил один из героев Платонова, «стыдно жить».

С таким читателем у Платонова был общий язык.

Истинное произведение искусства всегда создается чувством необходимости, говорил Платонов. Необходимости поэзии и правды — двух неискоренимых потребностей человеческой души. Об этом Платонов пишет так:

«В искусстве и литературе невозможно решить задачу изображения исторически негодного прекрасным, не обманывая читателя. Тогда художник идет на самообман, то есть он совершает двойной обман — себя и читателя. Это достигается тем, что этически порочное силою искусства превращается в эстетически прекрасное, а прекрасное всегда заслуживает оправдания и даже подражания. Возможно ли это? Вполне и надолго это невозможно, но относительно и временно такие попытки могут удаваться. Никакой истинно большой художник не возьмется решать эту задачу...»

При таком взгляде на искусство книга рассматривается как частица всего живого, и «обман», то есть попытка «оправдать» силою искусства этически порочное, — как насилие над природой и человеком. Целью творчества в понимании Платонова является «весь человек» и конечное соединение с ним. Он никогда не пишет о книге под углом зрения ее воспитательного воздействия, или как об учебнике жизни, о воплощении «звуков сладких» и т. п., хотя ему совсем не чужды все эти понятия. Но они действительно в его истолковании лишь как элементы того целого, что и есть «все искусство», равновеликое понятию «весь человек».

4

В журнальной статье невозможно разобрань все обширное литературно-критическое наследие Платонова. Оно охватывает множество литературных явлений и имен, и по

необходимости придется ограничиться гени работами Платонова, которые, как мне кажется, дают представление о характере и направленности его критики и о наиболее значительных ее темах. Я буду обращаться и к крупным его статьям, среди которых выделяются написанные с особенным подъемом две статьи о Пушкине, и к рецензиям, сравнительно небольшим по объему, но насыщенным мыслями, наблюдениями. Платонов не приберегал свои самые значительные мысли и кардинальные выводы для больших, так называемых проблемных статей, а каждый раз, как только представлялась возможность, выступал во всеоружии писательского опыта и накопленных наблюдений. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать поражающие богатством содержания его маленькие рецензии в «Литературном обозрении» — на сборники рассказов Александра Грина и Константина Паустовского, на повесть В. Шкловского «О Маяковском», на книгу М. Пришвина «Неодетая весна» и др.

Одна из постоянных тем Платонова — фашизм и судьба человека, судьба культуры. Предупреждение об угрозе немецкого фашизма органически входит в его статьи, написанные на темы и близкие, и довольно далекие, казалось бы, от современной ему жизни.

«...Сейчас есть смертная нужда, — писал он в 1937 году, — чтобы в мире появилась поэтическая, вдохновляющая, оживляющая сила, равноценная Пушкину — и даже превосходящая его, потому что слишком велико всемирное бедствие».

Платонов говорил о первородстве понятий, имеющих большое значение для современного мира. Искусство не может ни снять с себя, ни передоверить ответственность, которая возложена на него. «... Без сосредоточенного, пылающего в одном раскаленном угле выражения своего истинного существа народ (и решающее человечество) не может ощутить самого себя во всем своем качестве и достоинстве, он не будет воодушевленным... Великая поэзия есть обязательная часть коммунизма».

Как близко стоят у Платонова, почти сливаются, мысли о судьбах человечества и о поэте! В этом сближении заключена целая программа, известная русской литературе со времен пушкинского «Пророка».

Размышляя о корнях и традициях русской

литературы, один из авторов начала двадцатых годов писал:

«В тот день, когда Пушкин написал «Пророка», он решил всю грядущую судьбу русской литературы; указал ей «высокий жребий» ее: предопределил ее «бег державный». В тот миг, когда серафим рассек мечом грудь пророка, поэзия русская навсегда перестала быть всего лишь художественным творчеством. Она сделалась высшим духовным подвигом, единственным делом всей жизни... Отдавая серафиму свой «грешный язык», «и празднословный, и лукавый», Пушкин и себя, и всю грядущую русскую литературу подчинил голосу внутренней правды, поставил художника лицом к лицу с совестью,— недаром он так любил это слово».

Платонов тоже обращается к «Пророку» как завещанию и напутствию Пушкина русской литературе. Но об истоках духовного подвига поэзии у Платонова сказано иначе: «Свет народа, возженный в груди Пушкина».

По Платонову, поэт черпает силу не только в своем нравственном законе, не только в себе самом — он повернут лицом к внешнему миру, и творческая сила входит в него «извне». Связь личной участи с судьбой творчества была роковой для русской литературы прошлого века. Но только потому ей и дано было вынести это испытание, что «угль, пылающий огнем», был «собран по лучинке с каждой души и совмещен вместе в один сосредоточенный жар» (Платонов). Поэтическое самосознание, по Платонову, неотделимо от «общего мира», и нравственный закон художника опирается на понимание заимообразности своего дара.

«Пушкин сознавал и свою ответственность перед народом и, так сказать, заимообразность, зависимость своего поэтического дара от общей жизни России, от родины, понимаемой не патриотически, а органически,— писал Платонов.— Он, Пушкин, явился ведь не от изобилия, не от избытка сил народа, а от его нужды, из крайней необходимости, почти как самозащита или как жертва. В этом заключается причина особой многозначительности, универсальности Пушкина и крайне напряженный и в то же время торжественный, свободный характер его творчества».

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык...

И еще гораздо более важное:

..И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный, и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп, в пустыне я лежал...

Поэтическое и человеческое самосознание, запечатленное в «Пророке», окрепло под воздействием суровой зимы николаевского времени. Русская литература не сама и не добровольно возложила тогда на себя терновый венец. Но, ощутив его шипы, она не дрогнула. «Пророк», написанный после Сенатской площади, не несет на себе никаких следов поражения. Поэзия Пушкина была, по словам Герцена, «залогом и утешением».

Говоря о самосознании поэта, открывшемся в «Пророке», Платонов прибегал к патетическому образу — «огненная сила».

Если в поэтическом слове народу дано «ощутить» себя во всем своем качестве и достоинстве, если воодушевление и, следовательно, могущество так тесно связано с этим действием истинного, не поддельного слова, то и патетика Платонова не чрезмерна.

Со страстью любви и преклонения он создавал в своих двух статьях о Пушкине возвышенный образ художника — духовной опоры во взлетах, тяготах и превратностях исторического бытия народа.

Мы знаем Пушкина Достоевского и Пушкина Писарева, помним слова Тургенева, сказавшего на открытии памятника поэту в Москве, что благодаря Пушкину русский человек стал более свободным человеком. Есть Пушкин Баратынского — поэт моцартианской радости жизни. И есть Пушкин Платонова — выразитель существа народной жизни, поэт, чье творчество связано с самим существованием народа.

«Что было до Пушкина лишь внешним явлением, отдельной действительностью, то после него стало для нас душою, чувством, привязанностью сердца и мыслью. В Пушкине народ получил свое собственное воодушевление и узнал истинную цену жизни, заключенную не только в идеальных вещах, но и в обыкновенных, не только в будущем, но и в настоящем... Пушкин угадал и поэтически выразил «тайну» народа, бережно храни-

нимую им, может быть даже бессознательно, от своих многочисленных мучителей и злодеев. Тайна эта заключается в том, что бедному человеку — крепостному рабу, городскому простолюдину, мелкому служащему, чиновнику, обездоленной женщине — нельзя жить на свете: и голодно, и болезненно, и безнадежно, и уныло, но люди живут, обреченные не сдаются; больше того: массы людей, ступеванные фантазмагорическим, обманчивым покровом истории, то таинственное, безмолвное большинство человечества, которое терпеливо и серьезно исполняет свое существование, — все эти люди, оказывается, обнаруживают способность бесконечного жизненного развития. Общественное угнетение и личная, часто смертоносная, судьба заставляют людей искать и находить выход из их губительного положения.

Искусство как самозащита народа в условиях антагонистического общества — это и есть, пожалуй, самое точное и самое емкое выражение излюбленной мысли Платонова.

Поэзия Пушкина воссоединена с «бедным человеком», крепостным рабом, городским простолюдином, не имеющим другого способа рассказать о себе, о своей «тайне», как с помощью искусства. Понятно, почему из всего Пушкина Платонова особенно интересовал «Медный всадник».

Но существует и обратная зависимость — поэтического дара от родины, понятой органически, то есть как мир народной жизни. Тут почва, питающая счастливую, мудрую и мужественную поэзию Пушкина. Платонов пишет о свободной, естественной связи поэта с народной жизнью. В таком свободном единстве и рождается воодушевленное слово, слово-истина. Глубокая и необходимая нужда народа не останется надолго без удовлетворения и обязательно вызовет к жизни ответное движение, усилие чувства и мысли воплотить и выразить сущее. Самой природой поэтического гения предугазана и предопределена эта отзывчивость и эта потребность воплощения. Отнимите у него эту возможность — и он погибнет.

Но он не гибнет, каким бы суровым испытаниям ни подвергался подчас. Платонов объясняет эту необыкновенную жизнеспособность поэтического дара в духе пушкинской веры в предназначение поэта: не может быть так, чтобы сердце народа долго билось впустую.

Статьи о Пушкине¹ во многом программны. Платонов начинает с размышлений о незыблемых основах творчества, с корневых истин, которые выстояли под натиском времени.

Под пером Платонова они звучат с первозданной свежестью только что добытых и нужнейших истин. Платонов писал о том, что имело прямое отношение к его делу и что извлекалось, как попутная мысль, в работе над прозой. Эта связь придает особое звучание его критике, какую-то особую полновесность слову. Когда читаешь то, что он пишет о художнике — выразителе идеальной и сущей народной жизни, то понимаешь, что с таким же сознанием ответственности, суровым и цельным, он и сам приступал к своему делу. Отнимите это у его критики — и она сразу как бы поблекнет.

Итогом всего, что Платонов писал о Пушкине, должна была стать современность, и не только потому, что писатель был поглощен ее страстями. Он верил в практическое претворение надежд и идеалов. Возможно ли, чтобы великая русская литература, бывшая в его представлении частью революции, не повлияла на ход исторического процесса? Этот вопрос затрагивал самые основы просветительской и — может быть, точнее будет сказать — несколько романтической веры Платонова в исторический прогресс.

«Зачем нужны пророческие произведения, если пророчество остается без свершения в действительной жизни, в фактах, — разве единственный смысл таких произведений лишь в том, чтобы вести литературу к дальнейшему совершенству?»

Усилие художественного гения должно быть «оплачено» самой жизнью — чтобы «теплотворная энергия народа не рассеялась в пустой и холодной тьме».

«Пушкин и его последователи работали не ради самих себя и своего искусства, — писал Платонов. — Однако и поэзия сама по себе, как некая начальная, первичная форма воодушевления народа, не должна и не может убывать; в противном случае убудет и сама революция — вообще движение человечества в истории».

Революция и поэзия, питающие одна другую силы, — вот одна из итоговых мыслей статей о Пушкине. Без поэзии — без вооду-

¹ «Литературный критик», №№ 1 и 6, 1937.

шевления, без истины и любви — революция «убывает», и вместе с тем «убывает» историческая судьба человечества. Платонов дает и другой поворот этой же мысли: «Мы не отделяем... революцию от души людей».

В такой формулировке эта мысль ближе к существу поисков художника — поисков «сокровенного», «воодушевленного» человека.

Чувствилище вздыбленного революцией мира, Платонов, порою стихийно, выражал его надежды, духовный взлет, тяготы и ожесточение. Отсюда и крайняя напряженность чувства, и противоречивость, которую он не умел или не хотел сглаживать и преодолевать. «Чевенгур» и «Родина электричества» — полюса мироощущения, которые трудно воссоединить.

Но при всем том Платонов неизменно последователен в одном — в защите человека от всякого рода прямых и обманных посягательств, крайним выражением которых для него был немецкий фашизм.

«...Для нас мало света и тепла от лучины. Особенно теперь мало, когда почти половину человечества фашизм обрабатывает в труп,— притом в такой труп, который был бы словно живой, но по существу, по душе мертвый».

Мертвый по существу — «по душе». Ходит, действует, говорит, но душа вынута, существа нет. И сам не догадывается об этом, потому что — «словно живой». Что может быть гнуснее этого насилия, когда человек даже не понимает, что сотворили с ним?

Платонов сознавал, что тепла и света «от лучины» мало, чтобы рассеять мрак и раскрыть обман.

«Угль пылающий» — Пушкин как явление русской жизни и как личность — представляется ему наиболее полным воплощением современного идеала человека и художника. «...Насколько для нас ценен Пушкин,— писал Платонов,— не только как поэт, но и как человеческая натура, абсолютно не поддающаяся угнетению, натура, способная быть отравленной, и даже загубленной, но сама не способная кого-либо отравить и уничтожить».

Платонов знал, почему именно «Пушкин — наш товарищ». Он брал от него то, в чем была «смертная» нужда.

Отсюда то естественное и живое чувство, с каким Платонов соединял прошлое с настоящим, Пушкина с современностью.

5

Наиболее обстоятельно из всех произведений Пушкина Платонов разобрал поэму «Медный всадник». Выбор этот, конечно, не случаен. Платонова, как и многих в двадцатые — тридцатые годы, особенно интересовало петровское время. Для своей повести «Епифанские шлюзы» (1927) он выбрал сюжет из хроники петровских лет.

Обратиться к «Медному всаднику» побуждала Платонова и проблематика поэмы — одного из самых глубоких созданий Пушкина. О нем писали и пишут, пожалуй, больше, чем о каком-либо другом из его произведений, и все-таки мы не можем сказать, что исчерпали свой интерес к поэме или промерили до дна ее содержание.

Луначарский говорил: «загадочный «Медный всадник». Разгадка, которую предлагает Платонов, оспаривает утвердившиеся представления о поэме и дает новые импульсы для размышлений и толкований».

Первым о выдающемся значении «Медного всадника» сказал Белинский и в пылких, хотя и беглых заметках сумел наметить на долгие годы вперед пути, по которым пошла критика.

«Мы понимаем смущенною душою, что не произвол, а разумная воля олицетворены в этом Медном Всаднике...— писал он.— И смиренным сердцем признаем мы торжество общего над частным, не отказываясь от нашего сочувствия к страданию этого частного... При взгляде на великана, гордо и неколебимо возносящегося среди всеобщей гибели и разрушения и как бы символически осуществляющего собою несокрушимость его творения, мы хотя и не без содрогания сердца, но сознаемся, что этот бронзовый гигант не мог уберечь участи индивидуальностей, обеспечивая участь народа и государства; что за него историческая необходимость и что его взгляд на нас есть уже его оправдание... Да, эта поэма—апофеоза Петра Великого...»

Тут отмечена прежде всего основная мысль поэмы, заключенная в сопоставлении Петр — Евгений, сопоставлении странном, небывалом до той поры для русской литературы. Уже одним тем, что Пушкин сблизил и сопоставил эти два явления русской жизни, он совершил открытие, каких немного во всей истории нашей словесности.

К сожалению, Белинский недостаточно развил свои мысли, сосредоточив усилия по

преимуществу на том, чтобы защитить поэму от холода читающей публики и обратить внимание на ее художественные достоинства.

В последующих истолкованиях за Евгением была закреплена роль обреченного бунтаря, жертвы рока, раздавленной величием времени, грандиозностью его задач. По логике такого понимания получалось, что автор для того и поставил его рядом с Петром, чтобы въяве предстал масштаб личности и свершений реформатора. Суть этой мысли хорошо схвачена Александром Бенуа в его знаменитых иллюстрациях к поэме: маленький, слабогогий человек бежит, отмахиваясь рукой от скачущего за ним всадника. Апофеоз Петра предстает тут несомненной истиной, подтвержденной высшим авторитетом искусства.

И, озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коде.

Бедный безумец, гонимый беспощадными силами истории. Чем он может защититься от судьбы? Разве что этой бессильной угрозой: «Добро, строитель чудотворный!.. Ужо тебе!..»

Недавно мне пришлось прочитать в одной статье, что в этой реплике Евгения выражена вся беспочвенность и обреченность его бунта против эпохи, против времени. Чего же хочет бунтарь — поставить свое маленькое счастье с Парашей вровень, если не выше величественного деяния? Претензии смешные, а главное, неосуществимые. Все сводилось к тому, что поэма — и отповедь Евгению, и назидание для потомков.

Платонов решительно отвергал подобные истолкования. Ощущение редкой цельности и, я бы сказал, красоты его мысли возникает от бескомпромиссной готовности додумать и высказать все до конца, без оговорок и недомолвок, со смелостью, достойной предмета его размышлений.

Послушаем, что он говорит.

«...И Евгений для Пушкина — великий этический образ, может быть — не менее Петра».

Этим полемическим утверждением Платонов переносил разговор о поэме на новую почву. В таком понимании поэмы и заключалась новизна его мысли, его открытие. Говоря о Петре и Евгении, он сопоставлял этическое достоинство — духовность,

страсть, величие чувства, испытанного человеком. И тогда под личиной безумца бедного возникал совсем иной образ.

У Евгения самые обычные мечты о Параше, о любви, о теплом угле. Но не следует слишком поспешно обличать его, обвиняя в серости, в отсутствии личности и характера. Идеалы его не так уж мелки.

О чем же думал он? о том,
Что был он беден, что трудом
Он должен был себе доставить
И независимость и честь.

В устах Пушкина это большая похвала. Добиваться в России во времена Петра и Евгения чести и независимости, да еще зная, что единственное средство к тому — честный труд, — на это нужно было отважиться.

...Жениться? Мне? Зачем же нет?
Оно и тяжело, конечно;
Но что ж, я молод и здоров,
Трудиться день и ночь готов;
Уж кое-как себе устрою
Приют смиренный и простой...

Можно как угодно относиться к такой жизненной цели, но нельзя отказать в достоинстве и зрелом понимании человеку, который стремится к здоровой, честной жизни. «Смиренный и простой» приют одним смирением не устроишь. Тут нужна и воля, и действенная энергия.

По Платонову, Евгений — личность, а не обезличенный чиновник, «никто», каким чаще всего изображают его, и не безумие движет им в ту минуту, когда он произносит свое знаменитое «Ужо тебе!» перед бронзовым истуканом, а — любовь. Какое различие в понимании!

Репутация Евгения у людей, жалевших его и сострадавших ему и только, поистине незаслуженна. В поэме нет жалостливого тона, в каком принято чаще всего говорить о Евгении. Его судьба печальна, но, в истолковании Платонова, он не «смиренный герой», не «маленький человек», не «игрушка в руках судьбы». Евгений истинно велик самоотверженности, в высоте чувства, ничем не поколебленного и ничего не уступившего трагическим обстоятельствам. Одиноким, потерявшим все, чем мила жизнь, он сохраняет достоинство, утратив разум. И гибель его — это образ нравственной, этической победы, победы несдавшегося чувства. В поступках Евгения нет ничего ложного или мелкого. Не за себя он страшит в часы бедствия. «Душою

замирая», он думает о любимой, и силу этой страсти можно измерить лишь тем, что случается с ним, когда он узнает о гибели Параша.

Ужасных дум
Безмолвно полон, он скитался.
Его терзал какой-то сон.

Злые дети бросают в безумца камнями, но ведь на то они и злые дети...

В привычном истолковании поэмы действует своего рода оптический обман: рядом со стократно увеличенной фигурой царственного кумира фигурка Евгения кажется незначительной, мелкой. И это мешает увидеть то, что сумел рассмотреть Платонов.

С самого начала, с первой мысли Евгения о чести и независимости, перед нами — герой трагический. Стихия ломает камни, но слабое, смертное человеческое существо стремится возобладать и над ней. Даже в безумии Евгений остается верен себе. Как написан финал? Момент предельной угнетенности духа, и сразу же вслед затем освобождение — гибель. Эпически спокойная и вместе с тем раздумчиво грустная интонация последних строк поразительно точно воплощает авторскую мысль.

Возможен ли другой вариант конца: Евгений смиряется с обстоятельствами, как-то приспособливается к ним? Но тогда нет поэмы, нет героя, который имел бы право бросить вызов «властелину судьбы», и тогда Евгений действительно «маленький человек».

«...Поэма трактована Пушкиным, — писал Платонов, — в духе равноценного, хотя и разного по внешним признакам отношения к Медному Всаднику и Евгению. Вот в чем дело».

Внешние признаки, столь впечатляющие, что от гипноза их трудно избавиться, Платонов отмечает.

«Евгений тоже ведь «строитель чудотворный», — правда, в области, доступной каждому бедняку, но недоступной сверхчеловеку, — в любви к другому человеку».

Может показаться, что тут звучит нотка предпочтительного отношения к Евгению по сравнению с Петром, но это упрощало бы Пушкина. Мысль Платонова другая.

«Итак, по Пушкину, Петр — прекрасен и автор его любит...

Евгений же изображен на протяжении всей повести-поэмы как натура любви,

верности, человечности и как жертва Рока, Пушкин тоже любит его.

Больше того, Пушкин отдает и Петру и Евгению одинаковую поэтическую силу, причем нравственная ценность обоих образов равна друг другу. Из глубины своего деятельного сердца, из истинного творческого воодушевления, из поэтического, человеческого, в конечном счете, источника Петр создал свое чудное творение — Петербург и новую европейскую Россию. И в глазах Пушкина предстало великое искусство, условно сосредоточенное в бронзовом памятнике Медному Всаднику, — поэт и истинный человек не мог не удивиться ему, не почувствовать в своей душе родства с Петром — по вдохновению жизни, по быстрому, влекущему стремлению к дальним целям истории... Но вот — Евгений. Бедный человек, чиновник. Его душа, тесно огражденная судьбою и общественным положением, могла отдать всю свою силу лишь в любовь к Параше, к дочери вдовы. Но эта такая частая и обычная человеческая страсть, взращенная в самых теснинах уединенного сердца и усиленная ими, — эта страсть не побеждается даже наводнением и гибелью Параша, даже Петром Первым, ничем, — человек уничтожается вместе со своей любовью. Это не победа Петра, но это — действительная трагедия. В преодолении низшего вышшим никакой трагедии нет. Трагедия налично лишь между равновеликими силами, причем гибель одной не увеличивает этического достоинства другой».

В этом отрывке сполна выражено отношение к Евгению. К Петру отношение Платонова сложнее, чем это явствует из приведенных выше строк.

Для Платонова, как и для Пушкина, Петр был направлением в обширный, деятельный мир, где, однако, как писал Платонов, нельзя существовать и без Евгения, «чтобы не получилась одна «бронза», чтобы Адмиралтейская игла не превратилась в подсвечник у гроба умершей (или погубленной) поэтической человеческой души».

Платонов был убежден, что «без Евгения», то есть без той нравственной социальной силы, какую представляет Евгений, — без ее уравновешивающего, сдерживающего влияния, «властелин судьбы», пожалуй бы, «весь мир превратил в чудесную бронзу, около которой дрожали бы разлученные, потерявшие друг друга люди».

Отношение к Петру у Платонова сродни

пушкинскому. И тут он стоит на почве несомненного исторического факта.

«Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами,— писал Пушкин.— Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, своеправны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности, или по крайней мере для будущего, вторые вырвались у нетерпеливого, самовластного помещика».

Просматривая после смерти поэта записи его о Петре I, Николай I признал их недопустимыми к печати «по причине многих неприличных выражений насчет Петра Великого». В 1840 году, хлопоча об издании этой рукописи, Жуковский писал царю: «Теперь манускрипт пересмотрен со вниманием и все замеченное или выброшено, или исправлено».

Исправления и изъятия были сделаны в духе пожеланий Николая. Например, фраза об Алексее (дело которого Пушкин называл «страшным»): «Пытка развязала ему язык; и он показал на себя новые вины» — заменена была сочиненной цензором Никитенко: «Наконец он признался в новых винах». После двукратных исправлений пушкинская запись: «Царевич более и более на себя наговаривал, устрешенный сильным отцом и изнеможенный истязаниями» — превратилась в нечто совсем иное по смыслу: «Царевич все более и более сознавался». Запись о поездке Петра с Меншиковым в Ораниенбаум («Есть предание: в день смерти царевича торжествующий Меншиков увез Петра в Ораниенбаум и там возобновились оргии страшного 1698 года») вовсе была исключена. Кроткое цензорское усердие, как видишь, вполне достигало цели.

Пушкин высоко ценил прогрессивное значение петровских реформ. Но темные стороны минувшей эпохи нисколько не оправдывал. Он намного опередил свое время и в этом. И Платонов, разделивший отношение Пушкина к петровской эпохе, мог с полным правом сказать: «Пушкин — наш товарищ».

Правда, позднее — и в обстоятельствах куда более как будто благоприятных для истинного освещения деятельности царя-реформатора — появились книги, написанные с опаской, как бы не было «неприличных выражений насчет Петра». Но к чести Платонова надо сказать, что этим опасениям он власти над собой не давал.

Петровское время изображено в «Епифанских шлюзах». Платонов берет один из характерных эпизодов тех лет — строительство каналов, задуманных Петром с обычной смелостью, чтоб превратить реки в дороги, соединяющие города и веси срединной России.

Не касаясь сейчас содержания и существа повести, остановимся лишь на том, что имеет отношение к нашей теме. Помните ли вы финал повести — гибель инженера Перри в объятиях палача? Впрочем, кто читал ее, наверное, не смог позабыть этой ошеломляющей, гнетущей, почти натуралистической сцены, диссонансирующей с общим тоном повествования. Внутренний смысл этой сцены достаточно сложен, но не напоминает ли она, в частности, и об обстоятельствах смерти Алексея? Вполне допустимо, что этот финал был своего рода и репликой на историческое событие, мимо которого не прошел ни один из исследователей и бытописателей петровского царствования. Обычно в отношении к делу Алексея определялась тенденция исследователя. Платоновская тенденция в «Епифанских шлюзах» идет вслед пушкинской. Палач, написанный со злой яростью, с беспредельным отвращением, есть символ платоновской ненависти к насилию, к бессудному произволу.

От «Епифанских шлюзов» тянется ниточка к размышлениям Платонова о «Медном всаднике».

Что же прочитал Платонов в «Медном всаднике»?

Что человеческая личность не должна быть принесена в жертву ближним или дальним целям истории, какими бы влекущими ни были они сами по себе.

Что поэтическая человеческая душа есть величайшая ценность бытия, и обратное понимание ведет к оскудению жизни, ничем не возместимо.

Что в сфере нравственной внешние атрибуты власти, славы — ничто, и бедный чиновник бросает вызов могущественному властелину судьбы.

Что, сохраняя внутреннюю свободу, человек одерживает победу над силами, грозящими ему гибелью, и даже сама смерть не отнимает у него плодов его победы.

Глядя на Евгения, Платонов произносил: «Се человек» — и этим уравнивал его с Петром. Но это признание еще не разрешало антиномию Петр—Евгений, воплотившую гениальное прозрение Пушкина,

Разрешим ли конфликт Евгений—Петр? Пушкин на этот вопрос не ответил.

Платонов пишет:

«Где же выход? — В образе самого Пушкина, в существе его поэзии, объединившей в этой своей «петербургской повести» обе ветви, оба главных направления для великой исторической работы, обе нужды человеческой души».

Но не будут ли поиски такого «выхода» попыткой разрешения проблемы вне ее реального содержания? В самом деле, Пушкин не оставляет надежд на объединяющее влияние гармонии, какую Платонов хотел бы обрести в нем самом.

Евгений и Петр равновелики, нравственная ценность обоих образов равна, говорил Платонов. Но ведь в этом признании как раз и содержится зерно социального протеста. Подняв Евгения до Петра, Пушкин предрекал неизбежность социального взрыва. «Исповедь» Руссо предвещала падение Бастилии. Нравственная, этическая почва чревата потрясениями, изменяющими не только души.

В развитии мысль Платонова выводит за рамки петровского времени. Это необходимо, чтобы увидеть в действии новое сознание, вызванное Петром же из небытия, понять пророчество, вложенное в образ Евгения. Не тут ли начало далекой перспективы, уводящей от солдатских каре на Сенатской площади дальше?

Там — отзвук событий, о которых рассказывает поэма. И она предвещает их всем своим образным строем, картинами разбушевавшейся стихии, когда «народ зрит божий гнев и казни ждет».

Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клопоча и клубяся,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась. Пред нею
Все побежало; все вокруг
Вдруг опустело — воды вдруг
Втекли в подземные подвалы,
К решеткам хлынули каналы,
И всплыл Петрополь, как тритон.
По пояс в воду погружен.

Так, может быть, «Ужо тебе!..», брошенное бронзовому кумиру, — не жест бессильной ярости, а нечто совсем другое?

Обещание возмездия, страшного, как апокалипсическое видение потопы.

6

Современный критик пишет:

«Андрей Платонов включается в вековое раздумье русской литературы о силе и слабости европейского энергического духа, но тревога Платонова острее всего того, что писалось ранее. Он чувствует ограниченность узкого, точечного буржуазного сознания Запада, он чувствует бездуховность в его арифметической энергии, он предчувствует катастрофу, таящуюся в этой безудержной рациональной энергии, променявшей на закон свободу своего духа».

В давние и уже ставшие историей времена подобные рассуждения, совершенно справедливые в своем неприятии «точечного буржуазного сознания», сопровождались обычно противопоставлением Западу Востока, и Л. Аннинский, которому принадлежат приведенные выше строки, не изменяет этой старой традиции.

Обращаясь к «Епифанским шлюзам» в статье «Восток и Запад в творчестве Андрея Платонова», критик анализирует образ инженера Перри, прибывшего в Россию по приглашению Петра, чтобы строить канал. Бедняга Перри, погибший в объятиях палача, и есть, по мысли критика, олицетворение «трагедии западной души». «В нем есть логика и честность, разум и благородство — в этом английском инженере. В нем нет того главного, о чем думает Платонов, — дерзости свободного человека».

Тут чувствуется какой-то печальный оттенок небрежения в рассуждении о честности и благородстве, — это не в духе того писателя, о котором пишет критик. Тем более что эти черты, как и предполагал писатель, представляют «линейный разум» английского инженера совсем не со стороны слабых его сторон.

Чтобы прояснить до конца свою мысль о «дерзости свободного человека», Л. Аннинский приводит разговор арестованного англичанина с приставленным к нему стражником.

«Один стражник — старик — на последней ночевке ни с того ни с сего сказал Перри:

— И куды мы тебя ведем? Может, на мертвую казнь!.. Нонешний царь горазд на всякую лютость. Я б убег на глаза! Пра! А ты идешь цыплагом! Кровя, брат, у тебя дохлые — я б залютовал во как и в порку не дался, тем более в казнь!»

«Этот поразительный разговор,— пишет критик,— ставит точку в трагедии британца. Убежать в степь — чего бы проще, когда сам ведущий его стражник сознается, что любой российский «вор» сделал бы именно так! Но для этого замкнутая, арифметическая душа инженера должна быть другой».

Вот как. Аннинский всерьез полагает, что стражник, приставленный к Перри, и даже «любой российский «вор» способен научить его любви к свободе. Но ведь сам же он и пишет, что действие платоновской повести развивается в ту знаменательную эпоху, когда «царь Петр ежедневно кнутом вбивает логику в задницы мужиков», тех самых, которые стерегут Перри и ведут его на казнь. Правда, Л. Аннинский добавляет, что «мужики все равно разбегаются по степи без всякого смысла». Но мужики не разбегались, если судить по некоторым вещественным свидетельствам той эпохи, созданным ценою необыкновенно тяжелого, народного труда.

Не следует забывать историю, даже под давлением всевластных «веваний». Мужики в пору Петра не только не давали «разбегаться», но с необыкновенной энергией его прикрепляли к месту, к земле, к помещику, и крепостное владычество над «душами» заметно окрепло и утвердилось на Руси.

Говорить о «дерзости свободного человека» применительно к стражнику, описанному в «Епифанских шлюзах», по меньшей мере — странное заблуждение. Платонов никогда не тешился подобными иллюзиями.

Исторический оптимизм Платонова питался верою, что в народе никогда не исчезает, хотя и ослабеваает порою, влечение к истине и свободе. Но он не утверждал, что свет обязательно придет с Востока, и не видел ни на Западе, ни на Востоке исключительной монополии на поиски «всемирного счастья».

Гораздо ближе Платонову другая — истинно великая традиция русской культуры. Естественность и свобода, с какими слиты у Пушкина национальное с общечеловеческим, русское с европейским, не были только счастливой случайностью русской жизни.

«Внутри западного сознания,— пишет Л. Аннинский,— Платонов не видел выхода, но без выхода он не мог».

Следует, однако, помнить, что в каждой национальной культуре есть две культуры и что «западное сознание» — это далеко не

только буржуазное сознание: это Маркс и Грамши, а если брать ближе к нашим дням, и Чапек, и Брехт, и Хемингуэй, и Сент-Экзюпери. В этой родственной себе интеллектуальной среде противостояния фашизму Платонов искал друзей и спутников.

Со своим обостренным чувством угрозы, нависшей над миром, Платонов не мог, конечно, отгородиться от современников, разделявших эту тревогу, где бы они ни проживали, на Западе или на Востоке. И он шел к ним без всякой предвзятости и без тени болезненной настороженности насчет извечных пороков «западного сознания», какую пытаются сейчас ему приписать, полагая, что этим оказывают ему честь.

Внимание Платонова особенно привлекало творчество тех зарубежных писателей, у которых он находил отклик на волнующие и его проблемы. Это прежде всего творчество Хемингуэя, Чапека, Олдингтона, которым он посвятил большие статьи.

В статье о Хемингуэе — одном из первых у нас обстоятельных откликов на творчество американского писателя¹, — Платонов писал о том, что было особой заслугой Хемингуэя и что определило во многом его влияние и успех. Хемингуэй открыл и превосходно описал новый тип протеста против святошества, казенщины и пошлой лжи. Герой Хемингуэя (Платонов писал о романе «Прощай, оружие!»), как умеет, оберегает свое человеческое достоинство. Он одинок в борьбе с могущественными силами, стремящимися подавить его личность, но не безоружен. От риторики, от спекуляции на высоких чувствах любви к родине и уважения к героизму он защищается иронией. И он с усмешкой взирает на усилия всякого рода попов и проповедников внушить ему трепетную любовь к поддельным ценностям, которые уже не имеют для него никакой цены.

Человеческое содержание этого протеста Платонов открыл еще в то время, когда о Хемингуэе принято было писать, обличая его в декадентстве и «упадочных настроениях». Платонов оказался прозорливее многих критиков: в «ущербных» героях Хемингуэя он увидел то, что со временем привело немало людей сходного типа в среду Сопротивления.

¹ «Литературный критик», № 11, 1938

Поиски «истинного человека», стремящегося сохранить свое человеческое достоинство и спасти себя от одичания на войне, составляют, по мысли Платонова, самую суть творчества американского писателя.

«Ему очень важно выяснить, в чем же состоит истинное достоинство современного человека...— писал Платонов.— Хемингуэй предполагает, что для такого человека не нужно ничего особо возвышенного, вдохновенного, ничего лишнего, пошлого, а также нарочито прекрасного или чего-либо чрезвычайного в смысле характера: все трудно осуществимое не должно мешать происхождению этого человека. Необходимо лишь нечто посильное, достаточное, но в то же время такое, что сделало бы совместную жизнь людей терпимой и даже увлекательной.

...Отсюда инстинктивный страх Хемингуэя упасть в пошлость, в бестактность характеристики любого своего героя, что принимается большинством его читателей за высокое литературно-формальное качество его работы. Наверное, это так и есть: литературное мастерство Хемингуэя стоит на высоком уровне. Но объяснение этому мастерству должно искать в обостренном чувстве такта у писателя, а чувство такта является у него средством борьбы с пошлостью, со скрытой распушенностью, святотешеством, удушающим угнетением, с почти демонстративным оглуплением высших слоев общества и прочими обстоятельствами жизни на европейском Западе и в Америке. Если это острое чувство такта писателя и не поможет читателю, не привьется к нему как правило мышления и поведения, оно, наверняка, предохранит самого Хемингуэя от заражения из внешней среды тем худым и отвратительным, чего он, видимо, не переносит. Вот почему этику так часто Хемингуэй превращает в эстетику; ему кажется, что непосредственное, прямое, открытое изображение торжества доброго или героического начала в людях и в их отношениях отдаст сентиментализмом, некоторой вульгарностью, дурным вкусом, немужественной слабостью. И Хемингуэй идет косвенным путем: он «охлаждает», «облагораживает» свои темы и свой стиль лаконичностью, цинизмом, иногда грубоватостью; он хочет доказать этическое в человеке, но стыдится, из художественных соображений, назвать его своим именем и, ради беспристрастия, ради сугубой доказательности и

объективности, ведет изложение чисто эстетическими средствами. Это хороший способ, но у него есть плохое качество: эстетика, в данном случае, несет служебную, транспортную роль, забирает много художественных сил автора на самое себя, не превращая их обратно в этику. Эстетика, являясь здесь передаточным средством от автора к читателю, подобно электрической линии высокого напряжения, расходует, однако, много энергии на себя, и эта энергия безвозвратно теряется для читателя-потребителя».

Несколько весьма важных тем сплетены в приведенном выше отрывке.

«Истинный человек» Хемингуэя уже понимает, что условием сохранения человеческого достоинства является разрыв с официальной моралью, пропитанной фальшью казенных идей. Он оторвался от социальной почвы своих отцов. Гранитные ступени, по которым восходили отцы,— образование, женитьба, семья, карьера — нигде, по его мнению, не ведут. Во всяком случае восхождение не стоит затраченных на него усилий. Преуспевание в лоне опустылевшего ему общества несколько его не манит. Он ощущает себя прозревшим. Счастлив ли он в своем прозрении? Нет, не счастлив. Платонов пишет, что «линия» Хемингуэя в «Прощай, оружие!» — «плач по человеку».

Но герой Хемингуэя не только теряет. Расставаясь с верой отцов, он обретает взамен «истинное достоинство». Для него не нужно теперь ничего «особо возвышенного», «нарочито прекрасного» — не нужно утешающей лжи. Солдат Хемингуэя вовсе не антигероичен. Он отвергает не героизм, а риторику, не истинное, а поддельное, не духовность, а мертвечину.

Размышления о психологическом портрете хемингуэевского героя переплетены у Платонова с анализом литературного стиля хемингуэевской прозы. Взаимосвязанность и взаимозависимость этих важнейших компонентов прозы — признак большого искусства. У Хемингуэя эта зависимость отчетливо выявлена, и Платонов устанавливает ее смысл.

В основе литературного стиля Хемингуэя лежит чувство такта и — шире — стремление «доказать этическое в человеке». Эстетика превращается в этику. Стиль становится средством борьбы с пошлостью и святотешеством. Этим и объясняется то впечатление, какое произвел на современников стиль пи-

сателя и повсеместные попытки подражания ему.

Отдавая должное высокому мастерству писателя, Платонов вместе с тем считал, что Хемингуэй расходует слишком много энергии на чисто художественные задачи, вместо того чтобы идти к цели более непосредственно и открыто.

Столкнулись две эстетические программы, во многом взаимоисключающие. И та и другая были представлены художниками выдающегося таланта, и вряд ли нужно спорить, какая из них лучше и ближе к истине.

Все дело в разнице устремлений и задач. Платонов со своим проповедническим пафосом удивительно точно сформулировал свой эстетический принцип: писать «напрямую». В этом выразилось родившее писателя время социальной молодости общества и традиции русской литературы XIX века.

Но случалось, что в осуществлении своего принципа Платонов слишком открыто шел к цели. Это было не на пользу писателю.

«Хорошо и красиво писать — это еще не все, — говорил Платонов, — нужно еще писать истинно, то есть открывать для людей реальную возможность более достойной жизни».

Но ведь хорошо писать — это и значит «писать истинно». И наоборот — нельзя без высокой цели писать действительно хорошо.

Эту цель Платонов за Хемингуэем признавал сполна. Его статья об американском писателе называлась «Навстречу людям». В этих словах — итог размышлений Платонова о Хемингуэе. И именно здесь — точка соприкосновения двух таких разных талантов, судеб, людей.

Статью о Хемингуэе Платонов написал в 1938 году, в то время, когда уже определенно и ясно вырисовалась нависшая над миром угроза фашизма. Платонов ощущал ее очень остро. С особой чуткостью и настороженностью он отмечал изменения в духовном климате мира, дегуманизацию культуры в Германии и за ее пределами. Вот чисто платоновская характеристика фашиста Зуммера из рассказа «По небу полуночи»: «Открытые чувства и мысли человека становились для него все более смертельно опасными». А вот другой поворот той же мысли: «...заточение людей, врагов фашизма, есть доказательство существ-

ования свободы в сердце и в мысли человека».

Психологический портрет фашиста Платонов пишет возможно более отчетливо, без каких-либо недомолвок и туманностей, чтобы позорное пятно горело и видно было издали: «чувственная счастливая преданность рабству», «инстинктивный, радостный идиотизм».

Но воздействие фашизма на человека может быть и менее заметным, его отравное влияние более тонким. С каким печальным и точным чувством Платонов рассказывает о юной женщине, захваченной фашизмом в самом начале жизни: «...наивной и неопытной, и уже тесной жестокостью враждебной силой в грустную долю постоянного робкого напряжения, где жалкий ум будет способен только молчать и слушаться, но не думать, и где ее сердце будет биться, чтобы происходило кровообращение в теле, но не сможет превратиться в душу...»

Да, это написано «впрямую». Все высказано просто и с той серьезностью, с тем напряженным нравственным чувством, которые приковывают к себе, завладевают вниманием и душой.

Фашизм, говорил Платонов, — «царство мнимости». Мнимое величие, под которым скрывается ничтожество; мнимая нравственность, а в действительности господство лжи; мнимые вожжи, чья власть рухнет, как только лишится полицейской охраны; мнимое единство общества, раздираемого скрытым противоречием; мнимые достойные цели, от которых нужно бежать, а к ним заставляют стремиться. Да, все это так. Но в этом царстве призраков, фантомов и миражей так действительна, так реальна угроза человеческой жизни и душе.

«Истинный человек» Хемингуэя привлекал Платонова тем, что он ощутил в нем прочный иммунитет против бактерии фашизма. Тем более Платонов считал необходимым предупредить этого человека от опасных иллюзий, какими ему представлялись надежды на самоспасение и на сопротивление в одиночку. Герой Хемингуэя еще верил, что можно будет укрыться в убежище и спасти свое достоинство. Эта вера только мешала, как полагал Платонов, понять масштабы надвинувшегося бедствия, при котором такое решение все равно не могло быть осуществлено.

«Идиллической хижины сейчас не может быть в мире — ее место потребовалось для

аэродрома, и хижину снесли...— писал Платонов.— Для фашистского империализма нужен обязательно весь мир — до крайней глубины человеческой души, до последнего убежища в горной пещере и до последней сосны, которая пойдет на переработку во взрывчатое вещество и этим веществом будет взорвана и земля, где сосна росла, и убежище с притаившимся в нем «чужим», «одиноким» человеком, поскольку он не желает присоединиться к фашизму».

Полемика с теми, кто искал убежища, отражала острое ощущение предстоящей схватки, ощущение, которое многое определило в понятиях и поступках людей тридцатых годов. После Испании уже ясна была и неизбежность войны, и то, что она близка. Отсюда и призывы к сплочению, и стремление с новой силой ощутить прочность и несомненную убедительность идеалов, которые предстояло отстаивать. В 1938 году в статье о «Сущем рае» Олдингтона Платонов писал: «...Освобождение человечества от фашизма, строительство нового мира, не изобретается в одной, даже прекрасной душе, как бы она ни болела и ни напрягалась. Свобода и коммунизм (понятия совершенно неотделимые одно от другого) открыты на протяжении десятилетий борьбы, труда, войн, бедствий и революций».

Имело ли значение для «освобождения человечества от фашизма» то стоическое мужество неучастия, о котором пишет Хемингуэй и которое Платонов называет поисками убежища? Мы знаем, что Соппротивление очень часто начиналось с нравственного протеста, с молчания там, где заставляли говорить, с одиночества в пору массовых манифестаций, и в этом тоже был выбор и позиция. При известных обстоятельствах такая позиция оставалась единственным достойным выходом для человека.

Но социальная действительность, в которой жил Платонов, побуждала его опереться на другой опыт — на опыт массового народного действия.

В рассказе Платонова «Мусорный ветер» один из героев его, Лихтенберг, рассуждает так:

«Великий Адольф! Ты забыл Декарта: когда ему запретили действовать, он от испуга стал мыслить и в ужасе признал себя существующим, то есть опять действующим. Я тоже думаю и существую. А если

я живу — значит, тебе не быть! Ты не существуешь!»

Но тут же Лихтенберг возражает себе: «Декарт дурак!» — сказал вслух Лихтенберг и сам прислушался к звукам своей блуждающей мысли. «Что мыслит, то существовать не может, мысль — это запрещенная жизнь». В этих словах — отчаяние замурованной в каменный мешок жизни, лишенной последних надежд.

«Я скоро умру», — печально говорит Лихтенберг. Вот и все, что он может сказать о своем отвращении к фашизму и своей неспособности примириться с ним.

К ясному знанию Лихтенберга, отвергающему химеры и утешения, Платонов хотел бы добавить сознание силы и необходимости «победить человечностью бесчеловечность», как он писал. Дело писателя он видел в том, чтобы «открывать для людей реальную возможность более достойной жизни».

Эта программа была антифашистской по самой сути своей и объединяла Платонова со всем лучшим, что было в те годы в духовной культуре человечества — на Западе и на Востоке.

7

Различие социального опыта и исходных художественных установок не помешало Платонову разглядеть в Хемингуэе союзника по антифашизму, и это определило отношение к его творчеству.

В другом случае, по отношению к другому крупному художнику, Платонов, мне кажется, оказался не столь чуток, хотя и на этот раз рассматривал явление из родственной духовной сферы.

В том же 1938 году, когда появилась статья о Хемингуэе, Платонов опубликовал статью о романе К. Чапека «Война с саламандрами»¹, где писал о весьма острых проблемах жизни буржуазного общества, немало не утеревших своей актуальности и в наши дни. Статья называлась «О «ликвидации» человечества». В этом названии заключено было зерно полемики с Чапеком, которого Платонов укорил в сочувствии известному учению Шпенглера о закате цивилизации и бесславном конце человеческого рода.

Эту сентиментально-дилетантскую доктрину у Шпенглера «подобрал», как писал Платонов, фашизм, «потому что фашизму

¹ «Литературный критик», № 7, 1938.

нужна покорная гибель людей, фашизму необходимо создать в людях внутреннюю блаженную и сладострастную настроенность, направленную к самоуничтожению во имя славы и эгоизма фюреров...».

Платонов высоко ценил Чапека (ему принадлежит превосходная рецензия на повесть Чапека «Гордубал»), но о «Войне с саламандрами» он писал: «...печально наблюдать в людях, сознательная деятельность которых посвящена борьбе с фашизмом, скрытые, может быть, невнятные для них самих элементы реакции». Говоря об «элементах реакции», Платонов подразумевал зависимость чапековских идей от пессимистических пророчеств Шпенглера, что было, как он считал, необыкновенно важно выяснить и критически рассмотреть, так как это касалось взглядов и мировоззрения радикальных интеллигентов на Западе.

В сущности, в центре полемики оказался вопрос об отношении к современному обществу технической цивилизации и о том, что она несет человеку. Платонов и Чапек выражали два разных подхода к его проблемам.

Можно ли представить себе, что плодами вековых усилий, поднимающих человечество на вершины цивилизации, воспользуются существа, скажем, не вполне полноценные в нравственном, моральном отношении, вообще со стороны своих духовных потенций? Чапек отвечал определенно: вполне возможно.

Чапек «допускает,— писал Платонов,— что можно построить свои столицы в морской пучине, свои Эссены и Бирмингамы, использовать энергию моря и т. п., и одновременно все это может быть проделано абсолютно «бездушными», хотя и цивилизованными существами — животными-саламандрами, иначе говоря, Чапек убежден в противоположности Искусства и Техники или Культуры и Цивилизации...». По Чапеку, «техника и духовная культура... вовсе не обязательно должны совмещаться, наоборот, они могут быть антагонистами».

«Допущение» Чапека Платонов решительно отверг. Оно казалось ему невероятностью, фантазией, игрой ума, и притом весьма не безвредной, так как она сеяла неверие в разум истории, в исторический прогресс. «...Что является создателем человеческой души, то считается, наоборот, ее разрушителем: техникой могут владеть и бездушные животные, саламандры».

В своем романе Чапек рассказывает, как саламандры, таинственные обитатели морских глубин, случайно обнаруженные на океанских островах капитаном Ван-Тохом, проявляют необыкновенную восприимчивость к трудовым навыкам человека, легко овладевают техникой и возводят грандиозные сооружения. Чтобы рациональнее использовать труд саламандр, люди создают из них нечто вроде трудовой армии, разбивают по категориям и пр. Наступает новая, саламандровая эпоха. Неисчислимы полчища саламандр, трудолюбивые, хорошо обученные и прекрасно организованные, начинают шаг за шагом теснить людей. У морских топтыжек появляется лозунг «чистой саламандренности». Во главе их становится вождь. Наконец, вспыхивает война, и человечество гибнет под ударами бездушных и беспощадных множеств, вырвавшихся из-под опеки людей.

Смысл всех этих иносказаний для читателя был ясен. Но чтобы и тени сомнения ни у кого не оставалось, Чапек точно устанавливает сходство. Фюрер саламандр, на должность которого они берут человека, оказывается бывшим фельдфебелем, а гимн человекообразных животных звучит как пародия на немецкий фашистский гимн.

В торжестве техницизма, цивилизации роботов Чапек видел не просто нелепые или смешные черты; материальный прогресс разрешает одни конфликты и порождает новые, во многом еще более мучительные.

Общество, упоенное повсеместным техническим прогрессом и тяготящееся духовностью, такое общество с его унифицированным сознанием и стандартом жизненных норм становится питательной средой, где может легко и незаметно размножиться бацилла коричневой чумы. При таком понимании современных проблем сатира Чапека приобретала особую остроту.

С язвительной и грустной усмешкой Чапек изображает триумф саламандр. По мнению некоторых внимательных наблюдателей, превосходство саламандр над людьми достигалось прежде всего за счет того, что они лишены индивидуальности. «Все они в точности похожи друг на друга,— описывает свои впечатления один из таких наблюдателей,— все — одинаково старательные, одинаково способные... И одинаково невыразительные — словом, в них воплощен подлинный идеал современной цивилизации, то есть Стандарт».

В европейских центрах из среды художественного авангарда появляются весьма почитаемые деятели и провозглашают лозунг: «После нас саламандры! Саламандры — это культурный переворот!» У них нет своего искусства, признает художественный авангард, но у них нет и идиотских идеалов, иссохших традиций, обветшало́го хлама, который называется поэзией, философией, вообще культурой, — все это дряхлые слова, от которых нас тошнит!

Повальное безумие уже ничто не может остановить, и едва ли кто-либо способен услышать предостерегающий голос. И все же Чапек предупреждает...

Вот это место из романа, где явственно слышен Чапек с его сомнениями, тревогами и потребностью воззвать к ясному разуму и выстрада́нному опыту человечества:

«Страшнее всего, что этот восприимчивый, глуповатый и самодовольный тип цивилизованной посредственности (саламандры.— *И. К.*) размножился в миллионах и миллиардах одинаковых единиц. Впрочем, нет; я ошибся: страшнее всего, что они достигли таких успехов. Они научились пользоваться машинными и арифметическими, и оказалось, что этого достаточно, чтобы они сделали властителями всего мира. Они выбросили из человеческой цивилизации все, что было лишено непосредственной полезности, всякую игру, фантазию, заветы старины; тем самым они лишили ее всего, что было в ней человеческого, и усвоили только ее оголенно практическую, утилитарную, техническую сторону. И эта жалкая карикатура на человеческую цивилизацию изумительно приспособляет мир к себе; она создает технические чудеса, перекраивает нашу старую планету и в конце концов околдовывает даже само человечество. Фауст будет учиться тайнам преуспевающей посредственности у своего ученика и служителя! Одно из двух: или человечество столкнется с саламандрами в борьбе не на жизнь, а на смерть, или же оно бесповоротно осаламандрится».

Какой-то особой интонацией, тревожной и нервной. Этот памфлет в памфлете вырывается из повествования.

«Все наши открытия и весь наш прогресс,— писал Маркс о противоречиях буржуазного общества,— как бы приводят к тому, что материальные силы надеются интеллектуальной жизнью, а чело-

веческая жизнь, лишенная своей интеллектуальной стороны, низводится до степени простой материальной силы».

Чем же чревато подобное развитие общества? Какие оно таит в себе угрозы, что оно принесет человечеству? Эти вопросы и сейчас неотступно стоят перед наиболее чуткими умами на Западе. В сущности, Чапек и попытался по-своему ответить на них.

Чапек предельно заострял свою мысль. Мир стандарта, обездушенной деятельности, видящей свою конечную цель в накоплении материальных благ, кончает катастрофой. В столкновении двух начал, неспособных к сосуществованию, бездуховного — саламандры и воодушевленного — люди, верх могут взять и саламандры. Они более приспособлены к тому, чтобы выжить при заданных условиях. Они полнее воплощают действительность, породившую их. Их агрессивная энергия не знает преград. Единственный аргумент, который они в состоянии выставить в любом столкновении и споре, это сила. Но сила — побеждает. Их торжествующая примитивность, их победоносная неполноценность, их наглая сила и есть фашизм.

Чапек ставил в прямую связь воцарение Великого Стандарта, подавление личности и ее потребности в свободном развитии с фашистской угрозой. Чапек не давал конкретно-исторического анализа, вскрывающего социальную природу фашизма и механику его триумфов. Но симптомы заболевания, тящего смертельную угрозу обществу, отмечены были верно, и это сразу принесло его роману признание и успех. Читатель, уже знающий «социологию» фашизма, и теперь прочитает «Войну с саламандрами» с интересом и пользой.

В чем же Платонов спорит с Чапеким? Для Платонова, как и для Чапека, фашизм — выжженная пустыня, где обречены на неизбежную гибель живая мысль, благородное чувство — все истинно человеческое, и эта ясность должна была роднить его с Чапеким.

Да, все это так. И все-таки дискуссия приводила к весьма острому столкновению взглядов и идей.

Платонов называл «темным недоразумением» мысль, что сама по себе техника может представлять какую-либо угрозу для общества, и разгадку такого к ней отношения видел в судьбе «погибающего класса»,

который своим трупным ядом «заражает не только своих коренных представителей, но и людей «по соседству», — из других общественных групп, — даже тех людей, которые желают быть в оппозиции к костенеющему классу господ». Последнее относилось к Чапеку.

Можно удивляться, что Платонов так неточно прочитал Чапека или же тому, что он невольно «выпрямлял» сложную мысль писателя. Но на то есть, очевидно, объяснение, и его надо искать в представлениях, сложившихся у Платонова под влиянием собственного жизненного опыта и исторического опыта своей страны.

Техника для Платонова — воодушевленное и неотделимое от человека создание его ума и рук, имеющее разумную душу и призванное в содружество людям для облегчения их участи. О машине он обычно пишет с любовью и преклонением перед ее волшебной силой. «Машина... одним своим видом вызывала у меня чувство воодушевления: я мог подолгу глядеть на нее, и особая растроганная радость пробуждалась во мне, столь же прекрасная, как в детстве при первом чтении стихов Пушкина».

Чудо-машина — в приведенном выше отрывке паровоз — сродни чуду поэзии. Так и видишь перед собою юношу из безвестной российской дали, застывшего в изумлении перед неведомым чудо-конем на стальных путях.

Но Платонову ведомо и другое чувство.

«Он вел состав с отважной уверенностью великого мастера, с сосредоточенностью вдохновенного артиста, вобравшего весь внешний мир в свое внутреннее переживание и поэтому властвующего над ним».

Такое отношение покоится на доверии. Машина — друг и помощник в разумном и нужном деле, и человек радостно и любовно ощущает свою власть над ней.

Для Платонова техника и поэзия, целесообразность и нравственность — нерасторжимое целое. Это — Мир Человека, и это единство, которое нельзя разъять, чтобы не нанести урон и вред самим основам жизни.

В переводе на язык социальной практики у Платонова это означало вот что: нужно как можно больше техники, «чтобы в мире было как можно более хлеба, одежды, жилищ, как можно более глубокой музыки, литературы и мысли, чтобы обеспечить для

будущего времени гораздо более успешный и быстрый прогресс человечества, чем теперь».

Это представление о будущем неотделимо от веры в исторический прогресс, обеспеченный «разумом» истории. Подобное доверие к истории, как мы знаем, требует проверки реальностью, той жизненной сложностью, которая может опровергнуть утешительные концепции, продиктованные лучшими побуждениями.

Теперь и самим ученым не чуждо сознание того, что при известных условиях технический прогресс может войти в противоречие с интересами общества. Говорят о грядущей и неизбежной смене ориентаций науки и техники на человека. На этом пути мы сможем, очевидно, ближе подойти и к осуществлению платоновской мечты о гармоническом слиянии машины и Пушкина, техники и поэзии. Но это именно путь, движение, преодоление, и чапековский роман предупреждал об опасностях, подстерегающих нас на этом пути.

Платонов не признавал реальность «саламандры», то есть такого положения, при котором новое могущество общества, умело использующего достижения науки и техники, совсем не тождественно развитию и росту его духовных сил. Это и толкнуло Платонова на сопоставление чапековского романа с идеями Шпенглера, что основано на недоразумении. Чапек вовсе не утверждал, что человечество неминуемо идет к гибели и самоликвидации. Призыв «Люди против саламандр!», прозвучавший в книге, определенно указывал на замысел автора. Pamфлет заострял проблему в духе избранного жанра и для того, чтобы привлечь к ней внимание.

Смысл предупреждения Чапека заключался в том, что необыкновенные и чудесные возможности современной цивилизации не только благодетельны, но и опасны. Тем пристальнее надо следить за тем, в чьих руках окажется техника.

Горький опыт последних десятилетий подтверждает справедливость этих опасений. Руины Сталинграда и Варшавы, Освенцим и Бабий Яр, пепелище Лидице и фауст-патроны над Лондоном, и — Хиросима... Цивилизованное варварство оснащено всем, что только мог предоставить человеческий гений для самоуничтожения. Чингисхан, вооруженный водородной бомбой и ракетами, уже не фантазия, не выдумка романиста, а

реальность, с которой необходимо считаться, чтобы не оказаться однажды в положении человечества, вынужденного признать преимущества саламандр.

Противоречия индустриального развития теперь предстали перед нами гораздо яснее, чем прежде, скажем, тридцать лет назад. Но если знание это и не позволяет надеяться, что платоновский идеал гармонического единства может быть достигнут путем простого накопления техники и материального довольства, то оно и не опровергает этот идеал. В этом пункте никакой полемики между Платоновым и Чапеком нет. Они совпадают в своих устремлениях и позитивной программе, и это в конечном итоге сближает их.

8

У Платонова нет дара острого сюжетосложения, построения интриги, нет и той литературной сноровки, которая часто дается опытом и хотя бывает сродни мастерству, но отличается от него, как копия, пусть и хорошая, от оригинала, как ремесло, хоть и искусное, от истинного художества. Повествование у него почти всегда сюжетно ослаблено, и он преднамеренно отказывается от попыток удержать читательское внимание сложной фабулой, каким-нибудь сюжетным «ходом», хотя этим не пренебрегали и великие мастера.

Напряженность нравственного чувства, необыкновенная свежесть восприятия мира, шемяще-грустные и раздумчиво-неторопливые интонации, романтика любви, труда, артистизма, мастерства — вся эта платоновская атмосфера размышлений и чувств, которую безошибочно узнаешь, открыв книгу писателя, захватывает постепенно. В эту прозу нужно войти — принять ее склад, ощутить магию языка, проникнуть в мысль автора.

В статьях это же платоновское проявляется в том, как, минуя условности и привычные «фигуры» жанра, он стремительно идет к мысли, к сути, к цели. Язык его статей шершав, и их неприглаженность, острота чувства и энергия мысли рождают ощущение непосредственности, свежести, перводанности, знакомое по его же прозе.

Платонов охотно писал обзоры областных альманахов, может быть, потому, что и сам когда-то начинал как «областной» писатель в Воронеже, да и во многих других отношениях был связан со своей «областной» роди-

ной крепкими нитями. Он так и не стал «городским» писателем — в том смысле, что у него нет ни одного произведения о большом городе и герои его рассказов и повестей — жители уездной, сельской, областной Руси.

Но самодовольное «областничество» как своего рода идеология было и чуждо и ненавистно ему, и в своих обзорах областных альманахов, поддерживая всякий росток живого, все, в чем чувствовался талант, он воевал с робостью мысли, с провинциальной нерешительностью, с художественной сестротостью.

Декретировать создание литературы невозможно. «Создать «свою», областную художественную литературу — в порядке производства пригородных овощей — нельзя, — писал Платонов. — Литература, где бы она ни создавалась, должна иметь всеобщее, всемирное значение или приближаться к этому значению».

Представление о призвании для Платонова неделимо. Большой талант — явление редкое, но Платонов ведь пишет не об обязательности избранных и редкостных качеств для работы в литературе. Важно сознание цели и назначения, присущее каждому истинному писателю, как и человеческое достоинство, которое тоже не привилегия и не знает разницы между масштабами дарования.

В равной мере к каждому из своих собратьев по перу он обращал эти слова, сказанные в связи с разбором книги одного весьма популярного писателя: «Нельзя и не надо стараться быть постоянным любимцем публики или «милым грешником» ее. Это занятие не для нас. Мы не «у ковра», а в литературе».

Точно так же он не выбирал какой-нибудь исключительный адрес и для другой мысли, более общей, хотя и неотделимой от приведенных выше слов: «Магеллану было трудно, но земной шар один, и он его объехал, он завершил открытие мира; дело же поэзии не окончено, и за поэтом всегда остается, всегда возможен подвиг».

«Открытие», пусть малое, но продолжающее дело поэзии, Платонов обычно старался отыскать тем усерднее, что видел в нем и оправдание ее существования, и доказательство ее неугасшей жизни.

Разбирая сборник рассказов К. Паустовского, Платонов критически отзывался о тех из них, где, как он писал, благородство, не-

жность, предупредительность, заботливость, гуманизм, одухотворенность и сознательность всех персонажей словно стерилизовали действительность, отчего «все хорошее и доброе на свете стало невесомым». Но полной мерой он воздавал удаче писателя. «Настоящим художественным произведением в книге является «Вторая родина», рассказ о Мещерском крае. Это и есть собственная страна писателя, открытая им для себя и для нас и открывающая нам Паустовского как истинного художника. В этом рассказе есть простое течение природы, воссозданное Паустовским с такой воодушевляющей прелестью, которая лишь изредка удается художникам слова».

«Вторая родина» — это найденная дорога в ту страну, где «вдохновение писателя живет свободно и галант его работает точно».

У Платонова есть редкое умение выделить и как бы отчеканить в сознании читателя черты, присущие именно этой книге, этому автору, благодаря которым он отличается от других и живет своей жизнью. Без способности схватить в произведении его сущность, сколько ни говори, не скажешь главного, и чем старательнее критик, тем безличнее его суждение, и самая добросовестная эрудиция может оказаться всего лишь бутафорией.

В рецензии на повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда», опубликованной вскоре после ее появления, Платонов сказал о том, что составляет драгоценное значение этого произведения: «Книга В. Некрасова приближается к истине действительности, и слова ее проверены человеческим сердцем, пережившим войну; это составляет силу книги и заставляет читателя доверять автору».

Тут сказано о нравственном воздействии, которое оказывала повесть, воздействию правдой, самым неотразимым. Своей нравственной атмосферой, своей ясной и чистой духовностью повесть ответила на потребность читателя, и это определило ее успех и ее влияние на литературу.

Понятие мастерства Платонов отделял резкой чертой от таких понятий, как умелость, профессионализм, опыт. У него существовало даже известное предубеждение против писательской умелости, которая слишком часто пытается выдать себя за мастерство, оставляя всего лишь знание и опытом, то есть не неся в себе возможности воодушевленного познания истины.

«Опытность в искусстве может предупреждать ошибки и предохранять от создания шедевров. Один писатель сказал как-то: мы слишком опытные, чтобы не напечататься! Это — отвратительная уверенность, потому что писательский опыт, не обновляемый, не питаемый жизненной судьбою, есть гибель для художника». Опытность, не питаемая «жизненной судьбою», замкнутая на самой себе, чаще всего вырождается, как считал Платонов, в литературный прием, в профессионализм, а это уже нечто иное, чем искусство.

Разбирая книгу В. Шкловского «О Маяковском», Платонов анализирует метод автора, его резко своеобразную манеру письма. Писатель разработал и великолепно освоил прием косвенной характеристики и создал свою манеру повествования, что само по себе величайшая редкость. Платонов показывает, как полно владеет автор своим приемом. И все же ему не удается воссоздать образ своего героя с сосредоточенной, «воскрешающей» энергией: мир, окружающий поэта, описан верно, но в книге нет усилия перейти от внешнего к внутреннему, от среды к человеку. Глубокая душевная привязанность к Маяковскому затеняется живописными подробностями внешнего мира. Сами по себе они и хороши и интересны, настолько хороши, что читатель может остаться при впечатлении, что в мире есть чем заинтересоваться и кроме личности погибшего поэта. Литературный прием, по мысли критика, работает вне своей служебной нагрузки.

Резкость полемики и критических оценок объяснялась тем, что идея технологической изобретательности Платонова не увлекала. Умелости и опыту он отдавал должное, но искал в искусстве другого.

«Центр литературного дела всегда будет заключаться в существе человека, а не воле него». Отсюда и полемика Платонова с приемом как самоцелью и с неумением или неспособностью выразить «существо».

Разбирая повесть В. Закруткина «Академик Плющов», Платонов писал, что наивности и хорошего расположения духа мало для создания книги, нужно еще проникновение в действительность, «столь глубокое, чтобы перед читателем встала новая картина мира, где было бы дано изображение вещей, дотоле невидимых».

Анализ образа главного героя повести —

академика Плюцова — приводит Платонова к выводу, что он создан из механической смеси образов нескольких великих ученых. «Он сделан ремесленным путем, а не создан напряженным вдохновением». Недостаток воодушевленного проникновения в образ Платонов отмечал и в книге о Маяковском. Но истоки писательской неудачи в повести Закруткина совершенно иные.

«...Фразы автора грамотны и понятны, но читатель нуждается не в том, чтобы гладко и почти неощутимо воспринимать привычные фразы, а, наоборот, в том, чтобы ощущать в языке и в идеях автора сопротивление... Говоря еще короче, читатель должен при чтении работать, а не оставаться праздным».

Иными словами, речь тут идет о недостатке своеобразия, новизны, убедительности своего взгляда на жизнь, выношенных мыс-

лей, всего того, что читатель ищет в книге как проявление таланта и мастерства.

В натурализме Платонов видел одного из истинных врагов искусства, тем более опасного, что он прикрывается видимостью воспроизведения реальности как она есть. «Нельзя думать, что ты уже художник, если научился прикладывать к действительности пропускную бумагу и получать на ней изображение реального мира. Дело в том, что сама видимость реального мира не вполне передает нам его истинную сущность». В этих словах явственно ощутим писательский опыт самого Платонова, создающего в поисках «истинной сущности» особый художественный мир, краски и образы которого так много говорят нам о народной жизни в эпоху революционных преобразований, о гигантских трудностях и героических усилиях «воодушевленного человека» на его пути в будущее.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

И. Борисова. Дикие побеги.— **Гр. Бернандт.** «Совершенство подлинности».—
И. Верцман. Выдающееся произведение кубинской литературы.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Ф. Цанн. Марксизм — философия современности.— **Н. Рабина** Свет «Полярной звезды».— **В. Френкель.** Книга о старших Кюри.

Литература и искусство

ДИКИЕ ПОБЕГИ

Владимир Колыхалов. Дикие побеги. Роман. «Художественная литература».
«Роман-газета», № 1, 1969.

Сибирская глушь — Нарымский край. О нем рассказывается в романе Владимира Колыхалова «Дикие побеги». Автор сам оттуда. Томская тайга, Васюганские болота — места, где прошло его деревенское детство.

«Обложила обская вода остяцкий поселок Пыжино, обступила со всех сторон — лишь зеленый бугор, пуповина земли, торчит из мутного разливища. А на этом бугре, с перепугу будто бы, сбились в кучу дома, которые остяки еще по старинке зовут здесь юртами. Дома прокопченные, серые, скучно глядят они на воду, хмуро надвинув на окна покоробленные козырьки крыш.

От дома к дому, по осиновым жердям и кольям, набросаны сети: с крупными ячейками, по пять перстов — язевки, муксунные для вылова нельмы сплавом и частушки — с ячейками в два перста. В частушки издавна на Оби ловят мелкую жировую рыбу.

Вода уже заняла огороды, перекинулась через изгороди, разлилась по сорам-лугам, затопила кусты по сограм. И только одни высоченные осокори выступают над неог-

лядными хлябями, как великаны, вздумавшие переходить море вброд.

От воды в небо ползет редкий туман, от тумана небо белесое, блеклое, и скучно вдали проступают на ветлах черные точки вороньих гнезд.

Не понять, не найти, где сейчас Обь с глинистыми ярами, где пестрая речка Пыжинка, ленивая, почти неживая: вечно липнет к ее берегам ржавая пена и всякий мусор».

Это начало романа. Это и место, где происходит действие первой (и наиболее удачной) его половины. Это, наконец, и пример авторского стиля, как бы срез его.

В этом срезе можно обнаружить следы разных поисков и побуждений, пережитых автором, осваивающим мастерство прозаика. Здесь есть отчетливое стремление писать правду о том, «что было» и «как было» в тех землях, где ступала нога преимущественно лишь того человека, который там родился. Этим своим преимуществом молодой писатель пользуется благородно и не суетясь — он не стремится «вытянуть» из своего

знания экзотику, чтобы привлечь внимание публики с ее естественным и неутоленным интересом к новым землям и забытым временам. Правда, времена, о которых говорится в романе, недавние: предвоенные и военные годы. А места действительно далекие — весть о начале войны пришла туда только через сутки — 23 июня.

Лучшие страницы романа написаны с той сдержанностью, которую, собственно, и сдержанностью не назовешь, — настолько как о привычном и будничном, как о единственно существующей реальности пишет В. Колыхалов об этой жизни. Пишет почти бескрасочно.

«Дни идут. Давно поспела черника, смородина красная по берегам осыпается, иван-чай как сдурил: загони в него седока на коне, и не видно будет. Свиньи выкапывают длинные белые корни иван-чая, нажирются до отвала...

Свиньи — враги Максима, но он с ними мирится, когда стадо лежит в грязи или на берегу Пыжинки. Стадо спит — можно рыбу ловить, ходить просто так, опустив голову, и смотреть. Максим мирится со своими врагами и тогда, когда время подходит гнать стадо домой. Он идет к своему другу — Ваське-борову.

Васька-боров длинный, спина у него круглая, как печка, морда короткая, загнутая, глаза сонливые, добрые, не то, что у маток с поросятами. Особенно добрые глаза у Васьки-борова, когда Максим, мать и Егорка садятся обедать — есть черствый хлеб и вяленых чебаков. Тогда Васька подходит к ним, похрюкивает, и Максим кидает ему головы от вяленых чебаков, но мозг из головы сначала высосет. Васька-боров всегда обедает с ними, а за это Максиму он позволяет ездить на нем верхом.

Давно уже Максим ездит на Ваське-борове позади стада, как пастух на коне... К зиме Ваську будут колоть, мясо свезут рабочим на плотбище. Максим знает об этом, и ему борова жалко».

Но одновременно — уже с первых абзацев романа и дальше на всем его протяжении — возникает и будет идти другое стилистическое веяние. Жизнь, о которой пишет В. Колыхалов, действительно обладает, кажется, той первородностью, к которой так тяготеет современный читатель — не столько, может быть, вследствие моды, сколько по искренней потребности разобратся в истоках человеческого существо-

вания. Правда, первородность эта не абсолютна, потому что она подчинена современным отношениям, вне которых ей уже не существовать. Так или иначе, но писатель хочет ее подчеркнуть и выразить, и тогда он призывает на помощь проверенный ассортимент красок и знаков вроде «пуговина земли» или «оклемается, мужицкая сила свое возьмет, Егорша — крепкой замески». Или — «Вырос, дюжей был парень, все медвежатничал... Он у нас был тут проказливый да отчаянный, сладких девок любил, но теперича что вспоминать разное да дурное».

Нельзя сказать, чтобы В. Колыхалов сильно злоупотреблял этим «кряжистым» стилем, но тем не менее влияние его достаточно заметно, чтобы в чем-то приглушить ту ненатурно мужественную правду, которую несут лучшие страницы этого романа. Подобная «кержацкая» орнаментальность — хочет того автор или нет, по заблуждению он это делает или по расчету — вызывает внимание праздное, поверхностное. В этом случае мобилизация читательских впечатлений совершается по законам рекламы, по законам витрины: в самом орнаменте видят узор, привлекающий то затейливостью, то, наоборот, незатейливостью. Лишь зоркий и заинтересованный глаз стремится прочитать в нем знак народного мироощущения.

В. Колыхалов, по всей видимости, тяготеет к последнему, он далек от праздных побуждений. Вряд ли его привлекает и роль благородного, добросовестного бытописателя. Похоже, скорее всего, что он хочет вести речь о «судьбе народной». Однако на этом наиболее трудном маршруте он вдруг как будто перестает доверять — не себе даже, а той жизни, с которой он связан и происхождением, и чувством любви и долга. Да, помимо любви и знания, здесь говорит несколько не менее для художника правомерное чувство долга — ведь в его лице край, до того немой, делает одну из первых попыток рассказать о себе, пробует свой голос, осуществляя тем самым свое естественное право на существование. Так или иначе, но неуверенность — в себе ли, в той ли жизни, которую открываешь, в ее сущности для дальнего, широкого читателя — заставляет протягивать руку к средствам, уже опробованным, которые, по слухам, помогают. А нужно другое.

И это другое писатель постепенно добывает.

В романе В. Колыхалова (точнее было бы назвать его повестью) нет узлового столкновения. Это цепочка событий, ровно разворачивающихся во времени, событий из полусиротского детства русского мальчишки Максимки Сараева, семью которого судьба забросила в далекий остяцкий поселок.

Веселая и дружная семья Егора Сараева жила раньше не здесь, а еще выше по Оби, в глухой тайге, в леспромхозе, где Егор Сараев работал лесником. Люди любили Егора, но однажды, как вспоминает Максим, «отца увезли с Кандин-Бора сердитые дяди». «Забрали безвинно-напрасно,— вспоминает уже Арина Сараева,— и год от него ни слуху. Вернулся худущий, в чирьях, и кашель его по ночам бил... Тут бы его подкормить, а дни тугие пошли. Как взяли Егоршу, меня сразу с пекарни убрали. Раз я жена ему, а он, стало быть, такой, то мне не положено быть при общественном деле, как хлебовыпечка. Господи! Боялись, что я отраву в квашню могу подмешать, людей по злобе отравить. А у меня к людям, кроме добра, никогда ничего не было... Уезжать надумали, а собирать было нечего: что завели с ним, я за год прожила. Хотели попервости на Алтай перебраться, да вот сюда угодили... И тут он конец свой нашел».

Арина — очевидная и серьезная удача В. Колыхалова. В каких бы точных и густых подробностях — спокойных, почти безразличных по авторской интонации, а по существу кричащих — ни описывал В. Колыхалов нищету, свалившуюся на осиротевшую семью Сараевых (на беду или на счастье, тут же после смерти отца родился еще маленький Егорка), не менее важно для него жестокое и разрушительное влияние нищеты на душу человека, пусть даже и прежде не особенно избалованного достатком, но сейчас выбитого и из этого привычного уровня. То добро, которое раньше Арина делала без труда и свободно, просто так, по натуре своей, сейчас она делает не то что с корыстью, но и не бессельно — чтобы не дать погибнуть своим детям. Хочешь не хочешь, а надо всем уступать и быть приятной. «За все хорошее» она всегда готова отработать с лихвой, а сколько хорошего могут сделать соседи — у них самих пятеро? И гаданьем на картах она пытается угодить, и покорностью Пылосову, который приставил ее ходить за свиньями, откармливаемыми для рабочих леспромхоза. Брезгливая, она дол-

го не соглашалась есть кротовое мясо, а потом, когда совсем плохо стало с едой, привыкла. Так и с людьми: она вынуждена идти на уступки, появляются навязчивость и попрошайничество, которых вчера от себя не ждала. Как гнется Арина, В. Колыхалов описывает терпеливо и сострадая, не только не виня ее, а угадывая за всем этим чистую и стойкую душу. Стойкую, потому что единственно, в чем она не уступает,— это в силе любви и самопожертвования, хотя и Максима сечет (в угоду соседям тоже), и клянет нектати родившегося Егорку. Со временем не легче ей идти на уступки, а все труднее, и где-то дальше на нее жать нельзя. Всесильный Пылосов, у которого она почти что в рабстве, должен остановиться.

Так же и об остячке Катерине, ходившей на свидания со своим мужем-дезертиром, В. Колыхалов пишет если не принимая, то понимая ее право на эту радость, как понимает Катерину и бакенщик Зублев, выследивший-таки ее мужа.

С неожиданной стороны оправдывая свое название, нестройный роман В. Колыхалова весь состоит из множества побегов, дикий рост которых часто краткосрочен — начавшиеся судьбы и сюжетные линии писатель обрубает, так и не дав им как следует развернуться в пределах романа, либо ограничивается информацией, либо упрощает до расхожего штампа.

Так изображена власть Пылосова над целым поселком. В свое время таежные смолокуры, над которыми тогда начальствовал и бесчинствовал Пылосов, расправились с ним по-своему: «Седока по рукам, лошадь за повод. Рот Ивану Засипатычу рукавицей заткнули, из полшубка вытряхнули, пимы-катанки новые сняли. Мороз потрескивал, снежок поскрипывал, лошадь пугливо водила ушами, а темень была — перед глазами руки не видать. Выбрали же смолокуры ночку! Коня повернули в обратную сторону, задрали хвост, скипидару плеснули.

И ошалел тут конь! И понес!»

Тогда Пылосов отделался тем, что обломал отмороженные пальцы на ногах.

В Пыжине, где остались одни бабы, дети и старики, некому сопротивляться Пылосову. Потеряв осматрительность, он запутывается в уголовных махинациях и попадает под суд. Но это происходит уже за пределами романа.

В большой деревне Дергачи, куда Максим самовольно ушел, чтобы учиться в тамошней школе, его берет к себе на жилье и в услуженье набожная Степанида Марковна Макова. Можно было бы сказать, что это сотый вариант самодурствующей святоши, давно познанный и осужденный в нашей литературе, если б не удивляла вдруг Степанида и снисходительностью и справедливостью. Но все это проходит настолько бегло, что не успевают ни разрушить заостреннейшие очертания штампа, ни тем более вырваться за них. Возможности характера, едва затеплившись, так и остаются в зародыше, не обретя ни художественной, ни психологической полноты.

То же самое происходит с Максимом. Он не умник и не ребячий верховод. В. Колыхалов благополучно уходит от этих занимательных и популярных вариантов. Максим — сын своей матери. Он тих, хотя и не очень задумчив, справедлив, но не дерзок и не демонстративен. Попав в клещи между школой и Степанидой, он никого не продает другому, хотя каждая сторона требует от него своей дани и в привязанности и в сведениях. Он тихо уходит из дома Степаниды, где отношения так перепутались, что он

вынужден кому-нибудь да врать, а разобратся во всем самостоятельно ему еще не пришло время. Это образ, чреватый новизной, но автор едва коснулся и снова отвел руку, предпочтя сделать своего героя преимущественно свидетелем множества событий, а не самостоятельным, свободно разрастающимся характером.

Чем дальше, тем больше роман становится клочковатым. Его последняя, третья глава почти рассыпается, и отдельные места ее напоминают обрывки очерка. Происходит это не оттого, что истощился жизненный материал — его, по всей видимости, у автора в избытке, — а оттого, очевидно, что В. Колыхалов не набрал еще силы духа, чтобы, доверившись одному или нескольким характерам, им самим же обнаруженным, подойти к тем художественным обобщениям и к той художественной цельности, к которой им суждено выйти, если не ломать, не обрубить их произвольно и преждевременно. Видно, надо довериться их воле или их дикости, и тогда всякая кержацко-кряжистая бутафория обнаружит себя как бесплодная, бессильная шелуха.

И. БОРИСОВА.

★

«СОВЕРШЕНСТВО ПОДЛИННОСТИ»

Александр Бенуа размышляет... Подготовна издания, вступительная статья и комментарии И. С. Зильберштейна и А. Н. Савинова. «Советский художник». М. 1968. 749 стр.

Александра Николаевича Бенуа, живописца, знатока искусств, театрального деятеля, художественного критика и ученого, человека разносторонней одаренности, Горький назвал «основположником и создателем целого течения, возродившего русское искусство». Живя за границей с конца двадцатых годов, он переписывался с советскими художниками, встречался с советскими людьми. Можно сказать не преувеличивая, что А. Н. Бенуа ни на день не переставал жить интересами родного искусства. Тем более странно, что его имя надолго исчезло со страниц нашей печати. И только совсем незадолго до своей смерти (Бенуа умер в 1960 году в Париже, на девяностом году жизни) он как бы заново «объявился» для нас и предстал таким же, каким его знали некогда — в годы его жизни на родине.

Мы полностью разделяем уверенность составителей книги в том, что с нею «вводится в наше искусствоведение обширный, новый для него раздел литературного наследия Александра Николаевича Бенуа». Разумеется, с тем условием, чтобы за рецензируемой книгой последовал ряд изданий, в которых более полно представлен будет Бенуа — мыслитель, критик и историк искусства. Ведь диапазон его интересов необычайно широк, а литературное наследие исчисляется сотнями печатных листов. Здесь и обстоятельные исследования по истории живописи всех времен и народов, по истории русской живописи XIX века, воспоминания о балете, о музыке, о собственной жизни («Жизнь художника») и многое другое. С именем Александра Бенуа связана целая эпоха в истории русского театра, преимущественно балетного и оперного;

инициатор и художественный руководитель «русских сезонов» в Париже, он был прославленным мастером декоративного искусства. На протяжении более чем полувека он воплотил на русской, а затем и на зарубежной сценах как художник и режиссер множество произведений оперной, балетной и драматической литературы, как классической, так и современной.

Бенуа возглавил известное творческое содружество «Мир искусства», объединившее Серова, Левитана, Бакста, Добужинского, Сомова, Лансере, Кустодиева, Остроумову-Лебедеву, Билибина и других замечательных художников. У «Мира искусства» не было ясной и последовательной программы, но для русского искусства «мирискусники» сделали много ценного, оказали на него благотворное влияние. Вульгаризаторская критика (с футуристически-модернистских или пролеткультовских позиций) могла на время затруднить доступ к наследию этих художников, но никогда не могла настолько извратить вкус массового зрителя, чтобы их искусство перестало восхищать. Теперь ценность его общепризнана. Но очень немногим известно, насколько влияние Бенуа-искусствоведа содействовало тому, чтобы поиски новых выразительных средств не приводили художников «Мира искусства» к разрыву с реалистической традицией, к утрате красоты.

На склоне дней Бенуа писал о том, что в творчестве и деятельности «Мира искусства» было отмечено незрелостью, юношеским задором, но так же объективно оценивал и достижения художников своего круга. Если «Мир искусства» страдал порой эстетством, то его — и в первую очередь самого Александра Бенуа — задачей было противостоять художественному антиэстетизму, безобразию, к которому он всегда относился с тревогой, смешанной с отвращением. Об этом красноречиво свидетельствуют и статьи и многие письма А. Бенуа, опубликованные в рецензируемом издании. С болью душевной пишет он о невыносимости духовной атмосферы «безумного мира», буржуазного Запада, где «снобистическая, удушающая в своей нелепости зараза превратилась в настоящее всенародное бедствие... Негде выпить живительной влаги, отравлены все источники». В последние годы жизни Бенуа особенно часто обращался к советскому искусству и искренне радовал-

ся, когда находил в нем произведения, отмеченные художественным вкусом.

«Левые» обвиняли Бенуа во многих грехах, в которых он неповинен, осуждали его за пассеизм; этот предрассудок наши критики порой повторяют и сейчас, забывая, что из «пассеизма» и вышел тот Бенуа, каким мы его знаем и ценим: Бенуа — единственный в своем роде знаток не только в теории, но и в своем искусстве классицизма, барокко. Без этого «пассеизма» невозможен был бы Бенуа — создатель серии картин, своего рода художественно-документальных бытописаний-поэм из эпохи Петра, Елизаветы, Екатерины и Павла, Бенуа — художественный эксперт, реставратор, хранитель и научный руководитель картинной галереи Эрмитажа, автор его экспозиций, знаток народной игрушки, книжный оформитель и энтузиаст печатной графики, наставник и советчик художественной и артистической молодежи — словом, уникальный специалист в столь же уникальных отраслях художественной культуры. Не видеть этого — значит фариисейски отрицать прекрасный подвиг художника.

Лучшей автохарактеристикой Бенуа могут послужить строки из его воспоминаний: «В своем творчестве я лишен холодного расчета; я всегда нуждаюсь в некотором горении. Вот почему нельзя от меня требовать какой-либо выдержанности. В свою очередь эта же черта располагает ко всему тому, в чем с особой яркостью сказывается «искра божия». Я в некотором смысле даже «эксперт» именно в этой области. Я отличаю, где светится подлинная искра, а где только ее отблеск или даже просто подделка под нее. За наличие подлинной искры я готов многое простить, но в то же время я исполняюсь безграничного благоговения перед теми явлениями в искусстве, в которых эта искра разгорается в целый костер, особенно к таким явлениям, в которых такой пожар приобретает характер чего-то строительного, в которых стихийное начало вдохновения сочетается с направляющей и сдерживающей волей».

Бенуа не однажды писал о «совершенстве подлинности», вкладывая в это понятие жизненный пафос истинного, одухотворяющего искусства.

Составители книги удачно подобрали эпиграф из высказываний художника: «...выше всего ставлю в своих беседах с читателем искренность». В устах взыскатель-

ного к себе Бону это не просто красивые слова. Можно оспаривать суждения Бону, но нельзя отказать ему в особом даре общительности, благодаря которому он постоянно был окружен единомышленниками и друзьями. С первых же страниц книга захватывает не только богатством и разнообразием мыслей, но и тем, что представляет Бону и как радушного, задушевного собеседника, как мастера эпистолярного жанра. В письмах с удивительной ясностью запечатлелся Бону с его ничем не омраченной радостью и свежестью жизнесприятия, несмотря на то, что никогда он не закрывал глаза на трагизм жизни. Многочисленные (не менее сотни) репродукции существенно дополняют наше знакомство с Бону — театральным художником, живописцем, рисовальщиком, книжным графиком и портретистом. Портреты и фотографии самого художника, членов его семьи, близких и друзей в подавляющей части совершенно неизвестны нашим читателям.

Свыше восьмидесяти статей, воспоминаний, очерков, три автобиографических записи, сто пятнадцать писем к родным и друзьям, к советским художникам и искусствоведам, наконец, вступительная статья составителей книги о литературном и эпистолярном наследии Александра Бону — таково содержание объемистого тома.

Большой интерес представляют описания выставок — французского, латвийского, иранского, финского, испанского искусства, искусства Соединенных Штатов, отчеты о выставках французской гравюры в красках, английской карикатуры, фотоискусства, выставках модных художественных объединений и обществ — инстинктивистов, юмористов, «XXXV группы» и др.

Под пером Бону оживают образы Греко, Гойи, Калло, Домье, Мане, Моне, Дега, Матисса, Ренуара, Тулуз-Лотрека, Гогена, Сезанна, Репина, Ап. Васнецова, Альберта Бону, Браз, Коровина, Остроумовой-Лебедевой, Серебряковой, Рериха, Билибина, Б. Григорьева, Шагала, Пикассо, Александра Яковлева и многих других. К этому следует добавить статьи об архитектуре и архитектурных памятниках, о кинематографе, о театральных постановках и выдающихся деятелях русского музыкального театра — Шалапине, Дягилеве и Фокине, отсылки о книгах и книжных иллюстрациях — короче говоря, огромный и увлекательный мир художественных ценностей.

Читая и перечитывая все это, не знаешь, чему больше удивиться — поразительной ли силе проникновения Бону в искусство, его умению схватывать и передавать свои впечатления в емком, выразительном и волнующем слове, или широте и терпимости этого страстного художественного публициста, справедливости его оценок.

Доброжелательность, постоянная готовность к восприятию всего талантливого и правдивого, где бы он его ни нашел, никогда не переходила у Бону-критика в дозировку похвал и порицаний, критик всегда принципиален. В этом смысле великолепны его статьи о Ренуаре, Матиссе и Пикассо, эволюцию которых он оценивает с непредвзятою большого художника и большого человека.

Мы были бы рады, если бы могли ограничиться благодарностью составителям сборника. К сожалению, они не всегда блюдают верность принципам, декларированным ими самими, не всегда верны условиям, обязательным для подобного рода изданий. Здесь у нас есть некоторые претензии.

Начнем с купюр. По самому скромному счету их в книге наберется не менее двух сотен. Не многовато ли? Правда, добрая часть их падает на письма, где они обычно более уместны. Но каково же читать серьезную и содержательную статью и ежeminутно наткаться на угловые скобки? По мере количественного возрастания их неизбежно растет и сомнение: а что и сколько чего выброшено? вправе ли мы довериться ответственности составителей и редактора? Почему бы в тех случаях, где купюры действительно необходимы и разумны, прямо не сказать о причине? Так изредка, но делается.

Кажется несколько претенциозным заглавие книги: «Александр Бону размышляет...». Определяется ли им особенность книги? Разве только размышляет, а не действует в своих литературных работах Бону, не проявляет себя как человек большой интеллектуальной силы, защитник реалистического искусства средствами эстетических споров? Нет, здесь что-то недодумано.

Есть еще одна подробность, о которой, быть может, и не стоило бы упоминать, если бы она не привлекала к себе внимание упорной повторяемостью. Уже который раз И. Зильберштейн критикует М. Эткинду и его книгу о Бону (изданную «Искусством»

в 1965 году)! На этот раз эта критика оказалась нам вовсе неуместной, не связанной с темой вступительной статьи, посвященной литературному и эпистолярному наследию художника.

На странице 38 составители утверждают, что принцип, положенный ими в основу комментирования, имеет «целью помочь более конкретно воспринять текст А. Н. Бенуа...». Там же говорится, что в «комментариях не раскрываются имена или события, если они достаточно знакомы или если их пояснение содержится в самом тексте». Но на поверку многие имена проходят по страницам книги как бесплотные загадочные тени, ибо это имена, о которых далеко не каждый специалист имеет должное представление. Попробуйте, например, отыскать в книге элементарные сведения о национальности или годах жизни Жоржа Мишеля, Константина Гиса или Бушена, хотя всем им посвящены статьи.

На той же странице 38 перечисляются источники, которые читатель должен иметь в виду при пользовании книгой. Источники эти обнимают период с 1917 по 1940 год. Но удивительно, что при этом оказались забытыми статьи, относящиеся к деятельности Бенуа 1917—1926 годов.

В разделе «Автобиографические записи» публикуется необычайно интересная статья «Моя собственная особа». Составители умолчали, что она является главой из первого тома воспоминаний художника (попутно отметим, что именно эта глава подверглась рекордной «препарации»: на шести страницах — одиннадцать купюр).

Злоключения, однако, на этом не кончаются. Именной указатель составлен небрежно, с пропусками, с нарушениями общепринятых норм. Не станем утомлять перечислением многих погрешностей и отметим

лишь несколько наиболее существенных. Некоторые из них граничат с курьезами. Так, например, известный русский дирижер Эмиль Купер проходит в книге под именем Фенимора Купера; Никколо Паганини обернулся в загадочного Гаэтано; балет Д. Мийо (или, точнее, Мило), известный под названием «Голубой экспресс», переименован в «Синий поезд»; тупоумный Бекмессер — популярнейший персонаж из вагнеровских «Мейстерзингеров» — переименован в Бекмейера, а производный от него синоним ремесленнического отношения к искусству естественно именуется «бекмейеровщиной». Апофеозом беспечности является список замеченных опечаток: он невелик и насчитывает четыре ошибки, но смешнее всего, что из них только одна соответствует действительности, остальные же вопиют о дополнительном списке опечаток.

В комментарии к письмам, относящимся к разрыву с «Новой жизнью», Александр Николаевич Бенуа кажется человеком, который критикует политическую непоследовательность «новожизненцев» чуть ли не с ленинских позиций, но самый текст его письма бесспорно доказывает, что на самом деле он исходил скорее из пацифистских представлений, близких к толстовству.

Вряд ли нужно доказывать, что все эти неточности не украшают книгу. И все-таки появление ее — событие, которым мы обязаны трудам и энергии ее составителей. Хочется верить, что рецензируемая книга — лишь первый опыт в публикации богатейшего литературного наследия Александра Бенуа, что за ней последуют другие — в первую очередь «Художественные письма», «Дневник художника» и воспоминания, принадлежащие к интереснейшим памятникам русской мемуаристики.

Гр. БЕРНАНДТ.

★

ВЫДАЮЩЕЕСЯ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КУБИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Алехо Карпентьер. Век просвещения. Роман. Перевод с испанского Я. Лесюка. «Художественная литература». М. 1968. 430 стр.

Можно подумать, что книга эта — теоретическое исследование: «Век просвещения» — значит на переплете. Между тем на титульном листе имеется подзаголовок — «роман». Перед нами еще одно звено в длинной цепи эпосов и пьес, среди которых «Шуаны» Бальзака, «Смерть Дантона» Бюх-

нера, «Повесть о двух городах» Диккенса, «Волонтеры 1792 года» Эркмана-Шатриана, «Девяносто третий» Гюго, «Боги жаждут» Анатоля Франса, «Драмы революции» Романа Роллана и многие другие книги, составляющие неоднородную по стилю, да и не во всем и не всегда объективную историческую

картину-фреску французской революции 1789—1794 годов.

Роман Алехо Карпентьера, не раз переведенного у нас современного кубинского писателя, ученого-историка, музыковеда, деятеля культуры, отличает трезвый, пристально аналитический взгляд на великую революцию и действия ее участников — тех, кто был «до такой степени поглощен политикой, что отказывался критически рассматривать происходящие события, не желал видеть самые явные противоречия». Эти противоречия представлены в романе достаточно полно. Карпентьер видит тот разрыв между словом и делом, который был характерен для французской революции, многообещающие лозунги которой оставались большей частью лишь эффектными фразами, тогда как классовые интересы народа не удовлетворялись, хотя его самоотверженность и усилия были решающими. Смело критичная в отношении монархического строя, привилегий аристократии, религиозных суеверий, буржуазная революция — в своем апогее особенно — боялась самокритики даже средствами литературы.

В романе обозначены и другие не менее характерные противоречия эпохи. Читатель видит, что всякого рода «общества друзей свободы и равенства» не исключали фанатизма, внимавшего подлым наветам, клевете, доносам; уничтожение Бастилии не исключало «создания каторги в Кайенне, которая гораздо хуже любой Бастилии». Искусство «легкомысленное» было запрещено, но какое культивировалось взамен? Песни на ходкие темы: «Гимн разуму», «Гимн селитре» (необходимой для производства пороха), «Хорал тысячи кузнецов» и т. п.; композитор Гретри заканчивает балеты «Карманьолой» — «дабы подчеркнуть свои гражданские чувства», к мольеровской пьесе «Мизантроп» приделывают другую развязку. Наконец, и просто уже закрывают литературные клубы — там будто бы готовы пощадить изменника «только потому, что он написал красивые стихи». Изменяют облик мира — и возвращают бескультурие, вандализм, маниакальную подозрительность.

Действие в романе Карпентьера происходит на Антильских островах Карибского моря — давнишних колониях Франции. Насыщенный ярчайшими красками тропиков экзотичный фон! Но вот что гораздо важнее пышной тропической фауны и флоры, на которые не поспешил деталями автор рома-

на: в символическом прологе, написанном как речь, произнесенная пока что неизвестным персонажем, перед нами является грозный символ революции: «Машина», которую везет на корабле из Франции и бережно охраняет «незнакомец, облеченный властью». «Черный треугольник со стальным и холодным лезвием» бросает тень на все повествование.

Протяженность романа Карпентьера охватывает события с 1789 года. Гильотина, омашиненный демон этих событий, плюс картина неаполитанского живописца «Взрыв в кафедральном соборе» — «символ конца света» — ключи не столько к великому перевороту, сколько к тому, как воспринимают его многие обитатели далеких от Франции Антильских островов. В предисловии Я. Света к роману приведена цитата из письма Ф. Энгельса к Каутскому от 20 февраля 1889 года, разъясняющая, что террор был необходим «как военная мера до тех пор, пока вообще имел смысл», но стал «абсурдом», когда сделался «средством самосохранения для Робеспьера», самое страшное — что «террор неуклонно опускался по ступеням социальной лестницы и теперь уже косил людей из низов». В том числе негров, освобожденных специальным декретом Конвента от рабства, но почему-либо отказавшихся обрабатывать конфискованные у монархистов земли.

Подобное отношение к трагическим и кровавым конфликтам французской буржуазной революции характерно и для романа А. Карпентьера. Следует, однако, заметить, что значительно слабее показана в нем справедливость сокрушения народом монархии и оправданность борьбы якобинцев против жирондистов.

Интересны в романе образы революционеров. У Гюго, Франса, Роллана они — с ореолом героики — представлены сразу в сплетении великих событий; это бывшие адвокаты, журналисты, художники, бедные священники, в прошлом «идеологи», теперь же политики, и никогда — лавочники, буржуа. У Карпентьера динамизм революции воплощен в образе Виктора Юга, который до того, как стать убежденным якобинцем, носил в кармане визитную карточку: «Негоциант в Порт-о-Пренсе». Потомок лионского лекаря, плебей-мещанин, он сумел разбогатеть не слишком чистыми способами: кожи, пряности, шелка — он знает их запахи и ценны на всех рынках земного шара. Карпентьер словно продолжает мысль Маркса о

том, что «поэзия» французской революции превратилась в «прозу», когда всеобщий экстаз, вызванный «ослепительными успехами», сменился «трезвопрактичным буржуазным обществом»; теперь его «настоящие полководцы заседали в коммерческих конторах». Роман Карпентьера показывает, откуда пришли «полководцы» буржуазной революции: из таких же «коммерческих контор». «Проза» не только сменила «поэзию», но и предшествовала ей...

У Виктора Юга прочный вкус к крупной собственности, хотя он любит разглагольствовать о древней Спарте, где, мол, не было крупных состояний. Известно, что, возвеличивая свою борьбу, буржуазные революционеры прибегали к своеобразному «историческому маскараду», примеривая на себя античные одежды. Но когда Юг строит из себя новоявленного Гракха или Демосфена и тут же, «как рыночный меняла, говорит о купле и продаже товаров», это фарс, а не трагедия. Кстати, Юг проявляет сильную волю не только в приобретении богатства, но и в умерщвлении людей — с одинаковой беспринципностью, маскируемой теперь суровым законом революции. Ему ничего не стоит приговорить к смерти взятых в плен 865 французов — он расправляется с ними, не считая даже нужным отделить подлинных врагов от простых людей, одураченных англичанами.

Герой романа Карпентьера — это один из тех, кто прославлял Робеспьера. Отпуская «непомерные похвалы» его красноречию и даже «элегантности» на собраниях людей, одетых неряшливо (имеются в виду, очевидно, якобинцы), Юг подражает манере Робеспьера «вперять в собеседника испытующий взгляд и смотреть на него одновременно учтиво и твердо». С некоторой долей упрямства он сохраняет «преданность» Робеспьеру и после термидора — он даже оставляет его портрет на стене своего кабинета. Тем не менее падение Робеспьера воспринимается им без особой душевной боли и с полной готовностью к дальнейшим идейным метаморфозам. Так и происходит — Виктор Юг становится полномочным Директории, затем Консульства и наполеоновской империи. В начале своей политической карьеры доверенное лицо Неподкупного, Юг в конпле ее сближается с прислужником контрреволюции — Фуше. Сколотить состояние удастся Югу и при реставрации, в окрестностях Бордо к 1820 году он владеет землями. Сло-

вом, пламя революции не причиняет Виктору Югу ожогов.

Антиподом Виктора Юга и одновременно его спутником в годы самых бурных событий выступает в романе Эстебан — двоюродный брат Карлоса и Софии, наследников гаванского купца. Нет, Юг не рыцарь революции и Эстебан не его оруженосец — миссия Эстебана в романе Карпентьера более значительна. Именно Эстебан произносит речь-пролог в начале романа. Если Виктор Юг по темпераменту энергичен и властен, то Эстебан — натура созерцательная, артистическая, мечтательная. И не столько борьба Свободы с Тиранией манит в Париж Эстебана, сколько картинные галереи, восточные рукописи, недавно обнаруженные, кофейни, где непрерывно кипят споры о литературе. Он наивен, всему в столице Франции дивится, недаром прозвали его Гуруном, имея в виду рассказ Вольтера «Простодушный». Только здесь южноамериканского «дикаря» изумляют не пороки цивилизации, а ураганы революции. Быстро увлекательный, Эстебан первое время читает самые радикальные газеты, с восторгом внимает речам самых непреклонных ораторов, сажает с детворой «деревья свободы», за неимением пика вооружается кухонным ножом. Есть в его инфантильности что-то милое — за исключением разве лишь слишком раннего опыта плотской любви с потаскушками. Однако участие его в революции — та же игра, как бывало в гаванском доме, где он, кузен и кузина забавлялись тем, что вешали на стулья изъеденные молью костюмы вельмож, герцогинь, судей и «штурмовали» их.

Естественно, что вскоре Эстебан охладевает к этой игре. Но важно — почему, ибо как раз охлаждение Эстебана превращает его из пылкого юноши в зрелого мужа. Когда он видит, что эта «игра» ведется всерьез и принимает она у ее подлинных участников характер кровавых усобиц, он научается анализировать поступки деятелей буржуазной революции. У Эстебана вызывают недоумение «крутые повороты политики, изменчивой, противоречивой, конвульсивной», когда градом сыплются «указы, законы и декреты», — «в провинции их еще считали действующими, а они уже отменялись»... «Трудно было понять, каким образом трибуны, которые еще накануне были народными кумирами, внезапно оказывались негодьями». Еще непонятней, почему Комитет общественного спасения посылал на эшафот

«прославленных хирургов, выдающихся химиков, эрудитов, поэтов, астрономов». Несколькими годами позднее, уже в родных краях, Эстебан глубоко переживает «мистерию, идущую на мировой сцене», и мучительно старается понять, какие скрытые законы опрокидывают все расчеты революционеров, несмотря на их энтузиазм и поразительную настойчивость. Предпочитая, чтобы «цели революции были достигнуты без применения гильотины», Эстебан восклицает: «Нет, не о такой революции я мечгал!» На это Виктор Юг отвечает ему: «А зачем было мечтать о том, чего не существует?.. О революции не рассуждают, ее делают».

Дважды повторяет в романе Виктор Юг эти слова — один раз Эстебану, другой раз своей любовнице Софии. «Дело» прямо противопоставлено им «рассуждению». Дескать, при бешеном темпе истории некогда уместовать и взвешивать поступки перед судом своего разума и личной совести. «Неженки», подобные Эстебану, революции только вредят.

Между тем «неженка» Эстебан верен себе. Он возмущен, когда узнает, что офицеры флота республики, выполняя приказ Виктора Юга, везут на кораблях негров, чтобы продать их в Голландии. «Ведь это низость! — восклицает Эстебан. — Выходит, мы запретили у себя работорговлю для того, чтобы сбывать невольников другим народам?» Эстебан потрясен и тем фактом, что революция, произведенная руками народа, обогащает мелких лавочников, у которых «кружится голова» от перспектив, перед ними открывшихся: «Старые Ост-Индская и Вест-Индская компании с их набитыми золотом сундуками словно возрождались в этой удаленной части Карибского моря, где революция упрочивала — и весьма ощутимо — благосостояние многих». И не только на островах Карибского моря, добавим от себя, после термидора — и в самой Франции. Беглецам-неграм, предпочитающим смерть рабству, ампутуют каждому — по всем правилам медицины — левую ногу. Очевидец этого цивилизованного варварства Эстебан в ярости повторяет: «Мы, люди, — самые гнусные твари на земле!..»

Усталый, разочарованный, Эстебан возвращается в родной ему гаванский дом. Ибо даже в том, что было прогрессивным завоеванием республики, Эстебана ужасает «уплаченная за все это цена». Вспоминая беззакония, чинимые якобински-

ми комиссарами в Париже, Лионе, Нанте, Аррасе, Оранже, в плавучих тюрьмах Атлантики и в болотах Кайенны, Эстебан утверждает, что простить это — пусть ради благих целей — нельзя: «Мы слишком быстро забываем о мертвецах». Все это приводит к тому, что Эстебан из недоверия к пышным фразам о «лучших мирах», к потоку слов, «затопляющих эпоху», выбирает для себя путь личного самосовершенствования, хотя и не исключает возможность того, что «следующая революция добьется большего».

Здесь налицо уже грехопадение Эстебана, тонко выявленное Карпентьером. Эстебану начинает казаться, что слабость революции — в отсутствии у нее богов, ибо верховное существо было божеством, не имевшим истории; в отсутствии «неустранимой веры», конкретнее — Христа, святых, мучеников. Молиться Эстебан, к своему сожалению, разучился, но «с волнением глядит на распятие». Убедившись в том, что идеал и методы его осуществления столь несходны, Эстебан отказывается от идеала.

А как оценивает он Просвещение, с которым революция противоречиво, но все же духовно связана? Эту связь Эстебан либо затушевывает, объясняя революцию «смутным порывом, веками зревшим в душах людей», не помянув ни единым словом философов, подготовивших и сознание общества к необходимости переворота, либо объявляет все написанное ими безнадежно устаревшим: и «атеистические доводы» Гольбаха, и вызывающего ныне «смех» Рейналя, и Мармонтеля «с его опереточными инками», и трагедии Вольтера, казавшиеся «злостными и разрушительными» каких-нибудь десять лет назад, и «Общественный договор» Руссо, произведение, которое «распалось на куски под натиском грозных событий».

Вполне справедлива характеристика, которую дает Эстебан Виктору Югу относительно его поверхностного образования; он, мол, в речах «ссылался на то, что только недавно вычитал из книг». А сам Эстебан? Можно привести целые страницы из романа, где описано вступление Эстебана в масонскую ложу, его интерес к таинствам, к ритуалу этой рассудочной, искусственной мистики и ее литературным источникам. Между тем об интересе Эстебана к серьезной философии его времени мы узнаем как-то вскользь, и не заметно, чтобы она оказала на него существ-

венное влияние. Все, чем блистала интеллектуальная жизнь XVIII века, Эстебану «изрядно надоело», о сочинениях же, где речь идет об истории последних лет или об экономике, он и слышать не хочет. Что же он теперь читает? Песни Оссиана, «Юного Вертера», от «Гения христианства» и «Рене» Шатобриана он приходит в восторг. Сентиментально-романтическое томление, чувство непреодолимого разлада с действительностью...

И наконец, персонаж, до сих пор остававшийся на заднем плане, между тем олицетворяющий третий важный центр идейной концепции романа — София, героиня, наделенная автором женским обаянием и знойным темпераментом. София тоже имеет свой взгляд на потрясшие весь мир недавние события: «Жить без политического идеала немислимо, благоденствие народов не может быть достигнуто сразу...»; да, «были совершенны серьезные ошибки... допущены достойные сожаления эксцессы, однако великие завоевания человечества всегда достигаются ценою страданий и жертв»; «Всякого рода нелепости и ошибки ни в коей мере не умаляют величие титанической попытки».

Стало быть, «пробывание в аду ничему меня не научило?» — возмущен Эстебан. Отчего же, разъясняет свою позицию София: преимущество Эстебана — непосредственное соприкосновение с людьми, делавшими революцию, а ее, Софии, преимущество — «на расстоянии можно составить себе более верное, менее пристрастное представление о происходящих событиях».

Эстебан, услышав выражение «счастье человека», подчеркивает свою трезвость по сравнению с «восторженными глупцами, беспочвенными мечтателями, фанатиками идеи», глотающими всякую «человеколюбивую писанину», а затем «воздвигающими эшафоты». София же, напротив, считает Эстебана «жертвой неумеренного идеализма», и ее не пугает гильотина. Она «с удовольствием» смотрела бы, как летят головы чиновников, рабовладельцев, богачей, милитаристов Кубы, которую «жалкое, безнравственное» правительство этого острова «низвело до состояния задворок земного шара».

Кто же в таком случае реалист — Эстебан? Но разочарованность ведет его к невеселому заключению: «Вера в те идеи, что всякий день меняются, принесет вам жестокое разочарование». Иначе говоря,

социальные истины непостоянны, ищите правду вечную, а ее содержит религия. Ну, а София, неугасимый пыл которой сохраняет веру во что-то лучшее, и потому — вопреки своему кузену — она лишь теперь «прекрасно понимает» «Общественный договор» Руссо? Конечно, в несогласии Софии с Эстебаном есть доля наивности — издали все кажется лучше и возвышенней; в ее суждениях «с птичьего полета» о революции — романтический догматизм, рождаемый обычно уютом домашней библиотеки. И догматизм опасный. Однако нельзя не видеть, что в чем-то София и права: как ни велик разрыв между «царством разума» и тем, как он выглядел у вольтерянцев и руссоистов Конвента, то, что было в буржуазной революции от заветов Просвещения, пусть искаженных, деформированных, не устарело. К сожалению, критика Эстебана не идет дальше «критики от чувства» (как бывают в нашу эпоху «социалисты чувства»), и не случайно мрачный пролог книги смыкается с мрачным, условно говоря, «эпилогом» пятой части книги — грустным возвращением скитальца Эстебана к родным пенатам. Грустным, ибо что может быть печальнее квиетизма, отказа от участия в борьбе против зла?

Но есть в романе еще шестая и седьмая части — второй «эпилог». В шестой части София едет к давно любимому ею Виктору Югу, пробудившему в ней, когда он был их гостем в Гаване, интерес к общественной жизни. Теперь Виктор Юг управляет Кайенной. Универсальный конформист, он к любой ситуации приспособливает свои мысли. Восстановление церкви в ее прежней силе? Ничего не поделаешь, необходимость. София говорит ему: «От тебя несет ладаном». Закон от 30 флореаля X года Республики о восстановлении рабства во французских колониях Америки на радость плантаторов и землевладельцев? Что ж, Виктор Юг спешит принять меры, чтобы не дать неграм «удариться в бег». Возмущенной Софии он говорит: «Я прежде несет ладаном» и «Как будто человек может сделать больше того, что в его силах». Прямая дорожка от «алчного и ни во что не верящего правителя» к бальзаковскому Вотрену с его девизом: «Принципов нет, есть обстоятельства». Остаться у своего любовника София не хочет. Вернуться в свой дом? Нет, она не вернется «в дом, который покинула в поисках лучшего». А где тот, «лучший дом»?..

«Там, где люди живут иначе... в мире живых, тех, кто еще во что-то верит».

И вот седьмая часть — трагический финал романа. Отрывочные сведения о последних днях Софии и Эстебана, полученные ее братом в Мадриде от разных лиц. Они рассказали: когда в Мадриде испанцы восстали против французов, оккупировавших их страну, София решилась: «Надо же что-то сделать!» И, сорвав заржавелую саблю со стены, она бросилась на улицу. «Не делай глупостей», — пытался ей помешать Эстебан.

Но тщетно. Тогда и он, схватив охотничье ружье, побежал за ней...

Они не вернулись. Они погибли. И нельзя даже установить, где их тела.

Победа добра над злом была тогда невозможна, но вера в справедливость, готовность принести себя в жертву делу борьбы за нее — последнее слово в романе Карпентьера. Вот почему талантливое произведение Алехо Карпентьера стоит под знаком исторического оптимизма.

И. ВЕРЦМАН.

★

Политика и наука

МАРКСИЗМ — ФИЛОСОФИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

М. Корнфорт. Марксизм и лингвистическая философия. «Прогресс». М. 1968. 451 стр.

Имя английского философа-марксиста Мориса Корнфорта хорошо известно советскому читателю. Его книги «Наука против идеализма» и «Диалектический материализм» получили высокую оценку нашей критики. Новая работа М. Корнфорта «Марксизм и лингвистическая философия» способна вызвать, пожалуй, еще больший читательский интерес. В обстановке обострившейся идеологической борьбы нас не может не интересовать содержание того диалога, который ведут на Западе коммунисты со своими идейными противниками.

Книга М. Корнфорта отличается четкостью авторской позиции, ясностью в постановке вопросов.

«...хотя коммунисты допускают и приветствуют переговоры и компромиссы в сфере государственных отношений, они не могут идти на переговоры и компромиссы в области идей. Здесь идет битва, не знающая перемирия», — пишет автор. И далее следующим образом развивает свою мысль: «Как вести и как выиграть войну идей в условиях мирного сосуществования капитализма и социализма? По существу, дело здесь не в том, чтобы просто разбить оппонента, но в том, чтобы конструктивно превзойти его, — так же как для окончательного доказательства превосходства социализма недостаточно чисто негативно указывать на несчастья и лишения людей при капитализме, но необходимо еще и позитивно построить социалистическое общество, с его процветанием, братством и свободой, так чтобы его превос-

ходство было очевидным. Партийность проявляется не в высокомерии и грубости, которые лишь выдают неуверенность и невежество, но в научном подходе и разумности».

Такой подход к полемике с идейными противниками соответствует давним традициям марксистской критики. Автор напоминает слова Антонио Грамши о том, что «война идей тем отличается от обычной войны, что в войне идей надо вступать в бой там, где противник сильнее, тогда как в обычной войне надо искать у противника слабые места, чтобы осуществить прорыв». «Следовательно, — заключает М. Корнфорт, — задача полемики не только в том, чтобы разоблачить ошибки и опровергнуть предубеждения и предвзятые мнения, но и в том, чтобы познать поставленные проблемы, добраться до их истоков и проанализировать их формулировку, и критиковать конструктивно, чтобы найти путь к их решению... Борьба — это не значит наклеивать ярлыки и хвастать собственной непогрешимостью, это значит обнаруживать истину и находить ответы и таким образом завоевывать умы и заручаться политической поддержкой мыслящих людей, исправляя их неверные представления о позиции социалистов и коммунистов».

Рецензируемая книга представляет собой хороший пример именно такой полемики — серьезной и конструктивной.

Книга посвящена одному из наиболее распространенных в Англии, США и других капиталистических странах философских на-

правлений — так называемой лингвистической философии. Объект исследования обусловил и структуру работы. Поскольку лингвистическая философия продолжает традицию английского эмпиризма и позитивизма, то М. Корнфорт не смог избежать исторического экскурса. Этот первый раздел книги, с нашей точки зрения, наименее интересен: автор нигде не выходит за рамки общезвестных суждений. Впрочем, М. Корнфорт и сам хорошо понимает вспомогательную роль этой части своей работы.

Второй раздел — анализ непосредственно лингвистической философии. Лингвистическая философия — это не столько конкретная школа, сколько название целого этапа в развитии английской философии, начавшегося после второй мировой войны. Появление и распространение ее на Западе невозможно понять без учета некоторых явлений.

Кризис научности буржуазной философии, о котором писали еще в прошлом веке Маркс и Энгельс, сегодня совпал с бурным ростом естествознания. Многие вопросы, традиционно бывшие предметом философии, начали исследоваться естественными науками. Могло показаться, что философия, по выражению Виндельбанда, и в самом деле находится в положении короля Лира, «который раздал своим детям все свое имущество и которого вслед за тем, как нищего, выбросили на улицу». Выход из создавшегося положения стали искать на путях внедрения в философию математических методов и вообще методов частных наук. Но это не устранило трудностей, наоборот, они стали очевиднее.

Тогда-то и родилась лингвистическая философия, провозгласившая отказ от основных философских проблем — вопроса об отношении материи и сознания, вопроса о познаваемости мира и т. д. Было объявлено, что все эти вопросы не имеют смысла и их решение невозможно. А потому «задача философии состоит не в том, чтобы открывать факты или строить обобщения о фактах, но в том, чтобы подвергать логическому анализу высказывания и обобщения о фактах, установленные повседневным наблюдением и наукой». Таким образом, лингвистическая философия по сути дела свела все проблемы к точности употребления слов и понятий. И хотя ей удалось добиться некоторых положительных успехов в частных областях (разработка формальной логики, языка науки), но, как справедливо отметил М. Корн-

форт, все это она сделала за счет отказа от действительно философских проблем. По остроумному замечанию Б. Рассела, «лингвистическая философия, заботящаяся только о языке, а не о мире, подобна мальчику, который предпочитает часы без маятника лишь по той причине, что без него они ходили бы легче, чем прежде, и в более веселом темпе, хотя они уже не показывали бы времени».

Правда, представители лингвистической философии выступают с критикой отдельных сторон существующего строя, что и позволяет им привлекать к себе молодежь, интеллигенцию. Однако эта критика не идет дальше внешнего фрондерства, которое по существу нередко превращается в апологетику, в «предательство интеллигентов, в академическом уединении обсуждающих свои проблемы и не вмешивающихся в дела могущественных групп, чьи интересы стоят на пути человеческого прогресса».

Следовательно, спор между марксизмом и лингвистической философией идет не вокруг трактовки термина «философия», а по коренному вопросу о сущности философии, ее смысле и назначении в современном мире. Поэтому М. Корнфорт не мог ограничиться тем, чтобы противопоставить своим идейным противникам, скажем, просто марксистское учение о языке: третий, заключительный раздел своей книги он озаглавил гораздо более широко — «Марксизм». Хотя это заглавие может вызвать упрек, что автор сводит марксизм к его философии, в таком расширительном наименовании есть свой резон.

Дело в том, что М. Корнфорт не рассматривает философию как учебную дисциплину с жестким кругом проблем, с абсолютной системой законов и категорий. Для него философия — это прежде всего мировоззрение, общая методология, пронизывающая весь марксизм. «Марксизм,— говорит М. Корнфорт,— не состоит из набора теорий, по одной на каждый конкретный вопрос, плюс диалектический материализм; все его теории диалектико-материалистические». Несомненно, что марксизм как строгая научная система включает в себя и решения тех или иных конкретных вопросов, представляющих собой объективные научные истины. В определенной ситуации они иногда принимают характер лозунгов и установок. Это-то обстоятельство и позволяет иным догматически мыслящим людям,

считающим себя марксистами, сводить марксизм к сумме лозунгов, доктрин, абсолютных схем. Собственно, такой подход мало чем отличается от подхода к марксизму его буржуазных критиков.

Простой перечень названий глав, составляющих последний раздел книги («Диалектико-материалистический подход», «Законы мышления», «Социалистический гуманизм», «Коммунизм и человеческие ценности», «Коммунизм и мораль», «Существование и полемика»), убеждает нас в том, что автора прежде всего интересует марксистское решение проблемы «личность и коммунистическое общество». Этот интерес оправдан не только и не столько потребностями спора с буржуазной философией, сколько внутренней логикой самого марксизма: именно в этой области философского знания Маркс и Энгельс в первую очередь и совершили свой научный подвиг. «Суть марксизма — это научно обоснованный взгляд на человека», — утверждает М. Корнфорт.

С точки зрения марксизма целью являются люди, а вещи, учреждения, организации суть средства. Для борца за коммунизм недостаточно одной преданности целям движения, но нужны и определенные человеческие качества, определенное «качество средств». Разрыв между целью и средством, между нравственностью и политикой, между теорией и практикой может привести к пагубным последствиям.

Коммунизм, который становится возможен лишь как результат живого творчества народных масс, предъявляет к своим строителям требование высокой политической зрелости, гражданской активности, интеллектуальной культуры. Об этом приходится задумываться, когда анализируешь социальную базу современного догматизма. М. Корнфорт высказывает на этот счет весьма интересные и свежие мысли. Он, в частности, пишет: «Массы, которые впервые вовлечены в организованную политическую деятельность и впервые увидели в ней выход из бедности и унижения, склонны искать в политике то, что они раньше находили в религии — несомненность веры, непогрешимость догматического авторитета... Понятие о непогрешимой доктрине может импонировать лишь тем, кто еще не знаком с научным образом практического мышления, а понятие об исторической неизбежно-

сти — тем, кто еще не научился целиком полагаться на свои собственные силы, не ожидая помощи от сверхъестественной судьбы». Автор не предлагает формулы для разрешения всех этих проблем, которая была бы верной при любых условиях. Ее нет. Но есть опыт, который учит: нельзя допускать подмены научной теории мифом, а сознательной убежденности — бездумной верой. И правильность нашего поведения сегодня в немалой степени определяется нашим отношением к этому опыту.

Новая работа М. Корнфорта вызывает подчас и некоторые возражения. Так, автор утверждает, что «марксизм и лингвистическая философия связаны общим происхождением с одной философской семьей — гуманистической» (стр. 356). Между тем у них настолько разные социальные и теоретические источники, что это высказывание представляется совершенно необоснованным.

Без серьезной аргументации оставлено в книге и такое по меньшей мере спорное утверждение: «При социализме, по крайней мере какое-то время, могут даже усиливаться некоторые из эффектов отчуждения, имевших место при капитализме» (стр. 387). Мы не разделяем точку зрения тех, кто полагает, что в условиях социализма вообще нет места отчуждению. Но когда речь идет об усилении отчуждения, то одно из двух: либо соответствующие факты интерпретированы неправильно, либо то, что в данном случае именуется социализмом, в действительности им не является (например, пресловутая «культурная революция» в Китае и создаваемый в процессе этой «революции» военно-бюрократический режим). Что касается подлинного социалистического общества, то отчуждение противоречит его природе и обречено в нем на постепенное преодоление и исчезновение.

Однако подобные спорные положения не оказывают существенного влияния на общую концепцию книги английского философа-марксиста. Эта интересная, богатая мыслями книга лишней раз убеждает нас в том, что нет ни одной проблемы современности, которая не могла бы быть рассмотрена с позиций марксизма и не могла бы найти свое положительное решение.

Ф. ЦАНН,

кандидат философских наук.

Владимир.

СВЕТ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ»

Полярная звезда. Журнал А. И. Герцена и Н. П. Огарева. В восьми книгах. 1855—1869. Факсимильное издание. «Наука». М. 1966—1968.

В течение двух лет издательство «Наука» выпустило в свет факсимильное издание «Полярной звезды» А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Оно представлено восемью книгами (публикация текста осуществлена под наблюдением Е. Л. Рудницкой). Девятый том составляют комментарии и указатели к текстам, предваряемые кратким предисловием академика М. В. Нечкиной, под руководством которой издание было осуществлено.

Один из самых ранних памятников «бесцензурной демократической печати» (В. И. Ленин), «Полярная звезда» давно уже стала библиографической редкостью. «Не было ни одной лекции по истории русской общественной мысли или революционного движения, где бы они («Колокол» и «Полярная звезда». — Н. Р.) не упоминались, ни одного учебника, где бы не было их характеристики, — пишет М. В. Нечкина в предисловии, — но ничтожное число исследователей держало в руках подлинный их текст: его последние, редчайшие экземпляры, до нас дошедшие, с благоговением охраняли отделы редкой книги крупнейших публичных библиотек и нескольких университетов». Работу коллектива научных сотрудников и издательства по подготовке нового издания трудно переоценить, можно лишь пожалеть, что она не была совершена раньше.

«Полярная звезда» взошла на горизонте русской общественной мысли в августе 1855 года, восьмая книга журнала появилась в ноябре 1868 года. Тринадцать лет это «периодическое издание, выходящее без цензуры, исключительно посвященное вопросу русского освобождения и распространению в России свободного образа мыслей», являлось зеркалом общественных настроений и социально-политических потрясений, имевших место в России пятидесятых—шестидесятых годов XIX столетия.

В «Полярной звезде» помещено было около двухсот различных произведений. Среди них — тридцать шесть произведений самого Герцена (включая «Былое и думы»), семь статей и около сорока стихотворений Огарева. Многие из того, что есть в журнале, знакомо нам по другим изданиям: то, что было когда-то потаенной поэзией, теперь имеет хрестоматийную известность, гневные строки

письма Белинского к Гоголю мы помним еще из средней школы... Но в тексте факсимильного издания все эти материалы обретают другое звучание. Сопровождаемые комментарием, воссоздающим объемный исторический фон, они переносят нас в иную эпоху, заставляют живо почувствовать волнения и боль ее современников.

В статье, открывающей первый том издания, Герцен так определил его план: «Мы желали бы иметь в каждой части одну общую статью (Философия революции, Социализм), одну историческую или статистическую статью о России или о мире Славянском; разбор какого-нибудь замечательного сочинения, и одну оригинальную литературную статью; далее — смесь, письма, хроника и пр.». Что касается характера материалов, интересующих издателей, то «Полярная звезда» «должна быть, и это одно из самых горячих желаний наших, убежищем всех рукописей, тонущих в императорской цензуре, всех изувеченных ею... Рукописи погибнут, наконец, — их надобно закрепить печатью».

Начнем с того, что «Полярная звезда» впервые печатно познакомила читателя с самым значительным и еще живым тогда явлением русской революционной мысли и дела — декабризмом. На обложке всех ее книг читатель видел силуэты казненных декабристов. Когда набирались строки объявления о новом издании, перед Герценом вставал призрак «Полярной звезды» А. А. Бестужева и К. Ф. Рыльева, «скрывшейся за тучами николаевского царствования». «Русское периодическое издание, — писал Герцен, — принимает это название, чтобы показать непрерывность предания, преемственность труда, внутреннюю связь и кровное родство».

Запрещенные стихотворения А. С. Пушкина, К. Ф. Рыльева, А. И. Одоевского, революционные песни К. Ф. Рыльева и А. А. Бестужева обрели печатную жизнь на страницах «Полярной звезды». О различных событиях и эпизодах декабристского движения рассказывал ряд документов. Декабристская концепция истории России, философские взгляды декабристов получили отражение в опубликованных журналом Герцена и Огарева важнейших памятниках движения. Значение Вольной русской типографии также и в том, что она установила прямые связи со

многими из декабристов: С. Г. Волконским, С. П. Трубецким, И. Д. Якушкиным, М. И. Муравьевым-Апостолом, В. И. Штейнгелем, Д. И. Завалишиным.

Возвращение к истории тайного общества отнюдь не было всего лишь возвращением к прошлому. Главные идеи декабризма оказались живы и актуальны; вопросы, поставленные движением, не были разрешены. «Теперьшняя власть,— читаем мы в пятой книге герценовского журнала,— у которой на все доставало смелости, дошла до того, что ей надо всего бояться. Ее общий ход не что иное, как постепенное отступление под защитой корпуса жандармов, перед духом тайного общества, который обхватывает ее со всех сторон. Ог людей можно отделаться, но от их идей нельзя. Сердца молодого поколения обращаются к сибирским пустыням, где великие ссыльные блистают посреди мрака, в котором хотят их скрыть. Жизнь в изгнании есть непрерывное свидетельство истины их начал». Эти слова М. С. Лунина, одного из оригинальнейших умов декабризма («Полярная звезда» опубликовала его письма к сестре, Е. С. Уваровой, ходившие в рукописных списках), в полной мере отвечали настроениям читателей-шестидесятников.

Журнал Герцена—Огарева развернул перед читателем широкую панораму общественной борьбы начиная со второй половины XVIII столетия до сороковых годов XIX века. «Полярная звезда» напечатала статьи, записки, письма, вышедшие из-под пера таких деятелей русского просвещения, как первый президент Российской Академии наук Е. Р. Дашкова, В. Н. Каразин, историк Т. Н. Грановский, «безумный ротмистр» П. Я. Чаадаев, профессор, а потом монах В. С. Печерин.

Издатели журнала вовсе не придерживались принципа публикации материалов, исходящих только от революционно или хотя бы оппозиционно настроенных кругов. Иногда то, что писалось прямыми противниками, ничуть не менее убедительно свидетельствовало в пользу идеалов прогресса и свободы (отрывки из мемуаров реакционного журналиста Н. И. Греча, донос И. П. Липранди, раскрывшего существование общества Петрашевского, и др.). Герцен и Огарев печатали указанные материалы без собственных комментариев и оценок, доверяя способности читателя разобраться в том, что есть истина.

Много страниц «Полярной звезды» посвящено истории русской монархии, которая рассматривается здесь как «история преступления продолжающегося». В блестящих исторических очерках «Княгиня Е. Р. Дашкова» и «Александр I и Каразин» Герцен раскрыл страшные тайны династии Романовых. Дворец рисуется то как публичный дом, то как застенок.

Вынося на суд читателя деяния и труды русской передовой интеллигенции, раскрывая историю монархического правления в России, журнал не мог не говорить и о самом народе, за который шла борьба между носителями свободы и угнетения. Уже в письме к Александру II, помещенном в первой книге журнала, заранее отвечая на будущие демагогические вопли об «антипатриотизме» революционной эмиграции, Герцен объясняет, почему он находится на берегах Темзы и ради кого и чего он предпринимает свое издание. «Я тоже люблю народ русский, я его покинул из любви, я не мог, сложа руки и молча, остаться зрителем тех ужасов, которые над ним делали помещики и чиновники».

Но и в статьях самого Герцена, и в других материалах, которые он печатает в журнале, сквозит печальная мысль о пропасти, лежащей между народом и просветителями, о той густой сети предрассудков, которой народ опутан, о длительном времени, необходимом для того, чтобы эту сеть разорвать.

Всем содержанием своего журнала, всем строем, подбором, характером его материалов издатели «Полярной звезды» искали ответ на основную историко-философскую проблему: государство — народ — передовая мысль.

«Полярная звезда» разговаривала с читателем отнюдь не только путем экскурсов в прошлое и ретроспекций. Она обсуждала прежде всего главный вопрос русской социально-экономической жизни — крестьянский. Отмена крепостного права, общинный социализм оказались главными темами письма Герцена к Александру II, передовой статьи в четвертой книге, серии обзорных статей Огарева «Русские вопросы», огаревского же «Письма из провинции», послания А. И. Герцена к И. С. Тургеневу, некоторых глав «Былого и дум», наконец, статьи Н. И. Сазонова «Место России на Всемирной выставке». «Судебные сны» И. С. Аксакова и сатирический очерк Н. А. Мельгунова «Пра-

ва русского народа» представляли яркие картины российского крепостничества.

В дни выхода первой книги журнала Россия переживала неудачную Крымскую войну; когда же был сверстан второй том, военные действия уже закончились Парижским миром. Но «Полярная звезда», обращаясь к недавним событиям, повествует о бесславной и ненужной гибели тысяч русских солдат, злоупотреблениях интендантства, бездарности командования. В третьей книге можно прочитать, например, тексты песен крымских солдат очень вольного содержания. Авторство этих популярных песен приписывалось молодому Л. Н. Толстому. Для «Полярной звезды» была характерна пораженческая позиция в отношении к результатам войны. Если другие сетовали и спорили по поводу военных неудач, то Герцен, напротив, утверждал следующее: «Мы рады искренно миру и тем более, что он приносит не блеск, а смирение. Из железа победоносных мечей куются самые крепкие цепи. Напротив, скромный мир обязывает всех призадуматься о нашем положении». Это были слова истинного патриота, глубоко и беззаветно любящего свой народ, и они явно перекликаются с замечательной ленинской статьей «О национальной гордости великороссов».

Немало страниц посвятила «Полярная звезда» уничтожающей критике русской бюрократической машины. Публицистика и сатира журнала рисовали перед читателем тупого, узколобого, безграмотного чиновника и жандарма, между функциями которых трудно было провести строгую грань. Разбирая манифест от 26 августа 1856 года — один из первых манифестов нового царствования, — Огарев прежде всего обращает внимание на его редакцию, усматривая в литературной безграмотности органическую связь с существом самих провозглашаемых законов и установлений. «Это явление страшное, которое приводит в трепет за будущность, ибо носит на себе печать бездарности... Неужели и опять Россией будет управлять безграмотная бездарность, смешная для иностранцев и тягостная для Отечества?» — с горечью спрашивал себя сподвижник Герцена.

Многие материалы «Полярной звезды» поднимают вопросы о ее значении и назначении, об общественной миссии искусства.

Известная мысль Герцена о литературе как единственной трибуне оппозиции в самодержавной, крепостнической России под-

тверждалась, например, в статье Н. И. Сазонова «Место России на Всемирной выставке»: «В стране, где вся деятельность была доселе направлена почти исключительно и с возрастающим насилием к материальному расширению и к установлению механического порядка, литература должна была большей частью принять форму прямого или непрямого протеста, вследствие этого литераторы подвергались той же опале, тем же гонениям и той же гибели, как и все другие бунтовщики». Сам же Герцен в ответе С. Д. Полторацкому так писал о литературе последних лет царствования Николая I: «Наша литература от 1848 до 1855 года походила на то лицо в моцартовой «Волшебной флейте», которое поет с замком на губах».

Снимая замки с уст передовых людей тогдашней России, журнал Герцена и Огарева безжалостно срывал покров тайны с деятельности ее правителей. «Пусть же и наши императорские актеры тайной и явной политики, так хорошо защищенные от гласности цензурой и отеческими наказаниями, знают, что рано или поздно дела их выйдут на белый свет», — восклицал Герцен. История полностью оправдала это пророчество великого русского революционера.

Известно, что, пережив события революции 1848 года, Герцен пришел к скептицизму и пессимизму, к «краху буржуазных иллюзий в социализме»¹. Он с ужасом видел, как на смену взорванному изнутри дворянскому государству приходит господство буржуазии, которое вместе с элементарным образованием и внешними благами цивилизации приносит с собой страшную и всеобъемлющую власть денег, нивелировку личности, обесценение человеческой жизни, мещанство. Наблюдая политические режимы Запада, самодовольное бюргерство, продажную прессу, нищету пролетариев, Герцен с тем большей надеждой обратил взоры к России, которая, по его мнению, находилась на грани великого социального переворота. В крестьянской общине он искал зародыши коммунистического быта, в психологии русского крестьянина — черты социалистического мышления. Журнал «Полярная звезда» выступал с критикой капиталистического Запада, полемизировал с русскими западниками, проповедовал идеалы общинного социализма.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 21, стр. 256.

Возвращаясь к мысли об огромном познавательном значении герценовского журнала, о силе его нравственного и эстетического влияния на читателя, следует в заключение сделать одно критическое замечание. В предисловии к девятому тому М. В. Нечкина пишет: «Всячески стремясь использовать выводы историко-литературного, литературоведческого и философского анализа наследия А. И. Герцена, историки не должны гегрять специфику своих задач». Это предостережение не кажется нам необходимым. До

сих пор внимание исследователей было направлено как раз почти исключительно на конкретно-исторический анализ содержания журнала и выявление его вклада в освободительное движение (см. работы Б. П. Козьмина, А. Г. Деметьева, М. М. Клевенского, И. В. Пороха и др.), тогда как углубленное исследование философско-исторического и историко-литературного значения «Полярной звезды» в основном еще впереди.

Н. РАБКИНА.

★

КНИГА О СТАРШИХ КЮРИ

М а р и я К ю р и. Пьер Кюри. Перевод с французского. Под редакцией и с послесловием И. М. Франка. «Наука». М. 1968. 176 стр.

В учении о радиоактивности, неразрывно связанном с именами супругов Кюри, существует понятие о радиоактивных семействах — урана, тория, актиния. Элементы таблицы Менделеева, возглавляющие каждое из этих семейств, в процессе своего радиоактивного распада порождают целую цепочку новых элементов. Семейство Кюри недаром называют радиоактивным. Пьер и Мария Кюри возглавили его, их дочь Ирэн и ее муж Фредерик Жолио, присоединивший фамилию Кюри к своей, были достойными продолжателями дела старших Кюри. Изысканному французскому уму принадлежит афоризм: «Природа отдыхает на детях великих людей». Для оценки работ Ирэн Кюри научные достижения, научный подвиг ее родителей составляли явно неблагоприятный фон. Но можно смело утверждать, что своими работами по физике она если и не опровергла выраженное этим афоризмом правило, то во всяком случае явилась исключением из него.

Непосредственным поводом к изданию книги о Пьере и Марии Кюри явилось столетие со дня рождения Марии Склодовской-Кюри, широко отмечаемое во всем мире в конце 1967 года. Сборник очень удачно составлен его редактором — академиком И. М. Франком. Он содержит в себе биографию Пьера Кюри, принадлежащую перу его жены, заметки к биографии Марии Кюри, написанные ее дочерью Ирэн; затем идут три статьи Ирэн и Фредерика Жолио-Кюри, относящиеся к творческой биографии старших Кюри. Наконец, книгу завершает послесловие редактора, которое,

однако, выходит далеко за пределы стандартных послесловий, представляя собой не придавок к сборнику, а органическую его часть, написанную в том же высоком ключе, что и все остальные его материалы.

Главой «радиоактивного семейства» был, несомненно, Пьер Кюри. Этапы его жизни, его живой и благородный образ, который так согласуется с удивительно привлекательным внешним обликом, встает перед нами со страниц биографии, написанной Марией Кюри. Биография эта представляет двойной интерес, рассказывая, как замечает И. М. Франк, и «о самой Марии Кюри не меньше, чем статьи и книги, ей посвященные». Обошедшая весь мир биография Энрико Ферми, написанная его женой, Лаурой Ферми, названа ею «Атомы у нас дома». Мария Кюри была ближайшим сотрудником Пьера, она не расставалась с атомами ни дома, ни в лаборатории. Мир атомов, завладевший помыслами ее мужа, был в равной степени и ее миром, и видела она его не снаружи, а изнутри, острым и внимательным взором исследователя. В общих чертах мы знаем это заранее, еще не приступив к чтению. И невольно задаемся вопросом: как сумела Мария Кюри справиться с задачей оценки своего вклада и вклада Пьера Кюри в их общий труд, который, хотя и был в громадной степени совместным, должен был нести на себе отпечаток индивидуальности каждого из его вдохновенных участников?

Сколько известно печальных примеров, когда авторы воспоминаний, имея самые лучшие намерения, подменяли рассказ о

выбранных ими героях словоизлияниями о самих себе! Биографов подстерегает и другая, куда более понятная и простиительная опасность — опасность сентиментальности и восторженных преувеличений.

Биография Пьера Кюри — это его биография, он является единственным ее героем. Мария Кюри написала ее с огромной любовью, уважением, восхищением и вместе с тем с исключительным тактом. Может быть, именно поэтому сама она предстает перед читателями в очень ярком, хотя и отраженном свете. К этому следует добавить, что она великолепно владеет пером, причем переводчику М. П. Шаскольской удалось в прекрасно построенных фразах сохранить аромат стиля французской литературы, знакомого нам по лучшим ее образцам.

Впечатление, которое выносишь после прочтения всего сборника и, в частности, биографии Пьера Кюри, таково, что Пьер был первым в этой паре равным. К моменту его знакомства (1894) с будущей женой — молодой студенткой, приехавшей в Париж из Польши, — это был сложившийся ученый, и имени его уже была обеспечена прочная память в науке, даже если бы и не были им сделаны работы по радиоактивности, на пороге которых он в то время стоял. Еще в 1880 году П. Кюри открыл явление пьезоэлектричества, нашедшее впоследствии столь широкое применение в технике (ультразвук, звуковая локация, стабилизация частот в радиотехнике). Серия работ по пьезоэлектричеству была выполнена Пьером Кюри совместно с его старшим братом — Жаком (мы видим, таким образом, что семейство Кюри-физиков было еще более обширным!). Бок о бок с Жаком Пьер трудился около шести лет; следующее его открытие было сделано уже в одиночестве; оно закреплено в физике названиями закона Кюри, «точек Кюри», «температуры Кюри».

В конце прошлого века сообщество физиков было весьма невелико; не много было в Париже и студентов-физиков, особенно талантливых. Естественно, что Мария Склодовская, яркие способности которой сразу же выделили ее из общей среды, встретилась с Пьером Кюри (это случилось на третий год ее пребывания и обучения в Париже). И оказалось, что она отвечает его давнишним идеалам, понять которые позволяет запись в дневнике, сделанная два-

дцатилетним Пьером Кюри задолго до этой встречи. «Женщина, — писал он, — гораздо больше, чем мы, любит жизнь ради того, чтобы жить; гениальные женщины редки. Поэтому, когда мы, увлеченные какой-либо духовной страстью, вступаем на путь, несогласный с природой, когда мы отдаем наши мысли творчеству, отдающему нас от близких нам людей, нам приходится бороться с женщинами». Мария Кюри была женщиной, с которой ее будущему мужу не надо было «бороться»: беззаветная преданность тому, что он позднее назвал «научной мечтой», не была для нее противоположной, а, напротив, составляла ярчайшую часть спектра человеческих радостей.

Все десять лет, до смерти Пьера, супруги прожили, почти не разлучаясь. Их переписка поэтому очень бедна, но все же выдержки из писем П. Кюри в сочетании с извлечениями из его дневниковых записей дают представление о человеке спокойного и глубокого ума, «отрешенного, — как пишет Мария Кюри, — от всяческой суеты и мелочности... Невозможно было завязать с ним спор, — продолжает она, — потому что он не умел сердиться... Если друзей у него было мало, то врагов совсем не было, потому что ему никогда не случалось оскорбить кого-либо даже и нечаянно. Вместе с тем ничто не могло заставить его уклониться от намеченной линии поведения: это удачно выразил его отец, назвав его «мягким упрямец».

Страницы биографии, откуда взята эта выдержка, принадлежат к числу особо удачных; тут трудно оборвать цитирование, хочется в полной мере приобщить читателей к духовному богатству Пьера Кюри и к душевной тонкости его жены, сумевшей о нем рассказать. «Его бескорыстие было таким естественным, что люди едва замечали это», — пишет она далее. И еще одно качество, характерное для добрых людей, отличало Пьера Кюри: он был очень доверчив, что в глазах тех, кто не наделен этим достоинством, могло, наверное, расцениваться как простоватость и недалекость.

Упомянутая твердость характера («мягкий упрямец») не делала Пьера Кюри борцом за социальную перестройку мира. Он ограничивался борьбой с несправедливостями, которые совершались на его глазах и затрагивали знакомых ему людей. Однако на окружающую действительность

он смотрел определенно критически. «Я полагаю,— писал П. Кюри своей невесте летом 1894 года,— что справедливости нет в этом мире и что той системой, которая восторжествует, будет система самая сильная или, скорее, самая экономичная. Человек изнемогает от работы и тем не менее влачит жалкое существование; это положение возмутительное, но не поэтому оно прекратится. По всей вероятности, оно исчезнет, потому что человек является в некотором роде машиной, а с экономической точки зрения выгоднее любую машину заставить действовать в ее нормальном режиме, без перегрузки».

Об отношении Пьера Кюри к строю, который не мог обеспечить справедливости на его родине, можно косвенным образом судить по тому, как он отклонял предложения о представлении к награждению его орденом Почетного Легиона. В официальном письме по этому поводу он написал: «Прошу вас, поблагодарите, пожалуйста, министра и передайте ему, что я совершенно не испытываю необходимости в получении ордена, но мне крайне необходимо иметь лабораторию».

Этот отказ находился в согласии и с отрицательным отношением Пьера Кюри к внешним показателям признания любых вполне заслуженных достижений. «У него было вполне определенное мнение по вопросу о почетных отличиях. Он считал их не только не полезными, но явно вредными, полагая, что желание получить их служит причиной душевного разлада, который заставляет отступать на второй план самую достойную цель человека: выполнение работы из любви к ней самой».

Современного читателя не может не поразить несоответствие между простыми средствами, с помощью которых Пьер и Мария Кюри пришли к своим открытиям, и значимостью самих этих открытий, с полным основанием позволяющей считать их революционными и знаменующими существенный этап на пути к познанию природы. Трудно представить себе, что такие же чувства будут испытывать наши потомки, обозревая, скажем, гигантские современные ускорители. Скорее они, найдя более эффективный метод ускорения частиц, будут дивиться громоздкости нынешних сооружений. Новые элементы, названные супругами Кюри радием и полонием, были открыты и выделены ими в простом

дощатом сарае, в котором не было ни тяжелых шкафов, ни другого элементарного для самой захудалой современной химической лаборатории оборудования!

Работы супругов Кюри по радиоактивности сразу же — еще во второй половине девяностых годов прошлого века — привлекли к себе внимание специалистов. В 1903 году они стали известны и широкой публике благодаря присуждению Нобелевской премии по физике Пьеру и Марии Кюри совместно с Анри Беккерелем, открывшим само явление радиоактивности урана (термин этот, кстати, введен Марией Кюри). Но, как отмечает Мария Кюри, это признание, позволявшее, казалось, расширить фронт работ и получить необходимые средства и помещения, пришло слишком поздно. Пьер Кюри успел почувствовать лишь горький и глубоко противный его натуре вкус славы. «Нас преследуют,— жаловался он в письме к другу,— журналисты и фотографы всех стран мира: они доходят до того, что воспроизводят разговор моей дочки с няней или описывают нашу черно-белую кошку...»

Исключительный интерес представляет собой Нобелевская лекция, прочитанная Пьером Кюри в Стокгольме в июне 1905 года, откуда М. Кюри выбрала эпиграф к своей книге: «Можно думать, что в преступных руках радий способен быть очень опасным, и можно в связи с этим спросить себя: выиграет ли человечество от познания тайн природы, достаточно ли человечество созрело, чтобы извлекать из него пользу, или же это познание принесет ему вред... Я принадлежу к числу тех, кто думает, подобно Нобелю, что человечество извлечет из новых открытий больше блага, чем зла».

Через несколько месяцев после того, как была произнесена эта речь, Пьер Кюри погиб нелепым образом, попав под колеса ломовой телеги. Его смерть стала национальным трауром Франции.

Почему же получилось так, что даже среди физиков роль Пьера Кюри часто недооценивается (еще раз подчеркнем, что сама Мария Кюри к формированию этого мнения не имеет ни малейшего отношения, а написанная ею биография Пьера дает даже противоположный эффект)?

Причин здесь, думается, несколько. Основная заключается в том, что Мария Кюри была первой женщиной-физиком с ми-

ровым именем, тогда как среди современников Пьера Кюри было не так уж мало ученых его масштаба. Мария Кюри была не только первой женщиной, получившей Нобелевскую премию. Вскоре вслед за этой премией в 1911 году, Шведская академия удостоила ее второй Нобелевской премии — на этот раз за работы по химии. В этом плане и сегодня Мария Кюри не имеет себе равных: никто, кроме нее, за семьдесят лет существования Нобелевских премий не получал их дважды. (Об этом знают, наверное, многие. Но, возможно, не всем известно, что второй премией Мария Кюри была удостоена за заслуги в разработке нового метода химического анализа, который основывался на открытии радиоактивности и принципы которого были разработаны и применены на практике супругами Кюри еще в процессе их совместных работ.

Огромную роль в популярности Марии Кюри сыграло то обстоятельство, что она явилась свидетельницей далеко идущих последствий открытий, сделанных ею и Пьером Кюри. Другая причина заключается в ее исключительном организаторском даровании, проявившемся как в годы совместной с Пьером работы, так и после его смерти. Об этой черте ее характера мы узнаем из статьи Ирэн Кюри. Мария Кюри была организатором исследований по радиохимии и ядерной физике во Франции, она была основателем Института радия в Париже, института, в который стремились попасть не только французские физики, но и ученые, съезжавшиеся в Париж со всех концов мира. †

Образ Марии Кюри предстает в рецензируемом сборнике из воспоминаний ее старшей дочери Ирэн также очень цельным. Она была сильным человеком, и сдержанность являлась, пожалуй, ключевой чертой ее характера. «Тот факт, — пишет Ирэн Кюри, — что мать не искала ни светских связей, ни связей с людьми влиятельными, иногда считают свидетельством ее скромности. Я полагаю, что это как раз обратное: она очень верно оценивала свое значение и ей нисколько не льстили встречи с титулованными особами или с министрами. Мне кажется, она была очень довольна, когда ей довелось познакомиться с Редьярдом

Киплингом, а то, что ее представили королеве Румынии, не произвело на нее никакого впечатления».

Можно думать, что имя Киплинга приводится здесь не случайно — многим памятна строка из его стихотворения «Заповедь»: «Останься прост, беседуя с царями...» Добавим, что имя Марии Кюри знает весь мир, а многие ли сегодня помнят — даже в Румынии, — как звали румынскую королеву?

Мы лишены возможности останавливаться на других помещенных в сборнике (и упомянутых выше) статьях. Крайне интересны рабочие тетради, в которых супруги Кюри фиксировали этапы своих работ. Они прокомментированы Ирэн Кюри и позволяют читателям стать как бы современниками научных поисков Пьера и Марии. Пожалуй, наиболее впечатляет в этом плане статья Фредерика Жолио-Кюри «Радиоактивное загрязнение рукописей Пьера и Марии Кюри, относящихся к опытам, связанным с открытием радия». Это необычное исследование было выполнено в порядке подготовки материалов для выставки памяти Пьера Кюри. Фредерик Жолио-Кюри поместил на фотопластинку листки рабочих записей супругов Кюри. И вот фотопластинка в какой-то мере воскресила события шестидесятилетней давности. На ней можно было различить следы, оставленные пинцетами, мешалками и химической посудой; на фотографии есть и отпечаток большого пальца Пьера Кюри, ставший видимым потому, что на него попало немного радия. «Когда лучи, испускаемые этими листками, — пишет Жолио-Кюри, — попадают в счетчик, соединенный с громкоговорителем, то активность проявляется как последовательность щелчков. Испытываешь волнение, когда слышишь теперь с помощью этих листов сигналы того радия, который извлекали и исследовали Пьер и Мария Кюри почти 60 лет назад».

Чувство волнения не раз охватывает и читателя этой книги, когда он знакомится с жизнью и научным подвигом Пьера и Марии Кюри. Ее издание — достойная дань уважения памяти замечательных французских ученых.

В. ФРЕНКЕЛЬ.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

ЛЮСЯ КАНТОРОВИЧ. Очерки, воспоминания, письма, фотоснимки. Издательство «Удмуртия». Ижевск. 1968. 88 стр.

«22 февраля мне исполнилось 17 лет. Возраст, как видите, почтенный... В этот день я предавалась грустным размышлениям. Мне очень жаль, что мне не пять вместо семнадцати»,— делилась со своим московским адресатом школьница Лия Канторович в письме из Ижевска. «Мне кажется,— писала она,— что тогда я бы употребила это время с большей пользой, узнала бы больше и вообще из меня получилось бы что-нибудь лучше, чем сейчас есть...» Она думала о жизни интенсивной, наполненной, а ей оставалось всего-то четыре года. В конце ее короткого пути был бой, прижатый к земле батальон, где лишь двенадцать дней пробыла она дружинницей, а в этот свой тринадцатый фронтовой день поднялась под вражеским огнем с земли, увлекая за собой батальон, «и повела бойцов вперед на разгром врага», как сказано в письме политотдела 30-й армии, полученном вскоре тогда нашим Институтом истории, философии и литературы, где училась после школы Лия.

«В первой линии, вместе с бойцами, рядом с комиссаром Гурьяновым в атаку пошла Лия Канторович. Вдохновленные бесстрашием комиссара и дружинницы, бойцы грозной лавиной опрокинули врага. Враг был сломен. Наши заняли деревню»,— писала фронтовая газета.

В этой атаке Лия Канторович была смертельно ранена. Ее вынесли на той плащпалатке, на которой она таскала раненых, опустили на землю. Она сказала: «Все кончено. Жаль только...» И ее не стало.

В городе Ижевске вышла недавно маленькая книжка. Строки воспоминаний о Лии (или Люсе, как чаще звали ее здесь, в школе и на фронте) ее товарищей по классу, по драмкружку, по институту. Ее учителей. Письма, фотоснимки Лии. Документы. Сдержанное в незаживающем горе письмо матери Лии, рассказавшей по просьбе нынешних школьников о дочери. Отклики на ее гибель разных людей. Среди них — отклики тех, кто, успев тогда написать горячо с ней, сами не вернулись с войны,— писатель Евгений Петров, журналист и поэт Леонид Шершер.

Я училась вместе с Лией в школе в Москве до той поры, пока она не переехала с

семьей в Ижевск, встретила с ней снова в ИФЛИ, а в войну оказалась в 30-й армии, где на тринадцатый свой фронтовой день Лия поднялась навстречу смерти.

Мне вспоминается, как иногда мы сбегали с уроков из школы в Б. Гнезниковский переулок. Там в комнате ее одиноко живущего отца, заваленной книгами, сумрачной от нависшего напротив многоэтажного дома («небоскреба» по тогдашним временам), пока отец был на работе, мы пировали (он припасал для нас в кулечке карамельки), заводя одну и ту же пластинку: «...мочит дождь обезьянку, пожилую актрису с утомленным лицом...»

Когда в воспоминаниях С. Львова и в найденном в бумагах погибшего Л. Шершера очерке, написанном им с А. Млынек, читаю о том, как внимательно, чутко слушала она собеседника, я вижу ее в той комнате, погруженно слушающей эти щепящие слова пластинки. Вижу ее милое, светящееся лицо.

Ей была органична жизнь такая, где просто и мыслям, и дружбе, и тяге к знаниям. Ее духовно активная натура стремилась к самоотдаче. Полюбить, она, уезжая на фронт, надеялась оказаться рядом с тем, кого любила. Не сбылось.

Сергей Львов рассказывает на страницах ижевской книжки, что в свои студенческие ифлийские годы он записал: «Тот, кто встретит ее утром, будет весь день вспоминать: откуда это ощущение счастья? Сегодня случилось что-то необыкновенное».

Лию знали, ценили не только в ИФЛИ, но и в широкой московской студенческой среде. Обаятельный духовный облик, ясность ума, недюжинные способности, которым предстояло раскрыться в полной мере,— все было в ней притягательно. И она была наделена даром красоты, равным дару таланта, сулившим, как казалось нам в юности, почти что бессмертие. А пала первой в начальные дни войны, когда еще были живы все и те, кому потом не суждено было вернуться.

Кто-то, видимо, не знавший ее лично, пишет, что это была очень сильная физически девушка. Это совсем не так. Да и едва ли найдется вообще такая девушка, которой была бы уж так по силам очень тяжелая на войне доля — выносить с поля боя раненых. Духовные силы сообщали отвагу и выносливость.

«Документов осталось мало, а жизнь была прожита хоть и трагически-короткая, но большая. Как рассказать об этом, чтобы... почувствовали своеобразие этой прекрасной личности?» — пишет С. Львов.

Кропотливо, заботливо, с большим теплом собирали эту книжку составитель Л. Белинская, редактор Д. Черашняя и новое племя ижевских школьников. Думается, хороший пример и для других местных издательств эта книжка, в которой собраны следы жизни Лии Канторович, ее ясной, как притча, судьбы, глубоко трагической.

Е. Ржевская.

★

АНДРЕЙ АНИКИН. Адам Смит. «Молодая гвардия». М. 1968. 255 стр.

Первой ассоциацией, которую вызовет у большинства читателей имя героя этой книги, будут почти наверняка известные строки из пушкинского романа, герой которого «читал Адама Смита и был глубокий эконом...». Возможно, вспомнятся еще студенческие знания об английской классической политэкономии — одной из «трех источников» марксизма. Вот, пожалуй, и все. Между тем Адам Смит был одним из самых блистательных мыслителей XVIII века. В свое время он не уступал по популярности Вольтеру и Руссо. Его идеи, легшие в основу сочинений Пестеля и Николая Тургенева, отозвались в восстании декабристов.

Автор очередного выпуска серии «Жизнь замечательных людей» не просто напомнил об этом. Он впервые в русской и советской литературе обрисовал своеобразную и поистине обаятельную личность Смита, преодолев при этом большие трудности: ведь Смит не оставил ни дневников, ни воспоминаний, его архив был сожжен им за несколько дней до смерти, письма его отличаются лаконизмом, редким даже для шотландцев, а воспоминания современников сдержанны и скудны. Взглянув на этого выдающегося философа через призму убедительно и достоверно воссозданной эпохи, найдя соответствующий — размеренный, даже замедленный и проникнутый английским юмором — стиль повествования, А. Аникин сумел донести до современного читателя существо и вдохновляющую силу теории Смита, как и «наивную прелесть» (Маркс) его основного труда. Увидев в высокомерно презиравшемся материальном интересе стимул к жизнедеятельности и первопричину «богатства народов», Смит совершил революцию в идеях, актуальную и сегодня тем, что она предостерегает от расчета на быстрое переустройство общества на чисто идеальных основах, от «больших скачков» любого характера.

Книга А. Аникина побуждает освободиться от упрощенных представлений об идеологах прошлого. Смит был идеологом буржуазии и в то же время, оказывается, не питал ни малейшей сим-

патии к промышленникам и купцам. «Смит считал капиталистов, так сказать, необходимым злом, естественно данным орудием прогресса... Надо лишь добиваться того, чтобы эта публика «работала» на дело увеличения богатства народа, или, точнее, богатства нации». От посягательств со стороны «этой публики» Смит ревниво отстаивал свою независимость. Если прибегать к анахронизму, Смита можно назвать передовым разночинцем-интеллигентом. Самыми ненавистными для Смита социальными типами были пробившиеся к власти политики и исполнители их воли — чиновники-бюрократы, которые, как он говорил, склонны к слепому национализму и опасной узости взглядов, ограничивают естественную свободу, которая только и может дать обществу процветание. В то же время Смит относился с большим сочувствием к рабочему классу, хотя и не видел за ним исторического будущего.

Занимательность, точнее — популярность в хорошем, не вульгарном смысле слова уже позволила широчайшему советскому читателю познакомиться с самыми различными отраслями знания — от ядерной физики до археологии, от минералогии до кибернетики. Книга об Адаме Смите вводит в число «популярных наук» историю экономической мысли и в то же время открывает в ее авторе докторе экономических наук А. В. Аникине способного литератора.

Е. А.

★

НОВОНАЙДЕННЫЙ АВТОГРАФ ПУШКИНА. Заметки на рукописи книги П. А. Вяземского «Биографические и литературные записки о Денисе Ивановиче Фонвизине». Подготовка текста, статья и комментарии В. Э. Вацура и М. И. Гиллельсона. «Наука». М.—Л. 1968. 128 стр.

Осеню 1965 года два ленинградских историка литературы, изучая рукописи книги Вяземского о Фонвизине, которую автор давал для прочтения нескольким литераторам, установили, что среди помет, оставленных на ее полях, более тридцати принадлежат Пушкину. «Я считаю, что сделана одна из счастливейших находок», — сказал по этому поводу академик М. П. Алексеев, который и явился инициатором рецензируемого издания.

Книга, где увидели свет новонайденные пушкинские строки, состоит из двух примерно равных частей. Первую составляют предисловие, характеризующее рукопись Вяземского и сделанные на ней пометы, и сто одиннадцать фрагментов из книги, против которых читавшие ее оставили свои замечания. Публикаторы исходили из совершенно верного мнения, что пометы, принадлежащие П. А. Плетневу, А. И. Тургеневу, К. С. Сербиновичу и другим лицам, тесно связаны с пометами Пушкина, выделение которых из этого контекста «неизбежно обеднило бы и даже исказило об-

шую картину». Вторая часть книги — «Приложения» — включает обширную статью «Пушкин и книга Вяземского о Фонвизине» и примечания.

Работа, проделанная В. Э. Вацуро и М. И. Гиллельсоном, отличается вдумчивостью, тщательностью и высоким профессиональным мастерством. Все, начиная от общей структуры издания и кончая системой использованных в нем шрифтов и условных сокращений, умело подчинено тому, чтобы наилучшим образом ознакомить читателя с содержанием и значением пушкинских заметок. Детальное изучение творческой истории книги Вяземского позволило ввести в научный оборот много интересных архивных материалов.

Большого внимания заслуживает статья, сопровождающая публикацию, далеко выходящая за рамки одного лишь комментария к новонайденным пушкинским текстам. Авторы прослеживают, как менялся замысел Вяземского, как задуманное «предисловие к сочинениям Фонвизина разрасталось в большую документированную монографию, в которой личность и творчество Фонвизина были искусно вставлены в широкую раму русской жизни екатерининского времени». Пушкин ознакомился с рукописью, по воспоминанию Вяземского, «с живым сочувствием приятеля и критика меткого, строгого и светлого» и на протяжении последующих лет проявлял постоянный интерес к ее судьбе. Убедительно объясняя, почему Пушкин увидел в книге Вяземского одно из замечательных произведений русской словесности, авторы статьи не упускают из виду и то, что позиции Вяземского и Пушкина были хотя и близки, но не тождественны. Главная заслуга исследователей состоит, на мой взгляд, в том, что они сумели использовать пометы Пушкина для уяснения существенных черт его мировоззрения и сделала зримой связь суждений поэта о «веке Екатерины» с его отношением к жгучим проблемам современности.

Думается, что некоторые формулировки статьи могут быть уточнены. Так, попытки Пушкина основать политическую газету прекратились не в 1835 году, а намного раньше, вероятно, осенью 1832 года. Цитируемая в книге фраза из письма к Н. Н. Пушкиной от 29 сентября 1835 года: «Государь обещал мне Газету, а там запретил» — напоминание о событиях, уже отошедших в прошлое. Возможны и другие возражения, но все они касаются частных деталей, деталей проделанной работы. Прочитав книгу В. Э. Вацуро и М. И. Гиллельсона, хочется сказать: пометам на рукописи Вяземского повезло. Они пролежали в тиши книжных полок многие десятилетия, чтобы попасть в руки людей, сумевших достойно передать научной обществу и широкому читателю новонайденный автограф Пушкина.

Л. Фризман.

Харьков.



ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ. «Высшая школа». М. 1968. 440 стр.

Известно, что некоторым наукам и научным направлениям у нас в определенный период пришлось испытать серьезные трудности. Среди таких научных дисциплин оказалась и профессиональная педагогика. Довольно быстрое развитие отдельных отраслей этой науки в двадцатые годы, особенно в связи с разработкой и внедрением НОТ, сменилось затем длительным застоєм, причем многие из достижений отечественной профессиональной педагогики были весьма прочно забыты. Прекратилась подготовка научных кадров, были ликвидированы некоторые научные лаборатории, занимавшиеся проблемами профессионального обучения. В тридцатые—пятидесятые годы педагогическая наука стала развиваться у нас лишь применительно к задачам и потребностям общеобразовательной школы.

В результате система профессионально-технического образования, через различные звенья которой ежегодно проходили миллионы людей, была лишена подлинно научной базы. Очень многое в системе профессионального образования, в том числе и типы профессионально-технических училищ, различные пропорции практического и теоретического обучения, общеобразовательной и профессиональной подготовки и др., складывалось часто эмпирически.

Стремительная научно-техническая революция последних десятилетий предьявляет во всех промышленно развитых странах повышенный спрос на все виды образования, в том числе и на различные виды долгосрочного профессионального образования. Уровень профессионального образования непосредственно влияет сейчас на производительность труда и темпы технического прогресса. Отрадно отметить, что в последние годы профессиональная педагогика получила в нашей стране определенное развитие. В Ленинграде создан Научно-исследовательский институт профессионально-технического образования. Значительно расширена подготовка научных кадров. При Академии педагогических наук СССР создан научный совет по проблемам профессионально-технического образования. К фактам подобного рода следует отнести и издание монографии «Вопросы профессиональной педагогики». В создании этой книги принял участие большой авторский коллектив: член-корреспондент АПН СССР С. Я. Батышев, кандидаты педагогических наук С. А. Шапоринский, В. В. Чебышева, Т. В. Кудрявцев, Н. М. Скородумов и другие. Книга представляет собой первую попытку достаточно широко и на основе научных исследований осветить наиболее актуальные вопросы профессиональной педагогики.

В первом разделе книги рассматриваются некоторые общие вопросы взаимоотношения общей и профессиональной педагогики, развитие профессионально-технического об-

разования в СССР и влияние технического прогресса на профессионально-техническое образование.

Второй раздел посвящен психологическим проблемам профессиональной педагогики. В системе производственного обучения по ряду специальностей уже сегодня большую роль начинают играть некоторые разработанные психологами специальные эффективные методы, с помощью которых удается развить и совершенствовать профессионально важные качества. Психология профессионального образования становится сейчас одним из перспективных и в теоретическом отношении наиболее зрелых направлений психологии труда. Кроме таких важных вопросов психологии производственного обучения, как закономерности формирования навыков, индивидуальные особенности учащихся, психологические характеристики профессий и другие, в книге рассматриваются и особенности технического мышления и пути его развития.

Центральное место в монографии занимает раздел, где подробно рассматривается сам процесс производственного обучения, формы его организации. Большое внимание уделяется методам производственного обучения и особенно применению в нем алгоритмов и тренажеров. В четвертом разделе, где речь идет о воспитании учащихся в процессе производственного обучения, разбираются вопросы профессиональной ориентации, условия и методы формирования творческого отношения к труду.

Последний, пятый раздел книги включает в себя многообразные проблемы профессионально-технического обучения рабочих на производстве, а также повышения квалификации. Для профессиональной педагогики это совершенно новый круг вопросов.

Р. Медведев,
кандидат педагогических наук.

★

ПРОБЛЕМЫ ПОЭТИКИ. Издательство «ФАН». Ташкент. 1968. 168 стр.

Культура и наука могут существовать лишь при наличии памяти. Памяти о прошлом, памяти о традициях, памяти об отцах и учителях. Ученые Самаркандского университета выпустили в свет сборник «Проблемы поэтики», посвященный памяти известного литературоведа Якова Осиповича Зунделовича (1893—1965).

Человек незаурядной судьбы (вырос в Польше, дружил с Ю. Тувином, учился в Сорбонне, бежал в начале двадцатых годов из панской Польши в Советский Союз, преподавал в Литературном институте у В. Я. Брюсова, затем в ГИКе), Я. О. Зунделович был разносторонне талантливым: писал стихи, переводил, был хорошим литературоведом, редактором, педагогом, организатором (декан режиссерского факультета в ГИКе). Послевоенные два десятка лет Я. О. Зунделович провел в Самарканде, где заведовал университетской кафедрой литературы.

В сборнике с интересными статьями выступают ученики Зунделовича — ныне ведущие преподаватели литературоведческих кафедр СамГУ — доценты В. Ларцев, Р. Шагинян, Е. Магазаник, Э. Магазаник, И. Тоньшева, А. Геворкян. Здесь же представлены и работы молодых преподавателей, учеников учеников, так сказать, «внуков» Зунделовича. Особенно ценны статьи и воспоминания друзей и учеников Зунделовича его ранних творческих лет, двадцатых и тридцатых годов, ныне ученых и писателей М. Григорьева, А. Гербстмана, И. Куннина.

Удачно включение в сборник ранее неизвестной статьи Зунделовича «Из творческих связей Лермонтова и Пушкина», весьма типичной для методов ученого: в ней характерно сочетание широких литературных параллелей со скрупулезным, «дифференцированным», как любил говорить автор, анализом; очень характерен для метода Зунделовича и стиль статьи: в нем есть что-то от эмоционального и усложненного стиля Ап. Григорьева — критика, стремившегося немедленно запечатлеть богатый поток мыслей, не задумываясь при этом над шлифовкой фраз, не боясь неологизмов.

Жаль, что к сборнику не приложена библиография трудов Я. О. Зунделовича: это упущение следует восполнить в следующих изданиях Самаркандского университета.

Б. Егоров,
доктор филологических наук.
Ленинград.

★

Г. ТАЗИЕВ. Когда земля дрожит. «Мир». М. 1968. 250 стр.

Книга известного бельгийского вулканолога Гаруна Тазиева посвящена землетрясениям. В мае 1960 года мощный подземный толчок потряс побережье Чили. В течение нескольких дней повторные толчки разрушили приморские города. Тихоокеанское побережье страны на протяжении шестисот километров было полностью опустошено. Погибли тысячи людей. Гигантские волны цунами пересекли Тихий океан и обрушились на Гавайские острова и Японию, вызвав множество жертв и причинив громадный ущерб. При первом известии о катастрофе Тазиев прилетел в Чили. Здесь он увидел раздавленные дома, вырванные с корнем деревья, обломки судов, заброшенные в глубь страны на километры от побережья, запруженные обвалами реки, уничтоженные дороги, изогнутые стальные мосты. Опустилась огромная полоса земли. Описанию чилийской катастрофы посвящена первая треть книги.

Далее автор дает схему сейсмичности земли и приводит историческую хронику землетрясений, вкратце описывая отдельные эпизоды. Цель книги — в популярной форме познакомить читателей с различными аспектами сейсмологии, не жертвуя при этом научной точностью. Причины землетрясений, вулканологические исследования

сейсмические приборы, сведения по истории сейсмологии — таков широкий круг рассматриваемых тем.

Неизмеримы отрицательные последствия сейсмических катастроф. Ежегодно при них погибает двадцать—тридцать тысяч человек. Через разломы выходят лавы и вулканические газы, губительные для всего живого. Трагические последствия землетрясений зависят от многих причин — строения местности, времени суток, погоды, типа построек — и могут быть ослаблены разумными мерами. Прочный грунт, упругие строительные материалы, жесткая связь элементов и правильный выбор центра тяжести зданий — вот некоторые рекомендации, приводимые автором. Однако главной целью сейсмологии остается успешное предсказание места и времени землетрясения.

Тазиев увлекательно описывает свои впечатления. Это — красочное зрелище подводного извержения в Атлантике, когда чудовищный черный столб газа вздымался ввысь в неправдоподобной тишине, так как грохот заглушался толщей воды, навалившейся на жерло вулкана; фантастическое озеро расплавленной лавы в кратере вулкана Нирагонго; огненные реки базальтов на Гавайях. Образный, эмоциональный язык Гаруна Тазиева удивительно хорошо передает «сатанинскую пляску земли», дрожь коры нашей планеты — такую же дрожь, «какая пробегает по коже лошади при сокращении ее мышц».

Гуманистические взгляды автора, пронизывающие повествование, — ненависть к фашизму, милитаризму, непримиримость к коррупции, стяжательству и политиканству, абсолютная убежденность в грядущем торжестве человеческого разума («человек создал столько замечательного, что общий баланс его истории, несмотря на войны, концлагеря, газовые камеры и господство несправедливости, в громадной степени положительен») — придают книге особую притягательность.

Книга Тазиева учит сознательно относиться к грозному стихийному бедствию и внушает уверенность в успешном обуздании титанических сил природы.

Е. Третьяков.

★

ДЕЛО ЧЕРНЫШЕВСКОГО. Сборник документов. Приволжское книжное издательство. Саратов. 1968. 680 стр.

Этот солидный том подготовлен к печати саратовским ученым И. В. Порохом. И надо сказать, подготовлен превосходно во всех отношениях. Материалы следствия и суда над Чернышевским, хранившиеся в царских архивах, впервые были разысканы и частично опубликованы еще М. К. Лемке; затем их собрал воедино Н. А. Алексеев, выпустивший в 1939 году сборник «Процесс Н. Г. Чернышевского». При всей ценности этой книги, она страдала неполнотой и другими недостатками, которые теперь

успешно преодолены в недавно вышедшем издании.

И дело не только в том, что составитель критически пересмотрел и текстологически выверил многочисленные документы по архивным подлинникам, пополнил их вновь найденными материалами и систематизировал по тематическому признаку. Самое важное состоит в том, что процесс Чернышевского представлен в книге с исчерпывающей полнотой, на фоне послереформенной эпохи, когда правительство Александра II делало отчаянные усилия, чтобы подавить революционное брожение в стране. Расправой над вождем демократического движения, руководителем передовой мысли и литературы правительственные круги надеялись обезглавить все силы сопротивления. Вот почему при непосредственном участии самого царя был приведен в действие весь полицейский механизм самодержавной империи, весь ее судебно-бюрократический аппарат. Вот почему делались попытки опереться и на печатные выступления Чернышевского в «Современнике» (в специальной записке «Разбор литературной деятельности Чернышевского...», составленной для следствия, провокатор Вс. Костомаров доказывал, что «ученые сочинения» этого автора «проповедают теорию социализма, доведенного... до крайних результатов, т. е. коммунизма»), старались использовать его переписку, связи с Герценом и Огаревым, наконец, прибегли к фальсификации и подлогам, подделывали почерк и оплачивали услуги явного провокатора — и все это для того, чтобы найти способ осудить Чернышевского, изъять его из общественной среды, лишить возможности действовать.

Процесс Чернышевского явился одним из самых ярких и драматических событий эпохи шестидесятых годов, в нем, как в фокусе, отразились характерные особенности острой борьбы революционных сил против царизма и главные общественные настроения времени. Тем более ценно, что книга, вышедшая в Саратове, по сути дела впервые дает нам подлинное представление о процессе, о его масштабе и его значении для русского общества. Документы сборника, тщательно прокомментированные составителем, воссоздают историю ареста Чернышевского, ход следствия по его делу, борьбу узника Петропавловской крепости против царского суда, самый суд и приговор. Такая последовательность расположения материала позволяет читателю шаг за шагом проследить всю историю судебно-полицейской расправы над великим ученым и литератором.

Особенное впечатление производит раздел, рисующий борьбу Чернышевского за свои взгляды и свое освобождение. Здесь и огромная литературная работа (по подсчету автора вступительной статьи, за 678 дней заключения Чернышевский написал более двухсот авторских листов разных текстов, в том числе роман «Что делать?»), здесь и интереснейшие «прошения», обращенные к Александру II, в которых заклю-

ченный революционер пытается с помощью логики и юридических доводов убедить самодержца в неосновательности обвинения и необъективности следствия.

В виде приложения к основному разделу книги помещены различные бумаги и письма, взятые у Чернышевского при обыске, отрывки из писем Пылиных и другие материалы, относящиеся ко времени «процесса», а также донные не переводившаяся статья французского публициста Шарля де Мозада «Россия при императоре Александре II», опубликованная в 1862 году в журнале «Revue de Deux Mondes».

В. Жданов.

★

Е. Н. ДОБРОВОЛЬСКИЙ. Почерк Капицы. «Советская Россия». М. 1968. 176 стр.

АННА ЛИВАНОВА. Физики о физиках. «Молодая гвардия». М. 1968. 256 стр.

По мере того, как физика все более входит в нашу повседневную жизнь, а знакомство с нею становится неотъемлемой частью понятия «образованный человек», — закономерно растет интерес и к самим физикам. Отражением этого интереса является выпуск в минувшем году двух книг, посвященных выдающимся физикам нашей страны.

Очерки о людях науки часто пишутся в некоем панегирическом стиле. Наряду с этим — вероятно, из боязни в него власть — авторы ударяются и в другую крайность и выбирают как по отношению к самой науке, так и к ее представителям уж слишком панибратский тон. Е. Добровольскому, посвятившему свою книгу Петру Леонидовичу Капице, удалось избежать этих двух крайностей. Заслуга автора тут тем более велика, что (в отличие от А. Ливановой) он, наверное, не мог не думать в процессе работы над книгой, что и сам ученый, которому она посвящена, может ее просмотреть.

Повествуя о научных работах П. Л. Капицы и его разносторонней организаторской деятельности, автор привлекает к рассказу о нем его сотрудников, коллег и друзей. Немало материала почерпнуто и из «устного творчества», из многочисленных легенд о Капице, которые, вне зависимости от их стопроцентной достоверности, в общем, правильно характеризуют того, о ком они сложены. Хочется привести здесь хотя бы одну, связанную с возвращением П. Л. Капицы к обязанностям директора Института физических проблем (от этих обязанностей он был отстранен в 1946-м и вновь приступил к ним в 1955 году). Е. Добровольский излагает ее так: «Поднявшись на второй этаж, Капица будто бы обнаружил полный состав отдела кадров и бухгалтерии. Он заинтересовался: «Что делают эти люди?» — «Подбирают вам кадры, Петр Леонидович, финансируют ваши работы...» — «Понятно. Устроить всем экзамен по экс-

периментальной физике, принимать буду я. А по теоретической физике пригласить Лев Давыдович Ландау». Мероприятие было оформлено как тухучеба. Слабо подготовившиеся могли подать заявление об уходе по собственному желанию, и это справедливо, потому что от людей, ведающих финансами или кадрами, пора требовать понимания, для чего они это делают».

А. Ливанова в небольшой по размерам книжке пишет о целой плеяде московских и ленинградских физиков: П. Н. Лебедеве, Л. И. Мандельштаме, А. А. Андронове, А. А. Фридмане, А. Ф. Иоффе, И. В. Курчатове (к этому следует добавить еще и очерк об Эйнштейне). Метод сбора материала декларирован уже в самом заглавии и совпадает с методом, избранным Е. Добровольским. Там, где автор последовательно движется по этому пути, — ей удается создать живые, «сообща нарисованные портреты». Сказанное относится к очеркам о Мандельштаме и Андронове. Быть может, причина удачи здесь в том, что об этих замечательных физиках — и людях (учителе и ученике)! — в научно-популярной литературе написано впервые.

Напротив, к тому, что уже написано о Лебедеве, Фридмане, об Иоффе и Курчатове (еще одна пара учитель — ученик), А. Ливанова добавила очень мало нового. Впрочем, очерки о П. Н. Лебедеве и А. А. Фридмане, по-видимому, будут с интересом прочтены теми, кто впервые встречается с пусть кратким жизнеописанием этих физиков.

В обеих книжках наименее удачными оказались страницы, посвященные самой физике. Так, описывая некоторые из исключительно ярких работ П. Л. Капицы, Е. Добровольский, желая сделать понимание их доступным неподготовленному читателю, сам иногда впадает в ошибки (так, например, он спутал понятия теплопроводности и теплопроводной способности). В других случаях он оказывается в плену штампов. Скажем, разговор с Теоретиком, который был призван пояснить сущность открытого П. Л. Капицей явления сверхтекучести гелия, напоминает стандартную пародию на теоретиков. У А. Ливановой эти неудавшиеся страницы приходится на очерк об Эйнштейне, который, кстати сказать, в отступление от избранного ею жанра целиком написан со слов советского физика-теоретика Ю. Б. Румера. Спрашивается: зачем в этом случае посредничество журналиста? Физики — народ грамотный и в подобной помощи («беседу записал...») не нуждаются. Это тем более относится к профессору Румеру.

Отвлекаясь от перечисленных недостатков, можно сказать, что книга о Капице, очерки о Мандельштаме и Андронове с полным правом могут претендовать на внимание читателя,

В. Ф.

«НОВЫЙ МИР»

В 1970 ГОДУ

В 1970 году редакция журнала «**НОВЫЙ МИР**» предполагает опубликовать

К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

роман **А. Бека** «На другой день»;
пьесу **М. Шатрова** «Брестский мир»;
статьи, публикации, воспоминания под рубрикой «**ЛЕНИНСКИЕ СТРАНИЦЫ**».

В 1970 году «**НОВЫЙ МИР**» предполагает также напечатать произведения:

- Ф. Абрамова** «Деревянные кони», повесть;
- А. Азольского** «Степан Сергеевич», роман;
- Ч. Айтматова** «Долгая память», повесть;
- Г. Бакланова** «Друзья», роман;
- В. Белова**, новую повесть;
- В. Быкова** «Двое в ночи», повесть;
- Н. Воронова** «Взмах крыла», повесть;
- Р. Гамзатова** «Мой Дагестан», книга вторая;
- Е. Герасимова** «На родине матери», повесть;
- Е. Дороша** «Звенигород», из книги «Древнее рядом с нами»;
- С. Залыгина** «Малая ГЭС», повесть;
- «Из литературного наследия» **Б. Пастернака**, **К. Паустовского**, **А. Яшина**;
- Ф. Искандера** «Сандро из Чегема», повесть;
- В. Каверина** «Перед зеркалом», роман;
- В. Некрасова** «Городские прогулки», рассказы;
- Е. Ржевской** «Февраль — кривые дороги», повесть;
- В. Семина** «Женя и Валентина», роман;
- Ю. Трифонов** «Исход», роман;

Франсуа Мориака «Подросток былых времен», роман.
Перевод с французского;

Артура Хейли «Аэропорт», роман. Перевод с английского.
Кроме того, будут опубликованы новые произведения **В. Астафьева, Г. Владимова, В. Войновича, Л. Волинского, Д. Гранина, И. Грековой, Ю. Домбровского, Е. Драбкиной, Н. Дубова, Н. Ильиной, В. Катаева, В. Лихоносова, Н. Мельникова, Б. Можая, Е. Носова, А. Рыбакова, К. Симонова, С. Славича, И. Соколова-Микитова, Г. Троепольского, К. Федина, В. Фоменко, А. Шарова, В. Шукшина** и других.

В журнале будут также напечатаны воспоминания: Маршала Советского Союза **Н. И. Крылова** об обороне Севастополя; Героя Социалистического Труда, члена-корреспондента АН СССР **В. С. Емельянова** «Студенты двадцатых годов»; профессора **С. М. Лисичкина** «Годы прожитые»; **С. Урусовой** «Моя жизнь»; **А. Флейшера** об итальянском Сопротивлении и других.

В поэтическом разделе редакция предполагает опубликовать стихи **И. Абашидзе, М. Алигер, П. Антокольского, Абдуллы Арипова, Б. Ахмадулиной, М. Бажана, О. Берггольц, П. Бровки, Д. Вааранди, О. Вацетиса, А. Вознесенского, Р. Гамзатова, Е. Евтушенко, А. Жигулина, М. Исаковского, В. Казанцева, Анны Каландадзе, М. Карима, В. Корнилова, Д. Кугультинова, А. Кулешова, К. Кулиева, В. Лифшица, М. Луконина, Ю. Марцинкявичюса, Н. Матвеевой, Э. Межелайтиса, Аскада Мухтара, С. Наровчатова, С. Орлова, П. Панченко, Л. Первомайского, Расула Рзы, Д. Самойлова, Б. Слуцкого, Я. Смелякова, Вл. Соколова, Д. Сухарева, М. Танка, А. Твардовского, И. Фоякова, В. Шефнера, Г. Эмина** и других.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА

12 мес.	6 мес.	3 мес.
8 р. 40 к.	4 р. 20 к.	2 р. 10 к.

ПОДПИСКА НА «НОВЫЙ МИР» ПРИНИМАЕТСЯ ВО ВСЕХ ОТДЕЛАХ И АГЕНТСТВАХ «СОЮЗПЕЧАТИ», В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМИ ПЕЧАТИ БЕЗ ВСЯКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ

О ВСЕХ СЛУЧАЯХ ОТКАЗА В ОФОРМЛЕНИИ ПОДПИСКИ
ПРОСИМ СООБЩАТЬ В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Избранные произведения. В трех томах. Том 3 (Октябрь 1918 — март 1923 г.). 856 стр. Цена 1 р. 52 к.

В. И. Ленин. Краткий биографический очерк. Издание шестое. 224 стр. Цена 27 к.

Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. В пяти томах. Том 3. 512 стр. Цена 1 р. 25 к.

Здесь жил и работал Ленин. Места жизни и деятельности В. И. Ленина в СССР и зарубежных странах. Издание третье. 95 стр. Цена 86 к.

К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Издание второе. Том 46. 618 стр. Цена 1 р.

«МЫСЛЬ»

В. Анисеев. Деятельность ЦК РСДРП(б) в 1917 году (Хроника событий). 486 стр. Цена 1 р. 26 к.

В. Бунин. Психология верующих и атеистическое воспитание. 230 стр. Цена 73 к.

Г. Горобец. Партийное подполье на Украине (1941—1944 гг.). 93 стр. Цена 29 к.

Научно-техническая революция и общественный прогресс. 397 стр. Цена 1 р. 42 к.

Научное управление обществом. Выпуск 3. 332 стр. Цена 1 р. 19 к.

Новый человек — новый гуманизм. Сборник статей. 303 стр. Цена 1 р. 16 к.

«ЭКОНОМИКА»

В. Войтоловский, М. Пермонд. Организация контроля качества продукции за рубежом. 190 стр. Цена 51 к.

Л. Гольцман, Л. Федулова. Экономика коммунальных предприятий и расчетные цены. 126 стр. Цена 48 к.

Межотраслевой баланс и планирование в странах — членах СЭВ. 391 стр. Цена 1 р. 39 к.

В. Шкатов, Б. Супоницкий. Оптовые цены на продукцию тяжелой промышленности. 254 стр. Цена 66 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Ф. Абрамов. Две зимы и три лета. Роман. 414 стр. Цена 64 к.

Р. Бикмухаметов. Дорога остается. Очерки. 167 стр. Цена 36 к.

Л. Боровой. Диалог, или «Размена чувств и мыслей». Очерки, разыскания. 267 стр. Цена 60 к.

Э. Бээнман. Маленькие люди. — Колодезное зеркало. Романы. Перевод с эстонского А. Тамма. 502 стр. Цена 82 к.

С. Ващенко, Канны. Повести и рассказы. 392 стр. Цена 72 к.

В. Иванов. Переписка с А. М. Горьким. Из дневников и записных книжек. Составители Т. В. Иванова и К. Г. Паустовский. 447 стр. Цена 1 р. 5 к.

В. Катаев. Святой колодец. — Трава забвения. 344 стр. Цена 63 к.

В. Конецкий. Солёный лед (Путевые заметки). 311 стр. Цена 60 к.

И. Константиновский. Цепь. Роман. 279 стр. Цена 61 к.

Лариса Рейснер в воспоминаниях современников. Составление и вступительная статья А. Наумовой. 199 стр. Цена 29 к.

А. Лебедев. Чтобы быть человеком. Размышления и заметки о зарубежных писателях. 280 стр. Цена 46 к.

Е. Путилова, Л. Пантелеев. Очерк жизни и творчества. 215 стр. Цена 56 к.

А. Савицкий. Польша — трава горькая. Роман. Перевод с белорусского. 403 стр. Цена 80 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

П. Аларкон. Треугольная шляпа. Правдивая повесть о событиях, воспетом в романах и переданном здесь так, как оно произошло. Перевод с испанского. Предисловие Н. Томашевского. 110 стр. Цена 15 к.

Х. Апте, Чандрагупта. Перевод с маратхи. 254 стр. Цена 91 к.

Юхани Ахо. Совесть. Роман. Повести. Рассказы. Перевод с финского. 383 стр. Цена 72 к.

Р. Гамзатов. Собрание сочинений. В трех томах. Том I. Стихотворения. Перевод с аварского. 527 стр. Цена 1 р. 55 к.

Ф. Гельдерлин. Сочинения. Перевод с немецкого. Составление и вступительная статья А. Дейча. 543 стр. Цена 1 р. 6 к.

Н. Емельянова. Избранные произведения. В двух томах. Вступительная статья И. Гринберга. Том I. Рассказы и повести. 478 стр. Цена 1 р. 2 к. Том II. Рассказы, повести, очерки. 479 стр. Цена 1 р. 1 к.

Изборник (Сборник произведений литературы Древней Руси). Составление и общая редакция Л. Дмитриева и Д. Лихачева. Вступительная статья Д. Лихачева (серия «Библиотека всемирной литературы»). 799 стр. Цена 1 р. 95 к.

К. Константинов. Происшествие. Рассказы и очерки. Перевод с болгарского. 255 стр. Цена 53 к.

Махабхарата. Четыре сказания. Перевод с санскрита. Вступительная статья С. Липкина. 190 стр. Цена 23 к.

А. Нинов. Современный рассказ. Из наблюдений над русской прозой (1956—1966). 288 стр. Цена 81 к.

Я. Парандовский. Небо в огне. Роман. Перевод с польского. 271 стр. Цена 93 к.

М. Резерфорд. Революция в Тэннерс-лейн. Роман. Перевод с английского Т. Русской. 295 стр. Цена 46 к.

И. Л. Толстой. Мои воспоминания. Вступительная статья С. Розановой. 455 стр. Цена 1 р. 2 к.

В. Тушнова. Лирика. Предисловие А. Михайлова. 351 стр. Цена 93 к.

М. Шагинян. Семья Ульяновых. Роман-хроника. В двух частях. 407 стр. Цена 1 р. 4 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Г. Голубев. Следствие сквозь века. Повесть. 256 стр. Цена 39 к.

Л. Осповат. Диего Ринера («Жизнь замечательных людей»). 348 стр. Цена 89 к.

Я. Свет. Севильская западня (Тяжба о Колумбовом наследстве). 304 стр. Цена 35 к.

В. Шэфнер. Избранная лирика. 32 стр. Цена 11 к.

«ИСКУССТВО»

Ж. Ануй. Пьесы. Том I. Дикарка. Пассажир без багажа. Эвридика. Антигона. Приглашение в замок. Перевод с французского. 431 стр. Цена 1 р. 25 к.

Л. Воронихина. Лондон («Города и музеи мира»). 246 стр. Цена 1 р. 65 к.

Ю. Кириллова. Армения — открытый музей («Дороги к прекрасному»). 175 стр. Цена 52 к.

Р. Клер. Сценарии и комментарии. Красота дьявола. Ночные красавицы. Большие маневры. Порт де Лиля. Перевод с французского. Вступительная статья М. Влеймана. 335 стр. Цена 1 р. 26 к.

Модернизм. Анализ и критика основных направлений. Сборник статей. Под редакцией В. Ванслова и Ю. Колпинского. 243 стр. Цена 1 р. 88 к.

А. Петров. Пушкин. Дворцы и парки. 231 стр. Цена 3 р. 80 к.

Н. Погодин. Неизданное. В двух томах. Составление А. Волгарь. Том I. Пьесы. 381 стр. Цена 1 р. 23 к.

А. Эфрос. Два века русского искусства. Очерк. 302 стр. Цена 1 р. 2 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

И. Волк. Эльбрус находит след. Рассказы о собаках. 126 стр. Цена 29 к.

Н. Крацова. От заката до рассвета. 175 стр. Цена 41 к.

Лукоморье. Сказки русских писателей. 543 стр. Цена 1 р. 6 к.

И. Лупанова. Полвека. Советская детская литература. 1917—1967. Очерки. 671 стр. Цена 2 р. 31 к.

Е. Мар. Часовые Кремля. Рассказы о В. И. Ленине. 95 стр. Цена 33 к.

Л. Промет. Девушка в черном. Повесть. 95 стр. Цена 28 к.

А. Рутько. Детство на Волге. Повесть о В. И. Ленине. 303 стр. Цена 65 к.

«НАУКА»

Н. Васильков. Экономика современной Италии. 352 стр. Цена 1 р. 28 к.

Г. Злоназов. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в период мирного развития революции (февраль — июнь 1917 г.). 285 стр. Цена 1 р. 35 к.

И. Лапис, М. Матье. Древнеегипетская скульптура в собрании Государственного Эрмитажа. 152 стр. Цена 1 р. 20 к.

Литература Швейцарии. Очерки 431 стр. Цена 1 р. 88 к.

М. Миннарт. Свет и цвет в природе. Перевод с английского. 344 стр. Цена 1 р. 32 к.

Л. Нежинский. Очерк истории Народной Венгрии (1948—1962). 448 стр. Цена 2 р. 5 к.

Реализм и художественные искания XX века. Сборник статей. 307 стр. Цена 1 р. 37 к.

С. Утченко. Древний Рим. События. Люди. Идеи. 324 стр. Цена 1 р. 22 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

И. Блум, А. Тилле. Обратная сила закона. Действие советского уголовного закона во времени. 135 стр. Цена 45 к.

Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик. Основы Уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик. 54 стр. Цена 4 к.

Е. Панова. Применение в совхозах Положения о государственном предприятии. 160 стр. Цена 44 к.

Н. Сыродов. Правовой режим недр. 168 стр. Цена 54 к.

«ПРОГРЕСС»

Д. Бейклесс. Америка глазами первооткрывателей. Перевод с английского. 408 стр. Цена 3 р. 1 к.

Х. Лакснесс. Свет мира. Перевод с исландского. 570 стр. Цена 1 р. 75 к.

Т. Парницкий. Аэций — последний римлянин. Исторический роман. Перевод с польского. 320 стр. Цена 1 р. 10 к.

Рассказы филиппинских писателей. Переводы с английского и тагальского. 166 стр. Цена 45 к.

К. Салиби. Очерки по истории Ливана. Перевод с английского. 302 стр. Цена 1 р. 17 к.

Янагида Кэндзюро. Философия истории. Перевод с японского. 238 стр. Цена 99 к.

«МИР»

Д. Бернал. Возникновение жизни. Перевод с английского. 392 стр. Цена 2 р. 45 к.

Возникновение органического вещества в солнечной системе. Сборник статей. Перевод с английского. 184 стр. Цена 96 к.

Новое в переработке полимеров. Сборник переводов и обзоров из иностранной периодической литературы. 236 стр. Цена 1 р. 54 к.

Р. Розен. Принцип оптимальности в биологии. Перевод с английского. 216 стр. Цена 1 р. 31 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорosh, А. И. Кондратович (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путинковский пер., д.1/2. Тел. 299-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 24/VI 1969 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 4/IX 1969 г.
А 06038 Формат бумаги 70×108^{1/16}. 27,6 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
Зак. 2231. Тираж 126 800 экз.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636